

Виль
Диплатов
3

Виль Липатов

•

И это все о нем

Комсомольцам

семидесятих годов

посвящается

Глава первая

1

Пароход длинно загудел, за окнами каюты застучали каблучки, радостно — приехала домой! — ойкнула женщина, и Прохоров понял, что подходят к Сосновке. Он еще удобнее прежнего откинулся на мягком сиденье и осторожно зевнул. «Не буду толкаться!» — решительно подумал Прохоров и стал глядеть в окно на подплывающую к пароходу деревню. Он увидел то, что ожидал увидеть, — несколько десятков стандартных домов из брусчатки, выпирающий из деревянного ансамбля здоровенный, но тоже бревенчатый клуб, гаражи, механические мастерские, десятка три старых домов специфической сибирской архитектуры — с пристройками амбарного типа; магазин на высоком фундаменте, больницу, аптеку; за околицей высились мачты метеорологической станции. И все это стояло на высоком берегу, сверху было накрыто плоским, серым небом, казалось дымчатым, размазанным. В воздухе пахло дождем, и было трудно дышать. «Большая деревня!» — скучно подумал Прохоров, хотя Сосновка официально именовалась поселком. Он не любил слово «поселок».

Когда все пассажиры сошли на берег и на судне сделалось по-будничному тихо, Прохоров, подхватив чемодан, спустился из первого класса в четвертый, прошел по нижней палубе, где отчаянно пахло селедкой, к широкому трапу и, прежде чем шагнуть на берег, посмотрел внимательно на встречающих, которые оказались такими же обыкновенными и будничными, как серое небо. На пароход главели несколько ленивых мужчин, куча рассудительных по-деревенски мальчишек и две-три женщины с грудными детьми, неподвижные, как изваяния, и было, как всегда, непонятно, зачем они пришли, что их интересует, почему женщины стоят в тупой осоловелости.

Прохорова никто не встречал. Это было естественным для человека его профессии, но неожиданным для такого поселка, то бишь деревни, как Сосновка, где одиноких пассажиров-мужчин городского вида непременно встречали то руководители лесопункта, то поселкового Совета, то школы, больницы или клуба. Прохоров же стоял на берегу один, держал в руках чемодан, никуда не торопился, а выражение лица у него было такое, словно

не существовало ни парохода, ни людей, ни новой для него деревни.

Первым обратил внимание на необычность Прохорова пожилой мужчина в брезентовой куртке и капитанской фуражке; судя по одежде, он был начальником сосновской пристани, имел возле губ две руководящие складки, строгие глаза и такую походку, какую дает человеку своя пристань, своя деревня, свой берег. Подойдя к Прохорову, строгий начальник спросил:

— Вы, гражданин, откуда будете?

Прохоров улыбнулся.

— Из области я буду, папаша.

После этого Прохоров подумал, что обманывает самого себя, когда считает свое стояние на берегу бесцельным — в этом неподвижном стоянии была необходимость, неизбежность и, если так можно выразиться, фатальность. Бог знает почему Прохорову надо было впитать в теперешнее собственное существование терпеливую созерцательность женщин с младенцами, проникнуться бескрасочностью окружающего, насытиться замедленностью, тишиной, серостью низкого неба и добродушной ленью глазающих на него мужчин.

— А чего вы, гражданин, к слову сказать, никуда не идете? — спросил строгий пристанский мужчина. — Чего вы, например, стоите на месте?

Прохоров радостно прислушивался. Слова во фразе пристанского начальства сливались, цеплялись одно за другое, целое предложение казалось одним длинным словом, и все это было так стародавнее, так по-родному знакомо, что слышался покой длинных зимних вечеров, полумрак теплой избы, сонные тени или другое — плеск речной волны, распластанные в небе крылья коршуна, приглушенность таежных мхов, пронзенных алыми звездами брусники... Серое небо, остекленевшая серая река, молчание женщин, похожих на мадонн...

— Вы, гражданин, отвечайте! У меня не бознат сколь времени, чтоб с каждым разговаривать...

Пристанский начальник ошибался: у него в запасе была вечность.

Чудак! Уселся бы вместе с Прохоровым на бревнышко, закрутил бы вершковую самокрутку, назвав собеседника по имени-отчеству, завел бы разговор о жене, о детях, о соседях, о пароходном пиве, о телеграфном столбе, который протяжно поет зимними вечерами. Куда торопиться, когда мимо них бесстрастно струилась река, над зубцами тайги, как желток сквозь пронзенное лучом яйцо, пробивалось через серые тучи солнце, и от этого кожа на лицах женщин отливала пергаментной вечностью.

— Вы разговаривайте, гражданин, вы беседуйте!

— Вот это дело я люблю! — неторопливо сказал Прохоров и ласково посмотрел на мужчину. — У меня Иван Федорович, работа такая, чтобы разговаривать... Вот вы удивляетесь, что я вас назвал по имени-отчеству, а откуда я вас знаю? Да из разговоров. — Прохоров весело подмигнул. — Я ежели всего знать не буду, то мне и кусать будет нечего!..

Когда пристанское начальство от неожиданности и удивления полезло пальцами под фуражку чесать затылок, Прохоров коротко рассмеялся и пошел, не оглядываясь, от пристани. Он размеренно покачивал чемоданом, поддегивал сползающие брюки, очень довольный собой, старался определить, где в Сосновке находится служебное помещение участкового инспектора милиции Пилипенко, которому было строго-настрого приказано не встречать Прохорова на пристани, чтобы не вызывать в деревне шума.

Судя по протоколу, написанному рукой Пилипенко, инспектор должен размещаться в новом

брусчатом доме, на помещении должна непременно висеть яркая вывеска, на окнах обязаны стоять горшки с геранью, чего, конечно, не полагалось делать в официальном помещении, но инспектор Пилипенко сочетал в почерке ефрейторский шик с южной сентиментальностью, любовь к помпезности перемежал с девичьей пристрастностью к оборочкам, кружевцам. Пилипенко писал с двойным «р» слово «урегулировать», обычные предложения часто заканчивал восклицательным знаком, но слово «рассказал» писал через «з» и «с», а на двух страницах не поставил ни единой точки.

Сосновка в этот полуденный час казалась вымершей. Навстречу Прохорову шел только кривобокий старик, пробежали — одна за одной — две собаки неизвестной породы, неподвижно сидела на скамейке задумчивая старуха. Работающая деревня была пуста, как стадион после матча, и Прохоров почувствовал острую радость, словно после путешествия по желтой безводной и палящей пустыне вернулся наконец в маленький домик с прохладным и влажным липовым садом.

Захотелось сесть рядом с задумчивой старухой, закрыв глаза, прислушиваться к тому, как шелестит в ушах вязкая тишина; пришли бы в голову простые, ясные мысли, например о том, как растет капуста или как поворачивается лицом к солнцу подсолнух, или думалось бы о том, как в подполе прорастают белыми ростками картошка и стынет на льду запотевшая кринка с молоком... «Я буду купаться каждое утро, вот что, — подумал Прохоров и сам себе улыбнулся. — Буду вставать на заре, встречать солнце и купаться... Куплю большое полотенце...»

— Это что такое? — вслух спросил он, когда по тихой деревне пронеслось пронзительное лошадиное ржанье. — Это откуда же?

Повертев головой, Прохоров понял, что лошадиное ржанье доносится из старой, замшелой конюшни, нелепо примостившейся возле аптеки с высоким застекленным крыльцом. От конюшни струился запах навоза и лошадиного пота, возле дверей бродили белые куры, стоял древний козел с выщипанной бородой.

— Здравствуйте-бывали, бабуся! — вежливо сказал Прохоров задумчивой старухе. — Это кто же так иржет, так старается?

Задумчивая старуха подняла голову, без удивления посмотрев на Прохорова, неторопливо ответила:

— Бывайте здоровехоньки! А кто иржет? Так это жеребец. Прозывается Рогдаем, годок ему будет седьмой, масти он будет вороной...

Прохоров поставил на землю чемодан.

— А вот еще такой вопрос, — тоже задумчиво спросил он. — Как там, в орсовском магазине? Махровые полотенца есть?

— Их давно не бывает! — поразмыслив, ответила старуха. — Посудны — это ты еще сыщешь, те, которые в фафельку, тоже укупишь, а махровы — нет!

— Ну спасибо, бабуся!

И Прохоров пошел дальше, продолжая раздумывать над тем, где же мог все-таки обосноваться участковый инспектор Пилипенко. Нужно было явно сбросить со счетов те дома, из труб которых валил сизый дымок, пренебречь строениями старинной листовенничной вязки, считать ненужными дома с палисадниками, так как окна пилипенковского кабинета непременно должны были глядеть на улицу. Если человек пишет в протоколе «согласно наблюдению за передвижением», если сообщает, что, «находясь в стадии среднего

опьянения, гр-нин Варенцов шествовал вдоль улицы», то совершенно понятно...

Теперь он искал в Сосновке дом под железной красной крышей, ибо вспомнил, что в одном из протоколов Пилипенко, описывая происшествие, черт знает с каких пирожков упомянул о красной крыше дома свидетеля Никиты Суворова. Именно от этой детали протянулась ниточка к герани, к сияющим офицерским сапогам, к влажным глазам южанина, к той солдатской старательности, которой должен обладать человек, обращающий внимание на цвет...

Дом с красной крышей стоял на небольшой возвышенности, возле него на самом деле не было палисадника, окна действительно глядели прямо на улицу, на окне — вот вам, пожалуйста! — стоял цветок, не герань, кажется; цвет железа был скорее всего не красным, а коричневым, да и вывеска была не такой яркой, как ожидалось.

— «Согласно наблюдению за передвижением», — насмешливо повторил Прохоров. — И восклицательный знак, понимаете ли, в конце...

У крыльца Прохоров остановился, повернувшись спиной к дому, оценивающим взглядом посмотрел на деревню.

Ему понравилось то, что он увидел. С небольшой возвышенности деревня казалась чистой, уютной; широкая Обь так славно обнимала ее крутым изгибом, что Сосновка казалась вечно существующей на дымчатой серой излучине, а крохотность занятого человеком пространства была естественной перед рекой километровой ширины, низким серым небом, тайгой. Не было ничего лишнего, тревожащего; улавливалась гармония в сочетании серого с зеленым, тишины с небом, реки с кедрачами, крутого обского яра с пропадающим в дымке левобережьем... «Плохо, что я ленив!» — подумал Прохоров. Ему действительно было лень поворачиваться лицом к служебному помещению инспектора Пилипенко, не хотелось вообще двигаться, но, когда за спиной раздались удары железных подковок о твердое дерево, Прохоров неожиданно лихо подмигнул речной пространственности.

— Здравствуйте, товарищ Пилипенко! — не оборачиваясь, чтобы отдалить признание в собственной ошибке, сказал Прохоров, и уж тогда резко повернулся к человеку, портрет которого давно создал в воображении: томная соболиная бровь, грушевидный нос, влажные глаза, солдатская складка меж бровей, зеркальные сапоги, скошенная набок фуражка...

— Я Прохоров! — сухо сообщил он и мгновенно подсчитал процент ошибки: восемьдесят пять на пятнадцать!

Фуражка живого Пилипенко сидела на голове ровно, сапоги были тускловатыми, нос был, наоборот, тонким, с горбинкой. Все же остальное... «Ах, Прохоров, ах, умница!»

— Здравия желаю, товарищ...

— ...капитан, — сказал Прохоров. — Капитан!

2

Стараясь на первых порах не вникать в особенности пилипенковского кабинета, ухватывая только крупные подробности, Прохоров своей обычной — ленивой — походкой вошел в комнату, сморщившись оттого, что скрипели половицы, сел на табуретку, на которой, видимо, минуту назад сидел Пилипенко — сиденье было еще теплым, и с интересом посмотрел на туго обтянутый зад участкового инспектора: «Хорошо кормлен!»

— А вы присаживайтесь, присаживайтесь, товарищ младший лейтенант!

Участковый инспектор Пилипенко был открыто недоволен прямым, бесцеремонным взглядом Прохорова, так как, видимо, давно миновали те времена, когда участкового инспектора смели разглядывать бесцеремонно и пронзительно.

Он, участковый инспектор, видимо, уже сам привык смотреть прямо и бесцеремонно, и Прохоров не спешил отвести глаза — если человек пишет в протоколе «согласно наблюдениям за передвижением», если человек сидит у окна на табуретке, с которой просматривается вся длинная деревня...

— Молодца, Пилипенко! — сказал Прохоров. — После того как вы сели, могу сообщить, что трудно разговаривать с человеком, если он стоит, а рост у него сто восемьдесят два сантиметра. Надеюсь, вы заметили, Пилипенко, что я на голову ниже вас? — Прохоров иронически засмеялся. — Когда-то я себя утешал тем, что все великие люди низкорослы, но теперь мной командует двухметровый верзила, и, знаете, Пилипенко, я уже не думаю о собственной потенциальной гениальности.

...Восемьдесят пять процентов на пятнадцать — вот каков был процент ошибки Прохорова в портрете Пилипенко, так как капитан ошибся в предсказании не характера, а внешности участкового инспектора.

— Хорошо быть молодым и длинноногим! — восхищенно сказал Прохоров. — Можно, конечно, посчитать, что капитан из областного управления на пароходе надрался, и дисциплинированно молчать, думая: «Проспится — человеком станет!» Позвольте заметить: я трезв, как папа римский. Что же касается спанья, то вот здесь, — Прохоров показал пальцем на пустое место возле второго окна, — вот здесь вы поставите рас-кла-ду-ушку... На крыльце... на крыльце вы повесите медный рукомойник. — Он оживился. — Вы сможете найти, Пилипенко, настоящий медный рукомойник? Круглый такой, знаете ли, с затейливой крышечкой... Его надо надраить до солнечного сияния и наполнить колодезной водой.

Прохоров мечтательно смежил ресницы.

— Под рукомойник надо поставить ушат, от которого будет пахнуть сырым деревом и лягушками... Вы достанете медный рукомойник, товарищ Пилипенко?

— Постараюсь, товарищ капитан!

«Постараюсь! — мысленно передразнил его Прохоров. — Знал бы ты, Пилипенко, что самое опасное в тебе — вот эта самая старательность! Ты так старался описать место трагического происшествия, так подробно живописал положение трупа, так самозабвенно, высунув язык, вырисовывал злополучный белый, похожий на череп камень, что ослеп от собственной старательности. Ах ты, двухметровая, гладко причесанная исполнительность! Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого столкнули с подножки вагона, и человеком, который сам спрыгнул с подножки вагона?...»

— Скажите, товарищ Пилипенко, как называется этот цветок? — сердито спросил Прохоров.

— Невеста.

«Ну конечно, — возликовал Прохоров, — цветок в кабинете Пилипенко должен называться невестой! Герань — это слишком просто, незатейливо; в герани нет того оттенка пилипенковской души, как сентиментальность. Этот старательный человек непременно говорит женщине: „Горлинка ты моя незабвенная!“, неотрывно глядит ей в глаза и ласково перебирает пальцами какую-нибудь оборку на ее кофточке. И женщины любят таких, как Пилипенко».

— Я вам приказываю, младший лейтенант, не обращать внимания на болтливость старшего по званию! — строго сказал Прохоров. — Слушайте, почему вы скрипите табуреткой?

— Раскачалась.

— Сама не раскачается, если вы перестанете таращить на меня глаза! — обозлился Прохоров. — Я же не таращусь на человека, который не знает разницы меж тем, кого столкнули с подножки вагона и кто сам спрыгнул с подножки! Извольте не таращиться!

— Слушаюсь, товарищ капитан!

— Я хочу, Пилипенко, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишете школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова, — задумчиво сказал капитан Прохоров. — Забудьте о том, что вы милиционер — это раз! Не учитывайте того обстоятельства, что я лучше вашего знаю дело, — это два! И, ради бога, не старайтесь... Только не старайтесь!

Прохоров с таким же успехом мог попросить чеснок не пахнуть, как младшего лейтенанта Пилипенко не стараться: едва инспектор открыл рот, как все надежды капитана рухнули карточным домиком.

Пилипенко был милиционером и только милиционером; он и зачат был как милиционер, и сосал из груди матери милицейское молоко.

«Лишних два рабочих дня — вот чем это пахнет!» — грустно подумал Прохоров.

— Рассказывайте, Пилипенко!

— Двадцать второго числа мая месяца, — прокашлявшись, сказал Пилипенко, — в ноль часов двадцать три минуты машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на шестом километре от станции Сосновка — Нижний склад, в четырехстах метрах от дороги на Хутор, им был замечен лежащий на земле неизвестный...

Ей-богу, Прохоров еще не встречал человека, который так полно соответствовал бы собственному протоколу — буква совпадала с буквой, интонация с интонацией, всегдашняя приблизительность и полуправда бумаги жила в голосе Пилипенко той же полуправдой и приблизительностью... Прохоров отвернулся от инспектора Пилипенко, разглядывая свои блестящие туфли из настоящей кожи, пропустил огромный кусок инспекторской старательности. Думал он в это время о том, что сапоги Пилипенко с утра были тоже хорошо вычищены, но вот к полудню запылились.

— В час тринадцать минут я прибыл на место происшествия, — рассказывал Пилипенко. — В неизвестном, лежащем в трех с половиной метрах от пня, был опознан тракторист Сосновского лесопункта Столетов Евгений... Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об острый край камня, в результате чего наступила смерть...

«Уши надо было бы оборвать человеку, который в фискальных целях лишил служебное помещение палисадника, вырубив под окнами деревья, открыл доступ в комнату всему постороннему и лишнему. Почему, спрашивается, надо серой реке слушать о том, как лежал возле белого камня Евгений Столетов, какое дело трем прибрежным осокорям до плакатной улыбки бравого Пилипенко? Как, черт возьми, было не хмуриться небу, когда несли вот такую ахинею:

— ...расположение трупа и местонахождение места происшествия в четырехстах метрах от дороги на Хутор позволили вы-ра-бо-та-ть версию, что тракторист Столетов Евгений попытался на ходу спрыгнуть с платформы...»

И это говорил человек, который старательно — рулеткой! — измерил расстояние от трупа до

рельсов, приложил к делу сломавшийся каблук, снял по-дурацки точный чертеж с местности и сфотографировал все, что можно, кроме следов на обочине узкоколейки, а к приезду следователя из райотдела милиции прошел сильный дождь, почва откоса отплыла и сровнялась...

— Машинист паровоза гражданин Фазин из-за сильного потемнения, образовавшегося в результате наплыва густых туч на луну, не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова... Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубашка Столетова позволили вы-ра-бо-та-ть вторую версию о том, что Столетов Евгений не сам спрыгнул с платформы... Дальше...

Дальше пилипенковская казуистика не распространялась — приехал следователь райотдела милиции, пришел на размокший от дождя откос, назвав участкового инспектора ослом, передал труп судебно-медицинской экспертизе, а ровно через месяц по телефону сообщил Прохорову, что дело надо закрывать или...

«Или не закрывать», — подсказал ему Прохоров и положил телефонную трубку, добавив к первому ослу второго — следователя Сорокина...

— У меня все, товарищ капитан, — сказал Пилипенко таким тоном, словно выложил перед Прохоровым сокровищницу. — При необходимости могу доложить о связях Столетова Евгения. Следователь товарищ Сорокин...

— Не надо о Сорокине! — задумчиво перебил его Прохоров. — Лучше расскажите тысяча вторую сказку Шехерезады. Я хочу, чтобы вы закончили словами: «И это все о нем!» — Капитан ядовито ухмыльнулся: — Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы «Тысячи и одной ночи» историю каждого героя заканчивают гениальными словами: «И это все о нем!»

Честно признаться, выдержка Пилипенко начинала нравиться Прохорову. На лице Пилипенко не было и тени угодливости, и если бы, черт побери, не эта старательность, не это ощущение своего вечного милиционерства, не этот рот с плакатным изгибом губ...

Прохоров взглянул на часы. Его пребывание в Сосновке длилось всего час, но он уже чувствовал, как затихала в нем городская и пароходная жизнь, ощущал новый, замедленный ритм существования. Прохоров посмотрел на цветок — все в нем представлялось законченным, необходимым; перевел глаза на реку за окном — она жила в одном ритме с Прохоровым; поднес к глазам собственную руку — ему понравились ровно обстриженные ногти. «Раскачаюсь как-нибудь! — с надеждой подумал он. — Чего мне не хватает? Пустяка мне не хватает...»

Прохоров по-хорошему улыбнулся Пилипенко.

— Дело нельзя начинать с фразы: «Двадцать второго числа мая месяца на полотне железной дороги...» Хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начнешь так: «Жил-был в Сосновке двадцатилетний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый, любил он пельмени с уксусом...» И как только вы дойдете до слов: «И это все о нем!», я скажу, что произошло поздним вечером двадцать второго мая...

Прохоров встал. Он был невелик ростом — пиджак сорок восьмого размера (рост третий), туфли — сорок первого; костюм на капитане сидел несколько мешковато, галстук был того неопределенного цвета, который любят холостяки и бухгалтеры, костюм был не дорогой, но и не дешевый, зато на ногах у капитана сверкали очень дорогие, пижонские туфли французского происхождения, а из-под них выглядывали узорчатые носки.

— Наш девиз: «Все о нем!» — сказал Прохоров. — Областная прокуратура вернула дело

Столетова. Прокурор — мужик въедливый, дело знает наизусть. Будет по три раза в день звонить... Теперь я хочу видеть Андрея Васильевича Лузгина, пятьдесят первого года рождения, беспартийного, ранее несудимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего... Так вы достанете медный рукомоиник, Пилипенко?

— Постараюсь!..

3

Примерно через полтора часа Прохоров завершал тот путь, который проделывал трагически погибший Евгений Столетов: капитан минут пятнадцать дождался поезда на станции Сосновка — Нижний склад, около часа ехал в тряском и скрипучем, как старый диван, вагоне узкоколейки и наконец вышел на конечной остановке, которую станцией назвать было нельзя. Здесь рельсы нерешительно вползали в лес и обрывались.

Верный себе, Прохоров вышел из вагона последним, спрыгнув на землю, сладко потянулся... Пахло смолой, брусникой, влажной сыростью мхов, над вершинами сосен продолжало вырывать солнце, затянутое дымчатой пеленой туч; уступами стоял звонкий корабельный лес, через анфиладу колонн-сосен тайга просматривалась во все стороны, пространство от этого казалось бесконечным, и не было поэтому того ощущения задавленности, которое возникает в буреломистой тайге.

Игрушечные рельсы узкоколейной дороги делили пополам круглую, свободную от тайги площадку — эстакаду. На ней, задрвав в небо хоботы, стояли два погрузочных крана, несколько тракторов отдыхали поодаль, беспорядочно, как рассыпанные спички, лежали хлысты — деревья с обрубленными сучьями. Горели костры, с забубенной сложностью абстрактного рисунка всюду громоздились сучья, пни, обломки деревьев; торчали комли сосен со срезами, похожими на обнажившуюся кость. Во всем этом чувствовалось сладкое пиршество пилы и топора.

— Кр-кр-кх! — кричала в тишине ворона. — Кр-х-х!

Прохоров наблюдал за человеком в темной клетчатой ковбойке.

Неизвестный стоял в центре эстакады неподвижно; несуетностью, основательностью он напоминал камень, торчащий в могучем стрежне быстрой реки, о который разбиваются, меняя направление, мощные струи. Человек произносил неслышные Прохорову слова, делал властный жест рукой или просто кивал, но этого было достаточно, чтобы поток рабочих спецовок вечерней смены менял направление, останавливался, устремлялся вперед. В линии плеч, в широко расставленных ногах человека, в напряженной шее — во всем читались неторопливая начальственность, добродушная уверенность, целесообразное одиночество, но главное заключалось в том, что человек в клетчатой ковбойке был противоположен хаосу и разрушению, был тем фундаментом, на котором держалось живущее. Человек в клетчатой ковбойке созидал — вот какой у него был вид, и Прохоров лениво пробормотал: «Гасилов, Петр Петрович, девятнадцатого года рождения, беспартийный, несудимый, уроженец села Петряева Томской губернии...»

О Гасилова разбивались последние людские волны — он проводил добродушной гримасой суетного мужичонку в ярко-голубой майке, назидательно отстранил от себя парня с татуированными руками, молча осадил натиск дивчины с ногами-бутылками, и внимательно разглядывающий его капитан Прохоров мысленно послал к черту следователя Сорокина с его протоколом, тщательным почерком и дурацкой привычкой почти каждое предложение

начинать с абзаца. «Объявить Сорокину служебное несоответствие, содрать погоны, посадить за бухгалтерский стол...» — сладко думал Прохоров, стараясь сообразить, как мог человек-утес, человек-фундамент сказать для протокола следующее: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!»

Прохоров неторопливо пошел к человеку-утесу в ту самую секунду, когда заметил, что Петр Петрович Гасилов краешком глаза обнаружил задумчивое молчание незнакомого человека. Заранее предупрежденный по телефону, он, конечно, знал, кто стоит на эстакаде, но Прохоров уже понял, что ему предстоит испытать веселые перипетии начальственной бдительности, отбивать покровительственную атаку человека-утеса на несущественную разницу в их возрасте, преодолеть социальное расстояние между человеком, создающим истинные материальные ценности, и человеком, только охраняющим эти ценности. Поэтому Прохоров заранее нащупал в нагрудном кармане твердый переплет удостоверения, приглушенно улыбнувшись, понес навстречу Гасилову тусклый блеск равнодушных глаз.

— Я Прохоров! — негромко сказал он. — Вы — Гасилов.

— Здравствуйте, товарищ Прохоров!

Ошибка была так велика и непоправима, что капитан уголовного розыска приглушенно засмеялся... У человека, казавшегося каменным, среди гладкого, блестящего молодой кожей лица жили широко расставленные, умные, мягкие, интеллигентные глаза; линии рта были решительны, контурно очерчены, но и в них чувствовалась доброта, а на крутом лбу лежало несколько страдальческих морщин, и вообще — широкое, скуластое, коричневое лицо мастера Гасилова походило на морду старого и мудрого пса из породы боксеров.

Первое впечатление от Гасилова оказалось настолько сильнее профессиональной бесстрастности капитана Прохорова, что выработанное годами умение не поддаваться первому впечатлению отказало, как стершиеся тормоза. Три секунды прошло, не более, а Прохоров уже не думал о том, что из каменных губ мастера прольется снисходительное: «Сколько же вам лет, товарищ Прохоров?», а потом последует и тот вопрос, после которого человек-утес не только сядет на шею капитана Прохорова, но и свесит ножки: «Ах, вы не женаты, товарищ... кажется Прохоров? Как же так? Видимо, бросил семью? Ну, а парторганизация что? Небось выговорочек носите?»

Нет, ничего подобного не угрожало капитану Прохорову, никто не собирался покушаться на его профессиональную честь, и дело кончилось тем, что Прохоров почувствовал, как хорошо сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке с мастером Гасиловым. Петр Петрович будет дружелюбно и легко молчать, его неторопливый разговор будет занимателен, по-житейски мудр, а боксерье лицо сделается по-хорошему грустным. И весь он, Гасилов, был такой, что казались невероятными обремененные кавычками и восклицательным знаком слова: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!»

— Если вам нужен Андрей Лузгин, — мягко сказал Гасилов, — то спешите: он может уехать в поселок...

— Да, конечно... Задержите, пожалуйста, Лузгина.

После ефрейторской старательности инспектора Пилипенко, после сорокинской уверенности в том, что люди реже умирают сами, чем при содействии ближних, Прохорову было по-человечески приятно видеть доброе лицо мастера, по-собачьи мудрый лоб. Еще приятнее было, что и мастер Гасилов оценил Прохорова — ему, несомненно, понравился мешковатый костюм капитана, было оценено пижонство в обуви, понят нелепый бухгалтерский галстук в горошек и со старомодной булавкой. В мозгу Гасилова шла напряженная работа, да и Прохорову было о чем подумать. «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Что из этого принадлежит Сорокину, что Петру Петровичу Гасилову?

— Позовите Андрея Лузгина!

И пока лучший друг погибшего тракториста Андрей Лузгин шел через сумятицу эстакады, пока робко приглядывался к незнакомому человеку, Прохоров размышлял о том, что, кажется, столкнулся с выдающимся случаем в своей милицейской практике. Ни его специально культивируемый в утилитарных целях цинизм, ни профессиональная пронизательность, ни общеизвестная интуиция пока не могли обнаружить противоречий в облике и поведении мастера Гасилова. Ни признака наигрыша, ни зазубринки расчета, ни тени двойственности: цельность, глубина, непосредственность.

— А вот и Андрей Лузгин! — сказал Гасилов. — Знакомьтесь... Капитан милиции Александр Матвеевич Прохоров, тракторист Андрей Лузгин... Меня прошу извинить: дела!

— Здравствуйте, Андрей!

4

Убежденный в том, что лучшие друзья рекрутируются по принципу «лед и пламень», капитан разглядывал Андрея Лузгина с таким напряжением, с каким человек читает зеркальное изображение печатного текста: знакомый с Евгением Столетовым по фотографиям, капитан не давал себе ни секунды передышки, так как знал по опыту, что первое впечатление — самое сильное.

Евгений Столетов на групповой школьной фотографии был высок и худ, на девичьей шее незащищенно торчал острый кадык, в удлинённом лице молодая наглость соседствовала с обидчивыми кукольными губами, подбородок торчал, как кукиш, а глаза у парня были такие несговорчивые, словно его насильно втиснули в обалделый ряд товарищей, обрадованных возможностью зафиксировать навечно жадное ожидание будущего. Евгений Столетов выпирал из фотографии, торчал особняком, как одинокое дерево в поле; в руке, положенной на дружеское плечо Андрея Лузгина, чудилось желание оттолкнуть, закричать, уйти.

Андрей Лузгин в жизни, а не на фотографии, походил на спелое, пронизанное солнцем розовобокое яблоко. Круглое лицо парня было румяно, майка туго обтягивала налитые здоровьем плечи, стриженная под машинку голова казалась безупречно круглой. Он позволял Прохорову и солнцу проливать на него тепло и любопытство, так как в тот момент, когда Андрей Лузгин подошел к капитану, над тайгой и эстакадой наконец-то высунуло лучи дневное светило.

Прохоров и оглянуться не успел, как, подпрыгнув на собственных тенях, вытянулись в просветлившееся небо сосны, а в хаосе эстакады неожиданно обнаружился покой целесообразности. Во-первых, из страшноватой сумятицы веток, комлей и тупых обрубков эстакада преобразовалась в банальнейший реализм таежного бурелома, во-вторых, на хоботках кранов солнце зажгло отблески красных огоньков, в третьих, среди выросших сосен пространство эстакады оказалось свободным и легким, как вздох. Иная жизнь началась на солнечной эстакаде, сделавшейся веселой, как яблочные щеки Андрея Лузгина.

— Вот что, Андрей Лузгин, — деловито сказал Прохоров, — зовите меня Александром Матвеевичем...

Бесцеремонно повернув Андрея за плечи в сторону тайги, Прохоров обнаружил, что пышные плечи парня обросли продолговатыми, твердыми мускулами, кожа была грубой, как наждак, и вообще паренек-то, оказывается, был крепкий, сбитый, упругий, как шина тяжелого трактора.

«Ишь ты, какой бодрячок!» — подумал Прохоров, но руку на плече Андрея оставил.

— Мы получили ваше письмо, Андрей, — сказал Прохоров, и его рука, лежащая на тугом плече парня, спросила: «Вы — лучший друг Женьки Столетова, вы сидели на одной парте с ним, вы дружили с пятилетнего возраста... Как же случилось так, что вы, Андрей, греете на солнце веснушчатое лицо, а Женька Столетов лежит на деревенском кладбище?...»

Игрушечный паровозик закричал обиженно и тонко, лязгнули буфера; земля под Прохоровым и Лузгиным поплыла мимо стонущих вагончиков — это двинулся в обратный путь, увозя в поселок первую смену, специальный рабочий поезд; положенные на болотистую землю рельсы изгибались и поскрипывали, паровоз старательно работал поршнями, и через несколько секунд Прохоров почувствовал головокружение от того, что поезд внезапно прекратил движение, а земля, наоборот, оказалась движущейся и солнечность освобожденной от поезда эстакады хлынула в глаза.

На эстакаде все уже двигалось, все работало — сгибались и разгибались краны, напоздали медленные тракторы, из лесу доносился предупреждающий крик вальщиков «О-о-о-о!», затем раздавался длинный влажный удар падающего дерева.

— Вот и «Степанида»! — сказал Андрей Лузгин, показывая на трактор, медленно разворачивающийся на эстакаде. — Видите белые буквы?

Прохоров прищурился. И в областном управлении милиции, и дома перед отъездом, и на пароходе, и в кабинете инспектора Пилипенко он представлял, как подойдет к столетовскому трактору, пощупает теплый металл, помедлив в предчувствии счастливого озарения, заберется в кабину. Прохорову отчего-то надо было непременно сесть на рабочее место Евгения Столетова, посмотреть сквозь ветровое стекло, оказаться наедине с самим собой в ограниченном металлическом пространстве. Ему казалось, что это будет то мгновение, с которого он начнет отсчет своего рабочего времени.

«Степанида» сзади казалась нелепой, как все трелевочные тракторы, которым рабочее предназначение отрубил хвостовую часть. Впечатление было такое, словно легкомысленные люди взяли нормальный человеческий трактор и, пребывая в юмористическом настроении, шутки и развлечения ради подкоротили его... Кургузый, заносчивый, как щеголь в тесном фраке, трактор «Степанида» катился бодрым колом по пням и ямам, по кочкам и бревнам, по лужам и мелкоколесью в прозрачный сквозной сосняк, и шагающий за ним Прохоров пробормотал: «А ведь на самом деле Степанида!»

— Пусть все уйдут от машины! — сквозь зубы приказал он.

Прохоров оказался наедине с теплой, живой машиной, и это было именно так, как он представлял себе в областном управлении милиции, дома, на пароходе и в кабинете Пилипенко. Ему был нужен такой трактор, который в любое мгновение мог двинуться, хотелось, чтобы от мотора веяло ласковым и тревожным теплом, чтобы не было никого, кроме трактора, тайги и его, Прохорова. Закрыв глаза, он увидел Евгения Столетова на групповой школьной фотографии, зафиксировав упрямый, отталкивающий взгляд парня, деловито открыл глаза: «Не торопись, Прохоров!».

Он обошел машину, расставив ноги, в неподвижности начал глядеть на капот трактора, где над радиатором было написано белой масляной краской: «Степанида». Прохоров почувствовал властную неумность молодого заносчивого почерка. Писавший был так нетерпелив, что его выдержки хватило только на две первые буквы: в семи последующих Столетов уже спотыкался о необозримую вечность времени, две последние буквы, схватившись за руки, плясали, а нетерпеливый маляр даже на этом не мог остановиться — слово «Степанида» было подчеркнуто исчезающей к концу кривой линией.

— Степанида! — прислушиваясь, произнес Прохоров. — Степанида!

Он мог поклясться, что никакого другого имени, кроме «Степаниды», трактор не мог и не хотел иметь: трактор встал бы на дыбы, если бы его назвали, скажем, «Марией». Все в нем — от лобастого ветрового стекла до отполированных мхами гусениц — было от солидной, вальяжной и довольно хитроумной Степаниды — бабы толстой и смешливой. Да, эта машина могла быть только «Степанидой»: она выносила свое имя, как мать ребенка, существовала в мире именно как Степанида.

— Степанида! Степанида!

Примерив на себя движения, которые надо было сделать, чтобы забраться в кабину трактора, Прохоров поставил правую ногу на гусеницу, руку положил на скобу, левой ногой оттолкнулся от земли, хотя нисколько не сомневался в том, что юноша со школьной фотографии поступал наоборот: ставил на гусеницу левую ногу и за скобу брался левой рукой... «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Вот в чем была загвоздка, вот что надо было решить в первую очередь: сказал ли эти слова человек с лицом собаки боксера или их случайно извлекли из бухгалтерской души следователь Сорокин?

Прохоров сумрачно затаился в подрагивающей кабине, вызвав образ со школьной фотографии, опять закрыл глаза, затем снова деловито открыл их, чтобы понять, отчего же это над ветровым стеклом, на самом стекле и даже на свободном пространстве приборного щитка «Степаниды» висят вырезанные из журнала цветные фотографии и рисунки, изображающие негров, негров и негров, среди которых не было ни одной женщины, ни единого ребенка, а только старики. Сморщенные, как пустой кошелек, лица, глаза с библейской тоской, беспомощные, кукольные губы. Что это могло значить? Почему двадцатилетний парень коллекционировал фотографии стариков негров? И по какой такой причине он наполнил кабину машины карманными электрическими фонариками?

Раз фонарик, два фонарик, и над капотом фонарик, и за спиной фонарик...

Прохоров осторожно положил руки на рычаги машины. «Степанида» добродушно пофыркивала, солнце, пробив облака, опускалось уже за кроны сосен, вершины деревьев трепетали. Левую ногу поставить на сцепление, правой рукой хрустнуть шестернями передачи, нажать второй ногой на акселератор — мерное движение, болтающийся перед ветровым стеклом мир; неподвижные старческие глаза негров, одиночество металлической кабины.

Негры тревожили Прохорова, как шепот за тонкой стенкой. Он поерзал на жестком сиденье, сняв руки с рычагов, подул на пальцы, словно озябли... «...Из вещей погибшего Столетова в тракторе обнаружено: карманных фонариков — пять, старая полукожаная куртка, книга „Как самому сделать моторную лодку“, противосолнечные очки, соска-пустышка, перочинный нож...» Ну, а негры, гражданин Сорокин? Почему не вошли в опись негры? Негры ведь, гражданин Сорокин, глядели трактористу Столетову прямо в лицо.

Криво улыбаясь, Прохоров выбрался из кабины «Степаниды», оказавшись на земле, подошвами почувствовал, какая она прочная, верная, устойчивая.

— Погуляем, Андрей! — сказал Прохоров. — Выберем тихую поляну, сядем на пеньки...

Сосняк послушно сомкнулся за Прохоровым и Лузгиным, в углубляющейся тишине слышался телеграфный перестук дятлов, поляну покрывал нежный мох, и опять все было так, как Прохоров представлял в областном управлении милиции, дома, на пароходе... Он найдет лучшего друга Женьки Столетова — тракториста Андрея Лузгина, поведет его в тайгу, положит парню на плечо свою руку...

— Садись, Андрей.

Прохоров вынул из кармана большой носовой платок, развернул его, обдумывая каждое движение, аккуратно застелил срез короткого пенька. Все это он проделал так, словно на Прохорове не было мешковатого костюма, нелепого галстука, не торчали во все стороны продолговатого черепа жесткие волосы. Когда он сел, сделалось заметным, какое у него усталое, ночное лицо, горькие морщины у губ, и такие глаза, которые знают много о тракторах, деревьях, неграх, белых прирельсовых камнях, карманных фонариках, участковых инспекторах.

— Почему Женька Столетов коллекционировал стариков негров?

У Андрея Лузгина побледнели яблочные щеки: занудные движения капитана, полусумрак, ночное лицо, морщинки у глаз, похожие на бескровный след ножа, — все было такое, чего еще не видел девятнадцатилетний Лузгин, живущий в простом и ясном мире. В этом лузгинском мире люди умирали редко, смерть казалась инопланетной жительницей, сном, когда можно было проснуться.

— Отвечайте, пожалуйста, Андрей! Почему Евгений коллекционировал негров?

— Он давно вырезал изображения негров... Кажется, в третьем классе он взял в библиотеке «Хижину дяди Тома» и всю изрезал... В класс приходил директор, старуха библиотечарша, слепой завуч Викентий Алексеевич... Они тоже спрашивали: «Почему ты это сделал, Евгений Столетов?» Женька молчал...

— А карманные фонарики?

— Он боялся темноты.

Чирикнула в сосновом подросте пичужка, слева обиженно выла «Степанида», комары торжественно гудели над головой. «Забавный мальчишка!» — подумал Прохоров о Лузгине, но занят капитан был другим: мысленно поставил рядом с розовощеким парнем погибшего, несколько раз переместив их с места на место, заставил пойти по ночной деревенской улице. В руках длинновязого Женьки Столетова поблескивал фонарик, тонкий луч спотыкался на неровностях дороги, шаги тревожно отдавались в тишине... Лаяли собаки, холодно поблескивала река, мир представлялся станционным тупиком, за границами которого жили старики негры...

— О вашем письме, Андрей... — негромко сказал Прохоров. — Почему вы думаете, что Столетова убили?

У Андрея снова побледнели щеки.

— Я не писал, что его убили! — загораживаясь ладонями, воскликнул он. — Я писал, что не верю... То есть я не могу верить... Женька умел хорошо прыгать. Он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек... — Он прижал руки к груди. — Узкоколейные поезда ходят медленно...

Парнишка был, видимо, умен, откровенен, от ласковой вопросительной интонации умел вывертываться наизнанку, как рубаха, но в мире Лузгина, где смерть считалась исключением из правила, не существовало еще тончайших и многочисленных переходов между «да» и «нет». Поэтому было страшно выбирать между двумя полярностями, и необъяснимой жутью веяло от вопроса: «Почему вы думаете, что Столетова убили?» А вот Евгений Столетов, должно быть, мгновенно расправлялся с опасным «да» и «нет». Вырезал из журналов и книг стариков негров, трусил в темноте, показывал с фотографии незащищенный кукиш всему человечеству...

— По делу проходят три женщины, — задумчиво сказал Прохоров, — Людмила Гасилова, Анна Лукьяненко, Софья Лунина... Что вы знаете о них?

Лузгин сосредоточенно смотрел на свои темные от машинного масла руки.

— Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом, — медленно сказал он. — Тогда я ответил, что не знаю, а теперь... Когда вы спросили про негров, я подумал, что все расскажу... — Лицо у него вдруг сделалось несчастным. — Мне кажется, что вы хорошо относитесь к Женьке! — воскликнул Андрей. — Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич?

Прохоров покачал головой.

— Дурошлеп! — сказал он. — Яблочко наливное!

...На школьной фотографии Людмила Гасилова с бантиками на голове стояла по левую руку от Столетова, улыбалась классному окошку и была единственной из тридцати двух десятиклассников, кто не имел никакого представления о том, что стоит перед объективом фотоаппарата. Она также не подозревала о том, что ее локоть прикасается к бедру белобрысой соседки, что стоит она, Людмила, на крашеном полу и что на дворе — двадцатый век. Нельзя также было полагать, что красивая девушка торопилась навстречу жизни, — у нее было такое безмятежное лицо, какое, наверное, должно было иметь Сегодняшнее Благополучие, Счастье и Удача, а в окно девушка глядела только потому, что окно случайно оказалось в поле ее зрения, — с таким же успехом она могла глядеть на кончик носа белобрысой соседки, на обшарпанный учительский стол или на Женьку Столетова...

— Я все скажу, Александр Матвеевич! — жалобно проговорил Андрей Лузгин. — Понимаете, Пилипенко, Сорокин, ребята из райкома комсомола... А я ничего не могу сказать! Ведь вот что получается... — Он по-детски вздохнул. — Людмилу Гасилову он любил с шестого класса, говорил, что женится на ней, куда бы Людка ни уехала... Он часто об этом говорил, а я... Я старался перевести разговор на другое...

— Почему?

— Вы, может быть, тоже не поймете... Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька...

Андрей остановился, прикусив губу, немного помолчал.

— У Женьки ничего не было с Людмилой... Он только ходил... Он ходил к Анне Лукьяненко...

Сидел перед капитаном Прохоровым богатырь и прятал глаза, когда на язык просилось слово, обозначающее любовь; маячили перед капитаном могучие плечи, а парень мучился тем, что его погибший друг говорил о любви так, как она, любовь, того требует.

«Деревенщина!» — ворчливо подумал Прохоров.

А «деревенщина» все еще топтался на месте, все еще ковырял землю кирзовым сапогом сорок пятого размера.

— Он пошел к Анне Лукьяненко... Он почему-то пошел к ней, хотя собирался... Он хотел жениться на Людмиле.

...Из трех фотографий вдовы Анны Лукьяненко капитан Прохоров выбрал ту, где женщина сидела на обском берегу с тусклоглазой и серой, как мышь, подругой, и старательно подтверждала предположение, что покойный тракторист Столетов любил яркие вещи. Но если Столетов делал это осознанно, то какого же черта в его горячую голову пришло решение прыгать в ночь, в свистящий воздух, в смерть с камнем-черепом? Не мог он разве

погодить, если прекрасные глаза вдовы на фотографии умоляли?

— Не надо волноваться, Андрей! — насмешливо посоветовал Прохоров. — А вот лучше ответьте на такой вопрос... Когда ходил Столетов к вдове Лукьяненко? До или после коварной измены Людмилы Гасиловой?

У Лузгина смешно, как у голодного птенца, открылся розовый рот.

— Какой измены? Разве Людмила изменила? С кем?

Прохоров усмехнулся.

— Давайте-ка соблюдать статус-кво... Вопросы задаю я, вы на них отвечаете, затем, довольные друг другом, мы чинно расходимся... Когда ходил Столетов к вдове?

Пока Андрей с яростью рабочего слона, взбунтовавшегося от пустяка, переживал коварство, капитан Прохоров окончательно решил, что не бывает таких отношений между двумя людьми, где не существовало бы тайн друг от друга. Судя по той же школьной фотографии, Евгений Столетов принадлежал к тем, кто в несчастье замыкается, повалившись на кровать и сунув голову под подушку, наедине с самим собой решает вопрос: «Быть или не быть?»

— Он ходил к Анне после восьмого марта, — сказал Лузгин. — Девятого или десятого... Седьмого Анна тоже звала Женьку в гости, но он сказал: «Я не отмечаю женские праздники», а дня через три пошел... Мы гуляли у клуба, он вдруг говорит...

— Что?

— Он сказал: «Это словно умереть!» Потом ушел... В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги — длинные...

Прислушиваясь к тишине, Прохоров машинально отметил, что дятлы смолкли так дружно и внезапно, точно у них кончился рабочий день; уже не слышались тяжелые, бичующие удары о землю спиленных деревьев, ветер утишился в высоких кронах, так как в тайгу потихонечку да полегонечку вползал вечер: дышали прохладной ночью мхи и лакированные листья брусники, сосновые ветви так старательно пахли смолой, точно спешили вместе с дневным теплом истоньшиться до звонкой сухости, а совсем недалеко от Прохорова, оказывается, лежала мертвая молодая сова.

— Людмила Гасилова, она какая? — спросил Прохоров. — Добрая, злая, нервная, спокойная?

— Она красивая... Она очень красивая... — Андрей замолк, чтобы удивленно поднять брови.
— А вот какая она? Добрая, злая, нервная, спокойная... Она просто красивая и...

— И?

Андрей вдруг засмеялся:

— Я не знаю! Женька говорил, что Людмила всегда пасется... Ну вот! Вы ничего не понимаете!

...На школьной фотографии Людмила Гасилова не была просто красивой — там по левую руку от Женьки Столетова стояла обыкновенная, самая заурядная красавица. Доморощенный фотограф был настолько немудрящ, что не стал выбирать лучший ракурс, а снял десятиклассников как бог велел, и вот из просто красивой Людмилы Гасиловой родилась красавица. Эти ласковые брови, этот искусно вылепленный классический нос, эти безмятежные глаза — поклясться можно, что серые! — этот изгиб шеи, который пошляк

назвал бы лебединым, этот подбородок...

— Людмила похожа на молодую корову, — осторожно, точно на ощупь, проговорил Андрей Лузгин. — То есть внешне она не корова, она красивая, но... — Глаза у парня сделались несчастными. — Чепуха какая-то! Ну как вам объяснить?... Тигр охотится на антилоп, орел — на зайцев, человек работает, учится, читает, Людмила — пасется... Да вы сами все поймете, когда увидите ее...

Кожей лица, спиной, коротко остриженным затылком Прохоров чувствовал холод остывающей тайги. В безветренном воздухе нагнеталась стеклянная прозрачность, звуки двоились, как в лабиринте пустых комнат, сосновые иглы увлажнялись, словно после тяжелого дня покрывались трудовым потом; ветви казались мягкими, нежными, ими хотелось, как веером, опануть лицо, горящее от безжалостных комариных укусов.

— Чем непонятнее, тем лучше... — проговорил Прохоров и туманно улыбнулся. — В принципе общение двух людей способно дать только примитивную информацию... Да или нет. Нет или да. Эмоциональная окраска опасна! Спросите-ка у Гулливера: «Где вы находились в тот час, когда остроконечники и тупоконечники вошли в заговор?» Не правда ли, Андрей, хочется тут же арестовать Гулливера?

...У девятнадцатилетнего Евгения Столетова на школьной фотографии ноздри были гордо и в то же время незащищенно раздуты. Запахло ли в классе черемухой, приплыл ли слева аромат девичьих волос, пахнуло ли от горячего пола масляной краской — какое это имело значение, если рука на дружеском плече Андрея лежала так, словно Столетов хотел оттолкнуться, уйти, исчезнуть. Разве можно было сомневаться, что вечером двадцать второго мая эта длинная и худая рука что-то перечеркнула, на чем-то поставила крест или... «Что произошло двадцать второго мая?» Прохоров мысленно передразнил Сорокина: «Обыкновенный рабочий день!» Дура!

— Вы упрямец, Андрей Лузгин! — недовольно сказал Прохоров. — Я вас просил рассказывать откровенно, а вы... Мямлите, жуετε мочало, играете на растрепанных нервах усталого капитана... Вот извольте-ка преподобно рассказать о вечерних событиях двадцать второго мая! Советую начать так: «В тайге еще жили майские холодные снега...» Подходит?

Андрей вздохнул:

— Подходит!.. В тайге еще жили... ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...в тайге еще жили майские льдистые снега, лужи в лесосеке покрывала радужная нефтяная пленка, солодкий запах оттаивающей земли щипал губы; резиновые сапоги по щиколотку проваливались в кашу из хвои и снега, сосны хлюпали на ветру ветками, как мокрое белье на веревке. Насвистывая «Черного кота», Евгений Столетов развернул «Степаниду» в центре эстакады, помедлив секундочку, с размаху бросил машину на гору бревен, чтобы тупой лоб трактора проткнул низкое небо ослепшими фарами. Когда стало ясно, что машина перевернется на спину, если гусеницы сдвинутся еще на сантиметр, Женька выбрался из кабины, счастливо улыбувшись, поманил пальцем такого же счастливого Андрея Лузгина.

— Притыкин! — ласково сказал Женька. — Зри. Стоит курит сигарету... Пошли?

— Пошли! — обрадовался Андрюшка. — От него с утра опять попахивало.

Бригадир Притыкин на самом деле курил сигарету «Прима», круглое, узкоглазое, налитое здоровьем и водкой лицо было таким красным, словно с него содрали наждачной бумагой кожу. Вразнотык торчали лошадиные прокуренные зубы, животной радостью бытия веяло от каждого сантиметра сутулой, кривоногой фигуры. Заметив приближающихся парней, Притыкин стиснул зубы, переступил с ноги на ногу нетерпеливо, с фырканьем, как уросливый

жеребец.

— Иван Михайлович, голубчик! Родной! — еще на ходу жалобно закричал Женька Столетов.
— Себя не жалеешь, нас пожалей!

— На кого ты нас спокинешь! — рыдая, подхватил Лузгин. — Пожалей ты нас, сироток! Побереги ты нас, больных!.. Ой, глядите, люди добрые, как ходит наш Иван Михайлович рядом со своей смертушкой! — Причитая, обнажив поникшие головы, парни подошли к бригадиру Притыкину, согнув ноги, хотели уж было пасть перед ним на колени, да успели поддержать друг друга — Женька Андрея за плечи, Андрей Женьку — за талию. Молитвенным безмолвным движением они протянули дрожащие руки к отступающему Притыкину, жутким шепотом промолвили:

— Не с той стороны, Иван Михайлович, не с той...

— Рак! — слезно зарыдал Андрюшка Лузгин. — Если куришь сигарету с другой стороны — рак! Ой, что ты делаешь, Иван Михайлович? Чем тебе жизнь опостылела, что ты нас спокидаешь? Мы ли тебя не любим, мы ли тебе не служим!

— Дифференциальное интегрирование... — в забытьи шептал Столетов. — Разгерметизируется вестибулярный аппарат, правая плоскость эклиптики сойдется с Леонардо да Винчи в области вальпургиевой ночи...

Рука Женьки Столетова медленно поднялась, подползла к губам опешившего бригадира, вынула из них сигарету «Прима» и вставила ее обратно, но другим концом.

— Будет жить! — восторженно заорал Женька Столетов. — Мы, мы вернули к трудовой жизни товарища Притыкина!

Притыкин пришел в себя только тогда, когда услышал повальный хохот на эстакаде, увидел, как заблаговременно отходят на безопасные позиции Столетов и Лузгин. Смеялись в сквозных от солнца кабинах крановщики, катались от хохота трактористы, зацепщики, чокеровщики, мотористы бензопил, сдержанно улыбался в окне вагонки мастер Гасилов; две смены рабочих смеялись над бригадиром Притыкиным, и только двое не смеялись — сам Притыкин и тракторист «Семерочки» Аркадий Заварзин.

Узкоколейный паровоз трижды просительно прогудел, под сапогами заторопившихся рабочих захлюпала вода, пробуяще всплакнул сиреной один из погрузочных кранов: рабочий поезд уходил в Сосновку, и парням пора было садиться в вагон, но Женька Столетов задумчиво стоял на месте — козырек серой кепки надвинут на глаза, на худой длинновязой фигуре топорщилась промасленная спецовка, согнутые руки были плотно прижаты к бокам.

— Женька, поехали! — позвал Андрей Лузгин, но Столетов не услышал. — Женька, ну, Женька!

За решетчатым окном передвижной столовой виделся мастер Петр Петрович Гасилов; переходя от окна к окну, то исчезал из поля зрения, то появлялся — весь освещенный весенним солнцем. Столетов приподнялся на носки кирзовых сапог, вытягивая шею, наблюдал за ним, лицо у него было такое, словно оборвалось все, что связывало Женьку с лесосекой, тайгой, эстакадой, словно только двое оставались в мире — Столетов и мастер Гасилов.

— Опоздаем! Ты слышишь? Опоздаем! Женька же...

Женька Столетов неотступно глядел на смутный силуэт мастера Гасилова, а в Женькину спину с тем же выражением смотрел тракторист Аркадий Заварзин — перенес тяжесть тела с

одной ноги на другую, поставил локти на теплый металл трактора.

— Вот и опоздали!

Оставив на эстакаде запах сухого пара и березовых дров, поезд быстро скрылся. Во всю ивановскую уже работали тракторы и краны, стучало сырое дерево, ветер свистел в кронах; было действительно холодно, зябко; после ухода поезда на эстакаду со всех сторон хлынула пустота.

— Женька, что с тобой?

Ошеломленно, словно пробуждаясь, Столетов повел плечами, зажмурил глаза, поежился. Тяжелая овальная капелька холодного пота выползла из-под козырька серой фуражки, добравшись до брови, растеклась по ней. Столетов хрипло засмеялся, больно сдавил тонкими пальцами локоть Андрея Лузгина, приблизил лицо к лицу... Рот у Женьки маленький, круглый, похожий на рот государя Петра Великого с известного портрета; рот окружали твердые короткие мускулы, верхняя губа казалась припухшей.

— Заварзин тоже остался! — прошептал Андрей. — Стоит за спиной...

— Знаю! Я его чувствую!.. Пойду один!

— Один не пойдешь!

Снова переменивший положение тела, тракторист Аркадий Заварзин казался распятым на темном тракторе — раскинул руки по щиту, склонив голову, страдательно-ласково глядел на Столетова. У него было красивое, твердо очерченное лицо, кожа казалась нежной, бархатной, ресницы были длинные, загнутые, и одет он был слишком вызывающе для тракториста: хорошие джинсы, прошитая белыми нитками кожаная куртка, на темной рубашке — галстук.

— Стоите? — вежливо спросил его Женька. — А ведь трактор-то мой... Стояли бы, гражданин, у своего трактора!

Заварзин и теперь не двигался; весь он был задумчивый, ленивый, мягкий в суставах, как неподвижно лежащая возле мышиной норы кошка. У ног тракториста расплывалась радужная лужица, отсвет от нее падал на бледное лицо. Наконец Аркадий Заварзин нежно улыбнулся, поморгав, сказал:

— Я три раза тебя предупреждал, Столетов: не ставь машину торчком! А больше трех раз я не предупреждаю...

Он поднес руку ко рту, пощупал нижнюю яркую губу.

— Придется выдавить тебе глаза, Столетов... Легче отсидеть червонец, чем видеть, как ты топчешь землю!.. Ну почему ты, Столетов, не послушался меня? Просит же человек: «Ставь трактор ровно!», отчего не уважить? Человек человеку — друг, товарищ и брат.

Вдалеке одиноко закричал ушедший поезд, размножившись в тайге, эхо долго шаталось между деревьями, потом оборвалось так резко, точно звук прихлопнули мягкой тряпкой.

— Выдавлю тебе глаза, Столетов, человеком стану... Я ведь не живу, а существую, когда ты по земле ползаешь... В тюрьме спокойнее... Глаза твои не видеть... Спать хорошо буду...

Аркадий Заварзин выпрямился, протянув руку, ласково положил ее на высокое плечо Евгения Столетова, и показалось, что Заварзин потянулся, начал расти.

— Пошел на Гасилова? — сочувственно спросил Заварзин. — Неужели не понимаешь, родной, что ты это на меня поднял руку?... Ты чего, родной? Почему на меня не глядишь? Глазеньки бережешь?...

Из передвижной столовой вышел мастер Гасилов, остановившись возле края эстакады, выпрямился, огляделся с начальственной ленцой; весь он был безмятежный, по-весеннему светлый, по-домашнему уютный. На нем хорошо сидела скромная рабочая куртка, мудрое лицо непритязательно улыбалось солнцу, волосатые руки добродушно сцепились на подтянутом животе. Славный, хороший, добрый!

— Глаза ты мне выдавишь попозже, Заварзин! — тихо сказал Женька и, повернувшись, пошел к Петру Петровичу Гасилову, продолжая бормотать: — С глазами потом, потом, Заварзин... Все потом, все потом...

Он уже двигался стремительно, как бы падая вперед, казалось, что Столетова подгоняет сильный ветер; он и со спины походил на молодого царя Петра — не хватало только палки и развевающегося кафтана. Шагая, Женька в мелкие брызги раздавливал голубые лужи, щепки веером летели из-под длинных ног, — изломанная тень взволнованно волочилась за ним, пересекая бревна, пни, машины, людей, желтые сосны. Подойдя к Гасилову, Женька что-то сказал ему, мастер в ответ улыбнулся, тоже что-то сказал, затем они быстро вошли в вагон.

— Люблю молодых дураков! — услышал Андрей мечтательный голос Аркадия Заварзина. — У молодого дурака спина прямая, ноги — палками. — Он вдруг кокетливо улыбнулся. — А ты умнее Столетова, дружок! У тебя спинка мягкая, бабья, с желобочком...

Андрей слушал его вполуха, неуважительно — главное было там, в вагоне передвижной столовой, где металась между окнами длинная фигура Женьки, где мастер Петр Петрович Гасилов стоял соляным столбом. С Аркадием Заварзиным проблема решалась просто: взять его за отвороты пижонской куртки, приставить спиной к сосне: «Если пикнешь, тут тебе и карачун!» Короткий удар в золотозубый рот, второй удар — в солнечное сплетение, беспокойная мысль: «Не слишком ли?...»

— Поехали домой, Заварзин, — медленно сказал Андрей. — Я без тебя не уеду! Грузовой состав формируется, поехали!

Мелко семеня, торопясь и поскальзываясь, подходил к ним сменщик Столетова — маленький, сморщенный, сорокалетний мужичонка Никита Суворов в такой короткой телогрейке, что из-под нее высывалась сатиновая рубаха. Он на ходу восторженно всплескивал руками, личико было умиленным, глаза сияли.

— Ну, ты гляди, народ, чего делается! — восторгался Никита. — Он ведь лететь хочет, трактор-то, лететь! Он ведь ровно селезень, когда от воды отрывается... Ах ты, мать честна! До чего же этот Женька чудливый!.. Ты отойди, Арканюшка, от трактора-то, отойди! Неровен час — перевертается... Ну, этот Женька такой чудливый, что от него ложись на землю да помирай...

...Спешно темнело в лесу, в пролетах сосен мелькали огоньки тракторных фар, рокот моторов был так отчетлив, словно поляна, на которой сидели Прохоров и Лузгин, вплотную приблизилась к лесосеке. В полумраке лицо деревенского богатыря казалось расплывшимся, круглым, белые пятна кулаков покорно лежали на коленях. Закончив рассказывать, он вздохнул:

— В Сосновке я самый сильный! Вот Заварзин и поехал со мной... — Он опять остановился, наклонившись к Прохорову, изумленно спросил: — Почему вы не интересуетесь Заварзиным?

Разве вас не волнует, почему он угрожал Женьке? А вы все время расспрашиваете о Гасилове.

Прохоров промолчал. Он слушал Лузгина лениво, рассеянно следил за блуждающими в лесу огнями, лицо у него было скучное, и думал Прохоров о далеком: вспомнилась родная деревня Короткино, теплая зима тридцать девятого; потом взбодрилась ручьями дружная весна, превратившись в лето, вывела из березняка стайку девчат в красных и синих косынках, взявшись за руки, девчата спускались с веселой горушки, но пели грустное: «Меж высоких хлебов затерялся...» Затем Прохоров увидел свою мать. Молодая, насмешливая, шла она с коромыслом на покатых плечах, улыбаясь, подпевала девчатам: «...горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело...» Потом появился отец с желтой сетью в руках, ворча, пошел навстречу матери; поплавки из балберы[1] волочились по земле, приятно постукивали... Прохоров помотал головой, с досадой понял, что ему теперь долго не отвязаться от песни «Меж высоких хлебов затерялся...» — будет путаться в нужных мыслях, застревать между словами, першить в горле.

— Все, что вы рассказывали, правда, правда и только правда! — задумчиво сказал Прохоров. — Врать вы не умеете, Лузгин, но... почему правда в вашем рассказе кончилась на словах Заварзина: «Пошел на Гасилова?» Что вы утаиваете от меня?

Старинная песня продолжала работать. Прохоров посмотрел на темную землю — она пела: «...горе горькое по свету шлялося...», перевел взгляд на смутную во мраке сосну, та продолжала: «...и на нас невзначай набрело...» Он опять pokrutil головой, со злостью убил на шее комара.

— Меня не обведешь вокруг пальца, товарищ Андрей! После слов «Пошел на Гасилова?» картина исказилась... Что вы скрываете? Почему сообщаете полуправду?

Лузгин отклонился назад, скрытый темнотой, — виделась только полоска белых зубов — затаился в молчании. Затем выдавил из темноты:

— Да ничего я не скрываю!.. Война Гасилову была объявлена давно... Вот Заварзин и сказал...

Лгунишка! Птенец! Кого он хотел обмануть? Капитана Прохорова, того самого, который... Прохоров опять стоял на яркой деревенской улице, с коромыслом шла навстречу мать, поплавки из балберы стукотали весело, как деревянный ксилофон... Черт возьми, он, оказывается, не знал всех слов песни «Меж высоких хлебов затерялся...». Что там шло дальше, за словами «и на нас невзначай набрело»? Прохоров закусил губу, чудом удержался от того, чтобы не спросить у Лузгина, что там шло дальше.

Поднявшись, он понял, что кончился теплый, ясный вечер, что на землю опустилась холодная нарымская ночь, пронзенная длинным светом звезд. В просвете сосен висел экзотическим бананом месяц, от земли поднимался пряный туман, плавал простынными полосами; злыми голосами ревели тракторы, желтые пучки света качались в темноте прожекторами осени сорок первого года. Ночь была, ночь.

— Меж высоких хлебов затерялся... — безнадежно пробормотал Прохоров и выругался: — Черт знает что там такое набрело!

Стуча сапогами, участковый инспектор Пилипенко вышел из кабинета, большая навозная муха, жужжа, билась о стекло, разошедшийся пол раздражающе скрипел, а в дополнение ко всему ныл зуб мудрости, который давно надо было бы выдрать. Сам капитан Прохоров стоял у распахнутого окна, глядел на реку, по которой празднично двигался большой белый пароход «Козьма Минин». В пух и прах разодетый капитан сидел на ходовом мостике, по верхней палубе гуляли пассажиры, блестели стекла, яркие спасательные круги, белые переборки. «Уехать бы! — размышлял Прохоров. — Забраться в одноместную каюту, взять с собой „Трех мушкетеров“...»

Бог знает что с ним происходило! Пилипенко вызывал острое — до боли в висках — раздражение, ночь провел отвратительно, с раннего утра мучила изжога, а минуту назад он забыл, как зовут Гасилова... Прохоров ленивыми движениями снял галстук, бросил его на раскладушку, застеленную белым пикейным одеялом, искоса посмотрел на тетрадную страничку, которая, оказывается, была зажата в его правой руке. Нет, действительно, что с ним творится?

Прохоров поднес страничку к глазам, сморщившись, прочел: «Большинством голосов проходит предложение товарища Столетова». Дальше — жирное многоточие, затем шли написанные каллиграфическим почерком ошеломительные слова: «Просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова!», а кончалось все торжествующим восклицательным знаком. Протокол комсомольского собрания писала, видимо, девушка лет семнадцати, можно было дать голову на отсечение, что писавшая белобрыса, светлоглаза, волосы заплетает в косички, на клубных танцах забивается в темный угол и глядит на Женьку Столетова обожающими глазами. «Не протокол, а любовное объяснение! — рассердился Прохоров. — Не смотреть надо было на Женьку, а получше записывать! Больше было бы пользы...»

«Снять с должности мастера Гасилова!» А за что?

«Белобрысая холера! — ругался Прохоров. — Не могла как следует записать речь обожаемого Женечки, глядела, дуреха, ему в рот, пропускала целые куски. А вот теперь возись, ищи ветра в поле, восстанавливай Женькину речь по словечку...»

Капитан Прохоров еще раз выругал белобрысую, когда почувствовал, что не справляется с собой, — этот дурацкий протокол, нашпигованный любовью, эта тоска девчонки по несбыточному, этот восклицательный знак... Он почувствовал редкий запах арабских духов, в полутьме прошуршала твердая синтетическая юбка, сделалось пусто, прохладно, точно на сквозняке, и низкий, почти мужской голос проговорил насмешливо: «Капитан Прохоров звучит лучше, чем майор Прохоров!» Женщина засмеялась, словно аплодируя, похлопала ладошкой о ладошку. «Давно замечено, — сказала она, — что на улицах майоров в два раза больше, чем капитанов. Боже! Майорами хоть пруд пруди!» В желтоватых пальцах Веры дымила забытая сигарета, лежал на тахте скомканный носовой платок. Он глядел на него и скучно думал: «Красивая женщина!»

Белый пароход «Козьма Минин» давным-давно скрылся за крутым поворотом сиреневой реки, по улице шли два босоногих мальчишки с удочками, размахивая руками и ужасаясь: «А Гошка ка-ак прыгнет, ка-ак подскочит...» Зачем прыгал Гошка, какого черта ему надо было подсказывать, осталось неизвестным, и Прохоров решил, что Гошке никакой нужды подпрыгивать не было, как и у Андрюшки Лузгина не было никаких оснований для вранья. А ведь темнил, такой-сякой, скрывал что-то, забивался в тень, когда понял, что проговорился...

Предстояло ответить на сто, тысячу, миллион вопросов! Почему мастер Гасилов произнес чужие слова: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Был ли сегодняшний Аркадий Заварзин способен столкнуть Женьку Столетова с подножки платформы? Что скрывал Андрюшка Лузгин? Спал ли парень, похожий на государя Петра, с Анной

Лукьяненко? Почему не замечает фотоаппарат Людмила Гасилова? Почему до сих пор нет инспектора Пилипенко, ушедшего за техноруком Сосновского лесопункта? Уж технорук-то должен знать, что случилось на лесосеке двадцать второго мая...

Технорук Сосновского лесопункта Петухов шел позади внушительного Пилипенко такой роскошный, что капитан Прохоров начал ожесточенно скрести короткими ногтями до сияния выбритый подбородок: «Батюшки мои!» Да и как было не удивляться, когда пыльной сосновской улицей двигался джентльмен английской выпечки — шляпа на нем была чрезвычайно короткополая, туфли сверкали активно, а о костюме ничего, кроме «Ах!», сказать было нельзя — такой был переливчатый да по-заморскому затаенный. Этому костюму не по Сосновке бы ходить, а по московской улице Горького — между магазином «Подарки» и лошадью Юрия Долгорукого.

Узкой лодочкой выставляя ладонь, Прохоров пошел навстречу техноруку Петухову.

— Если накричите на меня, будете правы, товарищ Петухов! — говорил Прохоров. — Попросив вас в рабочее время прийти сюда, я нарушил... Я все нарушил, черт побери! Секите повинную голову...

Не давая Петухову опомниться, капитан подмигнул Пилипенко: «Смотайтесь-ка!», не опуская руку технорука, повел его к удобному стулу, на ходу общительно беседуя:

— Я вчера, понимаете ли, простудился, знобит, знаете ли, ломит кость, как говаривал мой покойный дед... Ба-альшой был оригинал! Простуду, знаете ли, лечил спиртом, любое количество делил на пять частей: пять четвертых во внутрь, одну пятую — натирать грудь! Каково, Юрий Сергеевич!

Можно было себе представить, как удивился бы технорук Петухов, если бы узнал, что никакого деда, лечившего простуду спиртом, у капитана Прохорова не было, — дед по отцу погиб в гражданскую войну, дед по матери в рот не брал спиртного, а болтовня о чуде деде капитану была нужна только для того, чтобы приглядеться к техноруку Сосновского лесопункта.

— Каково, Юрий Сергеевич! Деду-то было семьдесят пять... Были люди в наше время, не то что, знаете ли, нынешнее племя... Забавный был дед, забавный!

Прохоров постепенно снижал голос, наблюдая, как устраивается на стуле Петухов: сначала технорук положил ногу на ногу, но эта поза показалась неудобной — он ногу снял; затем поставил локоть на край стола, подвигал им так, словно проверял прочность доски, но опять что-то не понравилось — убрал локоть, подумал, скрестил руки на груди, одновременно отыскав спиной покойное положение на спинке стула. В такой позе Петухов и устроился — перестал двигаться, безмятежно смотрел на Прохорова коричневыми с крохотной искоркой глазами.

— Чем обязан? — спросил он и так подвигал губами, словно сдерживал зевок. — Я уже беседовал с товарищем Сорокиным.

Было ясно, что человек, умеющий так удобно устраиваться на стуле, знает цену словам, не торопится выкладывать на тарелочку с голубой каемочкой все то, что ему известно. Поэтому капитану Прохорову придется работать головой втрое больше, чем обычно, — достраивать за Петухова картины, выуживать меж словами нужное. «Брянская область, деревня Сосны, шесть километров до границы с Белоруссией, отец погиб в сорок втором... Парнишке тогда было около двух лет...»

— Вы неторопливы, Юрий Сергеевич, — одобрительно сказал Прохоров. — Я живу в Сосновке второй день, но уже чувствую, как затихает вот здесь... — Он постучал себя по

груди, — ... вот здесь лихорадка городской жизни. Я говорю слишком напыщенно? Да? Слишком красиво?

— Есть немножко! Теперь многие говорят красиво...

«И одеваются...» — подумал Прохоров, стараясь определить, из какого материала сшит петуховский костюм; он блестел, переливался, был мягким, но немнущимся, из нагрудного кармашка — в будний-то день, в деревне-то! — торчал уголок шелкового платка. А какие у Петухова носки, туфли, как замороженно лежал на ослепительной рубашке галстук! А запонки! Настоящий янтарь в золотой оправе...

— У меня слабость к хорошей обуви, — признался Прохоров. — Однако ваши туфли... Где брали? — голосом любопытной бабы спросил он.

— В ГДР.

— И костюм там же?

— Там же.

Вот каков бывший мальчишка из брянской деревни Сосны! Езживал по заграницам, ходил в будний день по деревне в таком костюме, которых в областном центре насчитывалось два-три...

— Мир тесен, как студенческое общежитие, — словоохотливо сообщил Прохоров. — Я был, представьте, в ваших Соснах... Подразделение, в котором лейтенант Прохоров изображал командира минометного взвода, освобождало Брянскую область...

Прохоров представил деревню Сосны: увидел древние избы, сбегаящие к узенькой речке, услышал скрежещущий звук колодезного журавля; две женщины стояли у колодца, застыв ладонями глаза от солнца, глядели в солдатские спины. Он подумал, что одна из женщин у колодца могла оказаться матерью Петухова, а сам — тогда еще трехлетний — технорук мог стоять среди ребятишек, обступивших дорогу, по которой шли молчаливые солдаты.

— Вы еще больше удивитесь, Юрий Сергеевич, если узнаете, что меня ранило под Соснами...

Однако удивился не Петухов, а сам Прохоров. Поразительно было, что на лице технорука не отразилось даже любопытства, когда он услышал о родной деревне, и только сообщение о том, что Прохорова ранило, вызвало обязательную улыбку сочувствия на твердых губах. «Вот как!» — сказали глаза Петухова.

— Последний раз в Соснах я был четыре года назад, — не догадавшись остановиться, досказал Прохоров. — За речкой похоронен друг моего детства...

Прохоров поморщился от солнца, отраженного раскрытой створкой окна, выпрямил усталую спину: «А вот Петухову небось удобно... У него небось поясница не ноет!»

— Вы давно были в Соснах? — спросил он.

— Давно ли?... Лет семь назад...

Прохоров сосчитал: два года Петухов работал в Сосновке, пять лет учился в институте; значит, он наезжал в родную деревню перед поступлением на учебу. До института, вспоминал Прохоров, теперешний технорук три года был трактористом; очерк о нем однажды опубликовала даже центральная газета.

Безмятежность технорука Петухова, способность молчать без вопроса в глазах: «А что дальше?» — оказались вдруг нужными Прохорову. У него теперь было время наблюдать за техноруком, вспоминать Сосны, сравнивать, сопоставлять, отдыхаясь глядеть за окно, где плыла под синевой неторопливая Обь, суетился маленький зачуханный катер.

— Вернемся к нашим делам, — отдохнув, сказал Прохоров. — Меня интересует... Вы присутствовали на том комсомольском собрании, когда было принято знаменитое решение... Чего добивался Евгений Столетов?

Прохоров внезапно понял, чего не хватало лицу технорука, — работы мысли. Именно от этого заграничный костюм Петухова казался снятым с чужого плеча, лицо — не интеллигентным, а грубо сколоченным, толстокожим. Человек с таким лицом не мог спрашивать: «Чем обязан?», не был способен ухаживать за Людмилой Гасиловой или откровенно рассказать о том, что произошло на лесосеке во время первой смены двадцать второго мая.

Несколько секунд Петухов спокойно раздумывал, глядел на Прохорова неподвижными глазами, затем равнодушно сказал:

— Мальчишество!

Они постепенно соединялись, мало-помалу, съезжались вместе — деревня Сосны и три года работы на тракторе, Людмила Гасилова и черствое равнодушие к родной деревне, слово «мальчишество!» и падающая вперед при ходьбе фигура Евгения Столетова. Трудно еще было сказать, в какой последовательной связи существовало все это, но предчувствие открытия ощущалось Прохоровым, как щемящее беспокойство.

— Поехали тогда дальше, Юрий Сергеевич!

Бац! Лицо технорука сделалось интеллигентным, лобастым, умеренно умным: это заработала его точная, неторопливая, всегда деловитая мысль.

— Смысл речи Столетова уловить было трудно, — сказал Петухов. — Еще труднее передать... Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином... Это запомнилось потому, что обладало конкретностью...

Петухов вспоминал добросовестно, гладкая речь складывалась из обдуманых, не случайных слов.

— Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности, но фактов не привел... Затем... Затем опять провал... Пожалуй, запомнилась еще одна фраза: «Гасилов не похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит, а Гасилов не правит и не царствует!» Столетов был предельно эмоциональным человеком.

Капитан Прохоров поднялся, массируя пальцами поясницу, прошелся по кабинету. Он видел лицо Петухова, отраженное в стекле, — технорук поворачивал голову вслед за Прохоровым.

— Худосочны наши бараны! — весело сказал Прохоров. — А не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что означает сей сон? — Он поднес к глазам протокол, с иронией прочитал: «Петр Петрович Гасилов — суть гелиоцентрическая система ничегонеделания!» Восклицательный знак, кавычки закрываются, каждое слово нуждается в комментариях... Пролейте свет, Юрий Сергеевич, христом-богом прошу!

Петухов подумал.

— Я уже говорил, — с неудовольствием сказал он, — что выступление Столетова невозможно пересказать, а записать — тем более. Что же касается этой фразы... Столетов, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много...

— И все?

— Думаю, все.

— Я вот что думаю, дорогой Юрий Сергеевич! — оживленно заговорил Прохоров. — Он — экзистенциалист! Да, да! Наш Столетов — экзистенциалист! Ну ей-богу же! Взрослый человек, образование среднее, прочел тонну книг, а говорит — ничего не поймешь... Между прочим, Юрий Сергеевич, вы как насчет философии, разной там диалектики? Не увлекаетесь? А я, знаете, люблю, грешным делом, люблю!

Капитан Прохоров сообразил, что в деревне Сосны была только начальная школа, значит, в послевоенные голодные годы — лет с одиннадцати — Юрка Петухов ходил в восьмилетнюю школу за семь километров от Сосен; потом, после восьмилетки, жил на частной квартире в райцентре Линцы, что в тридцати пяти километрах от родной деревни. Раз в неделю — автобусы тогда меж Соснами и Линцами не курсировали — он с тощим мешком за спиной шел домой той же дорогой, по которой наступал минометчик Прохоров. Юрка прибывал в родную деревню к полуночи, спал несколько тревожных часов и возвращался обратно в Линцы с тем же серым мешком — ведро картошки, небольшого кусок сала, лук, может быть, немножко масла, мяса — ни-ни!..

— Ночью — потеха! — смущенно захохотал Прохоров. — Фейербах мне снится в маршальских погонах, Гегель — сержантом, а Спенсер — старшиной... Однако утром просыпаешься — голова свежа, как молодой горох!

Прохоров отчетливо представил, как тракторист Юрий Петухов получает зарплату — неподвижно держит в пальцах разглаженные бумажки, лицо, не затуманенное мыслью, кажется грубым, неотесанным. Молодой тракторист редко ходит в дороговатую рабочую столовую, у него в тумбочке есть блестящая от старательной чистки кастрюля, небольшой чугунок; сало он покупает у местных жителей в ноябре, когда повсеместно режут свиней; два раза в месяц Юра Петухов ходит в сберегательную кассу, кладет деньги, книги не покупает. С леспромхозовскими девчатами тракторист Юрий Петухов...

— Ха-ха-ха! — театрально смеялся Прохоров. — Вы правы, Юрий Сергеевич! Я болтун! Неисправимый болтун!

...Тракторист Юрий Петухов не интересовался леспромхозовскими девчатами, не привлекали его также институтские сокурсницы. Он хранил себя для будущего, ждал праздника, который должен был прийти на улицу его Сдержанности. Бедный, упрямый, по-житейски умный мальчишка из Сосен выжидал...

— Надо любить ближнего, — шутливо вздохнул Прохоров. — Один болтлив, как я, другой... Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой?

«Ни один мускул не дрогнул на его лице!» — насмешливо подумал Прохоров, наблюдая за Петуховым, который только слегка нахмурил брови.

— Это произошло двадцать четвертого февраля, — сказал Петухов с интонацией крестьянина, сопоставляющего день месяца с погодой или сельскохозяйственным сезоном. — Двадцать второго Петр Петрович пригласил меня отметить День Советской Армии, двадцать третьего была вечеринка, а утром... Да, это случилось двадцать четвертого февраля.

В общей сложности мальчишка из Сосен ждал праздника девять с половиной лет. Мало того, по данным следователя Сорокина, год из последних полутора лет Петухов не обращал никакого внимания на Людмилу Гасилову, вел себя целый год так безупречно, точно красавицы не существовало на белом свете.

— Еще вопрос! — извинительно произнес Прохоров. — Отчего свадьба не состоялась до сих пор?

— Проще простого! Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила...

Конечно, когда ждешь девять с половиной лет, подождать еще полгода пустяки-вареники. Впрочем, не так уж плохо ходить в женихах самой красивой девушки Сосновки, целоваться на тихих скамейках, простаивать ночи над рекой, по утрам звонить, шептать в трубку глупости... «В его годы, — вздохнув, подумал капитан, — телефонная трубка по утрам не кажется такой тяжелой, точно ее отлили из свинца...»

— Непонятно все-таки, — размышляюще сказал Прохоров. — Непонятно все-таки, Юрий Сергеевич, как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании хамскую резолюцию? Неужели только на эмоциях? Расскажите, пожалуйста.

Петухов наконец переменил положение: выпрямился, расцепил руки, поправил галстук.

— Как секретарь комсомольской организации Столетов пользовался авторитетом, — ответил Петухов. — Он умел зажигать аудиторию.

Прохоров был уверен, что технорук почувствовал связь между вопросом о дне свадьбы и выступлением Столетова на комсомольском собрании, тоже протянул ниточку между Людмилой, собой, Петром Петровичем Гасиловым и Евгением Столетовым.

— Тогда мне остается задать только последний, самый простой вопрос... — капитан уголовного розыска сделал несколько привычно-заученных движений: повернул голову к яркому окну, на лицо нагнал скромное выражение, одно плечо опустил, второе приподнял, спину заузил и ссутулил, правую руку по-наполеоновски сунул за борт пиджака.

— Что произошло на лесосеке двадцать второго мая? — спросил он. — О ссоре Заварзина и Столетова я знаю, о схватке Столетова и Гасилова мне тоже известно, что еще произошло или происходило?

Прохоров улыбнулся реке за окошком, когда подумал о том, что технорук Петухов из десяти пришедших на ум слов пользуется только одним — вот какой железной выдержкой обладал парнишка из брянской деревни! Однако из девяти произнесенных слов пять читалось на его якобы непроницаемом лице, о двух можно было судить по смутной ассоциативной цепочке, одно слово уходило в трудную биографию технорука, а ложь ярко посверкивала в мнимой значительности пауз.

— Так что произошло на лесосеке, Юрий Сергеевич?

— Кроме перечисленного, ничего.

Надо было кончать разговор. Мысль Прохорова уже ходила по замкнутому кругу, а технорук Петухов произносил только одно слово из десяти, не унижаясь прямой ложью, врал тем, что скрывал главное — какие-то очень важные события в лесосеке.

— Спасибо, Юрий Сергеевич, — благодарно сказал Прохоров. — Я отнял у вас много времени...

Когда Петухов ушел, Прохоров задумчиво побродил по кабинету, приблизившись к окну, выглянул наружу, чтобы посмотреть, как удаляется полузагадочный технический руководитель Сосновского лесопункта. Нового он ничего не увидел и не понял. Слегка откинув назад голову, экономно размахивая руками, Петухов споро продвигался вперед по самым ровным и самым гладким доскам деревянного тротуара.

Блестел изысканно иностранный костюм, солнце множилось в лакированных туфлях, подчеркнутая начальственностью спина двигалась в прекрасное Сегодня, в уверенное Завтра: школа, вуз, таежный лесопункт, леспромхоз в райцентре, гулкий коридор лесосплавного комбината; для начала тонкая деревянная дверь, покрытая скучной желтой краской, потом черный дерматин, стеклянная табличка с мелко написанной фамилией, а уж затем — двойные двери тамбура, четыре телефона, кнопка звонка, кресло. Брянская область!.. Брянская область!.. На фоне колодца-журавля женские фигуры, усталый стук солдатских сапог, пожарища, трупы, голодные глаза... Многострадальная, милая ты моя Брянская область! С какой будничной жестокостью прошелся по тебе гусеничный ход мировой военной истории! Издавна мешочная и полуголодная, ты только в тридцатые годы начала подниматься на ноги, накормила было досыта баб и ребятишек, заплясала было веселая, советская, возле подновленных прясел, да так и не доплясала — покатилося по твоим знаменитым лесам эхо самой тяжелой войны в истории человечества. И это прошло!.. На исхудалых коровьих хребтах поднимала ты первую послевоенную борозду, припрягала к исковерканным немецким танкам многолемешные плуги, счастливая послевоенной надеждой, была сыта и картошкой без масла; верующая, ты охотно бросала в землю квадратные семена кукурузы, лепила миллионы торфоперегнойных горшочков и за веру твою, за муки твои дождалась облегчения — пошли по деревенской грязи девчата в резиновых высоких сапогах, при шелковых кофточках, с румянцем на щеках, твердым и ярким. Купили твои молодожены скрипучие металлические кровати с пружинными сетками, бабы постарше оделись в полупальтишки из черного материала, похожего на бархат, мужики поменяли гимнастерки на пиджаки, а к телогрейкам уже кое-кто стал пришивать овчинные воротники, хотя далеко еще было до суконного демисезонного пальто.

Поднималась и деревенька Сосны, но много труднее росла она, чем соседние большие поселки. И обнаружили мужики и бабы, мальчишки и девчонки, что в стороне от шоссе дорог, высоких заводских труб стоят родные Сосны, почувствовали пустое пространство, отделяющее их от космического века...

...Солидно шел по деревянному сибирскому тротуару технорук Петухов. Вот прощально сверкнули туфли, вот скрылся, вот исчез за поворотом. Улица сияла солнцем и зноем, возились в теплой пыли хохлатые курицы, высунув язык, сидела посереде дороги собака, а над всем этим, вздыбившись, приникая к небу, сливаясь с ним, млела маревом великая сибирская река Обь, широкая, как море. Вечным праздником веяло от реки, и ласково прильнувшая к ней деревня Сосновка была тоже праздничной, нарядной и молодой...

6

Вялый, ленивый, мутноглазый, сидел на белой раскладушке капитан Прохоров, рассматривал собственные руки, вяло, лениво и отстраненно раздумывал о том, что вот доживает в Сосновке третьи сутки, исходил деревню вдоль и поперек, перепробовал в орсовской столовой все закуски и еды, перезнакомился с доброй половиной участников столетовского дела, а в рабочую форму так и не вошел. Мысль по сложной логической ниточке карабкалась с черепашьей скоростью, ассоциации бедны и худосочны, об интуиции и вдохновении было смешно думать — мир казался плоскостным, примитивным, бесцветно-серым, как осенний бросовый денечек. Все удручало.

Небо над Обью было откровенно голубым — это была не та голубизна; река являла собой вечернюю сиреневость — сиреневость была не той, нужной сиреневостью; раннему месяцу на роду было положено казаться сквозным — с просквоженностью дело обстояло исключительно плохо. Одним словом, чепухистика, прозябание, скукота, не жизнь, а тьфу!

— Можно войти?

Андрей Лузгин просунул в дверь налитое яблочное лицо, найдя Прохорова взглядом, улыбнулся. Чему? Уж не тому ли, что Прохорову надо подняться с раскладушки, найти стул для Андрея, усадить его, а потом выстраивать умное лицо, делать вид, что знаешь все, хотя ни черта не знаешь.

А разговаривать? Кто будет разговаривать, когда сосновский Илья Муромец сядет на стул, улыбнувшись, обратит к Прохорову верующие глаза?

— Присаживайтесь, Андрей. Посумерничаем.

В пилипенковском кабинете на самом деле было сумеречно. Вот если бы под пистолем, то Прохоров, наверное, поднялся бы с раскладушки, включил электрический свет, а так просто, без насилия — слуга покорный! Пусть Андрюшка Лузгин сам зажигает, если ему надо, а нам и так хорошо!

— Вы почему молчите, Андрей? — недовольно спросил Прохоров. — Привыкли уже к тому, что я болтаю, как нанятый... А?

Прохоров взял две подушки, приставив к стене, навалился спиной на их барскую мягкость, удовлетворенно хмыкнул: «Вот так и будем сидеть! Если в жизни заведен такой порядок, что пожилые капитаны из областного управления должны работать за „высоколобых“ следователей Сорокиных, то уж будем трудиться с комфортом — спину устроим так ловко, как умеет это делать технорук Петухов, распрекрасную туфлю правой ноги выставим на всеобщее обозрение...»

— Кто может показать, что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке?

Деревенский Добрыня Никитич сделал из лица печеное яблоко, так взволнованно завозился на стуле, что тот жалобно застонал.

— Второго июня у Никиты Суворова был день рождения, — сказал Лузгин. — Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль... Сплетница!

Прохоров неверяще прищурился:

— Ну вот! Никита Суворов напился, что-то говорил, слышала сплетница Алена Брыль... Дядя брата теткинго мужа сестры двоюродного брата...

Инспектор уголовного розыска насмешливо поаплодировал самому себе, решительно поднялся с раскладушки, тремя крупными шагами подошел к двери, поднял уж было руку к выключателю, но остановился и свет не включил, хотя и сам не мог бы объяснить, что задержало его руку над выключателем, что заставило повернуться к Андрею.

В сумерках мучилось большое и сильное, искреннее и доброе, беспомощное и могучее. Андрюшка Лузгин корчился: сдержанный, сильный, сдавливал грудь руками, чтобы не так уж остро болело сердце. Уже больше месяца Андрей плохо спал по ночам, подолгу бродил по деревне, потерял в весе восемь килограммов; лучший друг Женьки Столетова за версту обходил дом погибшего, на похоронах брел в конце рыдающей толпы, к гробу Женьки так и не подошел.

— Эх, если бы я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки! — прошептал в темноте Андрей Лузгин. — Ну почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку?

Наверное, от десятого уже человека Прохоров слышал, что ничего не случилось бы с Евгением Столетовым, если бы Андрей Лузгин не отпустил обратно в лесосеку бывшего уголовника Заварзина — об этом говорили инспектор Пилипенко, следователь Сорокин, две женщины в орсовском магазине, удильщик на обском берегу, мальчишка, наклеивающий на доску объявлений афишу фильма «Белое солнце пустыни», словоохотливый старик из числа скамеечных сидельцев. Одним словом, вся деревня считала: нельзя было отпускать обратно на лесосеку Заварзина!

— Эх, если б я догадался!

Ночное светило напоминало ковригу с откушенной горбушкой, было по-настоящему прозрачным, пятна на лунной поверхности образовывали вздорное, скучное старушечье лицо, по кабинету распространялся бледный свет. По-прежнему мучился на стуле парень, считающий себя убийцей друга, ибо логика была проста и жестока: скажи Андрей Лузгин бывшему уголовнику: «Останься!», дождись минуты, когда на станции Сосновка — Нижний склад сойдет с опасной подножки Женька Столетов — не стоял бы возле выключателя капитан Прохоров, не было бы холмика сырой земли на деревенском кладбище.

— Не буду включать электричество, — опуская руку, сказал Прохоров. — Бог с ним, с электричеством...

Приподняв плечи, капитан неслышно прогулялся по диагонали квадратной комнаты, стараясь не смотреть на Андрея, опустился снова на раскладушку, мирно затих... Он мысленно всматривался в почерк белобрысой девчушки, писавшей протокол знаменитого комсомольского собрания, представлял ее глаза, пальцы, нос, брови. У буквы «з» был мужской энергичный завиток, буквы «ч», «г» были по-женски неразличимы — им не хватало решительной отъединенности — слова друг от друга стояли далеко, точно писавшая разделяла их длинным вздохом.

— Глазюнки бы мои не смотрели на эту расчудесную луну! — насмешливо сказал Прохоров. — Как только гляну на нее, так — нате вам! — думаю о Соне Луниной... Она действительно белобрысая?

Во! Повесть о дикой собаке Динго и первой любви... «Показания Луниной Софьи Васильевны дают основания полагать о наличии любовного чувства к ней со стороны Лузгина Андрея Григорьевича». Это следователь Сорокин...

Прохоров открыл глаза.

— Меня все-таки интересуют отношения Евгения Столетова, Анны Лукьяненко и... — Прохоров помолчал. — Что произошло в клубе на новогоднем празднике?

Андрей не пошевелился. Он жил в сложном мире вечера двадцать второго мая, все никак не мог сойти с подножки вагона в предновогодний клуб, и даже имя Сони Луниной не выбило его из страданий: корчился на стуле, сжимал по-прежнему грудь могучими руками, остановившиеся глаза отражали мертвенный лунный свет.

— Двадцать второго мая Женьку нельзя было оставлять одного! — прошептал Лузгин.

Прохоров насторожился:

— Почему именно двадцать второго мая?

И случилось то же самое, что на лесосеке, — парень мгновенно замкнулся. Смотрел на капитана исподлобья, взволнованный, был таким, что пытай огнем, пали железом, мори голодом — не скажет, что произошло на лесосеке двадцать второго мая. А ведь день был

особенным, ключевым для всего столетовского дела!

— Что происходило, Андрей? — скучным от безнадежности голосом повторил Прохоров. — Поймите: от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось?

Никакой реакции.

— Еще раз спрашиваю, Андрей, что случилось?

Как горохом об стенку...

— Что вы от меня скрываете?

— Ничего!

Ну, слава богу! Хоть словечко произнес, хоть губы пухлые разжал! Разозленный Прохоров мысленно послал Лузгина к черту, понимая, что за упрямым молчанием парня скрывается серьезное, если не главное!

— А ну расскажите-ка о новогоднем вечере, Андрей Лузгин! Расскажите-ка, все подробненько, обстоятельно, словно, знаете ли, на духу... И не забывайте, пожалуйста, товарищ Лузгин, что говорите с инспектором уголовного розыска!

Ага! Вздохнули, потупились, заробели! Ну?!

— Ничего особенного тогда не произошло, — тихо сказал Лузгин. — Был обыкновенный бал-маскарад... Мы опоздали немножко, а когда притазились, то веселье било бодрым ключом... ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...был обыкновенный деревенский бал-маскарад; в новогоднем клубе веселье действительно било бодрым ключом — наяривал без нот духовой оркестр, стояла посередь зала ширококronистая красавица лучших елочных кровей, горели разноцветные лампочки, крутился под потолком многогранный матовый фонарь. По клубу заполошно носился заведующий с мушкетерской бородкой, у входных дверей стоял свечечкой участковый Пилипенко, пьяных налицо еще не виделось, вокруг елки танцевали девчата с девчатами, парни отсиживались на скамейках, исключая трех студентов, приехавших в деревню на каникулы, — эти на кедровом прекрасном полу работали старательно.

Опоздав минут на двадцать к началу торжества, четверо друзей — Женька Столетов, Андрюшка Лузгин, Генка Попов и Борька Маслов ввалились в разноцветный клуб сплоченно: оттеснили в сторону величественного Пилипенко, остановившись у края танцевального круга боевой шеренгой, обхватили руками друг друга за плечи, ноги широко расставили, глаза сделали строгими: «Ну, как вы здесь веселитесь?»

— А почему без красных повязок? — прицепился участковый. — Сами же, комсомол, организовали встречу Нового года... Где повязки?

— В карманах, — ответил Женька. — Новый год объявлен... В карманах.

Аркадия Заварзина в клубе не оказалось, не было среди танцующих и сидящих Людмилы Гасиловой, а Соня Лунина тихонечко танцевала «На сопках Маньчжурии» с двоюродной сестрой Катей; сидели на скамейке с наглыми лицами чокеровщики Пашка и Витька, демобилизованный солдат Мишка Кочнев шушукался с молодой женой, и на большинстве сосновцев были большие маски из папье-маше, оптом закупленные заведующим клубом несколько лет назад. Этих масок в наличии имелось сорок, и час назад в кабинете завклубом, где распределялись маски, можно было услышать: «Постойте, Михеев, вы же в прошлом году были овцой. Как вам не ай-яй нынче отказываться от свиньи?»

Танцевали и сидели на скамейках клоунские носы и лисьи пасти, медвежьи рыла и свиные пятаки, крокодильи зубы и клювы попугаев. Все это кружилось, хохотало, паясничало, и, конечно, весь маскарадный табор узнавался сразу: под свинячьей мордой танцевал костюм Михеева, крокодилью пасть расконспирировали полосатые брюки деревенского аптекаря Гуляева, лисья мордочка досталась длинным ногам и узким бедрам Алены Брыль — сплетницы.

— Сели! — сказал Женька.

Четверо заняли скамейку возле дверей; скрестили руки на груди, положили ногу на ногу, подбородки задрали, прищурились; на них были одинаковые черные костюмы, на белых нейлоновых сорочках одинаковые бордовые галстуки, часы с одинаковыми полосатыми ремешками. Они в Сосновке славились давнишней преданной дружбой, всегда и везде ходили вместе, а когда сидели рядом в черных костюмах, чем-то походили друг на друга — то ли насмешливым выражением глаз, то ли ироническими губами, то ли уверенным разворотом плеч. Длинновязый и коротконосый Женька Столетов, могучий и спокойный Андрюшка Лузгин, сосредоточенный, будто всегда что-то считающий Борька Маслов, высокомерный и холодный Генка Попов — они сейчас смотрели на веселящийся зал одинаковыми глазами.

Прошло несколько молчаливых минут.

— Я тоже хочу быть охваченным всеобщей радостью! — задумчиво заявил Генка Попов.

Трое неторопливо повернулись к нему, покивав, стали печально глядеть друг на друга и пожимать плечами. Они не торопились с ответом, размышляли долго, зрело, потом Борька Маслов озабоченно спросил:

— Вам хочется интеллектуального общения или бездумного смехачества? А может быть, налицо уклон в животную страсть?

— Мне хочется бездумного смехачества! — нехотя сознался Генка Попов.

— Что вы предлагаете?

— Феньку Бурмистрову! — важно сказал Женька Столетов. — Думаю, что под лошадиной мордой скрывается нужное нам бодрое смехачество.

Генка Попов приуныл.

— Она меня свяжет по рукам и ногам! — после длинной трагической паузы прошептал он. — Только балбесам Столетову и Лузгину неизвестно, что на женской косе можно поднять нагруженную железнодорожную платформу...

Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии», учительница начальных классов Бурмистрова танцевала с подружкой в центре круга, и вокруг нее темной каруселью вращались удивительные косы — в мужскую руку толщиной, иссиня-черные, такие длинные, что достигали тонких щиколоток, а под унылой лошадиной мордой-маской действительно скрывалось лицо веселой, добродушной, разбитной девицы.

— Нет, нет! Не могу! — загоразиваясь ладонями, сказал Генка Попов. — Коса — это как раз то, что способно погубить гениального физика! Мировое общественное мнение не простит тебе, Столетов!..

Между тем веселье продолжалось. Отыграв положенное количество танцев, ушел на отдых духовой оркестр, и после короткого перерыва заиграла клубная радиола. Пластинка оказалась современной: надрывался саксофон, по-совиному ухал тромбон, флейта взвизгивала, как девчонка, увидевшая мышь. Парни несколько секунд слушали музыку

спокойно, потом незаметно для самих себя начали легонько притопывать каблуками, подпевать радиоле, изгибаться и двигать бровями. Затем они расцепили руки, скрещенные на груди, как бы разделившись, сделавшись каждый сам по себе, начали все убыстряться и убыстряться, словно их обтекало высокое напряжение электрического поля: схваченные за нервы ритмами двадцатого века, они, чудилось, медленно превращались в мерцающие панели электронно-вычислительных машин. Находясь в непрерывном движении, мелко вздрагивая, струясь и переливаясь блестящей материей черных костюмов, вспыхивая белизной рубашек, бордовыми огоньками галстуков, белыми зубами, цветными носками, парни то включали, то выключали крохотные части собственного тела, отрешенные от реальности, все больше проникались механичностью, высокой напряженностью — мерцали на черных панелях затаенно-страстные огоньки, метались зигзагами локаторных экранов, выли и стонали горячие трансформаторы; зеленое, красное, белое... Двадцатый век!

Двадцатый век!

Четверо парней танцевали сидя. Они потеряли ощущение времени, места. Первым поднялся со скамейки Генка Попов, продолжая вздрагивать, вычурно извиваться, мерцать глазами-лампочками, двинулся к Феньке Бурмистровой, которая тоже уже дрожала и струилась; не дождавшись кавалера, сбросила почему-то с круглого лица лошадиную маску, щелкала пальцами, ввинчивала длинные металлические каблуки в деревянный пол сосновского клуба. Вторым поднялся Женька Столетов, мотаясь из стороны в сторону, двинулся навстречу Соне Луниной, потом — Борька Маслов, Андрюшка Лузгин... Участковый инспектор Пилипенко сделал два шага вперед, проверив положение портупей на парадном кителе, замер в боевой готовности.

Целомудренно обнажались сильные женские ноги, дерзко глядели на партнеров полуобнаженные груди, как на картинах фламандцев; среди танцующей восьмерки вообще не было ни женщин, ни мужчин — музыка, отрешенность, боль и радость века, надежда и отчаяние; вчера, сегодня и завтра...

На танцующую восьмерку глядели с завистью и презрением, с ревностью и злостью, с восхищением и негодованием, с восторгом и тупой неприязнью.

Восьмерка танцевала. Отделенный от Сони Луниной трехметровой дальностью, изгибался и «давил окурки» на полу Женька Столетов, побежденно опускал ресницы Генка Попов, когда косы Феньки Бурмистровой ударяли его по раскинутым рукам, издевательски кривил губы, многозначительно подмигивал партнерше Борька Маслов, улыбался Андрюшка Лузгин. Было весело, лихо, тревожно.

Когда сумасшедший танец кончился, когда музыка оборвалась так резко, точно радиолу накрыли подушкой, и наступила тишина, восьмерка танцующих замедлилась и, остановившись окончательно, замерла с такими лицами, словно только сейчас поняла, что произошло... Переливались разноцветные огни елки, вращался под потолком блестящий шар...

— Спасибо, Соня! — раздался в тишине голос Женьки Столетова. — Спасибо.

Парни подали руки девушкам, осторожно повели их на прежние места... Зал тоже приходил в себя: нервно засмеялись столетовские чокеровщики Пашка и Витька, две пожилые девушки наконец-то решились без смущения посмотреть друг на друга — так им было стыдно за восьмерку, а участковый инспектор Пилипенко по-прежнему был занят только Пашкой и Витькой, которые опять пошумливали и вполголоса матерились, изображая очень пьяных тружеников леса. Еще немного погодя на скамейках послышался смех, через весь клубный зал пробежал заполошный заведующий — организовывал опять духовой оркестр...

— Я люблю тебя, Женька! — вполголоса сказала Соня Лунина, когда он проводил ее на

прежнее место. — Я по-прежнему люблю тебя...

Возбужденная танцем, вся еще переливаясь и дрожа, девушка дерзко глядела в Женькины глаза, и Женька сдался, потерянно улыбнулся:

— Соня!

Слова девушки наверняка слышали Андрюшка Лузгин, Сонины двоюродная сестра, две пожилые девушки, и Женьке казалось, что клубный зал, словно темнотой, наполнялся несчастьем, бедой, ощущением неустроенности. Темнело так заметно, что Женька затравленно огляделся.

— Иди, иди! — с улыбкой сказала Соня.

Сутулый, несчастный, Женька вернулся к ребятам, насильственно улыбнувшись, растолкал их, чтобы сесть рядом с Андрюшкой Лузгиным.

Духовой оркестр, вспомнив молодость заголошного заведующего клубом, играл танго «Брызги шампанского», сам заведующий дул в золотистую трубу, глядя на ее раскачивающийся конец пустыми глазами. Скамейки быстро пустели, зал наполнялся движением и голосами, топотом ног и скрипом пола, выкриками чокеровщиков Пашки и Витьки, но для Женьки Столетова в клубе по-прежнему было темно, как в доме перед грозой, а веселая Соня Лунина танцевала с двоюродной сестрой, на Женьку Столетова не глядела, была счастлива, как первоклашка на каникулах.

В середине танца Женька почувствовал, как в том углу клуба, где свечечкой стоял участковый Пилипенко, все вдруг посветлело, задвигалось, зашумело — это вошла в двери вдова Анна Лукьяненко. Сначала увиделось блестящее парчовое платье, потом проплыла величественная, гладко причесанная голова, возникли глаза, сразу же нашедшие Женьку Столетова в переполненном клубе, глаза с выгнутыми бровями, в которые было страшно глядеть.

— Пойдем ко мне, Женя! — подсев к Женьке, сказала вдова. — Новый год я хочу встретить с тобой... Ты все равно придешь... Пошли сейчас!

А за спиной участкового Пилипенко по прихотливой воле случая опять образовалась густая пустота, зияющий провал, среди которого — отдельная, в костюме «домино», стояла Людмила Гасилова — третья женщина в короткой жизни Евгения Столетова. От нее веяло родной безмятежностью, тишиной, солнечным лугом, на котором паслись рыжие кони; ленивый наклон головы, беспомощные руки вдоль тонкой фигуры. Людмила!

— Прощай пока, милый! — добродушно засмеявшись, сказала Анна Лукьяненко. — Пойду инженеров мучить...

Анна лениво поднялась, не замечая Людмилу Гасилову, пошла грудью, глазами, бедрами, плечами на участкового Пилипенко, оттеснив его в темный угол, вдруг оскалила зубы, бережно подняв руку, на глазах у Людмилы слабо подвигала ладошкой: «Прощай, Женя! Прощай пока!»

Людмила стояла на месте, никуда не стремилась, ничего не хотела, никуда не глядела, ничего не слышала и только тихонечко покачивалась, точно ее шатало слабым теплым ветром, каким — неизвестно: обским ли, волжским ли, днестровским ли... Не все ли равно ей, Людмиле Петровне Гасиловой!

Женька вдруг крепкими пальцами схватил за плечо Андрюшку Лузгина, сдавив до боли, шепотом попросил идти за ним, не дождавшись согласия, стремительно двинулся к запасным

клубным дверям падающей вперед походкой — качались перед глазами Андрюшки сутулые плечи, незащищенно круглел затылок, жалкий вихор висел над ухом, спина казалась узкой, как у дряхлой лошади. Короткий дверной тамбур, удар ноги по заиндевевшей двери, грохот сброшенного с петли крючка, скрип мерзлых половиц, морозный туман...

— Простудимся, Женька!

— Плевать!

Ярко светила новогодняя ночь, накатанная дорога тракторной колеей уходила ввысь, луна судорожно цеплялась за небо растопыренными лучами; снег походил на нафталин, казался неживым, придуманным.

— Позвольте представиться: Евгений Столетов — подлец из подлецов — высокопарно произнес Женька.

Короткая пауза, суетливое движение длинных рук, гримаса отчаяния:

— Я действительно подлец, Андрюшка!.. Люблю Людмилу, а танцую с Соней... Люблю Людмилу, а тянет меня к Анне Лукьяненко... Я ее вижу во сне, Андрюшка! Мне стыдно просыпаться утром... Я — подлец, сволочь, подонок...

Жесткий мороз хватал за уши, луна уже цеплялась за легкую тучку.

...Отстраненно вздохнув, Андрей Лузгин понурился, перебирая пальцами медную монету, глядел в темный угол милицейской комнаты, в котором таилась такая же опасная темнота, как в том клубном углу, где стояла, покачиваясь на теплом ветре всех широт, бледнолицая Людмила Гасилова. Жизнь была сложна: любить одну, видеть во сне другую, танцевать с третьей... Где начало? Где конец?

— Женька Соню не любил... Он любил... Я не знаю, кого он любил, хотя думал жениться на Людмиле... А потом говорил: «Это как умереть!»

Между тем сам Андрей Лузгин любил Соню Лунину.

А в областном городе в этот час ходила по тесной комнате женщина с вызывающе жалкими уголками губ. При встрече с ней капитан Прохоров угасал, садился на низкую кушетку, не отрывая глаз от тлеющего кончика ее сигареты, скучно думал: «Красивая женщина!» Она ненавидела майоров всех родов войск и служб.

— Заварзин был в клубе? — деловито спросил Прохоров. — Или так и не появился?

— Так и не появился...

Луна висела очень высоко над обским левобережьем, уже понемножечку уменьшалась, тускнела потихонечку; в лесопунктовской конюшне вдруг по-ночному тревожно заржал сонный жеребец Рогдай. Потом залаяли сразу три собаки, проблеяла где-то молодая овца. Ночь была уже, самая настоящая ночь.

вспыхивали огоньки папирос, и бог знает почему от всего этого сжималось сердце. Думалось о молодости, старости, хотелось неизвестно чего; то ли забраться в ельник, то ли вернуться на раскладушку, чтобы в тишине и одиночестве улеглось беспокойство. Лунная Обь, гитара, девичий смех, желтые фонарики шишек на елках; сладкая тоска строк: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...», а потом и страшное: «...другой поэт по ней пройдет...» В груди пусто, точно нет сердца... Прохоров, опустив голову, шел по пыльной дороге; съездившийся, казался маленьким, щуплым; короткий подбородок был прижат к шее. Шаги удаляли его от ельника, гитара утишивалась, спина чувствовала, как гаснет белый свет на кладбищенских крестах, но ощущение тревоги не проходило.

Между тем второй Прохоров, то есть капитан уголовного розыска, не обращающий внимания на выкрутасы первого Прохорова, отыскал дом за номером семь по Октябрьской улице и, оказываясь, давным-давно, покачиваясь на каблуках, стоял против искомого объекта. Именно возле дома преподавателя истории Викентия Алексеевича Радина, по рассказам участкового инспектора Пилипенко, росли голубые ели, торчали высокие шести со скворечниками, были преувеличенно широкие окна и незастекленная веранда.

Прохоров подошел к калитке, собрался было притронуться к металлической задвижке, но по веранде прошаркали ноги, заскрипели половицы, и, хорошо освещенная луной, в проеме крыльца возникла фигура высокого человека с закинутой назад головой и такими линиями шеи и плеч, словно человек постоянно к чему-то прислушивался, чего-то ждал и от этого походил на локатор, медленно вращающийся в таинственности высокого неба. Совершив полукруг, человек замер, потом спросил хрипловатым голосом:

— Товарищ Прохоров?

— Да, Викентий Алексеевич. Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищ Прохоров! Прошу!

Дождавшись, когда капитан Прохоров приблизится, Викентий Алексеевич уверенно пошел по темной веранде, странно размахнувшись, как бы со всего плеча, широко распахнул домовую дверь — яркий электрический свет полосой лег под ноги, и Прохоров попал сначала в коридор, затем — в комнату, казавшуюся огромной от того, что в ней не было ничего, кроме стола и двух стульев. В центре потолка солнечно сверкала огромная электрическая лампочка без абажура — провод и патрон.

Викентий Алексеевич Радин был слеп: на том месте, где у всякого человека блестели драгоценные скорлупки роговой оболочки, у него морщинаясь плохо зарубцевавшаяся фиолетовая кожа, и надо было обладать большим воображением, чтобы, сняв пронзенные глазницы, увидеть, как хорошо интеллигентное, мужское, узколобое, чуточку широкоскулое лицо учителя, без того напряженного выражения, которое свойственно лицам большинства слепых. Закинутая вверх голова, локаторные линии шеи и плеч делали учителя устремленным вверх, как бы отлетающим.

— Ну-с, разглядели меня, товарищ Прохоров? — громко спросил Радин и улыбнулся так, что кожа на глазницах сделалась ровной. — Вас зовут-величают?... Садитесь! Будьте как дома... Лида! У нас гость!

В комнату вошла маленькая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Она была лет на десять моложе Радина: востренько торчал пикантный носик, под свободным платьем угадывалась тонкая фигура. Когда она открыла дверь, Прохоров увидел просторную спальню, ковры, затейливый торшер с тремя ножками и тремя абажурами — розовым, зеленым и синим — и уж после этого заметил, что и стены пустого кабинета были покрашены в те же цвета — розовый, зеленый, синий.

— Меня зовут Лидия Анисимовна... Кофе, водки, чаю?

Прохоров хмыкнул.

— Водки! — вдруг отважно ответил он. — С чаем, а?

— Пойдет!

Лидия Анисимовна спокойненько удалилась, оставив в кабинете легкий запах славных духов и глухую картавость мягкой речи: как бы зажеванные губами нотки. Она преподавала в средней школе английский язык, и Пилипенко восторгался: «По-иностранному чешет, как по-русски. Два раза в Англии была!»

Лидия Анисимовна вернулась с ярким подносом в руках, поставила на стол графинчик водки, колбасу, холодное мясо, свежие огурцы и помидоры, толсто нарезанное сало, селедку с луком. Вилки и ножи она положила на полотняные салфетки; одна из них была розовой, вторая — синей, третья — зеленой. Убедившись, что ничего не забыто, Лидия Анисимовна приветственно помахала маленькой рукой:

— Меня нет, товарищи мужчины!.. К прогулке я вернусь, Викентий.

Викентий Алексеевич уже сидел за столом, розовая салфетка лежала возле его правого локтя, зеленая — слева, синяя — в центре. Услышав, что Прохоров тоже сел, слепой безошибочно протянул руку к графину, стал наливать водку в две пузатые стопки; бог знает чем руководствуясь, Викентий Алексеевич налил их до краев, ни капельки не пролив, вернул графин на место.

— Люблю водку! — бережно сказал он. — В умелых руках — чудо! Но вот прекуръезная вещь... Водка отнюдь не выполняет той главной роли, которую ей приписывает большинство пьющих — не служит утешительницей... А? Каково? Водка может быть чем хотите... Колокольным звоном может быть, но не утешительницей! Приемлем все-таки, Александр Матвеевич?

— С радостью!

Прохоров выпил, поставив пустую стопку на скатерть, длинно подумал: «Та-а-ак!» Ходила минуту назад по стерильно чистому полу женщина с английской раскатистой ноткой на губах, пузырьками вздувались на громадных окнах разноцветные занавески — синие, зеленые и розовые; стояли под пятисотсвечевой голой лампочкой странно окрашенные стены — синяя, зеленая, розовая. «Меня нет, товарищи мужчины... К прогулке я вернусь, Викентий!» Молодой шорох материи, над супружескими кроватями «Маха обнаженная», высокий торшер — синий, зеленый, розовый; на толстом ковре нежится пушистая кошка с лениво прижмуренными глазами.

Викентий Алексеевич похрустывал молодыми огурчиками, Прохоров тоже вонзил зубы в облитый желтым жиром кусок холодного мяса, и оно оказалось вкусным, как раз таким, какое он любил; потом съел большой кусок сала, пахнущего чесноком и укропом, — тоже ничего себе: вкусно, ароматно, отлично насыщает.

— Я, пожалуй, начну, — сказал Викентий Алексеевич. — Вы получили мое письмо, но, думаю, нужны комментарии... Видите ли, Александр Матвеевич, у меня нет оснований считать смерть моего ученика и друга случайной...

Когда он говорил, кожа в глазницах разглаживалась, теряла сухой блеск, и лицо как бы выравнивалось: исчезали тени, делающие глазницы пустыми. Чутьочку смешила старомодная торжественность радинских речевых оборотов, высокий голос был учительски приподнят, и

Прохоров вдруг широко улыбнулся, подмигнув самому себе, начал устраиваться на стуле с комфортабельностью технорука Петухова: разобрался с ногами, отыскал удобное положение для спины, с головой обошелся наиболее бережно — предоставил ей отдых.

— Евгения нельзя было сбросить с подножки! — решительно заявил Викентий Алексеевич. — Он сам был из тех, кто сбра-а-а-сывает... Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки... Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал необдуманные поступки рациональным...

Черт знает как было хорошо, уютно! Очень долго держался в воздухе запах неизвестных духов, разноцветные стены казались ласковыми, мягкими, не мешали, и яркий свет — ничего!

— Деревня есть деревня, — улыбнулся Радин. — Мне ведомо, Александр Матвеевич, что вы пристально занимаетесь личностью моего безвременно погибшего ученика и друга. Значит, хотите знать и мое мнение. Так вот! Столетова я воспринимал как красный цвет...

Он хрипло засмеялся и замолк, словно для того, чтобы Прохоров мог неторопливо подсчитать шансы на успех. Во-первых, не было уже никаких сомнений в том, что учитель Радин — сильный человек; во-вторых, репликой о красном цвете, разноцветными стенами, салфетками, торшерами Викентий Алексеевич поддерживал надежды Прохорова на успешное окончание столетовского дела, которое теперь — так интуитивно предчувствовал капитан — зависело только от слепого учителя Радина. Вот и дальнейшие слова Викентия Алексеевича оказались нужными.

— Вы, наверное, обратили внимание, Александр Матвеевич, на разноцветные салфетки, занавески, стены... — сказал он. — Это сделано для того, чтобы я мог ориентироваться по цвету... Сейчас я густо чувствую розовость салфетки, и, знаете, меня неудержимо тянет пощупать ее. Так за чем дело? Пощупаю!

Они одинаково улыбнулись, когда Викентий Алексеевич положил пальцы на салфетку, ласково погладил ее: «Розовая, теплая!» После этого стало тихо, и Прохоров подумал, что он поступает нечестно, когда беспрепятственно — без ответного взгляда — наблюдает за лицом слепого человека. Прохоров покраснел, потеряв вальяжность, осторожно заерзал на стуле, а Викентий Алексеевич сделал губами такое движение, словно сдувал со щеки муху.

— Если вам это интересно, Александр Матвеевич, то... Андрея Лузгина я воспринимаю как голубой цвет, технорука Петухова вижу серым, Людмилу Гасилову — зеленой, Анну Лукьяненко — бордовой, Соню Лунину — розовой... — Он забавно сморщил губы. — О, в деревне тайн нет! Петухов только садился на стул в кабинете Пилипенко, а мне уже было известно, что «милиция заарестовала анжинера»...

В этой трехцветной комнате, оказывается, тоже вели следствие: учитель следил за каждым шагом Прохорова, мысль Викентия Алексеевича шла примерно теми же ходами, что и прохоровская, ассоциации были тождественными, и Прохоров быстро спросил:

— Как воспринимается Петр Петрович Гасилов?

Викентий Алексеевич замер, притаился:

— Гасилов мною в цвете не воспринимается! — тихо произнес он. — Да, да. Гасилов — тот человек, мимо которого можно пройти не заметив!.. Что с вами, Александр Матвеевич?

Прохоров подул на кончики пальцев.

— Вот уж этого я вам не скажу, Викентий Алексеевич... Как вам не стыдно знать больше

милицейского крючка?

Было тихо, как в глубоком колодце, пятисотсвечовая лампочка пощелкивала, погуживала, огромные окна были черны, разноцветные стены воспринимались стрелкой компаса.

— Поразительно! — задумчиво сказал Радин. — Гасилов не воспринимается в цвете, но у него умное, сосредоточенное тело... Весьма желательно, Александр Матвеевич, чтобы вы не пропустили мимо ушей мои сугубо специфические рассуждения о теле Петра свет Петровича... Это, пожалуй, единственное, что он передал вместе с генами дочери... Некий пошляк из школьной учительской о Людмиле сказал: «Не тело, а божественная поэма!..»

Закинутае лицо Викентия Алексеевича повернулось к лампочке, как подсолнух к солнцу, пальцы опять нашли розовую салфетку.

— Младший лейтенант Пилипенко — мой племянник! — засмеялся Радин. — Пришел взволнованный, злой, черный и выпросил два тома «Тысячи и одной ночи»... Заморочили вы ему голову с вашим: «И это все о нем!..» Ну-с, а теперь, благословясь, поедем... Как пишут в старинных романах, стояла дружная весна, цвела черемуха, и солнце не только светило, но и грело... ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...цвела черемуха, стояла ранняя весна, солнце светило и грело, и Женька Столетов впервые почувствовал, что черемуха пахнет не только черемухой, а лунные ночи могут причинять такую боль, словно в грудь вонзается тонкий нож. Ледяные сосульки пахли волосами Людмилы Гасиловой, сердце обрывалось и летело в пустоту, когда ржали на конюшне кони, собачий лай по ночам раздавливал грудь тоской, пугали самые простые вещи — на уроке физики он вдруг побледнел при виде пустой стеклянной колбы, а по дороге домой похолодел от того, что ступил резиновым сапогом в голубую лужицу; а однажды...

...однажды под вечер, когда солнце ушло за голубые верети и сиреневые тени катились по деревне, когда радиоприемник в комнате матери скликал тоску скрипкой, а за соседней стенкой кашлял дед, Женька дочитывал последние страницы романа Гюго «93-й год». Уже отзаседал суд, обвинивший Гавена, уже его учитель и друг сказал роковые слова, уже готовилась гильотина. Не ведая беды, Женька перевернул последнюю страницу, вздохнув протяжно, дочитал роман до последней точки.

На потолке догорал розовый отблеск солнца, трещинки и линии на толстом слое известки образовывали знакомую тигриную морду с прижатыми ушами, торчал дурацкий — неизвестно для чего и кем вколоченный в потолок — гвоздь. «Я тоже умру!» — спокойно подумал Женька. Прошла секунда, вторая, третья — в комнате произошла какая-то смутная, незаметная перемена, хотя все оставалось на местах: отблески заката, трещины на потолке, гвоздь.

«Я тоже умру!»

С перехваченным горлом, неподвижный, Женька разминал пальцами шейные мускулы, чтобы хватить хоть маленький глоток воздуха, потом тонко закричал и все-таки на несколько мгновений потерялся в темноте... Он пришел в себя от прикосновения холодного стекла. Граненый стакан плясал у стиснутых губ, перевернутое, мерцало лицо матери, сбоку торчала рыжая борода деда, бледнела щека отчима.

В комнате было так же темно и так же пахло лекарствами, как бывало, когда он болел корью и мать занавешивала плотными шторами окна.

— Женька, Женька!

Он послушно взял в губы дрожащий край стакана, отпил несколько глотков воды.

— Смотри-ка ты, — удивленно сказал он. — Я никак в обморок брякнулся...

Родители облегченно улыбнулись, мать, вздохнув, хотела что-то сказать, но отчим положил ей руку на плечо, дед оглушительно прокашлялся.

— Спокойной, ночи, Женька!

Весь вечер и бессонную ночь Женька боялся вспомнить о романе; всю ночь на столе горела настольная лампа — то затуманивалась, то вспыхивала ярко, когда на электростанции менялась нагрузка. У воображаемого тигра на потолке хищно торчали клыки.

Утром, опаздывая в школу, Женька испытывал необычное: все на свете казалось уменьшившимся. Он посмотрел на клуб — маленький и ветхий, перебросил взгляд на особняк Гасилова, казавшийся раньше огромным, — клетушка, заинтересовался школой — ее необычная для Сосновки двухэтажность показалась придуманной, и Обь была не такой широкой, как вчера, и небо опустилось до антенн.

С классом произошло то же самое. Он оказался маленьким и низким, окна — крошечными, черная доска — небольшой, и очень маленькой, птичьей, показалась голова Людмилы Гасиловой, хотя солнце освещало пышные высокие волосы, была красивой крепкая шея над девственными кружавчиками школьной формы.

Ровно через три минуты после звонка в класс изящно впорхнул преподаватель литературы Борис Владимирович Сапожников, молодой, белокурый, с нежной улыбкой на квадратном лице — кумир девчонок девятого и десятого классов.

— Доброе утро, друзья мои! Весна на дворе. Настоящая весна!

В раскрытые настежь окна на самом деле струился весенний пестрый воздух, на высоких тополях собирались раскрыться надтреснутые почки, над кромкой сосняка вращалось аккуратное солнце; пахло озоном, парты празднично желтели, на черной доске лежали веселые молодые блики, и все это было так свежо, так по-утреннему первозданно, что Женька облегченно вздохнул: «Обойдется!»

— Валентина Терентьева! Извольте отвечать!

Терентьева у доски всегда терялась, зная урок, путалась, и Женька опустил голову, стараясь не слушать, задумался — вспомнил вчерашний день, а среди всего — чалый жеребенок. Заблудившись, потеряв мать — пожилую кобылу Киску, — жеребенок распластывался над землей длинным телом и тонкими ногами; летели — отдельно от него — грива и хвост, с лакированных копыт падали яркие капли весенней воды... Потом по тем же лужам, не разбирая дороги, прошел пьяный дядя Артемий — сторож при лесопунктовском гараже, — увидев Женьку, сказал загадочно: «Палка-то, она, язви ее, о двух концах!..»

— Хорошо, садитесь, садитесь!

Преподаватель литературы Борис Владимирович прошелся возле доски, красивым движением головы закинув назад волосы, спрятал руки за спину, чтобы не делать жестов. «Жестикуляция, друзья мои, обедняет речь...» У него действительно был ясный высокий лоб, глаза улыбались дерзко; когда Борис Владимирович читал стихи Блока, у девчонок сохли губы.

— Не удивляйтесь, товарищи, если я в трактовке образов Евгения Онегина и Ленского буду придерживаться несколько иной точки зрения, нежели вы найдете в учебнике! — насмешливо сказал преподаватель. — Позвольте ваше молчание считать согласием...

Женька притих. Он любил вот такие начала уроков, по-мальчишечьи восхищался

необычностью молодого литератора, не дышал, когда Борис Владимирович говорил: «В учебнике — для экзаменов, в классе — для души!»

— Общепринятая точка зрения такова... Евгений Онегин рассматривается как типичный продукт эпохи, превратившей его в так называемого лишнего человека... А вот что до меня, то мне Онегин кажется пре-ле-стным...

Борис Владимирович неторопливо прошествовал между партами, повернувшись на каблуках, прислонился спиной к стене в метре от Женьки. Пахнуло запахом крепкого одеколона, рядом с Женькиным плечом повисла тонкая кисть с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце; рука была нежная и белая; длинные, аккуратно подстриженные ногти казались девичьими, мизинец был оттопырен, как у женщины, держащей стакан.

— Самолюбивая посредственность Ленский, — со вкусом проговорил Борис Владимирович, — настолько масштабно незначительнее Онегина, насколько яркая личность крупнее полного отсутствия личности!

Он отправился в обратный путь между партами.

— Поймите, друзья мои! Лиричность, способность любить, увлеченность, поэтичность Ленского блекнут в сравнении с онегинским умом, волей, презрением к смерти, знанием человека и его слабостей...

Женька жадно глядел в удаляющуюся спину учителя, незаметно для самого себя наклонялся вперед, вытягивал шею. Отчего-то опять вспомнилось вчерашнее: вздыбившиеся от ужаса волосы, холодный край стакана, клыкастый тигр на потолке; он снова почувствовал головокружение, сердце тонко заныло.

— Муть! — вдруг сказал Женька развязно. — Я так не хочу!

Было сладостно наблюдать, как быстро зауживается широкая учительская спина, возникает пораженное лицо, слишком яркий для серого костюма, почти красный галстук. По-прежнему чувствовалось, что есть связь между кошмаром прошедшей ночи и тем, что говорил Борис Владимирович, — каким-то образом Онегин, Ленский имели отношение к Женькиному вчерашнему состоянию.

— Что вы сказали? — слышался издали голос Бориса Владимировича. — Повторите, Столетов!

— Я сказал: муть!.. Муть, муть, муть!

Женька, наверное, походил на дятла, когда клевал слово «муть», парта ему мешала, он выпрямился, уперся затылком в стену. Неторопливо повернулась к нему Людмила Гасилова, испуганный Андрюшка Лузгин бледнел.

— Извольте объясниться, Столетов! — насмешливо сказал Борис Владимирович. — При моем уважении к личности я способен простить грубость, но вправе потребовать объяснения. Пожалуйста!

У него был такой сиплый голос, такие по-молодому обиженные глаза, что Женька беспомощно замычал. Было жалко Бориса Владимировича, стыдно перед Андрюшкой, страшно за самого себя. Помогла Людмила Гасилова с ее безмятежным лицом, пышными волосами, непонятной улыбкой. Она глядела на Женьку спокойно, терпеливо ждала, когда он скажет что-нибудь умное.

— Плохо жить, если Ленский — посредственность! — пробормотал Женька. — Я не хочу, чтобы он был таким!

Ему отчего-то стало легче. К груди прихлынуло горячее, затылок почувствовал верную твердость стены.

— Вы говорили, что любите Пушкина, а ведь Ленский похож на него... — хамским тоном сказал Женька. — Так и Лермонтов думал...

Покачивающийся с носков на каблуки Борис Владимирович неожиданно стал так ненавистен Женьке, что защипало в глазах. Блестело на безымянном пальце золотое кольцо — вызывало душущую ненависть, лежала на высоком лбу картинная белокурая прядь — он задыхался от презрения к ней, обиженно дрожали глаза — он видел, что они похожи на шарики от детского бильярда.

— Если вам хочется быть Онегиным — будьте! — с дерзкой улыбкой разрешил Женька. — Вы тоже неживой, придуманный...

— Покиньте класс, Столетов! На перемене зайдете в кабинет директора...

В коридоре Женька подошел к окну, прижавшись разгоряченной щекой к стеклу, замер в медленной тоске.

Школьный коридор звенел пустотой, но покоя не было — за коричневыми дверями пошумливали ребята, слышались голоса учителей, скрипели парты, шаркала валенками сторожиха тетя Дуся и, глядя на Женьку, вздыхала. Он думал: «Плохо, ой как плохо!» — и чувствовал, что надо что-то предпринять: или разрыдаться на весь пустой коридор, или, достав из кармана пачку «Прибоя», закурить в десяти метрах от директорской двери. Он осторожно, краешком мысли, вспомнил о казни Гавена, потом, мысленно захлопнув книгу, произнес шепотом: «Я тоже умру!» Должна была опять открыться черная пустота и бесконечность над стрехой родного дома, увидеться холодный Млечный Путь, остановиться сердце, но ничего не произошло. Деревенская околица виднелась через школьное окно, торчал скучный скворечник, голубела тайга. Не было, нет, не было смерти, пахнувшей типографской краской и дерматинном; была только пустота, усталость, скучные воспоминания о бессонной ночи да боль в пояснице...

Когда зазвенел звонок, Женька тихонечко побрел к дверям директорского кабинета, нахально улыбнувшись, прислонился к затемненной стенке. Все было известно наперед: добродушный директор Петр Васильевич будет охать и жалобно вытарачиваться, жалеть замечательного сельского врача-энтузиаста Евгению Сергеевну Столетову, сочувствовать выдающемуся советскому метеорологу-энтузиасту Василию Юрьевичу Покровскому. Потом придет и уместится на кончике соседнего стола завуч Викентий Алексеевич, подумав, непременно скажет: «Весьма, весьма огорчен!» — и протяжно вздохнет.

Бориса Владимировича все не было, затем над головами первоклассников появились наконец его прямые плечи и высоко вознесенная голова. Преподаватель шел неторопливо, сморщившись от шума и суеты, досадливыми движениями рук разгребал ребячью толпу.

— Ага, ты на месте, Столетов! — проговорил Борис Владимирович. — Ну что же, пойдём-ка в учительскую! Шагай-ка за мной, Столетов... Вали-ка за мной, как говорят в нашенской деревне...

Женька угрюмо сопел, потом сказал:

— Вы меня пригласили в кабинет директора, а не в учительскую...

Преподаватель смотрел на Женьку весело.

— Забавное приключение! — великодушным тоном проговорил он. — За-а-бавное! В твоём

возрасте, Столетов, естественно хотеть быть загадочным лишним человеком, одеться во флер таинственности... Н-да! Юноши твоего возраста, Столетов, убиенным Ленским быть не хотят! Невыгодно, дорогой мой! А ты?

Женька глядел в ускользящие серые глаза, видел нервную жилку на крепкой шее, беспокойный палец с обручальным кольцом. Потом Женька медленно-медленно подумал: «Не хочет он меня вести к директору...» Конечно! Добродушный директор, поохав и поахав, непременно заинтересуется новой трактовкой образа Онегина, завуч Викентий Алексеевич наверняка доберется до фразы: «В учебнике — для экзаменов, в классе — для души!»

Потрясенный Женька, не мигая, смотрел в серые глаза преподавателя литературы: «Он боится, боится!» Медленно-медленно наплыла острая жалость к учителю: жалким, тонким казалось золотое кольцо, самодельным — купленный в городе галстук, обнаружилась седина, начинающая трогать виски Бориса Владимировича, корпевшего сутками над стопками тетрадей.

— Борис Владимирович! — прошептал Женька. — Борис Владимирович... Это ничего, это пустяки... Я читал Писарева, знаю, что это он говорил про Ленского «самолюбивая посредственность»... Я скажу Петру Васильевичу, что я виноват во всем...

Вчерашний вечер, длинная ночь, птичья головка Людмилы Гасиловой, холодный край стакана — все сошлось, сцепилось, взяло Женьку за горло. Он согнулся и тихо заплакал — на виду у всей школы, возле дверей директорского кабинета...

Время приближалось к десяти, графинчик с водкой был споловинен, на тарелках не оставалось ни мяса, ни овощей, и уже заканчивалось гостеванье капитана Прохорова в трехцветной пустой комнате.

— Мой ученик и друг, Александр Матвеевич, был естественен, как... как молодая репа... В тот же вечер мы с ним долго беседовали. Впечатление было странное. Он был скучным, как старик, и наивным, словно первоклашка... И всего только одни сутки! Не знаю, как у вас, но в моей молодости такого резкого перехода, кажется, не было... В каком возрасте стрелялся Алеша Пешков?

— Помнится, в семнадцать...

— Ой ли?

Перед Прохоровым лежала еще одна фотография Столетова, принесенная Викентием Алексеевичем из спальни. На ней Женька стоял в петушиной позе, со специально прищуренными глазами, с расчетливо закинутой назад головой.

— Мне трудно говорить о Женькиных Любвях! — сказал Викентий Алексеевич. — Я не выношу Людмилу Гасилову, полон нежности к Соне Луниной и до сих пор ханжески побаиваюсь Анну Лукьяненко, пытавшуюся соблазнить моего Женьку...

— Он был влюблен в Гасилову?

— Он думал, что влюблен...

В спальне громко и неторопливо пробили часы. Прохоров узнал по бою высокую коробку из дерева, длинный маятник, вычурные стрелки на медном циферблате: часы были глупые, купеческие, с осипшим пружинным голосом и двумя ключами — для хода и боя, и как раз такие, какие капитан Прохоров собирался купить в комиссионном магазине, как только получит отдельную квартиру.

— Сейчас откроется дверь и войдет Лида! — сказал со снисходительной улыбкой Викентий Алексеевич. — Это, я вам скажу, настолько европеизированный человек...

И действительно, в комнату вошла Лидия Анисимовна — прохладная и свежая, вечерняя и оживленная. По ее виду можно было заключить, что на улице тихо и звездно, что деревня понемножку успокаивается, а река становится пустынной. Мокрые волосы женщины блестели, пахло от нее обской водой, и Прохоров, вспомнив о своем решении каждый день купаться, загрустил. А Лидия Анисимовна подошла к столу, летуче поцеловала мужа в щеку, села.

— Вы только поглядите на них! — насмешливо сказала женщина. — Они еще только начали разговаривать...

После этого Лидия Анисимовна смахнула с брови капельки речной воды и посмотрела на Прохорова прямо, дерзко и так откровенно неприязненно, что он, ничего не поняв, невольно посторонился взглядом. Лицо Лидии Анисимовны мгновенно постарело, сверкнули между губами остренькие зубы.

— Они еще только начали разговаривать... — звонким голосом повторила Лидия Анисимовна. — О прогулке они забыли...

И только тогда Прохоров понял, что произошло. «Я должен был предугадать это!» — подумал он, а вслух сказал:

— Я могу прийти завтра, Викентий Алексеевич.

Слепой учитель молчал грустно, безнадежно; глазницы снова сделались морщинистыми, провалившимися, и он уже не походил на греческие скульптуры, у которых отсутствие живых глаз кажется естественным и потому незаметным. Как и Прохоров, он не знал, что сказать в злой и напряженной тишине.

— Идите гулять! — усмехнулась Лидия Анисимовна. — Зачем приходите еще завтра, когда можно продолжить разговор сегодня. Идите, идите!

Она уже ничего не скрывала. «Ты увидишь луну, реку, дома! — говорило лицо женщины. — А он... — Опять сверкнули мелкие зубы: — Ты любишь его мужеством, станешь рассказывать за чашкой чая знакомым, с каким удивительным человеком познакомился в Сосновке, а он...»

— Вам еще неизвестно, Прохоров, почему в нашем доме нет ни одного мужского головного убора? — механическим голосом сказала Лидия Анисимовна.

— Ну, это дело времени! Рассказчик наверняка найдется...

— Лида!

— Не мешай, Викентий!

Не спуская глаз с Прохорова, она медленно засмеялась.

— Мы не носим головные уборы оттого, что боимся потерять ориентировку... Однажды у Викентия веткой тополя сшибло с головы шапку, он, естественно, нагнулся, чтобы поднять ее, и потерял ориентировку... Это было зимой. Сорок три градуса мороза!

— Лида!

— Я прошу тебя не мешать, Викентий!.. А знаете, что мы ненавидим?

— Лида!

— Мы ненавидим сельское строительство. Когда в поселке возникает новое здание, нам хочется взорвать его... Успокойся, Викентий! Я кончила... Отправляйтесь гулять!

Она негромко хлопнула ладонями по столу, поднявшись, насмешливо поклонилась и пошла в спальню — вся ненависть, презрение. Хлопнула оглушительно дверь, занавески закачались, задребезжала пробка в графине, а потом стало очень тихо. Опять было слышно, как потрескивает, погуживает что-то в электрической лампочке.

— Нам пора! — сказал Викентий Алексеевич. — С десяти до одиннадцати я привык гулять.

Но и сам не торопился: посидел еще несколько секунд в тихой задумчивости, потом повернул лицо к электрической лампочке, зафиксировав положение, на мгновение замер. Дальше Викентий Алексеевич действовал как зрячий человек — поднявшись, решительно прошел по комнате, отворил дверь в коридор, двинулся серединой; миновал веранду и крыльцо, похрустывая песком, пошел к калитке, отворил ее и сразу повернул налево. Викентий Алексеевич не пользовался палкой, руки привычно заложил за спину, а линии плеч, шеи, лица по-прежнему напоминали чуткую локаторную конструкцию.

— Тепло! — не останавливаясь, сказал Викентий Алексеевич. — А мне казалось, что прохладнее...

Спелая, как растрескавшийся помидор, уютная, как темнота под одеялом, ночь покалывала землю длинным светом звезд, катилась по блестящей дороге колом луны; вздымалась к небу черная река, в недалеком лесу аюкала ночная пичуга.

На улице Октябрьской никого уже не было, собаки лаяли редко и неохотно, а на реке жил в торопливой судороге мотора, как бы поедая самого себя, случайный катеришко, и по-прежнему, не уставая, постанывала в ельнике неумелая гитара.

Викентий Алексеевич шел первым — высокий, сутуловатый, с прямыми офицерскими плечами. Он был одет в плотно облегающие брюки, лыжного типа куртка сидела на нем плотно, все пуговицы были застегнуты, а длинные шнурки ботинок обвязаны вокруг щиколоток — все целесообразно, продуманно.

Повиляв по улице Октябрьской, дорога кончилась, уперевшись в синий лес, рассеченный надвое просекой. По ней они и пошли дальше — на возвышенность обского яра, поближе к мерцающим звездам, к той точке берега, где река, живущая далеко внизу, была совсем неслышной, зато Сосновка лежала под ногами с отчетливостью хорошо освещенного аэродрома.

Остановившись на самой верхотуре, Викентий Алексеевич сделал медленный поворот на девяносто градусов, расположив щеки ровно посередине между желтой луной и темной пропастью реки, спокойно дождался отставшего Прохорова.

— Вы простили мою жену? — спросил он, когда Прохоров приблизился. — Это я виноват: потерял ощущение времени...

Прохоров не ответил и, видимо, поступил правильно, так как Викентий Алексеевич засмеялся. Теперь, ночью, когда глазницы всякого человека кажутся темными, а зрачки не видны, лицо Радина было обыкновенным — прямой, чуточку толстоватый нос, спортивная подобранность щек, раздвоенный подбородок.

— Я добрее жены! — сказал Викентий Алексеевич. — Мне легче быть добрым: слеп я, а не Лида...

После этого они засмеялись оба.

— Я родился в Сосновке, — сказал Радин, — а за годы войны деревня не переменялась... Вы деревенский?

— Да!

— А жена из города. Ей трудно понять, что для меня Сосновка — большая привычная комната! Лида боится новых домов...

Прохоров был уверен, что Викентий Алексеевич зримо чувствует пустоту провала, звезды над головой, притаившийся мрак сосняка, слюдяной блеск дороги за спиной.

— Я знаю о столетовской коллекции карманных электрических фонариков... — сказал Прохоров. — По милицейской логике их следует связать с вами, Викентий Алексеевич.

— Нет, почему же! Хотя Евгений, простите, подражал мне... В деле описан шрам на его виске?

— Да.

— Шраму девять лет. Женька напоролся на сучок, когда с завязанными глазами, подражая мне, ходил по Сосновке...

Скрылся в темени катеришка-самоед, на реке теперь самолюбиво пыхтел смутный в очертаниях, но с яркими огнями на мачтах буксир.

Река бесшумно — целиком — неслась на север, висящая над ней луна походила только на луну — такая была неповторимая, полнокровная.

— Я должен заявить, — шутливо сказал Прохоров, — что тоже не отношу себя к тем людям, которым можно запросто положить палец в рот! Если вы каждодневно гуляете по этой дороге с десяти до одиннадцати, то вы единственный человек, мимо кого можно пройти без риска быть опознанным... — И спокойно добавил: — Простите!

Прохоров терпеливо ждал, пока Викентий Алексеевич припомнит вечер двадцать второго мая, мысленно пройдет по дороге, остановится на круче, прислушается к ночной тишине — звучат или не звучат шаги. Прошло не менее двух минут до того мгновенья, когда Викентий Алексеевич, коротко передохнув, сказал:

— Мимо меня действительно проходил незнакомый человек. Это мог быть и Заварзин, его я не знаю... Мать честная! Он мог не принять меня в расчет! Но как же я узнаю, что это был Заварзин?

Прохоров на секундочку замялся.

— Нужен следственный эксперимент, — наконец решительно сказал он. — Проведем мимо вас пять знакомых и незнакомых человек, среди которых будет Заварзин...

В тишине раздались коротенькие, еле слышные металлические удары — это отсчитывали одиннадцать часов на руке Викентия Алексеевича. Когда они замолкли, сделалось совсем глухо, и от этого особенно уютно, тепло, словно температура зависела от интенсивности звуков. Слепой учитель опять поднял голову, покачал ею так, точно гладил кожу лунным светом:

— Еще есть чисто милицейские вопросы?

— Только один, Викентий Алексеевич! Что происходило на лесосеке двадцать второго мая, кроме ссоры Столетова с Аркадием Заварзиным и стычки с мастером Гасиловым?

— Странное происходило! — быстро ответил Радин. — Накануне Женька явился ко мне и еще на пороге заорал: «Гасилову — кранты!»

— Как это понять?

— Вот и я спросил Женьку: «Как это понять?» Но он только орал: «Кранты!»

— И все?

— Все. Правда, уходя, загадочно шепнул: «После окончания операции будет доложено, комиссар».

Они стояли неподвижно, грустные, раздосадованные, потом Викентий Алексеевич весело спросил:

— Хотите знать, как я воспринимаю вас? Вы темно-коричневый... А лет десять назад были красным, как Женька...

Помолчав, капитан Прохоров принужденно оживился.

— Я был просто красным или ярко-красным? — спросил он.

Под ногами лежала ночная Сосновка — в редких огнях, с разъединственным фонарем возле конторы, с блестящей пустотой дороги. По-ночному хрипло лаяли собаки, звезды качались на зыбких ниточках собственных лучей; по-прежнему сладко и тревожно брэнчала в ельнике гитара.

8

В пилипенковском кабинете лунный свет отъеденным ломтем лежал на раскладушке, оконные стекла синели, часы-ходики гвоздями вколачивали в стенку жаркие секунды душевной ночи.

Не зажигая света, Прохоров подошел к раскладушке, сел на стул, лениво потянулся. Сколько обременительных поступков надо было произвести: расстелить постель, раздеться, лечь, закрыть глаза, зная, что не успеешь...

Он полез в карман, вынул плоский кошелек, взвесив его на ладони, снова лениво потянулся и почувствовал, какой он, Прохоров, весь взбудораженный, горячий, беспокойный до болезненности. И воображение оказалось горячечным, нервным... Вот вам, пожалуйста! Вошла в комнату Вера, покачиваясь на высоких каблуках, укоризненно покачала головой, вынув из его пальцев черный кошелек, насмешливо сказала: «Ты станешь наркоманом, Прохоров!»

Прохоров сосредоточенно считал: «Сегодня вторник... Значит, в последний раз я пил снотворное четыре дня назад... А на пароходе... При чем тут пароход?...» Он сунул коробочку обратно в кошелек, решительно щелкнув замком, принялся лениво стелить постель — снял и аккуратно свернул на восемь долек пикейное одеяло, поправил углы пододеяльника, взбил слежавшиеся подушки. Потом быстро разделся.

Засыпал он всегда на правом боку, ладонь подкладывал под щеку, колени подтягивал к животу. Точно так Прохоров устроился и сегодня — закрыл глаза, перестал двигаться, два-три раза легонько вздохнул... И началось! В комнату снова вошла Вера, походила бесцельно из угла в угол, шелестя фольгой, развернула и съела шоколадную конфету; потом она сказала, что не звонила сегодня от десяти до одиннадцати и звонить не собирается. Тут неожиданно явился в кабинет завуч сосновской школы Викентий Алексеевич, по-хозяйски усевшись, критически поджал губы: «Весьма, весьма прискорбно, Александр Матвеевич, что десять лет назад вы были ярко-красным, а затем... потемнели!»

...Слепой учитель был прав; капитан Прохоров не только потемнел, а побурел, заплесневел, покрылся бронированной скорлупой лени, сделался нерешительным, как сороконожка, скучным, как зимний вечер за подкидным дураком. Как он живет, черт побери! Двенадцать часов на работе, ужин в маленькой столовой, где спиртные напитки распивать воспрещается, — шницель, два стакана крепкого чая — вечер в холостяцкой квартире. С друзьями встречается только на работе: ни в кино, ни в театры не ходит, матери последний раз писал месяц назад; на соседей по лестничной клетке рычит, а коммунальных сожителей открыто ненавидит. А они обыкновенные, хорошие люди. Им хочется в субботу и воскресенье посидеть с гостями, поразговаривать, попеть песню «Подмосковные вечера». А как зазнался Прохоров! Как зазнался этот областной капитанишка! Все у него бездари и кретины, все, понимаешь ли, не стоят прохоровского мизинца... Он даже не коричневый, капитан Прохоров, а черный он... Валаамова ослица!

Прохоров задумался; можно ли называть самого себя Валаамовой ослицей? Судя по тому, что ослица женского рода, — нельзя, но в принципе... И по звучанию Валаамова ослица очень шла человеку, который недавно сказал любимой женщине, то есть Вере: «Не хочу антиквариата!» Она с глубокой печалью ответила: «Дурачок!»

Черный кошелек Прохоров оставил в кармане пиджака, пиджак повесил на спинку стула — препротивная холостяцкая привычка, — карман с кошельком поэтому находился на расстоянии вытянутой руки от раскладушки... Сама «Валаамова ослица» лежала на левом боку, старательно зажмурировала глаза и не хотела спать... «Буду считать и погонять слонов!» — решила она.

Первый слон был расплывчатый, не материальный, по сеням не прошел, а проплыл, ни одной половицей не скрипнул, вошедши в пилипенковский кабинет, медленно растаял; второй слон оказался бесхвостым, плоским и одноглазым — на спине у него сидел плоский старец Валаам и помахивал гусиным пером.

Третий слон был трехмерным, в сенях половицами не скрипел, а грохотал, в кабинетные двери пробрался с трудом — пришлось сгибать морщинистые ноги. На серой попоне сидел Аркадий Заварзин, махал валаамовским гусиным пером и нежно улыбался Прохорову: «Вы ошибаетесь, капитан! Я вовсе не ехал на одной тормозной площадке с вашим Столетовым!»

...Прохоров перевернулся на спину, отдуваясь, подмигнул светлому потолку: «Плевал я на слонов! Надо считать...» Через три секунды выяснилось, что у цифры 3 наблюдается полногрудость, 5 похожа на полковой барабан с палочками, 7 стремится к обособленности, и вообще мысль зацепилась намертво за рассказ Чапека «Поэт». Однако он упрямо считал: «...девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два...» Двадцать два?

Что произошло в лесосеке двадцать второго мая? Как понимать: «Гасилову — кранты?» Отчего кажется, что созидательный Петр Петрович Гасилов имеет пря-я-мо-е отношение к смерти Столетова?

Гасилов — Заварзин — Столетов...

Людмила — Софья — Анна...

Случайно — подтолкнули — толкнули — сбросили...

Пе-ту-хов!

Нок-си-рон!

«Венгерское успокаивающее средство ноксирон не относится к числу барбитуратов, то есть к той группе снотворных, которые... Ноксирон является успокаивающим и снотворным средством. Сон после приема препарата наступает через 20–30 минут и продолжается 5–6 часов. В отличие от барбитуратов он не оказывает угнетающего влияния на дыхание и кровообращение, на кроветворные органы, печень и почки. Препарат малотоксичен, быстро выводится из организма почками...»

«Вот это память!» — восхитился самим собой Прохоров.

Луч зеленой важной звезды колот в глаза. Он медленно вытянул руку, не глядя — вот скотина! — вынул из кармана кошелек, достав пилюлю ноксирона, обнаружил — трижды скотина! — что стакан с водой стоит на тумбочке.

Выпив снотворное, Прохоров вслух выругался:

— Черт знает что!

...Каждое новое дело он начинал изматывающей бессонницей, воображение разыгрывалось до болезненности, лобные кости болели, а тут еще радинская водка, ожидание телефонного звонка Веры, постоянная мысль о родителях Евгения Столетова, загадочный Петр Петрович Гасилов, странная тайна майского дня...

Минут через двадцать Прохоров заснул — маленький, худенький, бледнолицый, с крепко зажмуренными глазами и насмешливо выпяченной нижней губой...

9

И началась жара великая...

Следующий день с утра вызрел такой душный и горячий, что уже на рассвете Обь дымилась маревом, небо над ней возникло раскаленное добела, деревья в палисадниках сухо пошевеливали листьями, а воздух сделался липким, как плохая клеенка. И к полудню в Сосновке житья не стало — все слепило и обжигало; деревянный тротуар через подошву туфель горячил ногу, животные притихли, а куры лежали в лопухах с обморочно закаченными глазами.

Обливаясь потом, но при галстукке и пиджаке капитан Прохоров неторопливо шествовал по деревне, заложив за спину руки, производил осмотр сосновских домов со своими особыми, милицейскими целями... Вот небольшое строение полуказенного типа — здесь проживают технорук Петухов и холостой техник Гущенко; далее следует дом бригадира Притыкина — толстые бревна, четыре окна, кирпичный фундамент, железная крыша; вот здесь имеет вид на жительство напарник погибшего Столетова тракторист Никита Суворов — в домишке не меньше пяти комнат, веранда огромная, огородишко можно превратить в полнометражный стадион; вот еще одно монументальное строение... А?!

Одним словом, хорошо, богато, как выразился участковый Пилипенко, жили сосновские лесозаготовители, а когда Прохоров заглянул в пилипенковскую записную книжку, то сухо

поджал губы: обыкновенный тракторист вместе с северной надбавкой зарабатывал в месяц не менее трехсот рублей, а лучшие — Андрюшка Лузгин, Борька Маслов, погибший Женька Столетов — иногда получали и четыреста. Что касается бывшего уголовника Аркадия Заварзина, то его лицевой счет находился перед глазами Прохорова в виде лиственничного добротного дома.

Богато, богато жили сосновские лесозаготовители! Всего четыре года прошло с тех пор, как освободился из исправительно-трудового лагеря Аркадий Заварзин, но уже отгрохал себе такой домишко, что разлюли-малина! Построенный в кредит особняк со всех сторон обшит свеженьким тесом, крыша — шатровая, фундамент — кирпичный, мощные ворота содрогаются от лая свирепого пса, посаженного на звенящую цепь; на окнах — резные наличники, крыльцо тоже украшено затейливой резьбой, в петухах, а на трубу нахлобучена такая корона из листового железа. В доме должно быть не меньше четырех комнат, хотя семья Заварзина состояла из трех человек — он сам, жена Мария, двухлетний мальчишка по имени Петька.

— Шикарно! — вслух сказал Прохоров. — Богато!

Еще немного постояв возле заварзинского дома, капитан затаенно улыбнулся, промокнув платком пот на лбу, пошел дальше. Он, конечно, не мог еще ходить по деревне с завязанными глазами, но довольно уверенно разбирался в обстановке: вот это Трудовой переулок, вот это переулок Зеленый, вот это еще один Трудовой переулок, а вот это детский сад и ясли! Построены они буквой «г», обнесены невысоким забором, посередине пасутся разнокалиберные ребяташки, похаживает грандиозная от полноты и белого халата воспитательница.

— Здравствуйте!

Воспитательница через низкий забор подозрительно оглядела Прохорова, нагнав на подбородок три жирные складки, бегло заглянула в его удостоверение.

— Кого надо?

— А Петьку Заварзина!

Двухлетний сын Аркадия Заварзина сидел на деревянном торце песочницы, наблюдал за тем, как узкоглазая девчонка строит домик из сырого песка. На мальчишке была аккуратная рубашечка с белыми пуговицами, штаны на помочах, желтые ботинки; мальчишка был свежий и розовый, как молодая морковка, серые глаза возбужденно блестели, белокурые волосы вились. Нижняя часть лица Петьки была отцовской, все остальное, видимо, материнским — курносость, страстность, ладные круглые уши.

— Шумно у вас очень! — сочувственно сказал Прохоров монументальной воспитательнице.
— А тут еще жарница... Не продохнешь!

— Шум у нас обыкновенный...

— Тогда до свиданья! Желаю вам успехов в труде и личной жизни!

Раза два оглянувшись, Прохоров двинулся дальше по пыльной дороге, посмеиваясь над воспитательницей, похожей на курицу с растопыренными крыльями и очень взволнованной прохоровским появлением, хотя разговаривала с ним строго. «Дамочка-то является незамужней!» — думал он, вспоминая востренький взгляд, в котором так и кричало: «Незнакомый мужчина!»

Прохоров вышел на обский берег, подыскав удобное бревно, сел лицом к реке. Аккуратно

сложенный пиджак он положил рядом, расстегнул на груди рубаху, но галстук не снял, подумав насмешливо: «Не могу же я представиться Людмиле Гасиловой, так сказать, в неглиже!» После этого Прохоров прислушался к себе и понял, что у него хорошее настроение, — было спокойно, иронично, отчего-то утишивалось лихорадочное состояние первых дней работы в Сосновке, и, как всегда, было совершенно непонятно, почему происходит это. Он по-хорошему улыбнулся, когда вспомнил утреннее.

...Участковый Пилипенко, стоя посередине кабинета, держал нос высоко, сапоги сверкали, румянец лежал на щеках многослойными напластованиями, и все это было заслуженным, так как Пилипенко пять минут назад сообщил такое, что капитан Прохоров на несколько секунд перестал улыбаться. Потом Прохоров сел на кончик двухтумбового стола, сосредоточенно поболтав ногами, почувствовал вдохновение.

Он сказал:

— Найдите, мой родной, Аркадия Заварзина, возьмите подписку о невыезде и положите ее вот об это место стола...

Потом он снисходительно прищурился:

— Вольно, младший лейтенант! Можете отставить ногу и вытереть с ясного лба обильный пот... Спасибо! А может быть, сядете?

Когда участковый Пилипенко сел и улыбнулся знакомой улыбкой: «Болтай, болтай, капиташка, знаем мы вас как облупленных!», Прохоров еще раз одобрительно посмотрел на него, затем собрал на лбу морщины и дал душеньке полный разгул...

— Ах, ах, товарищ Пилипенко! — укоризненно сказал он. — Разве можно думать о вышестоящем начальстве: «Давай болтай, болтай — язык без костей!» О вышестоящем начальстве надо думать так: «Ой, не пропустить бы словцо, которое оно обронило!..» Вы согласны со мной, младший лейтенант Пилипенко?

— Так точно!

Бестия! Говорит «Так точно», а в коричневых глазах насмешка, губы растягиваются — охота хохотать, лицо с плаката «В сберкассе накопил — машину купил!» — по-молодому оживленно, так как думает обидное: «Ни хрена бы ты не сделал без меня, трепач!» Однако сидит на стуле строго, крепкий такой, здоровый, уверенный в том, что жизнь прекрасна и удивительна, и кожа на лице без единой морщинки, складочки, темного пятнышка.

— Стыдно, молодой человек, не уважать старших! — ласково продолжал Прохоров. — Признаю: вы накололи технорука Петухова, но ведь и Прохоров не дремал! Мне уже известно, почему Евгений Столетов вырезал из книг и журналов негров! А! Обомлели!

Пилипенко если не обомлел, то, по крайней мере, удивился — перестал насмешливо улыбаться и нагло скрипеть новенькой портупеей. «Какие негры? Кто вырезал?» — сказали его ореховые глаза, плакатные брови. Потом Пилипенко умудрился в сидячем положении сделать руки по швам — прикоснулся ладонями к коленям.

— Разрешите вас поздравить, товарищ капитан!

Прохорову сделалось совсем весело. Он бросил взгляд в распахнутое окно — голубеет река, покосился на свои туфли — блестят, перевел взгляд на раскладушку — отлично застелена. И сам Прохоров очень понравился себе... Вот сидит перед молодым офицером умудренный опытом и обремененный годами старший товарищ, чуждый сопливой сентиментальности, строгий, но справедливый, учит его уму-разуму. Насмешливые глаза капитана Прохорова

полны отцовской нежности, которую приходится скрывать под маской суровости, губы у капитана Прохорова...

— Столетов был хороший парень, но психический, — тоном рапорта произнес Пилипенко. — Когда он еще был живой, я ему сказал, что не уважаю таких, как он...

Прохоров слез со стола:

— А почему же?

— Он тоже переспал с гражданкой Лукьяненко! Убивался по Гасиловой, а переспал с Лукьяненко... Аморалочка?

Прохоров обозлился:

— Вы-то откуда знаете?

— К Лукьяненко зря не ходят!

Младший лейтенант Пилипенко, предполагаемый ученик капитана Прохорова, блестящей струйкой взвился со стула, задрал подбородок, посмотрел на областное начальство насмешливо.

— Разрешите выполнять задание, товарищ капитан?

— Выполняйте, черт... Простите, Пилипенко!

— Пустяки, товарищ капитан!

Дальнейшее было традиционным: ни разу не оглянувшись, забыв о Прохорове, участковый вызывающе прогрохотал половицами сеней и ступеньками крыльца, пошел по деревянному тротуару свечечкой, с такой презрительной спиной, которая говорила: «Плевали мы на вас! Мы свое дело знаем туго!»

— Какой пышный!

После этих слов Прохоров еще немножко постоял у окна, дождавшись, когда Пилипенко завернет за угол, вышел на крыльцо сам и снова остановился: снимать пиджак или не снимать, идти в галстук или без галстука?

...И вот пиджак лежал рядом, галстук был свободно распушен, сам Прохоров, оказывается, находился в хорошем настроении — сидел на бревне, лениво отмахивался от большой настырной мухи, а думал о том, что давно не видался с рекой... Капитан Прохоров родился в такой же обской деревне, как Сосновка, ему было скучно, когда мимо городского окна текла не Обь, а темная, быстрая и беспокойная Ромь. Что-то в ней было суетное, куда-то она все торопилась, постоянно все-таки опаздывала; берега у Роми тоже не отличались величественностью — то под правой рукой у реки жили яры, то под левой, то вообще было трудно понять, равнинная река Ромь или горная и чего ей, собственно, надо. Другое дело на Оби! Здесь только бросишь взгляд на берега, сразу понятно, где север, где юг, где ловятся нельмы и осетры, а где и захудалого чебака не вытащишь. На Оби спокойно, просто, хорошо дышится, мир кажется простым и приятным; можно думать и не думать, вспоминать и не вспоминать... Хорошая, очень хорошая река эта Обь!

Прохоров краешком уха услышал легкие шаги на дороге, скосив глаза, увидел белую фигуру девушки, движущейся сквозь волнистое марево. Белый цвет был ярок, насыщен, скрывал подробности фигуры, но общее впечатление было такое, точно приближается жданная неожиданность... Действительно, на фоне темных домов передвигалось нечто легкое,

прозрачное, такое же зыбкое, как окружающее девушку море. Белое платье, летучая походка, вздыбленные на затылке, как бы улетающие волосы.

Когда Людмила Гасилова еще приблизилась, Прохоров увидел, что на ней платье, которое сверху донизу застегивается на пуговицы; на ногах у нее были резиновые «вьетнамки», через правую руку перекинута громадная махровая полотенце, а в левой руке она несла синюю пластмассовую сумку, состоящую из крупных ячеек. Дно сумки тоже было плетеным, ручки — длинными; сумка вовсе не предназначалась для переноски купальных принадлежностей — косынки, зеркала, губной помады и прочей пляжной премудрости. Синяя сумка была явно фруктовой; такую сумку, наполнив яблоками, удобно окунуть в воду или поставить под сильную струю воды из крана.

Еще через несколько секунд Прохоров отлично разглядел небольшое, слегка удлинненное, нежно-матовое лицо и тут же понял, что девушка по-настоящему красива, хотя у нее был чуточку тяжеловат подбородок, слишком выгнута линия лба, узковато поставлены глаза. Не портило Людмилу и то, что на лице не было умнейших, мудрых, добрых глаз отца Петра Петровича Гасилова, так как глаза у девушки были, видимо, материнские — серые, удлинненные и влажные.

Подойдя к песчаному срезу низкого берега, девушка неторопливо поставила на землю сумку для фруктов, плавно нагнувшись, достала из нее плед, постелила его на песок, потом, поразмыслив немного, бросила на плед дымчатые очки с крупными фиолетовыми стеклами, часы, еще какую-то мелочь; полотенце она положила на уголок пледа, и уж затем выпрямилась, потянулась, зевнула длинно и, видимо, сладко. Она, конечно, спиной ощущала прохоровские любопытные глаза, но вела себя так естественно и непринужденно, точно и не догадывалась о его присутствии. Тогда Прохоров весело подумал: «Пасется!»

Людмила стояла неподвижно, изогнувшись на фоне желтой реки, безмятежная и светлая, как небо. Так продолжалось минуты три, потом девушка сделала несколько быстрых, неуловимых движений, и платье плавно — легкое, тонкое — опустилось к ее ногам. «Эффектно!» — медленно подумал Прохоров и не сразу, а по частям, по отдельности ощущений почувствовал, как подступила к горлу тревожная боль; она, боль, подобралась толчками, как бы незаметно, и тут же сделалась тупой, ноющей. «Они должны были стать мужем и женой!» — подумал Прохоров. Только Женьке Столетову должны были принадлежать эти покатые плечи, эта невинная округлость рук, эти ноги, полные в икрах и сухие в круглом колене...

Людмила пошла к воде. И произошло странное: девушка повела себя так, словно не она входила в обскую воду, а, наоборот, обская вода по ее разрешению покорно обтекала ноги, бедра, локти, плечи. Девушка так шла по ровному дну, словно не заметила перемещения из одной стихии в другую, и вид у нее был такой, словно Людмила говорила: «Был воздух, теперь — вода. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

Было что-то бездумно-плавное, дремотное, растительное в ее движениях, в руках, слабо загибающих воду, в лице, которое даже не собиралось менять безмятежного выражения на выражение удовольствия; ей было все равно, куда плыть, солнце ей не мешало. Людмила плыла все дальше и дальше по спящей желтой полоске, вскоре стала маячить в отдалении только красная купальная шапочка — то пропадая, то появляясь, — но это не вызывало беспокойства, так как и красная шапочка говорила: «Можно плыть, а можно и не плыть. Можно утонуть, а можно и не утонуть... В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Пасется! — вслух произнес Прохоров и, прислушиваясь, повторил: — Пасется!

Прохоров вдруг рассмеялся тому, что резиновая шапочка Людмилы походила на поплавок удочки — девушку подхватил сильный обский стрежень и понес, то окуная, то вздымая на

поверхность: казалось, что красный поплавок трогает очень осторожная, умная и опытная рыба.

— Собираетесь жениться на Гасиловой, товарищ Петухов? — спросил Прохоров у красной купальной шапочки. — Собираетесь жениться, а вот Пилипенко говорит...

— Посмотрим, посмотрим! — снова вслух сказал он. — Разберемся: кто Красная шапочка, а кто Серый волк!

И суетливо оглянулся — не слышит ли кто, как разговаривает сам с собой сорокапятилетний капитан уголовного розыска?

10

Безразличная к холодным капелькам воды, осыпавшим гладкую кожу, к деревне, глядевшей на нее окнами всех домов, ко всему белому свету, выходила из реки Людмила Гасилова. Постояла минуточку к солнцу лицом, затем повернулась к жарким лучам спиной, потом — боком, и опять это происходило так, словно не девушка подставляла тело солнцу, а само солнце спешило предоставить ей тепло. Сытно, счастливо, спокойно паслась девушка на солнце, воде, на земле, выбирала самую вкусную и питательную траву, и капитан Прохоров терпеливо переживал ее жизнелюбие.

Девушка не свернула полотенце, когда кончила вытираться, а бросила, не глядя, в сумку, не надела очки-фильтры, а очки сами плавно сели на переносицу, не застегнула платье сверху донизу, а оно само сомкнулось вокруг нее, не пошла на верхотинку яра, а сам яр начал подставляться под ее безмятежные ноги. Зыбкая, длинная, она очень бережно несла себя от песчаной косы к яру; вся была чистенькая, нарядная, свежая, как двухлетний Петька Заварзин, а от больших очков казалась бы заграничной штучкой, если бы не фруктовая сумка — будь она неладна!

До Людмилы оставалось еще метров пятнадцать, но Прохоров уже начал глядеть на нее открыто, улыбаться так, точно смотрел на человека, которого давно знал, да вот забыл, кто он такой, когда же девушка подошла, оживленным голосом произнес:

— Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! Простите меня! Ох, простите меня! Но как я мог поступить иначе? Ведь если в реке под названием Обь купается Афродита, то в ней — в реченьке-то — нет места капитану уголовного розыска Александру Матвеевичу Прохорову!.. Искупаться ведь я хотел... Но увы! Увы! Суждены нам благие порывы... Это кто написал? Пушкин или Лермонтов? Впрочем, вполне возможно, что ни тот ни другой...

Паясничая, профессионально улыбаясь и мельком думая о том, что поступает несправедливо, заранее считая Людмилу причастной к гибели Евгения Столетова, капитан Прохоров уже набело, окончательно рассмотрел девушку, которая захотела обнимать загорелую шею человека, умеющего хорошо сидеть на стуле, и отвергла парня, умеющего ходить так, словно навстречу всегда дул холодный, тугой ветер.

— Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! — повторял Прохоров, жадно осматривая девушку и улыбаясь тому, что на ее лице по-прежнему было написано безмятежное: «Вы — Прохоров, я — Гасилова. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Присаживайтесь, присаживайтесь, Людмила Петровна! В ногах, как говорится, правды нет, а я ужасный болтун... Я такой болтун, что через пять минут вы помрете от скуки... А день

такой прекрасный, что просто ужас!

От нее пахло речной свежестью, у нее было и вблизи нежное, молодое, сероглазое, аккуратно вырезанное лицо, руки — округлые, с тонкими пальцами, с гладкой и тоже нежной кожей; она вся была такая молодая, такая чистая, такая благоуханная, что и день казался прохладней, и Обь голубела праздничней, и небо сияло над ней как бы хрустальное... «Женька, Женька! — тоскливо думал Прохоров. — Как же это так случилось, Женька Столетов?»

— Я, знаете ли, Людмила Петровна, всегда путаю Лермонтова с Пушкиным, а Пушкина с Лермонтовым.

Девушка сидела на бревне так же вольготно, как недавно сиживал в пилипенковском кабинете технорук Петухов, слушая Прохорова, слегка приподняла тонкую бровь, пальцами перебирала цепочку-браслет на руке.

— Я все-таки больше люблю Лермонтова, — без улыбки сказала Людмила и повернула синеватые белки глаз в сторону Прохорова. — Нет, серьезно!

Девушка произнесла всего несколько незначительных слов, но они были сказаны с такой простотой и непосредственностью, с такой интимной интонацией, что Прохоров почувствовал, как девушка начинает занимать в нем, Прохорове, такое же удобное место, какое занимает на сосновом бревне. «Вы, Прохоров, хороший, замечательный человек! Я, Людмила Гасилова, тоже хороший, замечательный человек! Так в чем дело? Ах, какие все это пустяки!» — сказали серые глаза девушки, и Прохоров невольно почувствовал, что действительно пустяки! Важно в мире только одно: сидеть на бревнышке и переживать конец медленной минуты, а что касается следующего мгновенья — ах, какие пустяки!

— Вы, наверное, романтическая, увлекающаяся натура, — шутливо сказал Прохоров. — Может быть, вы даже сами пишете стихи... Про темные ночи, широкий плащ и острый кинжал, как говорит мой друг из Еревана — замечательный майор Ваню. Ах, каким вином он угощал меня!

Людмила негромко засмеялась, а Прохоров с новой силой почувствовал, какое у него хорошее настроение. Ему так легко и весело болтается, так много слов висит на кончике освобожденного языка, так легко думается и кажется, что на самом деле все пустяки!

— Жарко вот только... — пожаловался Прохоров. — Мой друг Ваню не верит, что на Оби бывают душные южные дни. Он вообще забавный, этот Ваню! Говорит: «В Армении есть все, на Оби — ничего!» — «Эх, Ваню, — говорю я ему, — на Оби есть то, чего нет в Армении, и плюс то, что есть в Армении.» Он отвечает: «Берем кинжал!..» Ну, вот вы смеетесь, Людмила Петровна, а мне не до веселья. Какой уж тут смех, Людмила Петровна, когда следователь Сорокин, разговаривая с вами, не догадался спросить, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Столетов? Это первый вопрос! А второй такой: не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами?

Людмила слегка нахмурила брови, вспоминая покусала ровными зубами нижнюю губу, а Прохоров почувствовал желание закурить. Ей-богу, в его милицейской практике еще не встречался такой человек, как Людмила Гасилова, которая никак — ну никак! — не отреагировала на его иезуитский прием. Он-то думал, что очень ловко подвел под болтовню о несуществующем майоре Ваню два страшных для девушки вопроса, а она только нахмурила брови да деловито примолкла.

— Мне надо все хорошенько вспомнить, — сказала Людмила. — Серьезно!.. Ну вот! Вспомнила. До шести я была дома, потом пошла гулять... Часов до семи я гуляла, зашла домой, переделалась и отправилась... — Людмила спокойно улыбнулась. — Я отправилась на

свидание с Петуховым... Серьезно. Что касается второго вопроса, то... Накануне я получила от Жени записку. Он просил о встрече...

Прохоров молчал. Ему казалось, что Людмила снова вернулась на кромку речного песка, встав лицом к Оби, сделала несколько ленивых, безмятежных движений, и платье опять упало к ее ногам... «Да, — утверждали серые глаза девушки, — между моим свиданием с Петуховым и смертью Столетова может существовать связь. Поэтому ничего я не хочу утаивать, буду говорить правду и только правду. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Вы ответили на записку?

— Нет! — подумав, сказала она. — Я еще раньше предупреждала Женю, что не буду отвечать...

Он замер, ожидая слова «серьезно», но девушка на этот раз не произнесла его. Она покачала головой и замолчала так естественно, как перестают шуметь деревья, когда затихает ветер; лицо у нее погрузнело. Людмила, наверное, вспоминала разговор с Евгением о письмах, видела, наверное, как Женька стоит перед ней, как молчит, как улыбается, как не верит в серьезность происходящего. Это было в те дни, когда происходило что-то серьезное между ним и Петром Петровичем Гасиловым, когда Женькины друзья-комсомольцы от чего-то словно осатанели, вся деревня наполнилась тайными шепотами, заговорщицкими встречами Столетова с друзьями, открытой ненавистью ребят к Гасилову...

— Вы разлюбили Женьку? — вдруг тихо спросил Прохоров.

Было около пяти часов, река от жары была сиреневой, лодки на воде казались не плывущими, а висящими в сиреневости; за спиной Прохорова, за домами, погукивала кукушка, а деревня казалась вымершей, пустой, как заколоченный дом; грустно было слушать кукушку, глядеть на сиреневую Обь, плывущую к северу, к Обской губе, к чертовой матери...

— Я не знаю, любила ли Женю вообще... — медленно сказала девушка. — Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж...

Теперь Прохоров уже не боялся, что она произнесет слово «серьезно», ему был интересен процесс мышления Людмилы, и он громко покашлял, чтобы поторопить девушку.

— Я не могла быть его женой... Женщина чувствует, когда человек не может быть хорошим мужем...

Она трудно находила слова, ей самой, конечно, не все было понятно.

— Я вот так скажу: Женя любил слишком многое, чтобы быть хорошим мужем. Ему тоже было трудно со мной... Знаете, Женя не мог видеть, как я ем. Seriously!

Инстинктивно убежденная в том, что существовала связь между нею и смертью Столетова, но не понимая уголовной опасности этой связи, Людмила по-прежнему была предельно правдивой, раскрывалась с такой жестокостью, что Прохоров не верил своим ушам... Бог ты мой, она еще продолжает!

— С Женей было тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет, всегда ждала неожиданного поступка... Да, да, он был неповторимым человеком, но это так трудно. Seriously. Он укорял меня: «Людка, ты одинаковая, как маковинки в коробочке!» Перед встречей с Женей я всегда чувствовала беспокойство, усталость...

Людмила сделала паузу как раз в тот миг, когда Прохоров понял, чего ему не хватало — знакомства с матерью девушки! Ох, как было важно знать ту женщину, которая снабдила дочь серыми безмятежными глазами, ровной линией зубов!

— Я все надеялась, что Женя переменится. Однако ничего не менялось! Такие люди, как Женя, не меняются до последнего дня жизни. В чем он был постоянным, так это в неперемежности... Папа говорит: «Такие люди, как Столетов, не должны умирать», но Жени нет... Нет Жени! Не будет он никогда купаться со мной в Оби...

Прохоров уже боялся глядеть в спокойные глаза девушки.

— Женя всегда далеко плавал, а однажды переплыл Обь... Я лежала на берегу, он подошел и сказал: «Людка, я теперь знаю, что самое опасное — середина!» Это он сказал для меня. Он всегда говорил, что я не плохая и не хорошая... Потом Женя признался: «На середине Оби я струсил! До тебя было столько же, сколько до противоположного берега... Брр! Страшно было на середине!»

Хотелось тихонечко завывать...

— А я сказала Жене: «Я ни капельки не боялась, что ты утонешь! Seriously!» Тогда он засмеялся и сказал: «Я выжил только потому, что поплыл к противоположному берегу, а не к тебе». Эти слова я и тогда не поняла и теперь не понимаю. Я только чувствую, что в них много правды. Женя так любил меня, что иногда ему надо было уплывать... Теперь он уплыл навсегда... Больше не вернется...

Девушка замолкла, положила руки на колени, и они сделались беспомощными, невинными, девчоночьими; исчезли из поля зрения кольцо с зеленым камнем, браслет, красные ногти скучающей курортницы. Прохорову стало холодно на палящем солнце — если Людмила понимает саму себя, если знает о своей любви к Женьке, если в эту любовь осознанно помещает технорука Петухова...

— Надо немножко отдохнуть, — сказал Прохоров. — Помолчим, Людмила Петровна?

— Помолчим!

Прошло уже полчаса с тех пор, как Людмила присела на сосновое бревно, солнце еще чуточку скатилось к западу, река густела в сиреновом цвете, желтая полоска растворялась, но никаких существенных перемен в мире, оказывается, не произошло. По-прежнему было до одурения жарко, воздух звенел и дрожал, белые чайки в небе висели неподвижно. Людмила Гасилова сидела в прежней позе, сам капитан Прохоров тоже, оказывается, не очень переменялся.

Настроение у него было достаточно хорошее, с самим собой он боролся успешно, за какие-то паршивые полчаса узнал от Людмилы в два раза больше, чем предполагал узнать, и перспективы на ближайшее будущее открывались блестящие.

— Людмила Петровна, — мягко сказал Прохоров, — четвертого марта Столетов был у вас дома и, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем... Разговор длился примерно минут сорок, вы присутствовали при начале, а потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты... Что тогда произошло? О чем шла речь?

Он терпеливо и добродушно, как кошка перед мышьиной норой, наблюдал за Людмилой Гасиловой — она подняла голову, прищурившись, опять покусывала зубами нижнюю губу. Сначала было трудно понять, что чувствует девушка, затем Прохоров заметил, как сползла со щек легкая пленка грусти, зрачки прояснились.

— Я все расскажу! — ответила Людмила. — Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю! Seriously.

Снова появилось в глазах выражение безмятежного жизнелюбия, естественности

существования.

Прохоров неожиданно засмеялся.

— Я напрашиваюсь к вам в гости, Людмила Петровна! — заявил он. — Ваша мама уехала с домработницей за малиной, Петр Петрович катается. Вот вы мне и расскажете о происшествии на месте действия. Я не очень нахален, а, Людмила Петровна? Впрочем, мы все такие. Все-е-е мы такие — милицейские крючки. «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», — говорили не то греки, не то римляне, не то мой армянский друг Ваню...

Он уже встал с бревна, уже затягивал узел галстука, уже чувствовал вдохновение:

— А вот Петр Петрович меня в гости не приглашает. Приходите в контору, говорит. У нас в конторе, говорит, спокойно, начальник лесопункта Сухов занят своим изобретательством, не помешает он нам, говорит...

Говоря все это, капитан Прохоров уже энергично шел впереди Людмилы Гасиловой, чувствовал такую жажду и способность к работе, что кружилась голова и сладко посасывало под ложечкой.

Он первым поднялся на верхотинку яра, не понимая, для чего делает это, внимательнейшим образом посмотрел на свои запылившиеся туфли, затем повернулся лицом к реке и две-три секунды стоял неподвижно, задавая себе такие вопросы, на которые никогда не сможет ответить... Что с ним произошло за эти короткие сорок минут? Почему именно разговор с Людмилой Гасиловой вернул ему рабочую форму? «Я все-таки похож на служебную овчарку, когда она берет след!» — насмешливо подумал Прохоров.

Он действительно чувствовал, как широко и радостно раздуваются ноздри, как он весь переполняется ощущением нужности бытия, здоровьем и силой, энергией и пронизательностью. Он глядел на реку — нужная, славная, очень солидная река; заглянул в провал яра под ногами — необходимый, замечательный провал; поинтересовался Людмилой Гасиловой — целесообразная такая, цельная и улаженная...

Ну слава богу, слава богу!

11

«Ну слава богу, слава богу!»

Стараясь не расплескать ощущение радости, энергии, здоровья и силы, капитан Прохоров размашисто шагал впереди девушки; небольшой и худенький, делал крупные движения руками; преображенный, обнаруживал в деревенском неизменившемся мире новые качества, состояния, приметы. По-прежнему стоял жестокий зной — это был совсем другой зной; лежала в пыли знакомая пестрая свинья — это была новая свинья; на заборе сидел петух, молчал с опущенным от зноя гребнем — это был очень хитрый петух, так как догадался забраться повыше, где продувало ветерком с реки; они приближались к дому Гасиловых — это был не тот дом, мимо которого он проходил уже несколько раз. И капитан Прохоров был уже другим капитаном Прохоровым, так как вчерашний Прохоров только и подозревать мог, что скрывает высокий забор вокруг гасиловского особняка, а вот теперь без всякого удивления поглядывал на то, что предполагал увидеть...

На гектаре земли располагались огромный дом с просторным мезонином, финского вида остроконечный флигель, кирпичная баня, каменный гараж, парники, покрытые

полиэтиленовой пленкой; зеленели дисциплинированные рядки карликовых фруктовых деревьев — сибирские сорта, — за ними шли грядки со всякой всячиной, среди них — кружевная, деревянной резьбы беседка.

Дом хороший! И флигель хороший!

Над двухметровым бетонным фундаментом дома жирно блестели отборные кедровые бревна, шесть окон глядели с высоты фундамента, четыре окна — с высоты мезонина. Стены особняка ласково обнимали вьющиеся цветы, клумбы с еще более яркими цветами степенно шли вдоль песчаной дорожки, цветы свешивались из горшочков, подвешенных то к стене дома, то к стойкам резного крыльца, то просто к шестам, вбитым в землю. Флигель вонзался в небо готическим собором, воздушный, как бы неохотно стоял на своем зыбком, но тоже бетонном фундаменте; только два узких длинных окна прорезали стены флигеля, но окна были из цветного мозаичного стекла.

Что еще? Бетонный бассейн, устроенный в том месте двора, куда выходили окна, дверь и крыльцо флигеля. К бассейну вела деревянная ступенчатая дорожка — этак плавненько, покато спускалась она в зеленую воду бассейна... Прислушавшись, Прохоров уловил звон струи, шелест мотора, который вращал насос.

— Артезианская скважина? — деловито спросил Прохоров.

— Угу!

Они поднялись по кедровым ступенькам крыльца, ноги еще в прихожей утонули в ковре. Отсюда дверь вела в холл, освещенный двумя окнами, из холла три двери вели в другие комнаты, слева витками поднималась лестница, покрытая красным ковром. На стенах холла висели олени рога, на эстампах — целых три! — гарцевали разноцветные веселые кони.

— Сюда, пожалуйста! — пригласила Людмила.

Девушка не замечала барской роскоши холла, не понимала, в каком доме живет.

Ноги в резиновых «вьетнамках», испачканных прибрежным песком, с простотой неведения попирали дорогой ковер, глаза, не видя, скучно пробегали по стенам, отделанным березой, по хрустальным подвескам, не останавливались на паркетном полу, собранном из всех существующих сортов сибирских деревьев. А ведь в холле все было такое, что казалось невозможным в Сосновке. Кто собирал паркет? Где куплены бра? Откуда привезены ковры?

— Пойдемте в кабинет папы!

Девушка пошла вверх по витой лестнице, а Прохоров на секунду остановился, чтобы представить, как поднимался по этой же лестнице Столетов... Он увидел его коротконосое лицо, вертикальную складку на лбу. Что делал Женька, когда поднимался по винтовой лестнице? Усмехался, зло молчал или трещал без умолку?

— Вот здесь кабинет отца.

Они стояли в широком — с фонарем на потолке — коридоре, обшитом такими линкрустовыми листами, которыми обшиваются каюты на пароходах и купе вагонов; на линкрусте блестели выпуклые розовые цветы, и снова висел эстамп с лошадьми — на этот раз зелеными и черными, но очень веселыми.

— Папа любит лошадей! — тихо проговорила Людмила и задумчиво добавила: — Разговор папы с Женей происходил здесь. — Она показала на дверь кабинета. — Потом, когда папа попросил меня выйти, я стояла вот здесь...

Усмехнувшись уголками губ — вылитая Мона Лиза! — девушка открыла дверь в отцовский кабинет, жестом пригласив Прохорова входить, сказала:

— Папа иногда спит в кабинете... Вот на этом диване.

В кабинете мог спать не только Петр Петрович Гасилов, в нем можно было разместить отделение хорошо экипированных солдат, поставив каждому кровать да еще и оставив место для небольшой скорострельной пушки. Пушка охотно бы гляделась в окно, если можно было назвать окном стеклянную стену — виделась расплавленная снизившимся солнцем стремнина Оби, тоненькая полоска леса за рекой... Пол кабинета покрывал светлый ковер, в центре его, раззявив пасть, лежала медвежья шкура, а стены были просто-напросто затянуты серым атласом. Мебели было мало: средней величины стол, старинные часы с боем, кожаный диван, четыре шкафа с книгами, три голубых кожаных кресла...

— Ну что же! — оживился Прохоров. — Теперь самое время, Людмила Петровна, послушать о том, что произошло четвертого марта текущего года.

Капитан Прохоров сразу заметил, как устраивается на кожаном диване Людмила Гасилова, — девушка делала это точно так, как устраивался на стуле технорук Юрий Петухов. Она положила руки на колени, но убрала — неудобно, попробовала опустить одну руку на валик дивана — опять плохо, приставила вторую руку к бедру — еще хуже! Несколько пробующих движений сделала Людмила, зато устроилась хорошо.

— Женя и папа давно ссорились, — сказала Людмила. — Но мне было трудно понять, почему они ссорились...

Она замолчала, подумав, продолжала:

— Странно! Они ругались, но когда Женя уходил, папа говорил: «Настоящий парень! Вот если бы...» Серьезно!

Левый конь на эстампе, стреноженный, стоял смиренно, устало, зубы торчали в разные стороны, улыбка у коня была трудной; это был очень старый конь, хотя художник сделал его красным, гриву — зеленой.

— Я как-то спросила Женю, о чем они разговаривали с папой... Он засмеялся: «Кто не работает, тот не ест...» Серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич! Все время отвлекаюсь, теряю мысль, путаюсь. Серьезно. В школе вот тоже так было. Урок знаю, а отвечаю долго, учитель сердится: «Не тяни, Гасилова!»

— Продолжайте!

— Продолжаю... Четвертого марта они тоже поссорились... То есть не поссорились, а... Один Женя ссорился, а папа, как всегда, помалкивал... Вы знаете, Александр Матвеевич, с папой очень трудно поссориться! Серьезно... Папа, когда рассердится, уходит к своей подзорной трубе.

— Какая еще труба?

— Подзорная... Скорее всего небольшой телескоп... Папа купил его на толкучке сразу после войны...

— Где же установлен телескоп?

— Во флигеле... Мне дальше рассказывать?

А для чего? В этом кабинете не хотелось слушать, рассказывать, думать, совершать

поступки; здесь вещи были предупредительны, послушны, отлично вышколены; отсюда не хотелось идти даже во флигель, где стоял хоть и маленький, но все-таки телескоп. Кресло приняло тело бережно, бесшумные пружины расположились так, что капитан уголовного розыска словно бы повис в пустоте, словно бы потерялся среди кожи, принявшей формы его тела. Хотелось закрыть глаза, поплыть вместе с креслом в сквозное окошко, повиснуть над расплавленной рекой — пусть ветерок щекочет лицо, внизу шелестит вода, наплывает на горизонт закат...

— Рассказывайте, рассказывайте.

Людмила начала неторопливо:

— Женя пришел к нам довольно поздно, часов в десять вечера. ЗА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...март начинался холодами, пронзительными ветрами, хрусткими льдинками повсюду: на крышах, заборах, телеграфных столбах, на кромке обского яра. В девятом часу вечера улица звенела под ногами, как битое стекло, на Оби торосились редкие льдины, до голубого сияния продутые ветром, собаки лаяли остервенело, точно подошли к околице голодные волки.

Женька Столетов бежал по пустынной улице, проклиная себя за пижонство, чувствовал, как в туфлях холодеют пальцы. Его высокая фигура была одинокой на улице, луны не было, фонарь на клубе светил тускло, как бы захлебнувшись ветром.

У ворот гасиловского дома Женька остановился — надо было перевести дыхание, успокоиться, чтобы войти в дом вальяжно, с небрежной улыбкой на губах, с победными глазами.

Дверь отворила Лидия Михайловна, узнав гостя, вежливо кивнула, смотрела на Женьку так спокойно, словно ничего не случилось — не было опустошающих телефонных звонков, когда Лидия Михайловна отвечала, что Людмилы нет дома, а издали слышался знакомый голос: «Кто это звонит, мама?»

— Так проходите, проходите, Евгений! — поднимая брови, сказала Лидия Михайловна. — Мы вас не ждали, но... но мы вам рады...

Она была одета в пунцовый шелковый халат, волосы крупными локонами лежали на маленькой голове, серые глаза были холодны от блеска. Женька поежился. Как случилось, что на это холеное, полное до тошноты лицо попали глаза Людмилы? Отчего возле единственных в мире глаз лежали тоненькие морщины, откуда локоны, яркие губы, пунцовый халат? И почему так спокойно, безмятежно и приветливо лицо этой женщины? Разве не она диктовала дочери: «Мы взрослые люди, Женя. Нам надо расстаться!»

— Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем, — тихо сказал Женька.

Женщина в пунцовом халате усмехнулась уголками губ — это была Людмила улыбка, спокойно поправила парикмахерский локон на виске. Значительная, безмятежная, по-женски мудрая. Женька почувствовал, как утишается нетерпение, остывает желание ворваться в кабинет Петра Петровича со стиснутыми кулаками, улетучиваются горячие слова, приготовленные для начала разговора.

— Я хочу подняться к Петру Петровичу, — сказал Женька. — Передайте ему, что я пришел.

Открылась дверь, зевая и сонно потягиваясь, в холл вышла Людмила, сразу же прислонилась спиной к стене. На ней был точно такой же нейлоновый халат, как и на матери, на волосах косынка, под ней — бигуди.

— А, это Женя, — сонно сказала Людмила. — Я думаю, кто это разговаривает? А это Женя! Здравствуй. Почему не заходил? Нет, серьезно!

Он по-прежнему тупо смотрел на дочь и мать, ничего не понимая, ощущал необычное — смещение времени, так как происходящее не могло датироваться началом марта. Разве не в конце февраля Людмила приревновала его к Анне Лукьяненко, не отвечала на письма, не приходила в клуб? Что сейчас на дворе? Февраль, январь?...

— Евгению не до нас! — с улыбкой сказала Лидия Михайловна. — Он пришел с визитом к Петру Петровичу. Как государственный человек к государственному человеку. Да простит их господь обоим!.. Говорить о делах в девять часов вечера, после ужина, перед сном! Сыграли бы лучше в подкидного дурака...

Людмила засмеялась.

— Женю не остановишь, — ласково сказала она. — Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать. Серьезно!

Как уютно, тихо, тепло было в холле, устланном толстым ковром, как ласково щурилось лицо Людмилы, как спокойно светили нейлоновые халаты, как славно шутила Лидия Михайловна... Женьке захотелось тоже привалиться спиной к стене, надеть халат, сыграть в подкидного дурака. Затуманивались лица друзей, приглушался веселый шум сегодняшнего комсомольского бюро, жеребьячий хохот парней, придумавших забавный способ борьбы с Гасиловым... Женька протяжно ухмыльнулся, поежившись, тупо повторил:

— Я хочу подняться к Петру Петровичу.

— Я провожу тебя, — после паузы ответила Людмила.

— Проводи, проводи! — разрешила Лидия Михайловна. — Папа будет рад...

Они поднялись по винтовой лестнице, остановились в коридоре; Людмила опять прислонилась к стене — такая красивая, что глядеть на нее не хватало сил. Она исподлобья смотрела на него, перебирала кружевную бахрому халата тоненькими пальцами; губы были раскрыты.

— Женя! — ласково сказала Людмила. — Ну почему ты ссоришься с папой?... Не надо, Женя! Папа хорошо к тебе относится...

Женька проснулся сегодня рано — в шесть часов, открыв глаза, услышал, как воеет за окном холодный мартовский ветер, как звенят льдинки над ставнями; дом подрагивал, словно двигался в темноту и безвременье. Женька по-детски подтянул колени к груди, спрятал голову под одеяло, притаился; было так же жутко, как бывало в детстве, когда выли зимние метели, а за околицей первобытно, обреченно лаяли собаки, напуганные зелеными глазами голодных волков. Он долго лежал в страхе, потом перед глазами вдруг вспыхнуло: «Людмила!» Он счастливо рассмеялся. «Людмила!» Женька сбросил одеяло, спрыгнул на холодный пол. Людмила! И остановился, словно наткнулся на острое, режущее.

...Людмила стояла на втором этаже отцовского особняка, привалившись спиной к стене, глядела на него ласково, просительно.

— Не надо ссориться с папой, Женя! — повторила она. — Чего вам с ним делить...

В коридоре второго этажа совсем не слышался свист ветра, было тихо, как в таежной глубинке, тисненый линкруст пощелкивал от прикосновения легкой спины девушки, и было видно, как у подножия винтовой лестницы тихонько пошевеливается клочок пунцового халата. Лидия Михайловна подслушивала их разговор, было нетрудно представить

выражение ее лица, когда она думала, что Женька не знает о подслушивании, — холодное, надменное, такое опасное, словно внутри женщины поставили на боевой взвод тугую пружину курка.

— Пошли к отцу! — с улыбкой сказал Женька. — Доложи ему о моем визите.

Людмила постучала в дверь:

— Папа! К тебе пришел Женя.

Гасилов расхаживал по кабинету — руки заложены за спину, большая голова наклонена, седые волосы по-домашнему освобожденно рассыпались. Здесь, в родном доме, у мастера не было даже намека на созидательное выражение лица и фигуры, а, наоборот, все было теплым, ласковым, уютным. На лбу разгладились глубокие боксерьи морщины, в глазах — ласковый покой, спина сутулилась по-стариковски, и нельзя было понять, счастлив он или несчастлив, доволен жизнью или недоволен. Просто расхаживал по кабинету, переваривал ужин, думал о пустяковой всячине.

— Садитесь, молодые люди! — благодушно-насмешливо сказал Петр Петрович. — Холода-то а? Зимние!

На нем был толстый, простеганный белыми нитками халат с длинными кистями, на ногах — мягкие восточные туфли, на голове — вышитая тюбетейка. Иронически прищуриваясь, Петр Петрович в последний раз прошелся из угла в угол, остановившись, внимательно посмотрел на Женьку.

— Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя, то Людмилу надо выставлять за дверь! — мирно сказал он. — Людка, готовься!

Выражение лица! А Женька-то думал, что он стоит перед Гасиловым браво-спокойный, вальяжный, благодушный, этакий величественный. Значит, опять на его лице все написано: нетерпение, вызов, желание немедленно развязать ссору. И это теперь, когда надо разговаривать с Гасиловым вот так — вольготно сидеть на кожаном диване, прищуриваться, держать на губах добродушно-снисходительную улыбку, рассеянно прислушиваться к утихающему ветру.

— Людмила, выйди! — шутливо вздохнув, попросил Петр Петрович. — Женя собирается устроить бой быков...

— Хорошо, папа! Ты зайдешь ко мне, Женя?

Не получив ответа, Людмила вышла, задев за косяк двери сонным боком.

В кабинете горела только настольная лампа под зеленым абажуром, свет ее был укромен, вся эта комната, обтянутая блестящим атласом, застланная ковром, казалась доброй, уютной, спасительной. Женька проглотил слюну, но голос у него все равно оказался хриплым.

— Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору, — вызывающе сказал он, хотя собирался произнести эту фразу спокойно. — Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом... Я обязан сообщить вам о решении комсомольского бюро.

Гасилов опустился в глубокое кресло.

— Я вовсе не избегал тебя, Женя! — мягко сказал он. — Днем у меня не выкраивалось свободной минутки...

Женька шумно выдохнул воздух, хотел еще что-то сказать, но поперхнулся.

Ложь Гасилова была такой чудовищной, что была даже не ложью, а откровенным глумлением, словно мастер сказал: «Солнце светит ночью!»

— Ложь! — еще раз передохнув, быстро сказал Женька. — Этого не может быть, так как вы в течение шестнадцати часов в сутки ничего не делаете... Восемь часов я отвел на сон...

Торопясь и поэтому путаясь ногами в толстом ковре, он стремительно приблизился ко второму кожаному креслу, брякнувшись в него, снисходительно — так ему казалось — улыбнулся:

— Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим... Мы три дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой... Только не говорите, что забыли, закрутились, заработались! Не поверю!

Женька опять ошибся, так как Петр Петрович даже и не собирался говорить: «Ой, Женя, как же я так? Мы ведь в самом деле перешли в новую лесосеку, а я... Ах, черт возьми!» Нет, Петр Петрович не говорил этого! Он сидел в кресле по-прежнему мирно, спокойно, улыбочиво; глядел Женьке прямо в глаза, ждал терпеливо, что еще скажет секретарь комсомольской организации.

— Я слушаю, Женя.

Глумление продолжалось. Женька выпрямился, теряя слова и мысли, проговорил:

— Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилону...

И снова ошибся: лицо мастера не изменилось. Мало того, Петр Петрович мечтательно повернулся к лошадиному эстампу, халат немного распахнулся, и Женька увидел волосатые ноги. Продолжая мирно молчать, Петр Петрович положил подбородок на ладонь, задумчиво, длинно глядел на синюю лошадь, которая безмятежно паслась по зеленому лугу.

— Мы требуем, — монотонно проговорил Женька, — чтобы вы отказались от синекуры, чтобы ушли в бригады или вообще расстались с лесопунктом... Ваши должностные пре-е-сту-упления разлагающе влияют на рабочих и сдерживают выработку...

Молчание. Мирные глаза. Задумчивая улыбка.

— Мы, комсомольцы, собираемся на деле осуществить принцип: «Кто не работает, тот не ест!»

Женька тоже улыбнулся, но криво, неловко, смятенно:

— Вы не хотите спросить меня, Петр Петрович, как мы собираемся бороться с вами?

Ветер за окном неистовствовал, очертя голову бросался на двойные, по-зимнему, рамы гасиловских окон, отсчитывали глухие секунды часы в деревянном большом футляре, синяя лошадь на эстампе улыбалась.

— У тебя все, Женя? — тихо спросил Петр Петрович. — Шли бы гулять с Людмилой... Эй, дочка!

Через три-четыре секунды в кабинет вошла Людмила, выслушав предложение отца, прислонилась спиной к дверному косяку.

— Не хочется гулять! — задумчиво сказала она. — Одеваться, раздеваться, натягивать сапожки... Ну его, это гулянье! Давай, Женька, лучше поиграем в подкидного дурака. Ты, я, мама, папа... Серьезно! Папка, давай играть в подкидного дурака. — Она надула губы. — Только с тобой, папка, трудно играть: ты всегда знаешь карты!

Зеленая лампа, красивые халаты, тишина, холод за окнами, добрые лица, тихий домашний разговор... Лидия Михайловна поставит самовар, домработница принесет на деревянном подносе вкусные печенюшки, Петр Петрович, озабоченно почесав ухо, вынет из шкафа неполную бутылку коньяка: «Мы по рюмочке, по рюмочке, Лидуша!» Хозяйка дома будет держать карты на отлете, путать бубнового короля с червонным, Людмила станет хохотать над Женькой, который играет плохо, Петр Петрович начнет прищуриваться, убивая чужие карты, приговаривать: «У нас королей нету! Мы супротив королей! У нас, граждане, демократия!»

Всего три месяца назад Женька охотно игрывал в подкидного дурака в семействе Гасиловых, злился, когда проигрывал, тщеславно завидовал Петру Петровичу, который на самом деле помнил вышедшие из игры карты, а вернувшись домой, ворчал при матери и деде: «У нас дома все не как у людей! Нет в карты поиграть, так соберутся и давай долдонить: „В Европе то, в Ираке это, в больнице то, в больнице это...“ Ну и нудный вы народ, Столетовы! Скучно с вами — зевать охота...»

Сегодня Женька развалился в кресле — нога на ногу, нос поднят, брови задрались, как запятые.

— Играем, играем в подкидного дурака! — обрадовалась Людмила. — Папка, Женя согласен играть! Давайте, ну давайте!

— Можно и в подкидного дурака, — сказал Женька.

Он уже чувствовал себя круглым дураком — прийти к Гасилову для объявления войны, вместо спокойствия и дипломатической вальяжности суетиться и волноваться, краснеть и бледнеть, а потом сесть играть в карты. А главное, ничего не добиться, не обосновать обвинения...

— Давайте играть в дурака! — мрачно пробасил Женька. — Давайте!

Людмила отклеила спину от дверного косяка, посмотрела на Женьку исподлобья, тоже басом протянула:

— Такой смешно-ой, такой хоро-ши-ий! Та-а-ко-ой сла-а-вный Женя.

...Солнце еще на вершок приспустилось к западу, по реке бежали наперегонки серые тени, зубчатая кромка кедрового заречья становилась синей, как бывает всегда, когда на тайгу падают розовые отблески заката. В кабинете Гасилова было тоже по-вечернему ало, обтянутые атласом стены казались седыми.

Закончив свой спокойный рассказ, Людмила воровато поглядела на дверь, затем решительно вынула из кармана пляжного платья пачку сигарет «Столичные». Прикурила она умело, кончик сигареты закусила лихо, мизинец изысканно оттопырила.

— Я волнуюсь? — медленно спросила она. — Нет, серьезно!

— Что вы! — удивился Прохоров. — Ваше лицо дышит неизменным покоем! Серьезно.

Он сосредоточенно определился во времени и пространстве, как делал всегда, когда

запутывался. Поглядел на часы — девятый, помотал ногой — на туфле оставался след обского песка, кивнул разноцветным лошадям — мастер лесозаготовок Гасилов существовал где-то рядом; на кожаном диване сидит его единственная дочь, в кресле по-барски развалился капитан уголовного розыска и слушает, как дочь понемножечку да полегонечку предаёт папашу, ковыряется в его ранах, срывает бинты да ещё и заботится о том, чтобы не потерять вальяжности. Рассказала о телескопе, не упустила ни одного столетовского слова, безмятежным голосом сообщила о том, что мать подслушивала её разговор с Женей, а она, Людмила, стояла в коридоре до тех пор, пока Петр Петрович не позвал: «Дочка!..»

— Вы удивительная! — сказал Прохоров девушке. — Что же было дальше?

— Я пошла провожать Женю, — сказала Людмила. — Он, конечно, проигрался в пух и прах, был очень сердитый, грустный... Серьезно! И не хотел, чтобы я его провожала. Потом он сказал, что будет бороться с гасиловщиной...

Прохоров хмыкнул:

— С гасиловщиной? Столетов так и сказал?

— Да, Александр Матвеевич! Он часто употреблял это слово. Seriously.

Бог ты мой! Прохоров опять не верил своим собственным ушам, отказывался доверять глазам — сидит на диване, спокойно и красиво курит, лицо ласковое, нежное, улыбка и тут же: «Гасиловщина, подкидной дурак, провожание...» Прохоров поерзал в кресле, потом принял решение по-петуховски устроиться в жизни — положил щиколотку левой ноги на колено правой, руки скрестил на груди, а с лицом поступил так — расправил все морщины...

Хотелось играть в подкидного дурака, пить чай из самовара, провожать красивых и нежных девушек. Капитан Прохоров сосчитал бы все вышедшие из игры карты, не отбивался бы крупными козырями, хранил бы до конца игры боевые шестерки, чтобы дать радостной душеньке полный разворот: «У нас, товарищ Гасилов, королей тоже не держат! У нас, Петр Петрович, демократия! У нас, понимаете ли, тузы!»

— Женя и на комсомольском собрании употреблял термин «гасиловщина»? — спросил Прохоров.

— Не знаю... Я не комсомолка.

«Seriously», — добавил за девушку Прохоров. Нет, seriously! Подниматься с дивана, переодеваться, натягивать тесные сапожки, класть в карман комсомольский билет, идти на собрание. Ах, какие пустяки!..

— Людмила Петровна, — безмятежно ляпнул Прохоров, — почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым?

Девушка легонько вздрогнула, медленно повернувшись, посмотрела на него широко открытыми глазами.

— Вы знаете об этом? — спросила она. — Откуда? От Юрия Сергеевича? Нет, seriously. От Петухова?

— Угу!

Она вздохнула, потрогала мизинцем нижнюю губу.

— Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич! Я все чего-то ждала...

Зеленый конь на самом крупном эстампе давно устал пастись по зеленому лугу. Он стоял на широко расставленных ногах, задрал морду и раздув ноздри, принюхивался, прислушивался к вечернему тихому миру; ему не хватало движения, бешеной скачки, волчьих глаз за длинной спиной.

— Я все чего-то ждала...

Вся она была правда и только правда, и ничего, кроме правды; первоклашка бы понял, что Людмила не хотела выходить замуж за Петухова, ждала чего-то от Женьки Столетова, на что-то надеялась в тот мартовский вечер, когда играли в подкидного дурака, и обе женщины подслушивали: одна внизу, вторая наверху, а Петр Петрович тщательно считал вышедшие карты. «Не надо ссориться с папой, Женя! Ну что вы все делите!»

— Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, когда Евгений узнал о том, что вы решили выйти замуж за технорука?

Она медленно подняла руку к лицу, как бы загородила от Прохорова глаза.

— Он никогда не узнавал об этом! — прошептала Людмила. — Женя так и умер, думая, что мы просто поссорились...

Прохоров поднялся, подошел к столу, взял фотографию в некрашенной кедровой рамочке, дальнозорко отнес ее от лица. На фотографии стоял обычный Гасилов — в ковбойке, в тонких сапогах, с добрым боксерским лицом, а возле него сидела на высоком стуле пяти-шестилетняя Людмила, и он держал руку на ее девчоночьем плече. Губы отца сомкнулись от нежности к дочери, смотрел он мимо Людмилы, видимо, в стену, но так, словно вглядывался в будущее дочери, скрытое этой стеной, словно на мгновение позабыв о том, что его пальцы прикасаются к ее плечу. Думы Гасилова были широки, глобальны — о жизни, о судьбе, о смерти. Дочь прижалась ласковой щекой к его огромной кисти с коротко и аккуратно, как у хирурга, обрезанными ногтями; рука была холеная, чисто промытая, на тыльной стороне ладони покрытая темными волосами.

— Я просил вас через Пилипенко приготовить письма и записки Евгения, — сказал Прохоров. — Вы приготовили, Людмила Петровна?

— Да! Я все отдала товарищу Пилипенко.

Он подошел к кожаному креслу, но не сел, так как увидел, что Людмила вернулась в прежнее состояние — сделалась купальщицей с фруктовой сумкой в руках, сигарета в ее губах дотлевала, щеки приняли обычный нежный цвет, движения были ленивыми, пасущимися, платье далеко обнажало невинную голую ногу.

— Я приглашаю вас отужинать со мной, Людмила Петровна, — весело сказал Прохоров. — Лидия Михайловна с домработницей из-за реки вернутся поздно, Петр Петрович все еще гарцует на жеребце Рогдае... Вы принимаете мое предложение, Людмила Петровна? Угощу оше-ело-омительной осетриной!

И пошел-поехал:

— Ах, ах, Людмила Петровна, я — физиономист плюс психоаналитик плюс психопатолог плюс бух... Как там у Ильфа и Петрова?... Обедали вы плохо — лень разогревать, — пощипали только утренний пирог и сейчас голодны, как капитан Прохоров из уголовного розыска... Орсовская столовая — прелесть, конфетка, заповедник комфорта. А мне палец в рот не клади! Я еще три дня назад из профилактических соображений занес в книгу жалоб сердечную благодарность официанткам, директору, кухонной челяди и сторожу дяде Коле... Теперь меня обслуживают на полусогнутых, а вареная осетрина здесь лучше столичной,

спиртные напитки не приносятся и не распиваются — штраф три рубля!.. О, верьте, верьте, Людмила Петровна, завсегда-таю столовых, кафе, закусовых! Мне только сорок с хвостиком! Захотите, мы будем смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда... Не захотите, буду рассказывать об эки-стен-циа-лиз-ме...

Хохоча, посмеиваясь, паясничая, Прохоров за локоток провел Людмилу через коридор, лестницу и еще один коридор, на крыльце снова взял Людмилу за нежный локоть. Выйдя из ворот, Прохоров по-уличному прокашлялся, взбодрил голову и так огляделся, точно давно не виделся с Сосновкой, точно просидел в гасиловском кабинете три затворнических дня и три затворнические ночи.

В орсовской столовой — в поселке была еще сельповская — на окнах висели марлевые занавески, на квадратных столах лежали голубые клеенки, посередине столовой торчала деревянная арка, похожая на ворота — для чего, почему, с какой целью поставленная, неизвестно, так как арка ничего не поддерживала, ничего не распирала, ничего не соединяла. Три официантки были толсты, упитанны, благодущны от безделья — спиртные напитки не приносятся и не распиваются, два раза по вечерам приходит участковый Пилипенко, — на их лбах, похожих на деревянную арку, торчали кокошники; с потолка столовой свешивались длинные липучие ленты, так густо унавоженные мертвыми мухами, что Прохоров поторопился занять пустой угловой столик — с него липучки были не видны, а, наоборот, можно было наблюдать вечернюю розовую реку по имени Обь.

Озабоченно посоветовавшись с Людмилой, капитан Прохоров заказал окрошку, вареную осетрину, телячий холодец, потом смущенно почесал заскрипевший под пальцами подбородок.

— Жаль сухого винца нет, Людмила Петровна! А водку? Водку мы не будем пить?

— Никогда!

Ему нравилось, как девушка вела себя в орсовской столовой.

Она, видимо, никогда не бывала в ней, но по сторонам удивленно не глядела, не заметила ни мух, ни липких клеенок, толстым официанткам кивнула просто и сердечно, никакой специальной ресторанной позы не приняла.

Уже было понятно, что Людмила хороша за столом — с ней будет весело, непринужденно, легко от того, что девушка умеет молчать, не испытывая при этом неловкости.

И от водки она отказалась прелестно: слово «никогда» произнесла глубоким басом, и при этом даже не улыбнулась.

— Два холодца! — возникая возле стола, сказала самая толстая официантка. — Горчица вон тамочки — у солонки, а перец, наоборот, у в горчицнице.

Они посмеялись.

Холодец стоял под носом у девушки, но она почему-то еще не начинала есть — сидела тихо, спокойно, задумчиво. Однако что-то уже менялось в ее лице: оно становилось просветленным, губы раскрылись, открыв частые, белые и ровные зубы, такие, какие поэты сравнивают с жемчугом.

Потом Людмила осторожно, коротко, как счастливый ребенок перед сном, вздохнула, взяв вилку и ножик, опять замерла с таким видом, словно не знала, что делать с ними. На свежее, молодое, красивое лицо продолжало наплывать светлое, торжественно-праздничное выражение.

Людмила начала есть. Медленно-медленно подцепила на вилку аккуратный кусок холодца, внимательно осмотрев его со всех сторон, бережно положила в рот. Жевала она медленно, с непонятными остановками: сидела при этом прямо, спокойно, с ровными плечиками, а выражение лица снова менялось — затуманивалось, становилось сосредоточенным, настороженным, чуточку деловитым; серые материнские глаза внезапно приняли отцовское выражение с той фотографии, где Петр Петрович положил большие руки на хрупкое плечо пятилетней девочки. Она так же глядела в даль дальнюю, видела за рекой будущее, думы ее были крупны, глобальны — о жизни, судьбе, смерти. Но праздник продолжался: безлюдный, одинокий, сам в себе, но праздник.

— А в клубе сегодня кино, — сказал Прохоров. — Называется «Анжелика и король». Играет о-очень красивая актриса. Серьезно!

Улыбнувшись, Людмила съела очередной кусок холодца, задумчиво начала облюбовывать следующий, и Прохоров понял, что ни пиршеством, ни вкушанием, ни торжеством плоти нельзя было назвать тот особый интимный процесс, в который Людмила Гасилова превратила обыкновенный обед; для обозначения этого процесса не подходило ни одно из распространенных определений, так как еда и девушка составляли одно целое, и это было так естественно, как растет дерево, летают над Обью птицы, пасется на лугу добродушно-ленивая корова, лакает молоко кошка. И всякий, кто смотрел, как ест Людмила Гасилова, непременно думал о том, что она живет так же, как ест, — неторопливо, маленькими кусочками, облюбовывая, пробуя на вкус, тщательно прожевывая, берет прелести плотского существования по секундочке, по минуточке, по всякому оттеночку радости... Корова!

В матовой окрошке плакал целомудренный лук, мелко нарезанные огурцы пахли летом, кусочки мяса высывались зубчиками горной цепи, ровные квадратики картошки затаенно светились. Все это кричало: «Съешь меня!» — и Прохоров грустно потупился, и опустил в тарелку ложку, и ничего не мог поделать с собой: все думал о Женьке Столетове, который страдал, когда видел, как ест любимая девушка, и который никогда уже не почувствует, как пахнут огурцы, не увидит, какое это чудо — мелко нарезанная картошка!

«Я нетерпелив, я очень нетерпелив! — подумал Прохоров. — Мне хочется иметь ружье, которое не только стреляет, но и поджаривает дичь!»

— Что произошло с Женькой? — спросил Прохоров. — Вы знаете его с детства? Что произошло? Его столкнули или он сам сорвался?

Людмила застыла с вилкой в руке. Потом тихо сказала:

— Папа уверен, что Заварзин не мог... Он не толкал Женю... Я не знаю, почему папа так уверен в этом...

Прохоров тоже, оказывается, не мог видеть, как ест Людмила Гасилова. Поэтому он повернулся к окну и заметил сразу, что на обском яру произошло какое-то изменение, что-то появилось новое...

Ровно в девять пятнадцать возвращался с прогулки на жеребце Рогдае мастер Петр Петрович Гасилов. Поднимаясь по дороге, он бросил на гриву Рогдая поводья, сидел лениво и прямо, монотонно покачивался, но на лице еще виделись остатки бешеной скачки — ветер в прищуренные глаза, храп, топот, сверканье скошенных на ездока лошадиных лиловых белков, разбойный запах лошадиного пота.

Рогдай шел устало, опустив длинную шею, бережно переставляя тонкие породистые ноги. Коня слева освещало закатное солнце, и Прохоров глупо открыл рот — жеребец был красным.

На красной лошади ехал мастер Петр Петрович Гасилов.

Глава вторая

1

Как волка, боящегося красного цвета, обкладывал капитан Прохоров тракториста Аркадия Заварзина. Два страшных красных флажка вбил в пустоту грузовых поездов, идущих один за одним с интервалом в сорок пять минут, третий флажок поставил на извилистой тропинке, по которой любила бродить сосновская молодежь, четвертый прилаживал в том месте, где тропинка пересекалась с проселочной дорогой, по которой ежевечерне гулял слепой учитель Викентий Алексеевич. Последний флажок капитан Прохоров собирался поставить на продутой ветрами железнодорожной платформе.

Войдя в рабочую форму после встречи с Людмилой Гасиловой, капитан Прохоров спал по шесть часов в сутки, вечерами засыпал мгновенно, без снотворного, утрами пробуждался с песней: «Загудели, заиграли провода... Мы такого не видали никогда».

По Сосновке ходил стремительный, ясноглазый, ловкий, хотя костюм по-прежнему мешковато сидел на нем; лицо загорело, голос от ветра и солнца сделался хрипловатым, губы плотно сжаты.

Два дня назад Прохорову звонило милицейское начальство, осторожно намекая, что он, Прохоров, такой замечательный оперативный работник, что без него в управлении обойтись не могут. «Ты давай-ка, Саша, без этого самого... Философствуешь ты больно много, вот что я тебе скажу, Прохор! — говорил дружески в телефон начальник уголовного розыска полковник Борисов.

— Вот ты молчишь, Саша, а я ведь вижу, как зубы скалишь... Тебе хорошо — речка, осетрина, всякие там закаты и восходы, а у меня в Пегарском районе сейф вскрыли! Кого я пошлю на это дело?... Давай, Прохоров, поскорее, а! Сделай милость, голубчик!»

Потом начальство сообщило, что товарищ Прохорова майор Лукомский уже получил квартиру, значит, теперь и Прохорову недолго ждать отдельной секции в новом доме; ордерок Прохоров получит скоро, если, конечно, не слишком задержится в Сосновке. «Одним словом, давай без философии, Саша! Гони только информацию: да или нет!.. Почему я такой веселый? А вот туточки майор Лукоша тебе привет шлет... Квартирку он получает — конфитюр! Окна, понимаешь, на Ушайку!» У полковника Борисова был веселый приятный баритон. Он успешно выступал на любительской сцене — пел арии из классических опер.

Вскрытый сейф в Пегарском районе, естественно, интересовал Прохорова, но фраза: «Кого я пошлю на это дело?» заставила приглушенно улыбнуться. Не обошлось и без того, чтобы Прохоров не вспомнил о своем мешковатом костюме, о сибирских словечках, которые порой произвольно проскальзывали в его речи, о простецком курносом носе, который придавал его лицу наивность. Конечно, эта лиса Борисов нянькался с Прохоровым, как с малым дитятей, кричал на всех перекрестках, что капитан Прохоров — золотой, выдающийся работник, осыпал капитана всевозможными премиями и наградами, но он-то, Прохоров, не забыл, как однажды случайно услышал баритончик самого Борисова: «А что тут думать? Коли

деревенское дело, посылай Прохора!»

Ну конечно, форменный мундир на Прохорове не сидел так изысканно и аристократически, как на Борисове, ногти капитан Прохоров по примеру полковника не подравнивал маленькой пилочкой с перламутровой ручкой, не ходил в плавательный бассейн при университетском спортзале, не пел на любительской сцене арии из «Пиковой дамы», но... посмотрим, посмотрим!

После разговора с начальством Прохоров спал отменно хорошо, вставши утром, вспомнил о разговоре и громко засмеялся: «Посмотрим, посмотрим!»

После этого Прохоров и почувствовал, что пришло время составить примерный план дальнейших действий, так как до сего момента он, оказывается, действовал как бы на ощупь. Теперь в тумане уже просматривалась маковка прибрежного маяка, понемногу прояснились человеческие фигуры, было уже недалеко до той минуты, когда увидятся глаза... Прохоров мысленно набрасывал:

«Вызвать на первый предварительный — осторожный — допрос Аркадия Заварзина;

встретиться с начальником лесопункта Суховым;

осторожно и незаметно собрать в кучу комсомольцев лесопункта;

вызвать для веселого разговора белобрысую девчонку, писавшую протокол знаменитого собрания;

провести серьезную беседу со сменщиком Столетова, потешным мужичком Никитой Суворовым;

с легкомысленным видом гуляки и фланера посетить даму Анну Лукьяненко, чтобы навсегда покончить с темой любовного треугольника или, может случиться, четырехугольника;

узнать, наконец, что произошло в лесосеке двадцать второго мая...»

Вот, пожалуй, и весь план, в котором, конечно, не учтены мелочи: найти и перечитать новеллу Исаака Бабеля, в которой есть фраза о женщинах и конях, «случайно» встретиться с женой Гасилова, прыгнуть с грузовой платформы на среднем ходу поезда и так далее и тому подобное. Дураку понятно, что пункты можно переставлять, их очередность определяется...

Прохоров опять поймал себя на том, что оттягивал визит в семью Евгения Столетова: боялся! Да, да! Он боялся идти в родной дом Евгения Столетова и даже на улице, когда проходил мимо зеленой крыши невысокого строения, отводил глаза и опускал голову, а вчера юркнул в переулок, так как увидел на тротуаре знакомую по фотографиям мать Женьки.

Плохо было и другое — до сих пор не вернулся из города загадочный парторг Сосновского лесопункта Голубинь.

И все-таки капитан Прохоров весело улыбался, напевал свое утреннее: «Загудели, заиграли провода...»

«Начну-ка я рабочий день с Никитушки Суворова!» — решил капитан Прохоров.

Когда тракторист Никита Суворов, сопровождаемый чеканным стуком пилипенковских сапог, вошел в кабинет и, смущаясь, начал переминаться с ноги на ногу, Прохоров впал в тихое неистовство; всего полчаса назад он предупредил Пилипенко о том, чтобы тот не смел сопровождать по деревне свидетелей. Теперь капитан с яростью смотрел в пилипенковскую переносицу, но, связанный присутствием постороннего человека, прошипел только нечленораздельно: «Стоеросовая, самая стоеросовая...»

Пилипенко улыбнулся, сделав руки по швам:

— Как приказано, пошел искать кондуктора Акимова! Будет допрошен, как приказывали!

Он набатно простучал сапожищами по гулкому крыльцу, на улице засвистел лихо, красиво понес свое ефрейторское тело через солнечную улицу; сверкали, конечно, сапоги, бриджи на икрах сидели удивительно плотно. «Чудовище!» — подумал о нем Прохоров, но все равно почувствовал восхищение.

— Вон как потопал, Пилипенко-то! — с улыбкой сказал капитан трактористу Никите Суворову и показал пальцем на стул. — Садитесь, Никита Гурьевич... Вот и во второй раз встретились, как говорится. Опять я вас зачну мучить, как вчера, Никита Гурьевич. — Прохоров помолчал. — Выходит, что вы, Никита Гурьевич, вокруг правды ходите, как шkodливая коза вокруг высокого прясла. И капуста хочется, и ноги короткие... Вот вы показали товарищу Сорокину, что Столетов и Заварзин дрались на Круглом озере. А драки-то, Никита Гурьевич, ведь не было! Не было, говорю, драки, Никита Гурьевич!

Морщинистое, маленькое лицо Никиты Суворова сияло робкой, предупредительной и опасливой улыбкой. Ему, конечно, было приятно беседовать со своим, сибирским человеком, он, конечно, с большой симпатией относился к Прохорову, во всем доверял ему, но был так запуган, что ему по ночам, видимо, мерещился острый нож с ложбинкой на лезвии, он, наверное, просыпался в холодном поту и от ужаса опять закрывал глаза.

— Ну как же будем жить дальше, Никита Гурьич? Будем продолжать запираяться?

Суворов помигал и торопливо ответил:

— Что было говорено, то и есть говорено. Больше нет правды, чем ты от меня услышал, товаришш Прохоров, врать мне не с руки, не такой я человек, чтобы врать...

Прохоров легко поднялся с места, неторопливо подошел к окну и опять почувствовал, какой он весь спокойный, деловитый, умный. Если его не вывел из себя старательный Пилипенко, если он способен почувствовать восхищение твердой линией упрямого младшего лейтенанта, то запуганный Заварзиным тракторист Никита Суворов и подавно не мог удивить капитана, когда повторял вчерашнюю ложь.

— Вы меня вокруг пальца как мальчишку водите, Никита Гурьич! — обидчиво сказал Прохоров и помигал на Суворова: — Я вашу байку брать в резон не могу: она потолочная.

— Это уж как ты себе на душу положишь, товаришш Прохоров!

Ох как нетрудно было запугать трусливого мужичонку...

— Мученье мне с вами, Никита Гурьич! — со вздохом сказал Прохоров и сел на прежнее место. Он с полминуты помолчал, потом произнес негромко: — Снова мне рассказывайте вашу байку, Никита Гурьевич... Надежда только на то, что вы сегодня по-другому врать будете, а я вас тут-то и поймаю! Ох, скажу, Никита Гурьевич, ох врите, ох путаете!

У мужичонки отвисла нижняя губа, открылся рот с желтыми, стоящими вразнотык зубами; совсем был плох красотой и мужской силой Никита Суворов, обидели его отец и мать всем

тем, что надо давать сыну, — силой, ростом, разворотом плеч.

— Начинайте, начинайте, Суворов!

Тракторист побледнел, ухватился руками за края табуретки, начал было сгибаться обреченно, но Прохоров все еще требовательно глядел на него, все еще улыбался, и Суворов заговорил:

— Ну, дело с того началось, что Арканя-то Заварзин на лесосеку вдругорядь вернулся. Сначала он будто с Андрюшечкой-то Лузгиным на поселок уехал, а потом я трактором-то на эстакаду бреду, гляжу: он обратно возля столовой стоит! Ах, думаю, забери его лихоманка, как же он оттеля сюда попал, когда должен уже по деревне шастать! Да так он быстро возвратился, что и сапог на нем забыгать не успел... Ну, стоит возля столовой, куренкой занимается, наплоть к вагонке-то подошел, чтобы его-то не видеть...

Прохоров про себя усмехался, вынимая из памяти полузабытые слова. Забыгать — значит просохнуть, наплоть — вплотную, куренка — курить... Волной воспоминаний веяло от местных словечек мужичонки, в мягких интонациях скрывалась прохоровская молодость, детство с зарницами и рекой, прохладой звездных вечеров, гармошкой на улице, шорохами на полатах, где спала древняя бабка. Гармонь шла переулком, пела «Расцветали яблони и груши...», смеялись девчата; на заре — петушиный всполошный крик, зябкая роса, тревога молодого тела...

— Ну, стоит он у вагонки, куренкой занимается, глаз у него прищуренный, как у сома-рыбы, — продолжал Суворов, вздыхая. — Тут надо тебе сказать, товаришш Прохоров, что сом-то только кажет круглый глаз, у него только обличье, что глаз круглый, а взаболь у его глаз-то прищуренный. Ты вот возьми сома, товаришш Прохоров, да искосу на него глянь: глаз прищуренный! У щуки — глаз круглый! А за карася я тебе и говореть не буду: каждый знат, что у его глаз даже шибко круглый...

Слушая Суворова, капитан Прохоров сидел тихо, не двигаясь, как бы боясь спугнуть плавную речь, прервать нить неожиданных ассоциаций и прямых воспоминаний. Суворова нельзя было ни перебивать, ни торопить, и Прохоров добродушно думал: «В тридцать минут уложится!»

— ...глаз прищуренный бывает еще у молодой стерляди. Ну, это особ статья, это рыба така, что у нее все наперекосяк...

Никита Суворов приостановился, почесал веко.

— Ну, гляжу я на Заварзина, ничего понять не могу, однако смекаю: дело нечисто! Во-первых, чего возвратился, во-вторых, чего прищуривается, чего лыбится на контору? В ей же не сахар, в конторе-то! В ей Женечка Столетов с самим Гасиловым разговариват... — Он покрутил головой. — Ну до чего долго Женечка с Гасиловым говорели, что я три ездки трактором-то сделал. Это ведь чуток поболее часа, никак не меньше...

По-прохоровскому тоже выходило, что между отъездом и возвращением Аркадия Заварзина прошло никак не меньше часа, и, значит, именно столько времени разговаривал Столетов с мастером Гасиловым.

— Да, это никак не меньше двух часов прошло, когда Заварзин-то возвратился, — снова пересчитывал Никита Суворов. — Я, конечно, тракторист не ахти какой — я ведь колтоногий. — Он показал на хроменькую ногу. — Мне с Евгением Столетовым, конечно, равнения не было. Куды там! Он, Женечка-то, на тракторе ежживал, как остяк на обласке... Это я тебе, товаришш Прохоров, на полном сурьезе говорю, что во всей области лучше Евгения тракториста не было. Вот те хрест! Ну, ты сам посуди, товаришш Прохоров! Я дельвал за

смену, сказать, двадцать ездов, а Женечка — тридцать! Это что? Это рази не стахановска работа? «Степанида» под нем была ровно конь! Бывалыча, скажет: «Ну, давай, родимая!» А она его слушат, ровно живая. Ей-бо! «Степанида» его понимала, это соврать никто не даст, а я с ней, бывалыча, часа два вожусь. Все, зараза, не заводится. Ну, Женечка подойдет, руку ей на бочину положит, в моторе кой-чего покопатся — она и заведется. Ну зараза, ну зараза!.. Это я про трактор говорю, не про Евгенья...

На улице творился летний день. Было так же жарко, как вчера и позавчера, но над деревней сегодня висело большое, темное в середине, растопыренное облако, обрамленное по краям белой слепящей каймой. От облака лежала на реке густая тень, и вода в этом месте казалась рябой, простуженной. Облако медленно-медленно приближалось к солнцу.

— Дожж будет! — поймав взгляд Прохорова, сказал Никита Суворов. — Падет короткий, zalывит всю деревню, под вечер угомонится... Ну, я дальше пойду... Я, значит, воз на эстакаде отцепляю, с бригадиришкой Притыкиным, язви его мать, хлестаюсь насчет тросов, а сам, не будь дурак, на Заварзина поглядаю. Здеся вдруг и Женечка выходит... Ах ты мать честна! Лица на нем нет, ногами-руками дрыгат, туда, откеля вышел, супротивно зыркает... Ну, тут Заварзин и подходит к ему. Ах, мать твою распротак, думаю, бандюга, семь лет по лагерям да тюрьмам сиживал, чего бы он плохого Женечке не произвел!

Опять всплеснув руками, Суворов приподнялся, поглядел на Прохорова с испугом:

— Ну, они поговорили, поговорили да в тайгу пошли. Идут, обои руками размахивают, обои агромадные, балмошные. Ну, думаю, за имя надо иттить! Бегом бежать за имя, думаю, надо! Ладно! Бросаю трактор, бригадиру Притыкину говорю: «Я по большой нужде поспешаю!», а сам — шась за имя в тайгу! Вот, думаю, остановятся, вот, думаю, что плохое начнется, а они все валят да валят дальше. Обратнo ручищами махают, о чем разговор, мне обратнo не слыхать, как я шибко позади их поспешаю, — неровен час Заварзин усмотрит! Он страшенный! Чего хорошего, если ножом обранит, али того хужее, вовсе убьет?

Прохоров слушал чутко, так как приближался момент, когда в рассказе начиналась ложь, а надо было непременно засечь картину, после которой тракторист врал.

— Ну, шнырим дальше, уж порядочно от лесосеки отошли, как на тебе — останавливаются... Ну, они ишшо маненько руками помахали, построжились друг на друга и давай молчать, ровно нанятые. А было дело, надоть сказать тебе, товаришш Прохоров, возля озерца.

Никита Суворов оживился.

— Ты теми местами не хаживал, ты, товаришш Прохоров, и в понятие не держишь, чтобы посередь тайги да вдруг — ветельник, сморода, дерево. Это озеро Кругло называется, в нем, если хочешь знать, всяка рыба живет...

И страшно было мужичонке, и любопытно, и воспоминания наваливались, и хотелось, чтобы все были довольны — милиционер Прохоров, страшный Аркадий Заварзин, несчастные родители Евгения Столетова. А трудное место в рассказе приближалось, а темное озерцо уже посверкивало в проеме сосен, а милиционер Прохоров смотрел так, словно просвечивал Никиту Суворова насквозь, и все было так страшно, что страдальческие глаза тракториста спрашивали: «Зачем все это, для чего?»

— Утки в Круглом озере — невпроворот! — радовался отдыху Никита Суворов. — Ну, чирка там видимо-невидимо, нырка помене будет, но тоже есть — садится, бывает, и нырок. Крякуша, само собой, водится, однако черноклювика не видать. Черноклювик, он больше на луговине, на сорах или на болотине... — Никита Суворов ни на секунду не приостановился. — Ну, тут надо тебе сказать, товаришш Прохоров, что они не сразу драться стали. Они еще хотели договориться без драки, но, надо быть, не сумели...

Никита Суворов тяжело, прерывисто вздохнул.

— Тут на Кругло озеро клохарь-утка села... Вот об это время, товариш Прохоров, они и начали хлестаться, как лончаки. Страшное дело!.. Ты чего так на меня зыркаешь, товариш Прохоров? Клохаря-утку не знаешь?... Сам он из себя большой, сизый, питается рыбой, мульков имат и тоже ест. А вот еще есть така птица — мартын с балалайкой. Этого не едят, не стреляют, сам белый, над полями летат, крылья долги, а сам меньше утки. Этого ты, когда встренешь, не стреляй — почто он тебе...

Никита Суворов начал врать после слов «они не сразу драться стали». Именно здесь картина каким-то образом перекосилась, перед мысленным взором Прохорова возникло что-то неестественное, мешающее. Прохоров закрыл глаза, отключившись от Никиты Суворова, наново мысленно просмотрел ту картину, когда Столетов и Заварзин подошли к берегу озера... Они стояли вплотную друг к другу, в полете сосен качались лучи догорающего солнца, в таежной тишине слышалось хриплое дыхание парней. Свистнув крыльями, тревожно крикнув, опустилась торпедой на озеро клохарь-утка, погнала грудкой овальную волну по темной масляной воде...

— Есть! — прошептал Прохоров. — Есть!

Он облегченно засмеялся:

— Есть!

Ну, полковник Борисов, что сказал бы ты сейчас Никите Суворову? Что сделал бы ты сейчас, полковничек Борисов, со своими полированными ногтями, английским пробором, кителем в талию и роскошным баритоном?

— Стреливал и я в крохалю-утку! — мечтательно проговорил Прохоров. — И на сорах стреливал, Никита Гурьевич, и на болотах стреливал, и на луговине стреливал. Утка эта не так вкусна, как увертлива, не так увариста, как жилиста...

Он снял руки со стола, удобно отвалившись на спинку стула, протяжно зевнул, пожаловался:

— Только вот, Никита Гурьич, никогда мне не приходилось крохалю-утку стрелять на лесном озере! Крохалю-утка, она ведь на лесные озера не садится... Не садится крохаль на лесные озера! Хватит врать, Суворов, — жестко сказал Прохоров. — Ничего вам Заварзин не сделает, если вы покажете, что драки не было, и Столетов с Заварзиным поехали в поселок на одной платформе...

Никита Суворов пустым мешком висел на стуле: челюсть отвалилась, как створка капкана, в глазах — ужас, руки дрожат. Вот как запугал его Аркадий Заварзин! Наверное, вынул из кармана нож, приблизив лицо вплотную к лицу Суворова, проговорил лениво: «Меня посадят — другие найдутся! Из-под земли тебя достанут, горло от уха до уха распластает».

— Никита Гурьевич, а Никита Гурьевич!

Суворов понемножечку приходил в себя, оклемывался, бедный, потихонечку... Какой чистотой, непосредственностью и наивностью надо было обладать, чтобы потеряться от такой мелочи, как крохалю-утка! Каким хорошим, добрым человеком надо быть, чтобы не найти самый простейший ответ на прохоровскую реплику! Эх, Сибирь, Сибирь! Добрая, честная, искренняя земля...

— Надо правду показывать, Никита Гурьевич! — мягко сказал Прохоров. — Всего несколько слов надо подписать: «Драки не было! Поехали вместе...»

— Была драка! — прохрипел Суворов и вдруг выкрикнул ошалело: — Не подписую я бумагу!

Ты отселева через недолги дни уедешь, а мне под ножа идти, семью свою губить!

— Надо подписать! — торопливо сказал Прохоров. — Обязательно надо подписать, Никита Гурьевич, не то... Я вас очень прошу подписать!

— Не подпишу! — вдруг спокойно ответил Суворов. — Не подпишу!

Это было такое серьезное поражение, что Прохоров растерялся, сконфузился, одним словом, потерял лицо, — он сделал несколько суетливых движений, поспешно вскочил из-за стола, просительно протянул руку к Суворову, но тут же услышал категорическое:

— Это дело я никогда не подписую! Какой мне мотив бумагу подписывать, если ты, товаришш Прохоров, все одно, кого надо, споймашь? У тебя ум большой, ровно как у старой собаки... Вот такое дело, товаришш Прохоров...

— Ну, Гурьевич, — тонко произнес Прохоров. — Ну, Гурьевич, ты так меня подвел... Ты меня... То есть вы меня...

— А ты меня тыкай, тыкай, товаришш Прохоров! — обрадовался Суворов. — Когда меня тычут, мне сердцем веселее. На «вы» с человеком тогда надо говорить, если, скажем, ты у него корову за долги уводишь... Ему морозно, человеку-то, от выканья...

Оторопелый Прохоров искоса поглядел в окно — река хорошо, ласково светится, перевел взгляд повыше — грозитя напозти на солнце облако с яркой каемкой, опустил взгляд — стоят на полу здоровенные, не по росту, кирзовые суворовские сапоги. Что делается, а, родной мой уголовный розыск! Три дня строил пирамиду, вершиной которой должно быть форменное, письменное признание Никиты Суворова, а вместо этого...

— Ты вот что, Гурьевич, — сдерживая смех, сказал Прохоров. — Ты катись-ка домой, пока я сердцем не изошел. Ты лындай-ка отсюда, Гурьич! Марш отсюда, срамота, мать твою распротак.

— Вот это ты дело говоришь, товаришш Прохоров! — радостно заорал Суворов. — Ну, ты ничего лучшее этого, парень, придумать не мог! Я счас от тебя так лындану, что ты и глазом уморгнуть не успеешь, ты еще и тятя сказать не угроздишься, как я дома на печку взовьюсь!

3

Никита Суворов по улице наярывал быстро, словно его подгонял ураганный ветер, волосенки на затылке развевались, мелькали здоровенные каблуки, руками размахивал, как участковый инспектор Пилипенко.

Прохоров отошел от окна, весело крякнув, сел. Бог знает почему образовалось у него смешливое, легкое настроение — от мужичонки, наверное, от своей забавной неудачи, от темной тучи, которая с урчанием понемножечку застила солнце. Ливанет через часика два крупный кромешный дождина, запольхают молнии, одуряюще запахнет щекочущим ноздри озоном. «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуци!» — пели они ребятишками и плясали босые в теплых ласковых лужах. «Дождик, дождик, припусти, мы поедем во кусты...»

Прохоров вслух засмеялся. Ах каким хорошим было настроение! Все радовало его. Раскладушка казалась целомудренно-белой, чемодан лихо посверкивал никелированными застежками, белая рубашка приятно хрустела. В термосе, из которого Прохоров по утрам пил крепкий чай, отражались оловянная Обь, черная туча, искаженное окно; чистый лист бумаги

на столе зазывно белел. Он вдруг сухо поджал губы, отодвинувшись от стола вместе со стулом, критически-насмешливо поглядел на свои замшевые туфли — явно не годились для дождя, раскисшей дороги, мокрого тротуара.

Прохоров зябко поежился от предчувствия удовольствия и огляделся так, словно сомневался, что в кабинете, кроме него, никого нет. Отлично! Хорошо! Он взял приятно пахнущий, поблескивающий чемодан, аккуратно поставил его на стол, расположив так, чтобы свет из окна падал на его, чемоданные, внутренности. Отлично! Колоссально!

В чемодане лежали две белые нейлоновые рубахи; он их вынул, аккуратно положил на стол; под рубахами обнаружили чистые носовые платки, майки, трусы, запасные подтяжки, две пачки мыла «Красная Москва», три пакетика норвежских бритвенных лезвий — на тот случай, если в Сосновке откажет электростанция, — одеколон «Красная Москва», импортный крем для бритья, две катушки ниток — белые и черные, четырнадцать пар буйно-разноцветных носков, пять шариковых ручек, стопка плотной, очень хорошей бумаги, пасьянсные карты, крошечный англо-русский словарь, два перочинных ножа, пакетики с аспирином, анальгином и тройчаткой, пузырек с йодом, широкий и узкий бинты, коробка разноцветных карандашей, пистолет, завернутый в газету, ложка, вилка, открывашка для бутылок, электрическая лампочка на сто свечей — он не любил слабый свет, куча запасных стержней к шариковым ручкам, ботиночные шнурки, матрешка в клетчатой юбке и так далее, и так далее...

Прохоров бережно вынимал вещь за вещь, губы у него по-прежнему были сухо сжаты, а выражение лица было таким, каким оно бывает у сладкоежки женщины, когда ей предстоит выбрать одну-единственную шоколадку из громадного шоколадного набора. Очень хороша шоколадка в форме дубового листа, привлекательна и та, что похожа на египетскую пирамиду, славненько лежит шоколадка-слоненок, шикарна шоколадка-трюфель, шоколадка-медаль. У женщины тускнеют глаза, губы делаются сосредоточенными, словно она идет по узкой жердочке над стремительным потоком.

Под газетой, на самом дне чемодана, лежали три пары новых туфель; каждый был вложен в целлофановый мешочек, между туфлями — два тюбика с кремом, черным и коричневым, железная щетка для чистки замшевых туфель и целые три щетки для туфель обыкновенных: жесткая, полужесткая и мягкая. Существовали, конечно, и бархатка для наведения глянца, рожок для надевания туфель и несколько металлических подковок с шурупами, которыми они привинчивались к каблукам, чтобы каблуки не сбивались на твердой дороге или асфальте.

Вынув все это из чемодана, Прохоров после неторопливого раздумья выбрал черные туфли с широким рантом, поднеся их к носу, понюхал приятный запах новой кожи, крема и клея, потом, смахнув туфли бархаткой, снял с них едва приметный слой пыли — какая пыль в чемодане! Потом, счастливо вздохнув, он стал выдавливать на правую туфлю черный крем из затейливого тюбика. Крем у Прохорова был лучших европейских фирм, щетки из отечественной щетины, бархатка была куплена в московском магазине «Обувь».

Прохоров обработал туфли жесткой щеткой, полюбовавшись, перешел на щетку средней жесткости; затем поласкал блестящую поверхность третьей, самой мягкой щеткой; губы у Прохорова сжались от радости и нежности к туфлям, брови страдальчески сошлись на переносице. Он в такт взмахам щетки покачивал головой, притопывал; он не успокоился до тех пор, пока на коже не осталось ни единого мутного пятнышка, пока обрез ранта не стал сверкать остро и лихо. Затем Прохоров за кончики взял московскую бархатку, такими легкими, слабыми движениями, какими, наверное, вынимают из часов тончайший волосок, начал придавать туфлям окончательный шик. Он лакировал кожу до тех пор, пока не увидел в туфле свой собственный подмигивающий глаз.

Через пять минут Прохоров закрыл чемодан, поставив его на место, надел новые клетчатые носки; туфли блестели хорошо, настырно, поверхность вовсе не походила на кожаную; туфли

казались вылитыми из блестящего черного металла.

Он легко прошелся по пилипенковскому кабинету. Отлично! Когда сверкают туфли, плевать на то, что костюм сидит мешковато, галстук завязан неумело, густые волосы торчат на макушке, нос кончается примитивной нашлепкой. Он был готов своротить горы, опуститься на дно морское, взлететь под облака... «Я вот что сделаю! — подумал капитан Прохоров. — Я пойду сейчас к Анне Лукьяненко!»

Но, прежде чем выйти из кабинета, он подумал: «Если Столетов и Заварзин дрались на озере Круглом, моя версия — тьфу и растереть! Но он врет, этот славный мужичонка...»

4

Славный мужичонка Никита Суворов не ошибся, говоря, что скоро ливанет сильный дождь...

Когда Прохоров вышел из дому, одна черно-синяя туча уже застигла солнце, две другие прибивались к нему острыми краями, четвертая туча поднималась из-за Оби. Река казалась рябой, как курица, ветер на плесе то и дело взвизгивал белые продольные полосы, гром погуживал, на небо между тучами было трудно глядеть — такое было яркое, ослепительно голубое. У собаки, торопливо бежавшей вдоль улицы, столбом стоял пушистый хвост.

Прохоров весело шел по деревянному тротуару, наступал блестящими туфлями на сосновый дощаник, поскрипывал туфлями с приятностью. Бодрый, свежий, помолодевший, он не без игривости думал о визите к разбитой бабенке, по слухам любвеобильной, хотя Пилипенко рассказывал и о таком: из дверей дома Анны Лукьяненко сначала вылетали мужская шапка, за ней — пальто, потом ошпаренно выбежал хозяин летающих вещей. По сведениям Пилипенко, вдова «одевалась не хуже учительши», у нее, сообщил Пилипенко, три демисезонных пальто и два зимних.

Следуя своей давней привычке, Прохоров искал дом вдовы не по названию улицы и номеру, а по одним ему ведомым признакам.

Прохоров подошел к дому, который явно мог быть домом Анны Лукьяненко. Здесь ни огорода, ни сараюшек не было, крыльцо выходило не во двор, а прямо на улицу, что и позволило инспектору Пилипенко наблюдать полет мужской шапки. Номер дом имел 13, что тоже свидетельствовало о проживании в данном доме веселой Анны Лукьяненко, не страдающей суевериями. Какие уж тут суеверия, если на окнах нет ни занавесок, ни гераний, ни заваливающего цветочного горшочка, а лежит по-цыгански пестрый головной платок!

Крыльцо дома выступало в сторону улицы далеко, нагло, словно бросало вызов деревне, всему белому свету. Окна у дома были не большие, не маленькие, сам дом не старый и не новый, крыша была не деревянная и не железная, а шиферная. Была у дома и одна особенность — на бревнах расплывалось такое свежее пятно, словно их чем-то скоблили. Это был след дегтя, которым ревнивые бабы три месяца назад вымазали стену дома — ворот-то не было!

Прохоров вошел в крохотные сенцы, уловив звуки жизни, постучал в дощатую дверь.

— Войдите!

Он ошалело остановился у порога, так как прямо в глаза ему бросились белые ноги, обнаженные юбкой значительно выше колен. На Анне Лукьяненко была знаменитая мини-юбка, которая и в столице коротка, а добравшись до такой деревни, как Сосновка, да

попав на бедра Анны Лукьяненко, превратилась в повязку австралийца. Плечи же и грудь были туго обтянуты тесной шерстяной кофтой.

— Бывай здоров, следовательно! — громко поздоровалась Анна и показала два ряда плотных зубов. — Хочешь квасу? Пей! Вон на столе...

На пустом столе действительно возвышалась четверть с квасом, рядом примостилась фарфоровая кружка с отломленным краем, и вообще в большой и единственной комнате дома все предметы, кроме монументальной русской печки и кровати, казались кривоватыми, надломленными: стул, например, был о трех ногах, у этажерки одна полка с пыльными книгами провалилась, голые подоконники просели и расщепились, пол перекосялся так здорово, что Прохорову захотелось побежать по наклонной плоскости. Но это не производило удручающего впечатления, наоборот, все казалось веселым вокруг хозяйки.

— Ошибаетесь, Анна Егоровна! — заботливо сказал Прохоров. — Я не следовательно. Я оперативный работник.

— Один леший! — ответила Анна и повела плечами. — Мне что поп, что дьякон!

Было совершенно ясно, что Анна Лукьяненко — самая красивая женщина в Сосновке. Ее родители, видимо, недавно распрощались с теплой Украиной, где у женщин бывают вот такие рисованные брови, вот такой румянец на тугих щеках, вот такие женственные формы тела, такое торжество цветущей плоти и женского здоровья. Одним словом, вдова Анна Лукьяненко была такой, что капитан Прохоров, впав в риторику, подумал напыщенно: «Вот если взять Рубенса, добавить к нему фламандцев да разбавить все это Ренуаром...»

— Садись, оперативный работник! — услышал он веселый голос Анны Лукьяненко. — Садись вон на ту табуретовку...

Прохоров неторопливо прошел в комнату, попробовав на прочность табурет, сел на него и внимательно стал разглядывать Аннину кровать.

— Королевское ложе! — опять напыщенно сказал Прохоров. — На такой кровати, Анна Егоровна, можно играть в городки. Исключительно выдающаяся кровать!

Да, кровать не уступала в монументальности русской печке. Возведенные, видимо, местным столяром, стояли широченные, обвитые резьбой спинки, трепетал ситцевый, очень яркий балдахин-полог, резные бильярдные ножки давили на шаткий пол с такой силой, точно хотели провалить его в тартарары. Плоскость кровати была квадратной; на кровати лежало, стояло так много разнообразных вещей, что было понятно — это не кровать, а жилище Анны Лукьяненко. Судя по спицам и моткам шерсти, Анна на кровати вязала; оттого, что на цветастом одеяле стояли две тарелки, можно было заключить, что Анна ела на кровати; исходя из того, что на спинках висело много одежды, можно было понять, что и гардероб находился тут же. Всем была кровать для Анны Лукьяненко — ложем, столовой, гардеробом, столом для игры в подкидного дурака. Вся жизнь женщины проходила на кровати — такого Прохоров еще не видывал.

— Вот это кровать! — продолжал восхищаться он. — Как же вы ее везли от столяра-то? Ночью?

Она захохотала легко, спокойно.

— Днем! — сказала вдова. — Я ее нарочно днем везла... Как тебя зовут-величают? Это ты мне не сказал...

— Александр Матвеевич — вот как меня зовут! — солидно ответил Прохоров и, подумав,

добавил: — А я не такой вас представлял, Анна Егоровна... Счетовод, конторская крыса, бумажная душа... Вот и думал, что вы другая...

— Какая же?

— Да вот такая... Черноволосая, высокая, худая, глаза злые. По улице идете — на скулах яркий румянец, рот сжат, губы тонкие. Голос у вас должен быть низким, кожа на переносице обязана блестеть, волосы должны быть прямыми...

Прохоров уже понял, что ему хорошо сидеть в доме Анны Лукьяненко, смотреть на то, как она его слушает, разглядывать кровать; он уже чувствовал, что разговор с Анной будет легким, полезным и умным.

— И разговариваете вы не так, как я ожидал, — продолжал Прохоров. — Думал, что вы скажете: «Присаживайтесь, товарищ Прохоров, я готова давать показания», а вы... «Как там тебя зовут-величают?» К таким словам, Анна Егоровна, надо юбку до щиколоток, на голову — ситцевый платочек, на стол — самовар!

Анна сидела на кровати — пугающая.

На такой вот жениться — мир исчезнет! Какое дело до мира человеку, которому постоянно светят эти ясные глаза; небо покажется с овчинку тому человеку, которого навечно полюбит женщина с такими коленями, в которые хочется уткнуться лицом и молчать вечность, не двигаться вечность... Что же ты, Женька Столетов! Что же ты, глупый?!

— Я к вам, Анна Егоровна, вот почему пришел, — сказал Прохоров. — Я из-под земли достану тех, кто помог Столетову умереть... — Он сделал крошечную паузу. — Уверен: вы любили Столетова! Все факты сходятся на том, что вы его любили...

Третий десяток лет доживала на земле Анна Лукьяненко, считанные годы остались до морщин и вялого рта, тонкой кожи на щеках, бабьей утиной походки; она и сейчас — после слов Прохорова — обмякла налитым, цветущим телом, возле губ прорезались морщинки, глаза полиняли.

— Ну, спасибо, Александр Матвеевич! — негромко сказала Анна. — Мне такого давно не говорили. Думают: не может вдова любить — балуется!

Она поднялась, взяла цветастый платок, накинула на плечи — прохладно было ей в душной комнате.

— Вы неделю в деревне поколачиваетесь да уедете, — перейдя на «вы» продолжала Анна. — Поэтому нет мне резона вам врать, Александр Матвеевич, убеждать, что я не такая, как думает деревня... — Она усмехнулась. — Правду тоже обидно говорить. Но вот вам правда: я покойному мужу седьмой год верная. Ну разве не обидно мне об этом говорить?

Она подняла на Прохорова ясные, чистые глаза, попыталась надернуть юбку на белые колени; ей это, конечно, не удалось — ноги остались далеко открытыми.

Было странно: высокая прическа, мини-юбка, босоножки — современно, привычно, а вот речь по-деревенски напевна, слова стоят друг от друга далеко, и кажется, что говорит не Анна, и все время хочется оглянуться, чтобы увидеть другую женщину — пожилую и допотопную.

— Вам многого не понять, Александр Матвеевич, — сказала Анна. — Вы мужчина. Мужик! А я — баба! Кто бы понял, как это тяжело — баба! Вы вот сидите, так вы один. А во мне столько таких, как вы, напихано! Бабы, ее много — так мне одна умная старуха говорила...

Она смотрела в окно, в зрачках отражалась низкая туча.

— У меня детей нет, Александр Матвеевич! Покойный муж был хороший человек, но мужик — плохой... Почему это я вам все рассказываю? — вдруг спросила она и сама же ответила: — Вы с женщинами невезучий, Александр Матвеевич! Вот и ног моих голых боитесь, как Женя боялся... Так я их закрою...

Она медленно стянула с плеч платок, заботливо укутала колени, посмотрела на Прохорова исподлобья.

В комнате было тихо, над крышей уже отчетливо поговаривал с землей картавый гром, сверкнула дважды тусклая молния, меж Обью и небом протягивались не то дождевые, не то световые штрихи частых линий: на берегу ожидающе кричали ребятишки.

— Я тоже в любви невезучая, — продолжала Анна. — Но я бы этого не знала, если бы не Женя... Я бы так и думала, что любовь такая и есть, как у меня к мужу была... А тут Женя... Пропала я! Пропала! И девять лет разницы, и Людка Гасилова, и необразованность, и слава моя... Один человек для меня родился, но и он на девять лет опоздал. Я много раньше родилась... И чего я Людкой Гасиловой не родилась?

Говорить Анне было трудно: слова от губ отрывались куцыми, укороченными, словно застредали в горле, на шее, шевеля кожу, пульсировала кровь, серым сделалось крепкое, пышущее здоровьем лицо. «Ничем не поможешь!» — подумал Прохоров и спросил:

— За что Евгений не любил Гасилова?

— За все! — секунду помолчав, сказала Анна. — За себя, за Людку, за Сухова, за Притыкина, за меня, за жеребца Рогдая... Вижу: не понимаете, Александр Матвеевич, так я с другого конца зайду. Вы бригадира Притыкина знаете?

— Знаю.

— Тогда сейчас все поймете... Притыкин — гад, сволочь, проститутка в штанах, но он хоть пьяным бывает, а Гасилов... Гасилов — мертвяк! Теперь понимаете, Александр Матвеевич?

— Понимаю, — сказал Прохоров, хотя не мог представить, как можно называть трупом человека с такими умными глазами, как у Гасилова, с фигурой создателя. — А Женя тоже говорил, что Гасилов неживой?

— Да разве было у меня время, Александр Матвеевич, говорить с Женей о Гасиллове? Стала бы я о нем говорить, если... Я за всю жизнь три раза с Женей-то разговаривала. В первый раз на покосе, когда копны возили, второй раз на скамеечке мы с ним сидели, а в третий раз... Третий раз последним был!

Крупные мысли приходили в голову Прохорова — о жизни, о смерти, о женщинах, о конях, о зеленой траве, о синем речном безлюдье; впервые с того дня, как Прохоров сидел на пеньке с Андрюшкой Лузгиным, в ушах опять возник протяжный мотив: «Средь высоких хлебов затерялось небогатое наше село...» Опять шла с коромыслом на плечах мать Прохорова, босые ноги оставляли круглые следы на желтой глине, ведра покачивались, в них купалось маленькое чистое солнце; на матери была длинная юбка, вышитая белая кофта. Куда шла мама, он не знал — она почему-то несла ведра в противоположную сторону от их дома...

Прохоров сунул руки в карманы, покашлял, поглядев на Анну Лукьяненко, почувствовал, каким узкоплечим, низкорослым был он; ощутилась мешковатость собственного костюма, плохо завязанный галстук, слишком свободный воротник рубашки, шишечка на носу. Ждалось: Анна поднимется, подойдет к нему, наклонившись, проведет пальцами по волосам, скажет: «Чего же ты, Санько, такой скучный? Ну, попалась тебе плохая баба, ну, разженился ты с ней, чего же три раза в день помирать? Есть у тебя, Санько, еще одна — вот на ней и

женись... Не бойся — женись!..»

— Что происходило девятого или десятого марта? — спросил Прохоров. — Что случилось в тот вечер, когда Женя приходил к вам?

Анна не удивилась ни вопросу, ни осведомленности Прохорова — только еще немного посерела лицом.

— Женя приходил вечером десятого марта, — сказала она. — В клубе тогда шло кино «Прощайте, мальчишки!» Я хотела пойти на семичасовой сеанс, надела розовую кофту, волосы собрала на затылке... Холодно, грязно было, а я взяла да и надрючила лаковые туфли... Думала, встречу в клубе Женю, нахально сяду рядом, прижмусь в темноте. Хоть полтора часа, а мой!

Анна перебирала пальцами бахрому цветастого платка, на щеках лежали растопыренные тени от длинных прямых ресниц.

— В марте я надеялась, Александр Матвеевич, что Женя со мной будет... Они уже начали ссориться — Людка и Женя... Я за ними следила! — внезапно зло выкрикнула она. — Бывало, целый час за ними по дорожкам иду... Несчастливая я баба, правду сказать!

На реке загудел пароход. Прохоров покосился, прочел название: «Козьма Минин» и опять стал глядеть в переносицу Анны.

— Приделась я, пошла уже было к двери, как сердце — ек! Выглянула в окно — Женя! Сколько я его заманивала, все не шел, все не шел, а теперь идет. Руки болтаются, вперед падает, словно его в спину толкают...

Она посмотрела на потолок.

— Андрей Лузгин говорит, что Женя на царя Петра из кино походил. Это правда... Он был тоненький, высокий, худой, но сильный. ЗА СЕМЬДЕСЯТ ДВА ДНЯ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...тоненький, высокий, худой, но сильный, задрал голову, бежал Женька Столетов по дороге, превратившейся в месиво всего за одни сутки. Еще Восьмого марта, на женский праздник, лютовала над Сосновкой зимняя метель, ударяла в почерневшие от печной копоти крыши, сгибала в злые дуги голые осокори, бесилась в узких переулках, туго набивая их тяжелым снегом. А уже следующим вечером прилетел с верховьев Оби влажный алтайский ветер, уронил на землю ранние капли дождя, перемешанного с разбухшими снежинками. И сразу почернела Сосновка, умер голубой зимний цвет, прорезалась через всю деревню лохматая, покрытая фиолетовыми ссадинами дорога. Запахло сырым деревом и хвоей, опилками и мокрым снегом; среди воздушных потоков случался и такой, что головокружительно пахло черемуховыми почками и жирным черноземом.

Женька сапогами раздавливал лужи, застревал в жидком снегу, спотыкался, но бежал, бежал к Анне Лукьяненко, хотя час назад и предполагать не мог, что побежит к ней...

Час назад Женька скомкал в пальцах записку от Людмилы Гасиловой, осторожно присев на кровать, расправил бумагу: «Женя, нам не надо больше встречаться. Людмила». Крепостной стеной стояли ровные каллиграфические буквы, заглавные пыжились старательными завитушками, точки были крупными.

Минут пять он сидел неподвижно, потом встал, прошелся по комнате, помедлив, снял телефонную трубку.

Людмила к телефону подошла не сразу — ее мать, Лидия Михайловна, сначала попросила подождать, пока посмотрит, дома ли дочь, потом Людмила все-таки появилась:

— Слушаю! Это ты, Женя? Ну, я слушаю тебя...

— Я получил записку, — сказал он. — Что с тобой, Людка?

Она и в трубку молчала так, как умела молчать без телефона, — легко, спокойно, просто. Потом сказала:

— Я пью чай, Женя...

Он медленно положил трубку, опять сел на кровать, положил подбородок на скрещенные руки. Хотелось долго и громко смеяться... Еще вчера он провожал Людмилу, оперевшись спиной о ворота, привычно привлек ее к себе. Она переступила с ноги на ногу, отыскав удобное положение, вся легла на Женькину грудь, поцеловавшись с ним раза три, заботливо проговорила: «На тебя не каплет? Нет, серьезно?...»

Женька торопливо поднялся, сорвав трубку, и попросил знакомую телефонистку еще раз соединить с квартирой Гасилова, сказал сердито:

— Лидия Михайловна, я снова прошу к телефону Людмилу!

— Я допила чай, — сказала Людмила. — Говори, Женя...

— Почему нам не надо встречаться, Людка? Что случилось?

Она опять долго молчала.

— Так надо, Женя! — потом сказала она. — Так надо.

И положила трубку.

Он почувствовал, что бледнеет, засосало под ложечкой: в груди что-то захлопнулось. Так прошло несколько длинных минут.

Зазвенел телефон, он поднял трубку.

— Женя, я, кажется, поступила невежливо, — спокойно сказала Людмила. — Конечно, я погорячилась, не так надо. Мы уже взрослые, нам не надо встречаться. Серьезно.

Он вдруг услышал в телефонной трубке посторонний голос, словно кто-то подсоединился к линии. Сначала Женька подумал, что плохо работал коммутатор, но тут в постороннем голосе мелькнула знакомая интонация Лидии Михайловны.

— Ты не обижайся на меня, Женя, жизнь сложная штука. Серьезно. Если хочешь, приходи к нам, мы поговорим подробно...

«...подробно...» — услышал он голос Лидии Михайловны.

«Он стоял несчастный, с бледностью на челе... — подумал Женька о себе. — Он стремглав бросился грудью на смятую кровать, уткнув голову в подушку, забился в облегчающих слезах...»

— Почему ты молчишь, Женя? — спросила Людмила. — Почему ты не хочешь поговорить подробно?

Он прислушивался ко второму голосу, который существовал где-то в глубине гасиловского дома, словно Лидия Михайловна говорила сквозь подушку: он представил ее блестящий халат, восковую прическу, всегда блестящие, возбужденные глаза.

— Я знаю, почему ты не хочешь поговорить подробно, — сказала Людмила. — Я знаю... Нет, серьезно!

Посторонний голос усилился, зазвучал громко, торопливо, точно Лидия Михайловна бросила подушку. Она проговорила что-то сердитое, быстрое. После этого в трубке сделалось тихо, только слышалось, как дышит Людмила.

— Я знаю, что ты ходишь к Анне Лукьяненок! — сказала она. — Ты ходишь к этой развратной, мерзкой бабе! Вся деревня говорит об этом. Серьезно!

«Развратная, мерзкая баба!» — вот что значили быстрые слова Лидии Михайловны.

— Людка! — ошеломленно закричал он. — Людка!

Но телефон был уже глух, как зимняя ночь, и ему показалось, что это Лидия Михайловна прижала рычаг пальцем с золотым кольцом...

«Они сошли с ума! — подумал он. — Они сошли с ума!»

«Они сошли с ума!» — в третий раз подумал Женька, а потом поймал себя на том, что уже, оказывается, производит действия, — выходит из комнаты, останавливается в прихожей, ищет на вешалке шапку, натягивает на плечи пальто...

Женька шагнул с крыльца в ростепель и туманную сырость, зубы загудели от холода и талого воздуха. Куда он шел? Зачем? Просто хотелось движений, действий, работы напряженного тела: он чувствовал, что взорвется, разлетится вдребезги, если будет стоять на месте, если не помчится по дороге...

Он споткнулся о гасиловский дом, в двух антеннах которого свистел весенний ветер. «Гасиловы! — подумал Женька и повторил: — Гасиловы!» Душила ненависть к двум антеннам, к мезонину, вознесенному над Сосновкой, к воротам, к готическому шпилю флигеля, где у Петра Петровича стоял маленький, но все же телескоп.

Ненавистный, трижды проклятый дом! Большие окна гасиловского кабинета глядели прищуренно, подозрительно, точно за ними таились глаза самого Петра Петровича.

«Развратная, мерзкая баба!» — суфлировала Лидия Михайловна дочери. Женька снова поймал себя на том, что бежит по улице.

Дом Гасиловых удалялся, чавкал под сапогами расхлюпанный снег, утишивался свист ветра в двух антеннах. И только минут через десять Женька понял, что бежит к Анне Лукьяненок. Зачем?... Ему надо было видеть женщину, к которой его ревновала Людмила.

Тоненький, высокий, худой, но сильный Женька, падая вперед, бежал к дому Анны, не думая о том, что скажет, что сделает, как посмотрит на женщину, как она встретит его.

Он взлетел на крыльцо, дробно постучал и, не дождавшись ответа, рванул дощатую дверь...

— Пришел!

После уличного света он ослеп, не мог понять, что такое — розовое и коричневое — копошится в темноте, что такое зыбкое перемещается вперед и в сторону.

— Пришел!

Точно так, как в стеклах бинокля из непонятной мути возникает четкое цветное изображение, так Женька увидел пронзенное радостью лицо Анны, дрожащие губы, расширившиеся, как от

атропина, зрачки.

— Пришел! — повторила женщина.

Вся она — вместе с одеждой и бусами на длинной шее — была Женькина. И кофточку, и бусы, и кольцо с дешевым камешком она надела для него; все ее цветущее тело, ноги, грудь, меловая кожа жили тоже для него.

— Женя...

Пахучее и теплое приблизилось, обвилось каким-то образом вокруг него, хотя Анна все еще стояла далеко. Потом она бросилась к нему, на самом деле обвила шею руками. Вся трепещущая, прильнула.

— Пришел, пришел! — шептала она. — Женя, Женя...

Они незаметно двигались в сторону громадной кровати. Анна так отгибалась назад, точно падала, и он падал вместе с ней. В ту самую секунду, когда Женька понял ее медленное движение к огромной кровати, его пронзил ужас. Женька послушно шел вместе с ней, а сам чувствовал, что умирает — бордовые круги расплывались перед глазами, сердце останавливалось у самого горла.

Вдруг что-то изменилось в комнате, за окном, во всем поселке, появился свободный воздух, пол сам собой выравнился, хотя оставался покатым.

— Не надо! — тихо сказала Анна.

Ресницы у нее слиплись, щеки потускнели, размазанные тени траурно залегли в глубоких глазницах. Женщина видимо отступила назад, так как стояла в центре комнаты — одинокая, сквозная, словно на ветре. Слипшиеся ресницы были опущены.

— Не надо...

Плакала Анна беззвучно, не догадываясь о том, что плачет, что текут слезы, что зубы стучат друг о друга, а голос сделался бабьим:

— Не надо мне чужого, не надо!

Женьке не хотелось жить. От того, что на покато-щелястом полу стояла несчастная женщина, что кровать с зеленым одеялом походила на луг, что в ненавистном флигеле глядел в небо зрачок телескопа, что у Женьки на фронте погиб отец, что отчим любил Женьку, как родного сына, что мама спала мало — так много работы, что Людмила Гасилова ест так, словно составляет одно целое с пищей, что Лидия Михайловна Гасилова говорит об Анне «развратная, мерзкая баба», что он не поступил в институт, что его любила еще Соня Лунина, что на дворе темно и сыро, что он был молод, что опять придется повторять математику и физику, что его, наверное, не любит Людмила...

Анна все еще плакала, потом перестала. Женька еще немного постоял молча, затем сел на стул, дождавшись, когда она вытрет слезы, тихим голосом рассказал все...

Рассказывал Женька долго, она слушала внимательно, с поднятым лицом, и он уже не боялся открытых ног и груди с глубокой тенью...

Анна Лукьяненок, покачав головой, отвернулась от Прохорова, плечи были узкие, шея казалась искривленной, руки висели вдоль тела опавшие.

— Вот это и был мой третий раз, — глухо, в стену и кровать, сказала она. — Тот самый

третий раз... Я чего плачу, Александр Матвеевич? Потому я плачу, что Женя меня любил. Он меня любил, а сам думал, что Людмилу... Он думал, что сильно ее любит, Александр Матвеевич! Он по-другому не умел, Женя-то...

Прохоров поежился, заставив себя посмотреть на Анну, помассировал холодными пальцами горло.

— Ему тоже трудно было, — тихо продолжала Анна. — Вокруг Жени белый свет перепутался — такой он был человек... Ведь и Людка его любит. Она любит его, хотя выходит за Петухова. Вот я опять плачу, дуреха!

...Мать Прохорова с коромыслом на плечах прошла по осклизлой дороге, скрылась за углом незнакомой хатенки; на дорогу вышла другая женщина — злая, усталая, насмешливая. Эта женщина на желтой глине оставляла следы острых каблуков, играла замысловатую роль из «Трехгрошовой оперы» Брехта, в пальцах держала острую сигарету. Ее звали Вера, она говорила, что любит Прохорова, собирается стать его женой; издевалась над ним: «Я лучше тебя знаю, Прохоров, какая женщина тебе нужна. Я тебе нужна, Прохоров!..»

На огромной кровати, похожей на луг, сидела еще одна женщина — тоже все знала о мужчинах, считала, что всякая женщина несчастная уже от того, что она женщина, и мирилась с этим. Она была права: все несчастья происходят от того, что мужчины не полагаются на мудрость женщин, не помышляют, что для них хорошо все то, что хорошо для женщины...

— Не надо меня судить за то, что я вся баба, насквозь баба, поперек себя баба и на три шага вперед себя баба, — сказала Анна. — Женя не ко мне ехал в тот день, когда погиб... Я думаю, Александр Матвеевич, он в тот день от кого-то узнал, что Людмила вожжается с Петуховым... Он потому и прыгал у Хутора, что хотел застать их вместе...

У Прохорова были узкие, щелястые глаза. Не зря, выходит, он выяснял, по каким тропинкам любят гулять Петухов и Людмила, где их черти носили в одиннадцатом часу вечера, куда вела тайная дорожка, в какую сторону загибалась она от железнодорожной насыпи, где Столетова поджидала смерть... «Браво, Прохоров!»

— Я за ними тоже следила, — сказала Анна. — Не хочу, а встану, пойду за Петуховым и Гасиловой, знаю, что это добром не кончится... Мне их хотелось убить!

Она покачала головой:

— Нет, не за Женю!.. Хотя и за него тоже... Петухов и Гасилова вот как гуляли: идут далеко друг от друга, молчат, сами такие, словно повинность отбывают... И чего это я все плачу?

Прохоров терпеливо ждал, когда подтвердятся свидетельским показанием сообщения участкового инспектора Пилипенко. Конечно, с таким лицом, как у Петухова, с воздержанием студенческой молодости, с его воловьим здоровьем, с его железной нервной системой...

— Петухов ко мне три раза приходил, — сказала наконец Анна. — Проводит Людмилу и — ко мне. В ногах валялся — просился на кровать... Я его ударила... Что это, Александр Матвеевич?

— Бумага и шариковая ручка, — ответил Прохоров. — Надо написать коротко: «Тогда-то и тогда-то Петухов Юрий Сергеевич навестил меня, Лукьяненко Анну Егоровну, предлагал то-то и то-то... Не пишите: „Я его ударила!“ Пишите: „Я ему нанесла оскорбление действием!..“» А ведь гроза будет, Анна Егоровна!

Гроза была такая, что капитан Прохоров крякал от удовольствия, потирал руку об руку, а нижнюю губу выпячивал с таким выражением, точно хотел сказать: «Мать моя, что это делается! Ой-ой-ой!» Участковый инспектор Пилипенко стоял перед ним навытяжку, держа руки по швам, старался показать, что не слышал ни грома, ни дождя. Мало того, этот самый Пилипенко лицо имел бравое, томную бровь вздымал на лоб, любуясь собственным голосом, самоотверженно работал на глазах у разбушевавшейся стихии:

— Докладываю, как было приказано... Петухов Юрий Сергеевич переводит матери каждый месяц пятнадцать рублей при заработной плате в триста двадцать рублей, считая северную надбавку и процент за перевыполнение. В январе и апреле прошлого года переводы не производились, остальные месяцы — регулярно!.. Жену Суворова Никиты Гурьевича зовут Мария Павловна, рождения двадцать второго года, русская, беспартийная, образование среднее, несудимая, служащая... Гражданин Суворов ее во всем слушается, уважает... Прикажете гражданку Суворову в кабинет вызвать или на дом к ней пойдете?

— На дом, на дом...

Прохоров насмешливо кивнул, но поглядел на участкового одобрительно. Черт знает как удавалось этому Пилипенко вести себя так, словно он не таскал из окна каштаны для другого, а бегал по своим, пилипенковским, делам? Конечно, участковый инспектор, выполняя поручения Прохорова, попутно изучал свой собственный участок, но ведь не до такой степени, не до такой степени... «А может быть, он просто хороший работник?» — неожиданно подумал Прохоров, внимательно разглядывая участкового — старательные глаза и рот, ефрейторски стройную фигуру, большие руки солдата и рабочего парня.

— Вот что, товарищ младший лейтенант, — сказал Прохоров. — Не хочется ли вам заняться кондуктором Акимовым?... Возьмите на себя Акимова, товарищ младший лейтенант.

— Есть взять на себя кондуктора Акимова! Сегодня прикажете им заняться?

— Можно завтра, но лучше сегодня... Уж очень меня торопит начальство...

Оглушительно гроыхнуло, окна на мгновение стали ярко-синими, как будто на них пролили струю краски, в кабинете потемнело, а на столе задребезжал телефон, и от этого сделалось тревожно, точно аппарат подключили к междугородней линии. Прохоров поднял его, поискав место, поставив на кипу бумаг и, глядя на Пилипенко, подумал, что не уступит полковнику Борисову ни одного дня из столетовского дела. Он, Прохоров, раскрутит происшествие так, что картина будет прозрачной, как стеклышко, соберет все, что можно собрать, наведет в деле такую ясность, что оно будет похоже вот на эту комнату, когда ее заливают ослепительный свет молнии. Кроме того, он будет таким же старательным и упрямым, как участковый инспектор Пилипенко, умным и ловким, как мастер Гасилов, осторожным, как тракторист Аркадий Заварзин, страстным, как Женька Столетов, добрым, как Андрюшка Лузгин, чутким и мудрым, как Анна Лукьяненко, и философски-дальновидным, как слепой учитель Радин.

— Давайте Заварзина! — сказал Прохоров.

Когда участковый инспектор ушел в грозу, в крошечный дождь, Прохоров встал, минуточку

погулял по кабинету с рассеянным видом, потом затянул галстук, надел пиджак, улыбнувшись своему отражению в окне, сел за стол — прямой, высокий от высокого стула, с непроницаемо-сухим лицом: он несколько раз пробуяще поднял и опустил левую бровь, прищурился на вешалку, где висел его мокрый болоньевый плащ, потом поискал положение для рук — сцепил их на столе, расцепил; вытянув руки, положил их рядом, затем скрестил их на груди. «По-петуховски!» — подумал он.

Утвердившись в избранной позе, Прохоров стал терпеливо ждать Заварзина, который жил в двухстах метрах от пилипенковского кабинета. Делать Прохорову было нечего, допрос Заварзина еще вчера вечером обдуман всесторонне, и можно заниматься пустяками, то есть воображать, что происходит за стенами дома... Вот Пилипенко переходит через улицу, открывает калитку, поднимаясь на крыльцо, набатно бухает сапожищами, чтобы не было никаких сомнений в том, что квартиру тракториста собирается посетить представитель сильной централизованной власти.

Лицо у Пилипенко жестокое, так как Аркадий Заварзин вчера отказался дать подписку о невыезде.

— Добрый вечер, гражданин Заварзин! Одевайтесь. Надо будет пройти к товарищу капитану!

Аркадий Заварзин поднимает на участкового предположительное лицо, спрашивает предположительным голосом:

— Допрос?

— Мы это не знаем... Товарищ капитан объяснит!

Ласковая улыбка на том же предположительном лице, нежная гримаса, сочувственные глаза: «Собачья у тебя жизнь, Пилипенко! Кто пальцем поманит, к тому и бежишь... Эх, дурочка!»

— Пройти, пройти надо, гражданин Заварзин, к товарищу капитану!

Неторопливо надевается знаменитая кожаная куртка, одна за другой застегиваются «молнии»; жена Мария и сын Петька глядят на мужа и отца из темного угла комнаты.

— Ты не плачь, не плачь, Маруся, я к тебе сейчас вернусь... — шутит тракторист. — Петьке спать надо — укладывай!

Специальной походкой опытного человека, вызванного на допрос, Аркадий Заварзин переходит дорогу, усмехаясь стихиям, бесшумно поднимается на крыльцо милицейского дома, в сенях задерживается, чтобы, переменив выражение лица, сделать его ласковым, нежным, доброжелательным.

— Разрешите ворваться, то-ва-рищ Прохоров!

— Входите, Заварзин! — ответил капитан Прохоров. — Входите, входите!

Аркадий Заварзин вошел, приостановился у порога, медленно снял с кожаной куртки плащ.

— Привет, то-ва-рищ Прохоров!

— Привет, Заварзин!

Прохоров по-прежнему разглядывал телефонный аппарат, имеющий привычку тревожно звонить от ударов грома.

— Поближе, пожалуйста, поближе! — попросил он. — Вот так! Спасибо, Заварзин!

Прохоров давно научился во время допроса опытных людей делать такое лицо, на котором ничего нельзя было прочесть, распрекрасно умел думать об одном, говорить о втором, видеть третье; лицо Прохорова могло выражать все, что угодно, смотря по его собственному желанию.

— Ну, здравствуйте, Заварзин! — с братской улыбкой сказал Прохоров и впервые пристально посмотрел на вошедшего.

У Аркадия Заварзина было слишком красивое для мужчины лицо — такие длинные загнутые ресницы, как у него, могла иметь только женщина, нежный, розовый цвет лица мог принадлежать только девочке-школьнице, губы должны были украсить девушку в девятнадцать лет. Картину портило только одно — твердый рисунок лица да квадратный подбородок, похожий на подбородок участкового Пилипенко, но не такой плакатный, а живой, согретый общей женственностью лица.

— А ничего себе дождишко! — прислушиваясь, сказал Прохоров. — Долго, долго собирался! Милейший Никита Суворов был у меня совсем недавно и говорил, что скоро ливанет, а ведь не сразу, не сразу... Я к Анне Лукьяненко успел сходить, от нее вернулся, пообедал, а он, дождик-то, только тогда и начался... Это что же делается, а, Заварзин? Суворов-то думает, что погоду насквозь видит, но насчет дождя ошибся... Это как так получается, хотел бы я знать?

По Прохорову можно было понять, что ему скучно, нечего делать, осточертел пилипенковский кабинет, дождь и все сущее на свете. Он послал бы в тартарары Сосновку, тракториста Заварзина, дождь с громом и молнией, самого себя, если бы не зарплата, которая, знаете ли, Заварзин, все-таки нужна. Как ни говорите, Заварзин, а пить-есть надо, за частную комнатку платить надо...

— С ума можно сойти от этого дождика! — продолжал болтать капитан Прохоров. — Если он к половине одиннадцатого не прекратится, то, ей-богу, позвоню начальству: «Принимайте меры! На то вы и начальство, чтобы принимать меры!» Интересно, обидятся или не обидятся?... Вы чего молчите, Заварзин? Привыкли к дождю? Ах, ах! Это привычка плохая!.. Вот майор Лютиков Василий Демидович — ха-а-роший человек, а дождь тоже не любит. Не могу, говорит, во время дождя вести следствие, мне, говорит, дождь сосредоточиться мешает... Подумаешь, какая цаца! Какой, понимаешь, чувствительный...

По данным уголовного розыска тракторист Аркадий Заварзин в лагерях сидел трижды, последний раз за грабеж — отбыл в исправительно-трудовых лагерях в общей сложности семь лет, так как начал тюремную карьеру лет с пятнадцати. Изучая дело Заварзина, капитан Прохоров обнаружил у своего подопечного следы твердого характера, волю, наличие некой примитивной, но все-таки философии. Заварзин никогда не был послушным исполнителем чужой воли, был инициативен и смел, прекрасно знал, чего хочет, и тот же полковник Борисов перед отъездом Прохорова в Сосновку сказал: «Сашок, Заварзин четыре года молчит, зубьев, как говорят жители среднего течения Оби, не кажет. Жалко будет, Прохор, если он опять того... Ты поспрошай-ка у Демидыча. Он вел последнее дело Заварзина!» Прохоров пошел к Демидычу, то есть к Василию Демидовичу Лютикову, и майор подтвердил: «Малый толковый. Раскалывается трудно. Если на самом деле завязал — передай-ка ему от меня привет!»

Вот какой гусь лапчатый сидел перед капитаном Прохоровым!

— Хотите молчать, Заварзин, молчите! Вот индюк тоже молчал, молчал, потом... Да чего я вам рассказываю про индюка, когда полковник Борисов мне запрещает философствовать... Вы, говорит, товарищ капитан, гоните голый факт... Голый факт, говорит, гоните... А где я ему возьму голый факт, когда у меня на допросах молчат и так на меня глядят, словно думают:

«Эх, капитан, капитан, знаем мы ваши милицейские штучки! Насквозь видим! Ну что ты мне травмишь бодягу о полковнике, когда тебе интересно, не столкнул ли я, Заварзин, с подножки платформы Евгения Столетова?» Так вы думаете, Заварзин? Ну, скажите: так думаете?

— Точненько! — ответил Заварзин и улыбнулся. — Так и думаю, товарищ капитан.

Он опять жирно выделил слово «товарищ», подвел под ним красную черту, глядел капитану прямо в зрачки:

— Ну, а чего хорошего вы мне можете сказать, Заварзин? Ничего хорошего вы мне не можете сказать, Аркадий Леонидович!

— Могу! — ответил Заварзин и засмеялся. — Слышал я, что если капитан Прохор много треплется, то дело давно раскручено! На мне вы, товарищ Прохоров, руки не погрееете! Мне до лампочки, что вы треплетесь, а сами думаете: «Заварзин у меня в кармане!..» Заварзин чистый! Я на мокрые дела и раньше не ходил... Так что позвольте мне спокойно трудиться на благо нашей Родины, товарищ Прохоров!

После этого они засмеялись оба, так как действительно был случай, когда, вернувшись в камеру после допроса у Прохорова, известный рецидивист Матюшкин грустно сказал: «Попухли мы... Прохор всю дорогу болтал... Собирайся, корешки, в тюрьгу!»

Прохоров вдруг начал покусывать нижнюю губу и щуриться на кончик заварзинского носа, словно с ним что-то случилось, с этим носом.

— Вот что интересно! — бабьим голосом проговорил Прохоров. — Отчего это вы проявляете осведомленность, Заварзин? Какого дьявола вам понадобилось сообщить о том, что вы знаете мои привычки? Хотите показать, что играете в открытую? А?

— Точно! Только мне нечего показывать, товарищ Прохоров.

Аркадий Заварзин поднял руку и почесал кончик носа — как раз то место, в которое был устремлен заинтересованный взгляд капитана. Потом бывший уголовник неторопливо распустил длинную «молнию» на куртке, и под ней оказалась ярко-красная рубашка с мелкими белыми пуговицами по воротнику.

— Я тоже люблю косоворотки! — прежним бабьим голосом произнес Прохоров. — Ах, ах, с каким удовольствием я носил бы косоворотку, если бы... если бы я носил ее... Аркадий Леонидович, а, Аркадий Леонидович!

— Ну!

— Почему вы назвали сына в честь мастера Гасилова?

Дождь все усиливался, припускал с новой силой; гром, однако, приглушивался, но все чаще и чаще сверкали бесшумные молнии, и все было таким, что не предвиделось конца, а ведь дождь был обязан прекратиться к половине одиннадцатого. Если дождь не перестанет к половине одиннадцатого, Прохорову придется посидеть в Сосновке еще один день, а если дождь вообще превратится в непогоду, если он, дождь, будет шуметь и в этом шуме нельзя будет различить шаги по дороге, то он, не дождь, а Прохоров, на самом деле позвонит начальству и скажет: «Я — пас!»

— На этот вопрос я отвечу, — деловито сказал Заварзин. — Мне, товарищ Прохоров, мастер Гасилов помог завязать. Он сделал то, чего ваш Лютиков не смог... Майор — человек хороший, но дурак!..

Он вдруг нагло улыбнулся.

— Не было никогда над Арканей Заварзой власти, а Петр Петрович мне пахан! Я у Гасилова учусь...

Это звучало так сильно и так, признаться, неожиданно, что невозмутимый Прохоров переменял позу — отклонился на спинку стула. «Петр Петрович мне пахан!» Резало ухо сочетание гасиловской благополучности с уголовщиной, несовместимость особняка с тюремной камерой, подзорной трубы с зарешеченным окном, самого Аркадия Заварзина с Петром Гасиловым. Да, да! Все это было неожиданным, хотя вчерашним вечером, обдумывая предстоящий допрос Заварзина, капитан Прохоров шахматными фигурами расставлял на лесосеке действующих лиц сосновской трагедии. В крошечной передвижной столовой похаживал созидательный и мудрый Петр Петрович, утонув в голубой лужице, стоял наклоненный вперед Женька Столетов, опирался спиной о щит «Степаниды» тракторист Аркадий Заварзин. Прямые линии между ними составляли треугольник, вершиной которого был Женька Столетов, основанием — Гасилов и Заварзин, и, ей-богу, Прохоров чувствовал, как крепка, неподвижна, железобетонна линия между точками Гасилов — Заварзин.

— «Гасилов мне пахан!» — медленно повторил Прохоров. — Этот тезис надо бы развернуть, Заварзин... Как это Петр Петрович мог угодить в паханы? Вот смешно-то!

Однако Заварзин даже не улыбнулся.

— Я знаю, — сказал он, — вы мне будете клеить убийство Столетова из-за личной вражды. Факты у вас есть... Даже больше чем надо... Так я сразу... Я сразу скажу, что Столетова ненавидел... Знали бы вы, как я его ненавидел!

Восклицание Заварзина пришлось на отдаленный удар грома, в его глазах вспыхнуло отражение синей молнии, припухлости возле губ затвердели. Теперь было ясно, каким страшным может быть это девичье нежное лицо. Смертельным страхом обливались люди в темных переулках, когда случайный луч света вырывал из тьмы оскал молодых заварзинских зубов, разрисованные нежным румянцем щеки, женственное сердечко губ. О смерти думали люди, когда видели металлические бугорки возле нарисованных губ.

— Как прикажете все это понимать? — спросил Прохоров. — Вы ненавидели Столетова за то, что он ненавидел Гасилова? Так?

— Как хотите, так и понимайте! Каждый свое понимает, товарищ Прохоров, свое...

Нет, все-таки тюрьма еще давала себя знать в Аркадии Заварзине, хотя и прошло четыре мирных года; в глазах бывшего уголовника появилось сентиментальное, нежное, лирическое выражение, уже хрестоматийное в характере людей преступного мира. Прохорова, например, угораздило встретиться с человеком, который задушил собственную мать руками с татуировкой «Не забуду мать родную!»

— Столетов мешал жить хорошим людям! — нежным голосом сказал Заварзин. — Мне мешал, Гасилову мешал, всей бригаде мешал... Такую суку, как Столетов, в тюрьме или пришивают, или... — Он остановился, поморгал вопросительно ресницами. — Врать не буду! Женьку пришить было нелегко — он смелый и бдительный был! Этого у него не отнимешь... Да, врать нечего: он ловкий парнюга был. С характером!

«И ты тоже с характером, Заварзин! — подумал Прохоров. — Ты тоже с характером, если признаешь силу врага! Значит, прав был полковник Борисов, не ошибался и майор Лютиков, попросивший передать тебе привет, если порвал с прошлым...»

— Вы так и не ответили, Заварзин, почему Гасилов ваш пахан. Извольте отвечать!

— Ответа не будет! — насмешливо произнес Заварзин. — Арканя Заварза своих не выдает!

— Он взял да и захохотал. — Вы только не подумайте, что Гасилов того... Он спичку не украдет... Гасилов — мужик правильной жизни...

За окнами кабинета творилось непонятное: временами казалось, что дождь перестал, так как нельзя же было принимать за шум ливня рев бешеной воды, текущей с неба сплошной массой. На дворе был еще день, стрелка только приближалась к восьми, но за окнами клубился мрак, в кабинете было темно, хоть электричество зажигай.

«Гасилов — мужик правильной жизни»...

Прохоров тайно усмехнулся, в протяженности неторопливых, посторонних мыслей лениво подумал: «Заговоришь, голубчик! Так разговоришься, милашка, что сам себе удивишься...»

— Не хотите отвечать, не надо! — покладисто сказал он. — Да и чего нам Петр Петрович Гасилов! Гасилов нам — тьфу! А вот декабрь прошлого года нас интересует... Так что обязательно надо будет рассказать, Заварзин, что произошло двенадцатого декабря прошлого года на лесосеке. Как я разумею, это была ваша первая стычка со Столетовым. Вот и ответьте: почему, отчего, по какому поводу?...

Когда Аркадий Заварзин задумался, капитан Прохоров согласно кивнул самому себе: «Правильно делаешь, Заварзин!» — так как бывший уголовник реагировал на вопросы не сразу: задерживал ответ до тех пор, пока не заканчивал исследование не только вопроса, но и того, что могло скрываться за ним. На это каждый раз уходило не меньше минуты, в течение которых Заварзин казался состоящим только из острых ушей и осторожных глаз. Сейчас он тоже думал долго, потом тихо сказал:

— Это я могу показывать... Только опять предупреждаю: я чистый! Сто раз буду говорить: я — чистый!.. Ну а двенадцатого декабря мы со Столетовым здорово схлестнулись...

— Из-за трактора, поставленного дыбом?

— Из-за этого тоже, товарищ Прохоров! Не надо удивлять меня осведомленностью, капитан. Я знаю, что Прохор есть Прохор... Вы зарплату у государства не зря получаете. Это все говорят. Так чего вы еще мельтешите? — Он ухмыльнулся. — Я думал, вы солиднее, товарищ Прохоров!

Они снова посмотрели друг на друга весело, обменялись вежливыми кивками, потом опять развели взгляды.

— Ноль один в мою пользу! — сказал Заварзин и разнял руки. — Я вам, товарищ Прохоров, не могу помешать копать дело, хотя сам не настучу... А про двенадцатое декабря рассказать надо — не я, так другой расскажет...

Он был собран, серьезен, сосредоточен, словно выполнял мелкую, кропотливую работу.

— Мороз в декабре был такой, что сороки замерзали на лету... **ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ**

...мороз действительно был такой, что птицы замерзали на лету, и по ночам в сосновских домах слышалось, как трещит обский лед; неба над деревней не было — потеряло цвет, слившись с заиндеветшей рекой и стылой снежной планетой. По ночам луну окружали дымные розовые кольца: она казалась ушедшей в центр спирали, была маленькой, сжавшейся от мороза; когда всходило солнце, морозная дымка не рассеивалась, вокруг солнца опять образовывались розово-серые круги.

На лесосеке совсем не глушили моторы трелевочных тракторов, погрузочных кранов; мотористы бензопил «Дружба» отогревали моторчики в теплой столовой. По углам эстакады

пылали костры, мерзлое дерево горело неохотно, дым сливался с туманом и серостью воздуха. Тайга от мороза была звучной, как тонкие весенние сосульки.

В арктическом холоде люди работали торопливо, задерживали дыхание, прятали губы в теплые бараньи воротники, чтобы не застудить легкие; рабочие не делали перекуров, не выскакивали из машин, чтобы посидеть, поговорить. Опытные люди с утра съедали по большому куску свиного сала, но все равно к концу смены, когда мороз опускал столбик термометра за сорок пять градусов, тракторист Никита Суворов жаловался: «Ну, такого морозища я не упомню! Ведь до чего взгальный, у меня к вечеру голос делается тонкий, как у малыша, хоть и сало трескаю!»

Двенадцатого декабря ровно в половине четвертого вдоль эстакады прошел удивленный бригадир Притыкин Иван Михайлович в толстом овчинном полушубке, в самокатаных валенках, пышном шарфе из козьей шерсти, в шапке из молодой лайки. Бригадир Притыкин остановился в центре эстакады, выдыхая серые клубы морозного пара, подозрительно огляделся. До конца рабочей смены оставалось еще полтора часа, а шум на лесосеке стихал — из пяти тракторов два уже стояли возле передвижной столовой, третий тянул по волоку тонкие сосновые хлысты — других не было, четвертый разворачивался, чтобы тоже замереть; один погрузочный кран уже покорно склонил к мерзлой земле шею, возле него приплясывал крановщик Генка Попов, второй кран сгибался и разгибался лениво, неохотно.

— Куды заворачиваешь, мать твою? — закричал бригадир Притыкин трактору Андрея Лузгина. — Распустили вас, мать-перемать!

Притыкин обругал также и крановщика, приплясывающего возле машины, выругал костер, злобными от водки и мороза глазками еще раз оглядел всю эстакаду и, внезапно угомонившись, скрылся так быстро, точно его никогда и не было на эстакаде.

А еще минут через пятнадцать из лесосеки выполз трактор Евгения Столетова, круто развернувшись, сбросил к горбушке погрузочного щита воз тонких звенящих хлыстов. Потом «Степанида» быстро двинулась к столовой, пофыркивая мотором, еще раз развернулась и замерла, как бы выцеливая горку бревен повыше и понадежнее. Постояв несколько мгновений на месте, прицелившись, «Степанида» рванулась вперед, реактивно гудя, поползла на бревна, задирая мотор к туманному небу и окруженному концентрическими розовыми кругами солнцу.

Когда «Степанида» встала почти вертикально, Женька Столетов выпрыгнул из кабины, весело подпрыгивая, побежал к соседнему трактору.

— Здорово, Андрюшка! — закричал он, хотя виделся с Лузгиным двадцать минут назад. — Слушай, Андрюшка, ведь такой мороз надо организовывать. Такой мороз, как говорит Никита Суворов, сам не ходит...

На Женьке и Андрюшке были одинаковые промасленные телогрейки, затянутые широкими армейскими ремнями; тот и другой носили черные самокатаные валенки, стеганые синие брюки. Женька и Андрюшка вообще с шестого класса одевались одинаково. Если мать Столетова покупала сыну клетчатую ковбойку, то такую же непременно приобретали для Андрюшки Лузгина; если родители Лузгина покупали сыну фуражку с пластмассовым козырьком, продавщица орсовского магазина оставляла такую же для Женьки Столетова. Таким образом, друзья прошли одинаковый путь от послевоенных сатиновых рубашонок до черных шерстяных костюмов и лакированных узконосых туфель конца шестидесятых — начала семидесятых годов.

— Пошли в столовую, Андрюшка!

— Пошли, Женька!

Потолкавшись в узких дверях, Женька и Андрюшка наконец оказались в полосатом, сверху изогнутом, как сундук, помещении вагонки. Середину его занимал длинный стол, по бокам — тесовые лавки, на стенах висели печатные плакаты: «В сберкассе деньги накопил, машину купил», «Уничтожайте долгоносика», «Боритесь с напенной гнилью» и «Что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании?». Кроме печатных плакатов на стенах висели рукописные графики, сощобязательства, несколько стенгазет-«молний», а между ними — фанерная коробочка с щелью и надписью: «Для заметок в стенгазету».

— Здорово, товарищи мужики! — прокричал Женька и помахал длинной рукой. — Здорово, товарищ Притыкин... — Женькина рука упала, так как бригадира Ивана Михайловича Притыкина в вагонке не было. — Привет, привет тебе, бригадир товарищ Притыкин, где бы ты ни находился!

В вагонке собралось человек восемь механизаторов и разнорабочих, некоторые уже сняли телогрейки: два грузчика-зацепщика пили горячий чай. На дальнем конце стола сидел в молчании и белозубой улыбке тракторист Аркадий Заварзин. На нем была кожаная куртка с «молниями», белокурые волосы были взлохмачены, на лоб падала картинная прядь, и он походил на того мужчину с плаката, который спрашивал: «Что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании?»

Слева от Заварзина сидел Генка Попов, из-за его плеча высывались кудряшки Панкратия Колотовкина, прозванного в поселке Чирком за малый рост и нос, на самом деле похожий на небольшой клюв плюгавой утки. Спина к Женьке и Андрюшке сидел Борька Маслов — сам с собой играл в шашки и разочарованно причмокивал, точно на доске не хватало шашек.

Висели клубы синего дыма, на коричневом линолеуме растекались темные лужицы, замерзшие окна едва светились, но в передвижной столовой было уютно; тепло в ней было печным, домашним, лица сидящих казались благодушными — мороз постепенно выходил из гудящего тела, кожу покалывали тоненькие иголки, дыхание становилось легким, словно горло оттаивало.

— Борька, сыграем! — сказал Женька и, скинув телогрейку, уселся к шашечной доске. — За мной должок в три партии, но я тебя сегодня схарчу...

— Ты меня никогда не схарчишь! — задумчиво ответил Борька Маслов. — У тебя голова хоть и длинная, но короткая, ум у тебя хоть и большой, но маленький, логика у тебя хотя и железная, но мягкая... Глянь, братцы, как я счас загоню Столетова в срантер!

— Ну это мы еще будем посмотреть, кто кого!

За стеной тоненько и радостно прокричал узкоколейный паровоз, собираясь удирать в теплую Сосновку из застывшего, как ледяной столб, леса. После паровозного крика в вагонке сделалось совсем тихо, почувствовалось, какая здесь дружественная, благодушная атмосфера — все были довольны теплом и отдыхом, не хотелось двигаться, разговаривать. И только смешной мужик Панкратий Колотовкин, оказывается, что-то начал рассказывать еще до прихода Женьки и Андрюшки. Сейчас он опять покашливал за спиной Генки Попова, потом смачно плюнул на пол, прежним, видимо, голосом произнес:

— Ну, я дальше поеду!.. Я с того места дальше поеду, что вот то-то оно и есть — завклубом баловства не любит! Я ему, конечно, говорю: «Ну чего такого, товарищ Васин, ежели мой парень немного побаловается?» А он мне свое: а пусть твой парень дома баловается! Чего, грит, ему в клубе баловаться, ежели тут народ культурно отдыхает, а он, грит, твой парень, водкой напитался, принес в клуб гармошку и давай «Барыню» откаблучивать. У нас, грит, культурная радиола играет, а он «Барыню»! Непорядок, грит!

Панкратий Колотовкин еще раз плюнул на пол, восторженно нюхнул теплый воздух.

— Ну, тут подходит к нам обоим Петра Петрович Гасилов! — восхищенно продолжал он. — Подходит, говорю, Петра Петрович и берет Васина повыше локтя. Чего ж это, грит, товарищ завклубом Васин, гоните из клуба народну музыку? Вы, грит, товарищ Васин, опрежь того, чтобы народну музыку из клуба гнать, лучше бы подумали, чего ваша радиола играт!

Панкратий Колотовкин остановился, округлил глаза, сложил губы в забавную трубочку.

— Чего, грит, ваша радиола играт?... Так и сказал, друзья-товарищи, так прямо и сказал. Ну, тут, конечно, завклубом стушевался, как радиола, не поймешь, как холеру наигрывает. Только и слышать, что «ля-ля-ля» да «ля-ля-ля»... Ну, мой парень-то и утек домой, а ведь Васин-то его собирался к самому Пилипенко тащить... Я, конечно, говорю: «Спасибо, Петра Петрович! Ты, — говорю, — моего парня, может быть, от пятнадцати суток увел, как Пашка в самом деле здорово поддавши...» А он, Петра Петрович, мне отвечает: ты, грит, эти благодарности брось, я твоего Пашку, грит, как родного сына люблю и тебя, грит, Панкратий, изо всех сил уважаю... Хороший человек, что и говорить!

Панкратий Колотовкин опять восторженно покрутил головой, в третий раз плюнул на пол и замолк с таким видом, точно сообщил необыкновенное.

Опять было очень тихо в передвижной столовой. На клетчатой доске пешка черных пробралась в дамки, Борька Маслов ехидно улыбнулся, неожиданно снял с доски три Женькиных пешки.

— Хороший, хороший человек Гасилов! — негромко подтвердил Панкратий Колотовкин. — Не человек, а золото! Пропал бы мой Пашка без него...

Женька Столетов поднял голову. Пили по четвертому, наверное, стакану чая грузчики-зацепщики, по-прежнему ласково улыбался Аркадий Заварзин, дремал Генка Попов, был погружен в игру Борька Маслов, хранил спокойное молчание сильного человека Андрюшка Лузгин, а Панкратий Колотовкин сидел с благодарным просветленным лицом. Тепло, покойно, уютно. Нет бригадира Притыкина, мастер Гасилов отдыхает в своем грандиозном особняке... «С ума можно сойти!» — обиженно подумал Женька.

Только после этого он заметил, что в темном углу вагонки, скрытый спиной Заварзина, сидит Васька Мурзин — слюнявый, истеричный парень, известный тем, что был болезненно, до самозабвения влюблен в Петра Петровича Гасилова. Он обморочно закатывал белки глаз, когда Петр Петрович только приближался к нему, ходил за мастером как привязанный. Сейчас в темном углу вагонки углями светились фанатичные глаза Васьки, смотрел он только на Панкратия Колотовкина, и выражение лица у парня было такое, словно он осенял себя крестным знаменем. «Сойти с ума можно!» — еще раз подумал Женька.

— Сдаюсь, Борька! Всадил ты мне срантер! — досадливо сказал он и поднялся. — Ты меня разгромил в пух и прах, Борька Маслов! Слава, слава тебе!

Женька прошел вдоль стола, улыбнувшись на ходу Генке Попову, остановился против Панкратия Колотовкина так, что Васька Мурзин и ласковый Аркадий Заварзин были по правую руку от него. Слышно было, как, чавкая, пьют свой чай грузчики-зацепщики, как ходит за перегородкой на кухне мать Андрюшки Лузгина — повариха бригады.

Убегающий в теплую Сосновку железнодорожный состав уже давно затих, на эстакаде теперь оставалось только два живых звука — пробовала завестись передвижная электростанция, чтобы осветить рабочее место для второй смены, да морозно хрустел кран, догружающий платформу последнего состава.

— Гасилов — чудо! — в тишине сказал Женька. — Ты бы на него помолился, дядя Панкратий, или свечечку бы поставил... Дело ведь к тому идет, что ты Петра Петровича в святые

запишешь, как Васька Мурзин, который его...

Женька краешком глаза заметил, что Андрюшка Лузгин ленивым тяжелым движением переместился поближе к нему, что Борька Маслов тоже придвинулся, что Генка Попов открыл глаза и, конечно, затрясся в кликушечьем негодовании раб святого Гасилова, преподобный Васька Мурзин, ослепительной сделалась улыбка на вызывающе-красивом лице Заварзина.

— Нам одного, братцы, не хватало, — кладя руки на плечи Генки Попова, продолжал Женька.
— Мороза нам не хватало, чтобы убедиться в святости Петра Петровича...

Он поднял руку с часами.

— Сейчас, братушки мои, четыре, до конца смены еще час, а мы, голубчики, уже прикрыли сменную норму. Морозец-то такой, что перекуривать не будешь, на пеньках не посидишь, над пьяным бригадиром Ванечкой Притыкиным шуточки выкамаривать не захочешь...

Зрачки у Женьки заузились, углы губ подергивались, длинные ноги не находили удобного положения — гарцевали.

— Вот, дядя Панкратий, за что я люблю Петра Петровича Гасилова, — издевательски произнес Женька. — Я его, дядя Панкратий, тоже изо всех сил уважаю, как он тебя... Спасибо тебе за рассказ, дядя Панкратий!

Женька поклонился Панкратию Колотовкину, быстро подумал: «Сколько же, интересно, человек здесь со мной, а сколько против?»

Силы в передвижной столовой распределились так: по-прежнему ничем другим, кроме чая, не были заняты два грузчика-прицепщика, откровенная ненависть к Столетову пылала на лице Васьки Мурзина, колебался между Женькой и Гасиловым легковнушаемый Панкратий Колотовкин, ничего нельзя было понять по лицу Аркадия Заварзина.

— Не зря удирает Ванечка Притыкин! — сказал Женька. — И водку удобнее глушить, и нас не видит... — Он вдруг переменял тон. — Сыграем еще, что ли, партийку, Борька? Мне вредно волноваться. Никитушка Суворов говорит, что я грыжу наживу, если буду сражаться с Гасиловым... Впрочем, мне что-то мерещится в морозном тумане. Вам не кажется, Борька и Генка, что открывается какая-то перспектива в сегодняшних событиях?

— Что-то проглядывает! — задумчиво сказал Генка Попов. — Ты прав, Столет!

Женька снял руку с плеча Генки Попова, ухмыляясь, вернулся на место и решительно придвинул к себе шашечную доску.

— Давай ходи! — сердито сказал он Маслову. — Нечего буркалы тарашить, когда все говорено-переговорено... Ходи, черт свинячий!

— Я пошел! Чем вы мне ответите на это, одноглазый председатель клуба «четыре коней»? Шибко мне интересно, голуба моя, куда вы сейчас изволите пойтить. Ежельше вы этой шашкой пойдете, вам до срантера будет рукой подать, ежельше этой...

— Не бубни — мешаешь!

Снова тихо, приглушенно стало в теплой и уютной вагонке, только Аркадий Заварзин хрустел, шебуршал своей кожаной курткой — поднявшись, он натягивал на широкие плечи чистенькую телогрейку, застегивал металлическую «молнию». Покончив с этим, Заварзин неторопливо двинулся вдоль стола, приблизился к углубившемуся в игру Женьке, осторожно тронул его за плечо.

— Столетов, — тихо сказал Заварзин, — давай прогуляемся на улку, хотя там под пятьдесят. По твоим словам усечь можно, что ты холода не боишься. Давай погуляем! Поговорим о том, о сем, международное положение обсудим...

Как только Заварзин прикоснулся к плечу, Женька поднял голову, движением спины сбросил его руку, быстро поднялся. Он зло ощерился, когда начал вставать Андрюшка Лузгин, глянул на него так, что тот попятился.

— Можно и о международном положении, Заварзин! — сказал Женька. — Ты только шарф завяжи, Аркашенька! Беда, если ненароком простудишься...

Они медленно прошли сквозь настороженную тишину вагонки, плотно притворив за собой двери, двинулись в ту сторону, куда повел Аркадий Заварзин — за передвижную электростанцию.

После теплой столовой мороз показался ошеломляющим; в ушах звенело от разреженного воздуха, дышать было нечем; возле солнца оставалось всего три концентрических круга — оно было крошечным, как бы ушедшим в самое себя. Вокруг клубилась такая тишина, в которой, казалось, взрывались потрескивающие сосны.

— Ты не бойся меня, Столетов! — задумчиво сказал Заварзин, когда они зашли за стену электростанции. — Я ведь сначала разбираюсь, что к чему... Правда, насчет ножа за себя ручаться не могу... Нож, он сам на суку просится! — Он показал золотые зубы. — Здорово тебя учителя трепаться научили, Столетов. У тебя, поди, по Конституции-то пятерочка была? А?

Женька ухмыльнулся. Он не боялся Заварзина — были не страшны остекленевшие от мороза и гнева красивые глаза, смешили воровской жаргон, рассчитанные на слабонервных, угрозы.

— Ты смешон, Заварзин! — тоже задумчиво ответил Женька. — Смешон многозначительностью, опасной только для трусов блатной затаенностью... Я за тобой давно наблюдаю, и мне ты кажешься все несерьезнее и несерьезнее... — Он вдруг щелкнул зубами, как пес, обирающий на себе блох.

— А ножом ты мне не угрожай. Мы тоже умеем...

Женьке Столетову шел только двадцатый год; он жил еще в том возрасте, когда люди склонны к эффектам, когда любят оружие — забавляются ножами, мечтают почувствовать в руках ласково-тяжелую сталь пистолета; он был еще в том возрасте, когда человек тянется к театральным действиям, когда драмы и мелодрамы еще нравятся больше, чем трагедии. Поэтому Женька Столетов вдруг выхватил из кармана складной охотничий нож, одним движением раскрыл его, размахнулся и пустил вращающуюся сталь в ствол ближнего дерева.

— Смотри, Заварзин!

Нож дрожал, войдя сантиметра на два в мерзлую сосну. Он действительно был пущен с ловкостью дикаря, размах был по-настоящему страшным, глаза Женьки сверкнули сладостью уничтожения. Все это, конечно, было не очень смешно, но Аркадий Заварзин весело, искренне захохотал; он хохотал так здорово, так непосредственно, что в уголках глаз появились и тут же замерзли две слезинки.

— Дура ты, Столетов! — прохотавшись, сказал Заварзин. — Нож зря из кармана не достают...

Он взял Женьку за пуговицу телогрейки, покрутил.

— У ножа два конца, Столетов. Один врагу под ребрышко идет, второй — тебе самому под сердце. Человека убить — самому умереть...

Вот теперь было страшно — от голоса Заварзина, от его ласковых глаз, на донышке которых жил страх, от зубов с обнаженными нежными деснами. Как мог он, Женька, говорить, что Аркадий Заварзин смешон, когда мерцало смертью облитое лаской лицо, тюремными решетками отражались в выпуклых глазах перекрещенные ветви ближней сосны?

— Я не боюсь тебя, Заварзин! — еле слышно прошептал Женька. — Лучше умереть, чем тебя бояться... Лучше умереть, лучше умереть! — повторил он как заклинание.

— Боишься! — потя лицом на морозе, сказал Заварзин. — Не больной же ты, чтобы смерти не бояться!

Он медленно гасил улыбку, прятал обнаженные алые десны.

— Да что мы все про перышко да про перышко... Зря говорить не надо. Оно от этого, как живое, в кармане шевелится...

Иней окутывал длинные заварзинские ресницы. В звонком воздухе слышался каждый шорох, каждое движение; было первобытно, дремуче.

— Ты чего под Гасилова копаешь? — спросил Заварзин. — Чего тебе, всех больше надо? В стахановцы ты вышел, комсомольцы тебя в начальство выбрали. Чего тебе не хватает, Столетов?

Заварзин прислонился спиной к стене электростанции, мечтательно склонил голову.

— Чего ты заботишься о высокой производительности труда, Столетов? Зарплата у нас хорошая, монету за перевыполнение получаем — чего тебе еще надо?

Голос у него был издевательский, презрительный, но слышалось и любопытство, словно Аркадий Заварзин был удивлен тем, что существует человек, которому мало хорошей зарплаты, прогрессивки и будущего ордена. В существование такого человека Аркадий Заварзин, конечно, не верил — его быть не могло, но... А вдруг? Чем черт не шутит!

— Кто ты, Столетов, что хочешь добровольно больше положенного ишачить?

Нотка живого человеческого любопытства все отчетливее звучала в голосе Заварзина. Он глядел на Женьку прямо, мороз все прочнее сковывал его длинные ресницы. Женька тоже прислонился спиной к стенке электростанции, задумался.

— Кто я такой? — медленно переспросил он. — Ты хочешь знать, кто я такой...

В стылой тайге не было места мелочам, пустяковине: шевелящийся от слов нож в кармане Аркадия Заварзина, смерть, живущая в его глазах, сама планета Земля — такая же дикая и холодная в масштабах Вселенной, как миллион лет назад, — все заставляло думать о крупном.

— Я рабочий, Заварзин, — сказал Женька. — Пролетарий, которые всех стран соединяйтесь... Я не буду заботиться о высокой производительности труда, кто же будет заботиться?

— Рабочий? Пролетарий?

Заварзин переступил с ноги на ногу, высунув руку из шерстяной варежки, осторожно обобрал лед с потяжелевших ресниц, потер пылающие от мороза щеки. Ладонь закрывала его глаза,

Женька не видел выражения заварзинского лица, да и голос тракториста прозвучал глухо:

— Говоришь, рабочий, пролетарий! А не можешь с одним мастером Гасиловым управиться! Салага ты, а не пролетарий... — Он мечтательно прищурился. — Да будь у меня нужда Гасилова скovyрнуть, я бы его одним мизинцем... Средний объем хлыста занижен? Занижен... Среднее расстояние трелевки повышено? Повышено, да еще как! Одна ездка кой-кому за две считается... Время перехода из одной лесосеки в другую умышленно растягивается? Еще бы! Как резина...

Аркадий Заварзин плюнул; плевок, не долетев до земли, превратился в лед и звонко щелкнул в кочку.

— Я бы мастера Гасилова — ногтем... Да ни к чему мне это. И тебе не дам...

Надев рукавицу, он улыбнулся одними глазами, лениво оторвал спину от стены электростанции, пошел прочь с таким видом, точно Женьки не существовало. Заварзин почему-то сутулился, в походке отчетливо проглядывала воровская вкрадчивость, ноги были такими, словно он шел по тонкому, опасному льду. Пройдя метров пятьдесят, Заварзин остановился, повернув только одну голову к Женьке, спросил издалека:

— Ты почему трактор дыбом ставишь, Столетов?

Пауза. Улыбка.

— Не надо, Женечка, ставить трактор дыбом! Учти, родной, если еще раз поставишь — будешь иметь дело со мной! — И пошел сутуло к теплой столовой, а Женька, как пригвожденный, остался стоять на месте.

Женьке Столетову почудилось невозможное, дикое — у Аркадия Заварзина было что-то общее с Людмилой Гасиловой. Эта ленивая походка, это безмятежное лицо, замедленные мечтательные позы.

— Заварзин тоже пасется! — стылыми губами пробормотал Женька. — Он пасется...

...Заварзин достал из кармана дешевый — из дутого серебра — портсигар, вынув папиросу, постучал мундштуком по крышке. Жадно прикусил папиросу зубами.

— Когда я уходил, Столетов что-то такое бормотал, — сказал он. — В морозном-то воздухе все хорошо слышно, так я услышал: «Заварзин тоже пасется!» Эти слова я до сих пор не понимаю... Что они могут обозначать?

Он прикурил от бензиновой зажигалки, затянувшись дымом, держал его в легких долго. Рука с крепко зажатым папиросой вздрагивала, на щеках светился рваный румянец, плечи казались сутулыми.

— Столетов хорошо сказал слово «рабочий», — продолжал он. — Я Столетова ненавижу, но он честный был... Таких бы побольше — жить можно!

Было естественно, что сильная личность — Аркадий Заварзин — уважительно относится к сильной личности — Евгению Столетову.

— Вы что-то еще хотите сказать? — сонно спросил Прохоров. — Пожалуйста, Заварзин, пожалуйста!

— Столетов смелый был! — искренне проговорил Заварзин. — Храбрых дураков много. Они

потому храбры, что в смерть не верят. Думают, что смерть только в кино да у соседей бывает. А Столетов знал, на что я способен... И все-таки пошел на Заварзина... — Он усмехнулся. — Столетов после нашего разговора каждый раз ставил трактор на дыбки...

Дождь затихал понемножечку. Вот вспыхнула последняя фиолетовая молния, прошелся мелкими шажками по железной крыше дома умирающий гром, дождь выбирал остатки из черных туч, а над Обью прояснился синий кусок чистого неба.

— Все это очень хорошо, Заварзин, — деловито сказал Прохоров. — Все это очень хорошо, если вы не играете в искренность... Вы и о тракторе упомянули...

Прохоров помолчал.

— Еще вопрос... — сказал он. — Вы показывали следователю Сорокину, что дрались со Столетовым на берегу озера Круглого, а мне известно, что драки на озере не было. Отчего же так, а, Заварзин? Вам надо доказать, что рубаху на Столетове вы порвали во время драки на озере, а вовсе не на...

Глядел Прохоров при этом не на Аркадия Заварзина, а на окно и кожей лица, руками, грудью, бровями — всем, чем можно, чувствовал, что происходило с трактористом. Вот Аркадий Заварзин насмешливо усмехнулся, выдерживая длинную аналитическую паузу, не проявил ни замешательства, ни растерянности.

— Не время шутить, товарищ Прохоров! — сказал он. — Была драка на берегу озера! Как же мне было не драться со Столетовым, когда он в четвертый раз при мне поставил трактор на дыбки!.. Дешевая работа, товарищ Прохоров!

Нет, не ошиблись в Заварзине полковник Борисов и майор Лютиков! Разбирался в людях пижон Борисов с оперным баритоном и лакированными ногтями, знал толк в жизни тишайший майор Лютиков! Сложись по-другому судьба теперешнего тракториста, окончил бы Заварзин среднюю школу, институт, насиделся бы тот же капитан Прохоров в строгих приемных возле кабинета крупного организатора человеческой воли Аркадия Леонидовича Заварзина.

— Если не было драки, значит, не было драки! — охотно согласился Прохоров. — Бог с ней, с дракой!.. — Он опять увел взгляд к окну. — Я вот еще о чем думаю... Мне мерещится, что вы ехали в поселок на одной тормозной площадке со Столетовым. Ведь не ошибаюсь же я, а, Заварзин?

Вот теперь можно было уловить чуть приметную растерянность в центре комнаты. На щеки, глаза, уши, волосы, грудь, плечи Прохорова словно подуло тревогой, гладко прикоснулось к коже секундное замешательство тракториста. Но уже в следующее мгновение Заварзин раскатисто засмеялся.

— На пушку берете, товарищ Прохоров! — обидчиво сказал он. — Другим я поездом ехал...

Неожиданно для Прохорова он на этом не остановился, хотя логика поведения диктовала необходимость сделать внушительную паузу.

— Кой-какому народишку и это известно! — с великодушной улыбкой сказал Заварзин. — Если капитан Прохор глядит в сторону, если Прохор расстегивает и застегивает верхнюю пуговицу на рубашке — жди покупки! — Он даже хихикнул. — Я три дня назад к дружку в район смотал, о ваших привычках его расспросил. Я чистый, на мне вины нет, но мало ли куда повернет ваша братия... А мне жить охота на воле, товарищ Прохоров! Я не для того женился, сына заимел, чтобы опять в лагеря уйти...

Ах ты, протобестия! Прохоров побарабанил пальцами по столешнице, но не улыбнулся.

— Хотел бы я знать фамилию дружка! — Озабоченно сказал он. — Не Буян ли, а, Заварзин? А может, Калоша?

— Пушкин! — смачно ответил Заварзин. — Александр Сергеевич!

Прохоров помигал на Заварзина, почесал переносицу и опять побарабанил пальцами по столешнице.

— Ну ладно, Заварзин! — решительно сказал он. — Вижу, вижу, что вам палец в рот положить нельзя. Ох, нельзя! Ни указательный палец в рот положить нельзя, ни средний, ни мизинец. Я уж не говорю о большом пальце... Именно большой палец вам в рот класть всего опаснее... Ах, ах!.. Дождишко вот кончился! Того и гляди луна вылезет на подобающее ей положение, гитара за окном затренькает. Живи не хочу!

Он потирал руку об руку, будучи внутренне напряженным, внешне веселился во всю ивановскую:

— А Женька-то Столетов! Женька-то наш! Так ведь и сказал: «Заварзин тоже пасется!» Это значит, еще один человек пасется... Ну вот, вы строите кислую физиономию, а ведь это так и есть, голубчик вы мой!.. Три человека пасутся — вы, Петр Петрович Гасилов, его дочь-раскрасавица... Ах беда! Он ничего не понимает! Кто пасется? Почему пасется? Поди, думает: «Что я — корова?» Ах, ах! Корова пасется, овца пасется, ло-ошадь пасется. А при чем тут я, Аркадий Заварза?

Прохоров вдруг остановился, озабоченно почесал затылок:

— Думаете, легко мне с вами разговаривать? Ого как нелегко. Так нелегко, что и сил нет спросить вас, когда вы узнали о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова.

Ага! Ага, голубчик! По лицу Заварзина прокатилась серая тень, угол рта дернулся, а на шее запульсировала быстрее обычного синяя вена — из тех, которые в первую очередь реагируют на волнение.

— Когда узнал? — выгадывая время, торопливо переспросил Заварзин. — То ли в конце мая, то ли в июне... Да не помню я этого...

«В конце мая или в начале июня...» Вот уж такого примитива капитан Прохоров от Аркадия Заварзина не ожидал! Ах, ах! Неужели было трудно, имея в распоряжении целых две секунды, сблизить события до большего правдоподобия или — на худой конец! — удивленно выпучить раскрасивые глаза: «Как? Гасилова хотела выйти замуж за Петухова?»

— Уж очень я притомился, — грустно пожаловался Прохоров. — До такой я степени, знаете ли, утомился, что зубы чистить лень. Ей-богу! Встану утром, подойду к умывальнику и стою, стою... Чистить, думаю, зубы или не чистить? Ну, думаю, почищу... Возьму щетку и опять стою, стою...

Да, теперь можно было определиться в пространстве и времени... Прохоров посмотрел на часы — нужное, заранее запланированное время, покачал носком — хорошая, блестящая туфля; застегнул верхнюю пуговицу на рубашке — пришел момент для застегивания. На дворе тоже наблюдался порядок: дождь перестал, молнии если и вспыхивали, то уже как зарницы, с крыши если и текло, то тихонечко, мирно. И крупный пот на лбу у Аркадия Заварзина был правильным, нужным, запланированным.

— Вот, значит возьму щетку и стою, стою...

Капитан Прохоров театрально-расслабленно откинулся на спинку стула, весь как бы

развязался, и выражение лица у него было такое, словно хотел сказать: «Время позднее, дождик кончился, а ты, Заварзин, фрукт! В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Стою, стою со щеткой в руках, а сам думаю: «Почему это Людмила Гасилова не захотела выходить замуж за Столетова?» Нет, серьезно! Парень образованный, культурный, красивый — почему не выйти за него? Дружили с восьмого класса, писали друг другу, а тут такое вот дело... Как вы думаете, Заварзин, почему Гасилова расхотела быть женой Столетова?

Заварзин долго не размышлял.

— Гасилов не дурак, чтобы отдать дочь Столетову, — ухмыляясь, ответил он. — Столетов с его характером всю жизнь мотал бы сопли на кулак... Он бессребреничком был, Столетов ваш! А Гасиловой цигейковой шубы мало — ей каракулеву подавай...

Вот что говорил Аркадий Заварзин — человек, не выдающий друзей. Не понимал, наивный мужик, не понимал, писанный красавец, что с головой закладывает Петра Петровича!

— Каракулевы шубы теперь не в моде, — оживленно заявил Прохоров. — Сейчас поволосатей надо, попышнее... Можно и каракулеву, но длинную, до пят... Однако такие в Сосновке еще не носят, и не скоро будут носить, дорогой Заварзин... Что главное в дохе? Главное в дохе — эффект! Греть ей вовсе не обязательно. Как дамы обращаются с дохой? Сто метров до автомобиля, сто метров от автомобиля... Нет, серьезно! Зато какой эффект!.. Серьезно...

Безмятежный Прохоров в третий раз побарабанил пальцами по столешнице, улыбнувшись втихомолку собственным мыслям, внезапно деловитым, «инженерно-производственным» голосом спросил:

— Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову рассказывали о производственных преступлениях гражданина Гасилова? — Он сам себе согласно кивнул. — В исправительно-трудовых лагерях, работая на лесозаготовках, вы лесное дело изучили до тонкостей... Вас мастером назначь — не ошибешься, а Женька Столетов, как вы выражаетесь, в лесозаготовках — ни в зуб ногой... Вот и отвечайте, Аркадий Леонидович, с каких пирожков вы вооружили Столетова убийственными фактами против обожаемого вами Петра свет Петровича? А?

Он просто-напросто растерялся этот смертельно страшный для Никитушки Суворова бывший уголовник-рецидивист, и капитан Прохоров от удовольствия начал довольно явственно и, конечно, фальшиво насвистывать: «Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда...»

— Ну те-с, отвечайте, Аркадий Леонидович!.. Вы покраснели? Исключительно выдающийся, небывалый, самоновейший факт из биографии Аркани Заварзы, как вы сами себя именуете... — Прохоров сделал паузу, иным тоном продолжал: — Ложный стыд вас заставил покраснеть, Аркадий Леонидович. Вам мерещится, что вы продали Гасилова, а на самом деле помогли мне и себе...

Прохоров дружелюбно посмотрел на Заварзина.

— У нас с вами, Аркадий Леонидович, одна задача, — серьезно сказал он. — Мы должны и обязаны доказать, что вы не сталкивали с подножки платформы Столетова... Поймите, это надо до-ка-зять! Показаниями свидетелей, фактами, цифрами, арифметическими расчетами.

Прохоров вдруг поднялся.

— Гражданин Заварзин, — резким голосом произнес капитан. — После се-го-дня-шне-го

допроса я решил пока не просить прокурорской санкции о взятии с вас подписки о невыезде... Продолжайте жить и трудиться нормально, гражданин Заварзин... До свидания! Спокойного вам отдыха!

6

На первый взгляд ничего нового в большой и пустынной комнате слепого завуча Викентия Алексеевича Радина не изменилось, но капитан Прохоров — кто знает, как и почему — ощутил непривычное, незнакомое, хотя все оставалось прежним: стояли высокие разноцветные стены, лежали на круглом обеденном столе разноцветные салфетки, освещала все громадная электролампочка без абажура; слепой учитель сидел на привычном месте, Прохоров — напротив; за окнами похаживала подошвами людей ночь, лаяли знакомые уже собачьи голоса, временами тонко ржал накрепко запертый в конюшне жеребец Рогдай. Одним словом, все было прежним, знакомым, уже отчасти обжитым, но все-таки в доме Радина произошла какая-то разительная, важная и очень нужная Прохорову перемена.

Прохоров и Викентий Алексеевич уже обменялись несколькими незначительными фразами, потрепались, как говорится, о том, о сем без цели и смысла, и только, пожалуй, после этого капитан уголовного розыска понял, что переменялось в доме слепого завуча... Жена Радина — вот что было нового в большой и оригинальной комнате, так как на этот раз Лидия Анисимовна не смотрела на Прохорова враждебными глазами, плечи у нее не зауживались от ненависти, лицо было спокойно, еду она принесла и поставила на стол нормально — не швыряющим движением — и, мало того, осталась в комнате: присела на третью свободную табуретку, закурила сигарету «БТ», принялась внимательно слушать разговор мужа и милицейского капитана, и только теперь Прохоров подробно разглядел ее лицо — с фанатично выпуклым подбородком, холодноватыми глазами, таким низким лбом, что он казался закрытым челкой, хотя Лидия Анисимовна волосы собирала пучком на затылке. Была и характерная черта на ее миловидном лице — звездчатый шрам на правой щеке. Пуля, войдя в открытый рот, видимо, прошла насквозь щеку.

Стараясь быть деликатным и осторожным, Прохоров снова напомнил Радину о том, что совершенно необходимо провести следственный эксперимент для опознания Аркадия Заварзина, на что Викентий Алексеевич ответил согласным кивком, потом инспектор уголовного розыска — тоже осторожно и деликатно — коснулся вопроса о репродукциях негров, которыми Евгений Столетов заклеил всю кабину «Степаниды», и, конечно, спросил, чем можно объяснить такую особенную любовь...

Прежде чем ответить на этот вопрос, Викентий Алексеевич поднялся, уверенно, как зрячий, сходил в спальню и принес стопку репродукций, изображающих стариков негров.

— Бичер Стоу, — коротко объяснил он. — На него огромное впечатление произвела «Хижина дяди Тома» — он перечитывал ее бесконечно часто, и каждый раз втихомолку плакал... — Радин энергично встряхнул крупной головой. — Женя говорил, что портреты стариков негров в кабине трактора мешают ему быть восторженно-счастливым. Поверьте, Александр Матвеевич, мой молодой друг страдал, если был беспричинно счастлив. Он говорил: «Нельзя быть счастливым, если на земле...»

Радин сухо поджал губы.

— Надеюсь, вы уже понимаете, Александр Матвеевич, что я любил, уважал и высоко ценил Евгения Столетова... Мало того, я порой учился у него, если хотите, подражал ему... — Он просительно обратил лицо в сторону жены. — Лида, оставайся уравновешенной!

Лидия Анисимовна едва приметно улыбнулась, подойдя к мужу, притронулась тонкими пальцами к его щеке, обращенной в сторону розовой стены.

— Я спокойна, Викентий! — мягко сказала она и повернулась к Прохорову. — Мало того, мне начинает нравиться наш городской гость... Не примите это за комплимент, Александр Матвеевич, но вы чуткий человек. Вы, пожалуй, первый, кто не расспрашивал мужа и меня о наших фронтовых ранениях... Спасибо!

Прохоров поклонился.

— И вам спасибо, Лидия Анисимовна. — И опять к Радину: — Однако продолжим наш разговор, Викентий Алексеевич. Видимо, только вы способны откровенно и объективно объяснить, что происходило на лесосеке двадцать второго мая, то есть за несколько часов до гибели Евгения. Понимаете, все, к кому я ни обращаюсь с этим вопросом, что-то скрывают... Что особенное произошло двадцать второго в течение первой смены?

Радин думал недолго. Поглаживая пальцами зеленую салфетку, он задумчиво сказал:

— Примерно за полгода до смерти у нас с Женей произошел довольно крупный и, если можно немного преувеличить, философский разговор... Да, да, хотя разговор начался с философских выкладок. Женя пришел взъерошенный, нервный, не способный сидеть на одном месте, бледный от волнения. Это было, если я не ошибаюсь, во время трескучих декабрьских морозов... — Он по-своему, по-радински улыбнулся: — Женя не пришел к нам, не явился, не возник неожиданно в дверях, а ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики. ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...Женька Столетов действительно ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики. На нем был короткий черный полушубок, воротник заиндевел, щеки алели от мороза, замерзшие валенки стучали по полу так, будто были металлическими. Он сбросил их у порога, оставшись в одних шерстяных носках, прошел в комнату, сел на свое обычное место и только после этого поздоровался:

— Добрый вечер, комиссар, добрый вечер, Лидия Анисимовна! Мороз, доложу я вам, оглашенный... Это, во-первых, а во-вторых, Викентий Алексеевич, позвольте доложить: я становлюсь круглым дураком. Можете поздравить вашего ученика, Викентий Алексеевич! Мне не до шуток, комиссар, я действительно дурак, так как отвык самостоятельно мыслить и принимать решения... Не понимаете? Сейчас все объясню, вот только немного отогреюсь...

На самом деле похожий фигурой и коротким тупым носом на молодого Петра Первого, бывший ученик Викентия Алексеевича подошел к изразцовой печке, прижался к ней спиной, стал тереть руку об руку, ежась и вздрагивая от холода. Наверное, перед тем как войти в дом Викентия Алексеевича, он не меньше часу вымеривал гусиным шагом улицу, напряженно раздумывая, размахивая на ходу длинными руками, спорил и соглашался сам с собой, а когда ничего сам решить и придумать не смог, пошел к бывшему учителю — так случалось часто.

Через минуту-другую Женька Столетов отклеился от горячей печки, сев на прежнее место, начал насмешливо улыбаться и раскачиваться на стуле, чего Лидия Анисимовна терпеть не могла и что означало, что Женька на самом деле считает себя идиотом и, наверное, имеет для этого основания.

— Буду философствовать напропалую, — быстро, словно могли перебить, сказал он. — Забью вам мозги, измучу, измотаю, а ответа добьюсь... Ей-богу, комиссар, меня надо вытаскивать из ямы, в которую я угодил по причине собственного...

— Что случилось, Женя? — спросил Викентий Алексеевич. — У тебя на самом деле такой

вид, точно ты бредишь наяву.

— Точненко! — бурно обрадовался Женька. — У меня на самом деле вид такого человека, который говорит, думает, поступает, а сам не понимает, что говорит, о чем думает и как поступает... Перед вами РОБОТ! Металлический, на электронных и транзисторных лампах, на сопротивлениях. Робот, носящий кличку Евгений Столетов... Какую из кнопок изволите нажать? Не прикажете ли продолжать философствовать?

— Приказываю.

— Меня губит информация! — неожиданно ляпнул Женька. — В меня столько натолкали разнообразнейших знаний, сведений и фактов, что я уже не могу самостоятельно мыслить... Вы вот улыбаетесь, Викентий Алексеевич, а сегодня, думая о мастере Гасилове, я размышлял о ренте, рантье и других вещах, не имеющих никакого отношения к мастеру. А о Людмиле Гасиловой, можете себе представить, я размышлял как о особи, которая должна в ближайшем будущем испытать воздействие выводов работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»... Отмирание семьи, и так далее и тому подобное...

Женька вскочил, забегал по комнате — длинный, худой.

— Согласитесь, Викентий Алексеевич, что переизбыток информации отучает человека самостоятельно мыслить, и он начинает оперировать заранее готовыми представлениями и выводами... Я, например, Петра Петровича Гасилова разложил по знакомым полочкам, а ведь он много сложнее, чем мне, обладающему обширной, но банальной информацией, представляется. Где полочка, на которую можно положить странную, непреодолимую фанатическую любовь Гасилова к лошадям?

Женьке не стоялось на месте, он опять забегал из угла в угол, продолжая потирать руку об руку.

— Куда ни сунь нос — везде информация! — злился он. — Заклеенные афишами заборы, газеты, телевизоры, радио, лекции и доклады, разговоры друзей, кино, десятки книг, спор мальчишек о преимуществах Ту-104 перед Илом-13, родной дед, прочитывающий все, что может принести в двухпудовой сумке почтальонша, мать, нафаршированная до отказа новейшими медицинскими знаниями, отчим, знающий все на свете, парикмахер, заводящий разговор о положении на Ближнем Востоке... И наконец, я сам, имеющий привычку прочитывать от первой до последней строчки любую бумажку или книгу, коли попали в руки... Скажите, Викентий Алексеевич, разве я способен после этого мыслить самостоятельно? — Он остановился в центре комнаты, лихим хулиганским движением сунул руки в карманы. — Слушайте, Викентий Алексеевич, за последние полгода, как я подсчитал, мне в голову не пришла ни одна самостоятельная мысль...

Женька наконец уселся на место, спрятав неотогревшиеся руки под мышки, заговорил нормальным голосом:

— Привожу в систему свои дикарские выкрики. — Женька с алчным видом начал загибать пальцы. — Во-первых, так называемая массовая культура отбивает охоту, привычку и способность самостоятельно мыслить, во-вторых, нас колоссально неправильно учат в школе, введя некое пародийное политехническое образование... Чему меня научили в школе? Управлять трактором. Эка премудрость! Рычаг сюда, рычаг туда, вот это — заводная рукоятка!

— Спокойнее, спокойнее, Женя, ты же не на трибуне, — шутливо сказала Лидия Анисимовна, внося поднос с крепким чаем, баранками и мелко нарезанной копченой рыбой. — Ты так вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня.

Женька расвирепел:

— И пусть слышит! Пусть все знают, что нас в жизнь пустили салажатами... Как пользоваться логарифмической линейкой, я знаю, цикл Карно помню, а вот как соотнести объем хлыста с нормой выработки на списочного рабочего — для меня темный лес.

— Чего же ты хочешь, Женя? — расставляя посуду, спросила Лидия Анисимовна. — Превратить школу в лесотехнический институт?

Женька отодвинул от себя блюдце с таким видом, точно хотел сказать: «Не буду пить ваш чай, если вы порете чепуху!» Однако через две-три секунды, устыдившись укоризненного взгляда Лидии Анисимовны, он вернул блюдечко в прежнее положение.

— Не надо устраивать из школы лесотехнический институт, — мрачно сказал Женька. — Но в век научно-технической революции нас должны учить хотя бы зачаткам экономических знаний. Я сальдо от бульдо отличить не могу, а мне бы надо уметь пользоваться простейшей электронно-счетной машиной. Вот ведь какая петрушка! Понимаете? Аркадий Заварзин и восьми классов не кончил, треть жизни провел в тюрьме, а лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. Это ли не парадокс? Это ли не безобразия, черт возьми!

— Евгений, перестаньте чертыхаться! — наконец рассердилась Лидия Анисимовна. — Извольте пить чай — остынет.

— Прошу простить меня, Лидия Анисимовна, — забормотал Женька, — но уж очень важный вопрос... Ой, какой вкусный чай! Вот спасибо-то, Лидия Анисимовна.

В несколько крупных глотков выпив стакан очень горячего чая, Женька снова вскочил с места, пробежал из угла в угол комнаты, вернувшись к столу, обеими руками оперся на разноцветные салфетки.

— Аркадий Заварзин в десять раз лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок! — опять нервно заговорил он. — А это вам не фунт изюма, так как Заварзин заодно с Гасиловым, а я... Я ни черта пока не могу понять в махинациях мастера, хотя превосходно знаю, что он тунеядец, а может быть, и жулик...

Викентий Алексеевич сидел неподвижно и думал о том, что жизнь иногда выкидывает странные штуки. Только вчера жена читала ему газетную статью, в которой автор серьезно и с тревогой рассматривал полезные и вредные стороны массовой культуры, потока информации, а вот сегодня к нему домой врывается Женька Столетов и говорит о том же самом.

— Ты все преувеличиваешь, Евгений, — неторопливо сказал Викентий Алексеевич. — У массовой культуры есть, конечно, свои серьезные недостатки, но не меньше и достоинств. Тебе только кажется, что ты отвык самостоятельно мыслить. Дело в том, Женя, что сейчас ты мыслишь так широко и глубоко, что теряешь ощущение самостоятельности мышления... А что касается трактора и школы...

Викентий Алексеевич вздохнул, положил обе руки на стол. Он просидел в неподвижности довольно долго, потом сказал:

— Насчет школы и трактора ты прав, Женя... Мы выпускаем из стен школы людей совершенно беспомощных в практическом отношении. Они действительно умеют пользоваться логарифмической линейкой, но многие из них не знают, почему килограмм хлеба... А ну быстренько отвечай, Евгений, сколько стоит килограмм орловского хлеба?

Женька громко и радостно захохотал.

— Не знаю! — закричал он на весь дом. — Вот уже лет десять, как мама меня не посылает за хлебом... Не знаю! — повторил он восторженно и замахал руками. — Вы попали в точку, Викентий Алексеевич, я не знаю, почему килограмм орловского хлеба!

Прохохотавшись, Женька дисциплинированно выложил обе руки на колени. Он знал, что это движение Викентий Алексеевич уловит, и действительно слепой завуч понимающе улыбнулся:

— Хочешь исповедоваться в грехах, Евгений?

— Хочу, Викентий Алексеевич... Три дня назад вы меня спросили: «Что происходит между комсомольцами и мастером Гасиловым?» Тогда я вам ничего не ответил...

Тихий отдаленный гром послышался за окнами. Это шел на север рейсовый реактивный самолет; гром приблизился, некоторое время казался похожим на рокот обыкновенного мотора, затем опять превратился в майский ранний гром. Представлялось, как на фоне морозного, чистого и яркозвездного неба вспыхивают предупредительные огни самолета. Когда шум самолета совсем утих, Женька смущенно, с извинительной интонацией произнес:

— Я и сегодня вам ничего не расскажу о конфликте с Гасиловым... Дело в том, Викентий Алексеевич, что декабрьские морозы, кажется, помогли нам понять Гасилова. Думаю: попался!

Редко-редко лаяли собаки, печка потрескивала горячими кирпичами.

— Конфликт с мастером Гасиловым так серьезен и глубок, — еще тише прежнего произнес Женька, — что мы чувствуем такую же ответственность, какую, наверное, чувствовали все комсомольские поколения в трудные минуты жизни... А тут еще... Понимаете, комиссар, нехорошо получается у меня с парторгом... Смотрите, вы для меня — партия.

Женька на секунду зажмурился, потом, встряхнув головой, попросил:

— Лидия Анисимовна, нельзя ли еще чашку чаю? Ей-богу, еще не согрелся.

Прохоров расцепил руки, сложенные на груди, задумчиво наклонив голову, прошелся по комнате. За открытыми окнами мерцала разноцветными бакенами Обь, слышался знакомый стон гитары в ельнике, хохотали под старыми осокорями девчата. Была уже настоящая ночь, но пролады она не принесла, под нейлоновой рубахой задыхалось тело, и Прохоров подумал, что давно бы надо купить другие рубахи, но все никак не соберется...

— Женька так ничего и не рассказал о конфликте с мастером Гасиловым, — после грустной паузы сказал Викентий Алексеевич. — Он был сложным... Иногда казалось, что Евгению под сорок, порой он выглядел шестиклассником...

Прохоров вернулся на место.

— Вы хотите сказать, Викентий Алексеевич, — спросил он, — что история с Гасиловым вам кажется детской игрой...

— Нет и нет! — перебил Викентий Алексеевич. — Игрой в этой истории было только то, что ребята скрывали от всех и вся формы и методы борьбы с Гасиловым, хотя права на это не имели... Да и я, коммунист, виноват. Надо было развенчать эту игру, поговорить с Голубиным, помочь им со Столетовым понять друг друга. Еще это несчастье у Голубиня...

Капитану Прохорову было хорошо в этом доме, где разговаривали и думали точно на таком

же языке, на котором разговаривал и думал сам Прохоров. Он отошел от окна, сел напротив Викентия Алексеевича и так посмотрел на его провалившиеся глазницы, словно ждал вопроса.

— Когда вы собираетесь проводить следственный эксперимент? — спросил Викентий Алексеевич.

— Дня через два-три, — ответил Прохоров, обрадовавшись тому, что в тоне вопроса не было ничего, кроме желания узнать о времени проведения эксперимента. — Дня через два-три, Викентий Алексеевич...

Наступила пауза, после которой полагается прощаться с хозяевами, и Прохоров решительно поднялся:

— Спасибо, Лидия Анисимовна, признателен за вашу откровенность, Викентий Алексеевич, мне пора бежать по своим милицейским делам... До свидания!

Радин тоже поднялся.

— Минуточку, Александр Матвеевич, — попросил он. — Мне хочется, чтобы вы знали о той фразе, которую преподнес мне Женька уже в мае. — Он задумался, вспоминая. — Евгений сказал: «Можете сколько угодно иронизировать, но я не побоюсь параллели с молодогвардейцами Краснодона... В смысле мужества, конечно... Вот, комиссар, какое серьезное дело — борьба с мастером Петром Петровичем!»

7

Прохоров сидел на раскладушке, шестеро парней устроились в кабинете свободно, каждый по своему вкусу; в комнате горела настольная лампа под зеленым абажуром, за окном мерцала река, разделенная лунной полосой...

На тяжелом деревянном табурете сидел наверняка Борька Маслов — по морщинам на лбу видно, что прирожденный математик и отличный шахматист; тот, что переминается с ноги на ногу, этакий медведина — Мишка Кочнев; те двое — это Леонид Гукасов и Марк Лобанов — кто из них Леонид, кто Марк — понять пока никак нельзя: оба смущенно улыбаются, оба розовощеки, как новогодние поросята.

А вот на подоконнике устроился Геннадий Попов — личность явно незаурядная; хорошей лепки нос, твердые губы в трещинах, глаза премурые, собачьи, как у мастера Гасилова, в загнутой вверх левой брови столько воли и характера, что ого-го-го! Кремень, а не вчерашний десятиклассник.

Ну, а рядом с ним посиживает Андрюшка Лузгин — громадный, добрый, растерянный, считающий себя убийцей Столетова...

Вот она, основная ударная сила сосновского комсомола, друзья и приятели Женьки Столетова, целых шесть голосов за то, чтобы снять с работы мастера Гасилова.

Возле притолоки стоял участковый инспектор Пилипенко.

— Я понимаю, братцы, — задумчиво говорил Прохоров, — что трудно восстановить сумбурную речь Женьки на комсомольском собрании, но я-то, милицейская душонка, должен знать, о чем он говорил...

Прохоров был веселый, свежий, хотя стрелки часов уже соединились на двенадцати.

— Теперь модны социологические анализы, так в чем же дело? — продолжал Прохоров. — Кто нам помешает сделать вид, что мы занимаемся социологией? Я вас, братцы, собственно, и собрал для того, чтобы выяснить, отчего вы все голосовали против Гасилова... Другой цели у меня нет... Давайте высказывайтесь...

Врал Прохоров только в той фразе, которая сама собой возникла в разрыве двух правдивых фраз, то есть в словах: «Другой цели у меня нет!» Цель у него была, да еще какая — ему хотелось послушать ребят, поглядеть на них, расположив к себе, настроив на искренность и полную утрату бдительности, огорошить самым главным вопросом. Таким образом, капитан Прохоров врал в главном — ему вовсе не требовалось сейчас знать, о чем говорил Женька на собрании.

— Начнем с Попова! — сказал Прохоров. — Почему вы голосовали против Гасилова?

— Почему?

Попов думал недолго.

— Гасилов — человек, живущий синекурой! — ответил он.

Вот какими словами разбрасывался крановщик из Сосновки.

Это он, Генка Попов, во время первой ссоры Столетова и Заварзина держал на коленях американский роман «Вся королевская рать», второй год готовился поступать на физический факультет знаменитого Томского политехнического института.

Вообще, заинтересовавшись образовательным цензом рабочих Сосновского лесопункта, Прохоров обнаружил, что из двадцати шести трактористов восемнадцать были со средним образованием, из девяти крановщиков — шесть, а среди машинистов узкоколейных паровозов был машинист с дипломом железнодорожного техникума.

Начальник лесопункта Сухов закончил Лесотехническую академию.

— Я голосовал против Гасилова потому, — сказал Борис Маслов, — что Петр Петрович обскакал моего любимого Бендера. Остап Бендер перед ним — мальчишка, балаганный шут! — Он общительно улыбнулся. — Вы, наверное, не знаете, Александр Матвеевич, что Женькина речь была коллективной...

— Правильно! — вмешался Андрюшка Лузгин. — Я ему подкинул фразу о гелиоцентрической системе...

— Точно!

В речи Столетова была и синекура, и гелиоцентрическая система, и налет мальчишеского увлечения романами Ильфа и Петрова.

Правда, в областном центре, как недавно подметил Прохоров, молодые интеллектуалы понемножку заменяли Ильфа и Петрова злыми цитатами из булгаковского романа «Мастер и Маргарита», тоскуя по новенькому, считали уже, что оперировать Ильфом и Петровым старомодно.

Но это ведь в областном городе, не в Сосновке же, где роман Булгакова имелся в единственном библиотечном экземпляре.

Прохоров откровенно любовался сидящей перед ним тройкой.

Какие лица! Умные, уверенные.

Каждый знает, что в конце концов поступит в институт, получит диплом с золотым гербом, будет жить там, где Сосновку называют «на родине», где о деревне вспоминают так: «Надо заглянуть на Обишку, посидеть недельку в Сосновке, а то поздно будет: придется на симпозиум в Бельгию ехать...»

— Продолжим, однако, — сказал Прохоров. — Поехали...

Он покосился на отдельного, грациозного по-медвежьи Михаила Кочнева, недавно демобилизованного из армии и привезшего в деревню жену-казашку. Она носила на спине длинные черные косы, похожие на витые плети, разгуливала по Сосновке в шароварах, но по-русски говорила без акцента.

— Я привык вкалывать на совесть, — сказал Михаил Кочнев. — Мне на пеньке сидеть несподручно — я классный специалист!

Прохоров покивал, продолжая разглядывать Кочнева, который, как и Гукасов с Лобановым, даже внешне был переходной ступенью между трактористом Никитой Суворовым и столетовской компанией. Они уже ушли от сапог и пиджаков из полухлопчатой-полушерстяной материи, но еще не пришли к элегантным черным костюмам. Переходность чувствовалась и в лицах — нет еще той интеллигентности, что у тройки, но уже давно пройден сморщенный лобик Никиты Суворова, уже давало себя знать второе поколение рабочих Кочневых. И ожидалось приятное — от полуинтеллигентного Кочнева и казашки со средним медицинским образованием родится узкоглазый блондин с длинными ногами или черноволосая девчонка с голубыми глазищами, кончит Сосновскую среднюю школу, а к девятнадцати-двадцати годам не станет уже цитировать ни Булгакова, ни Ильфа и Петрова — найдутся другие источники молодого скепсиса.

— Что скажут на окошке? — спросил Прохоров. — Кто у вас говорящая единица? Леонид или Марк?

Друзья заулыбались.

— Я разговариваю, — сказал Леонид Гукасов. — Мы проголосовали против Гасилова потому, что шибко уважали Столетова...

И по складу речи парни были переходной ступенью между Столетовым и столетовской тройкой — строились уже придаточные предложения, только слово «шибко» пробилось из нарымского говора.

— А вот хотел бы я знать, почему вы свою борьбу с Гасиловым облекли в такую тайну? Почему не обратились за помощью в партийную организацию?

Ребята переглянулись.

— Понимаете, Александр Матвеевич, — замедленно начал Борис Маслов и повторил слова Гукасова: — Мы шибко уважали Столетова. А у него не получалось с Голубиным. Нам всем казалось, что не верит парторг в Столетова. Не успел Голубинь в нем разобраться. Вот мы и решили доказать, на что мы, комсомольцы, способны. Разоблачим Гасилова, а уж потом и перед партийной организацией отчитаемся.

— Спасибо, братцы, — сказал Прохоров. — А ночь-то, ночь! Красавица!

Стрелки часов двигал второй час ночи, луна висела над старым осокорем, медленно переворачивался на ручку ковш Большой Медведицы, квартирующей рядом с Полярной звездой, покровительницей Сибири. Обь вся — от берега до берега — была залита

лунностью, казалась литой, стоящей на месте, величавым покоем веяло от нее. Хотелось всю ночь напролет сидеть у окна, не двигаться, ни о чем не думать.

— Успеете выспаться, не сорокалетние! — ворчливо сказал Прохоров. — А вот расскажите-ка мне, наконец, эту кошмарную историю с лектором Реутовым. Отчего переполошились Сосновка и райцентр Криволюбово?

Парни улыбались, переглядывались, устраивались получше на столе, подоконнике, на стульях, вспоминая прошлую историю, а участковый Пилипенко надменно выпячивал подбородок.

— Если не трудно, расскажите вы, Борис!

— Хорошо! — ответил Маслов и сделал уморительно-важное лицо. **ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ**

...лектор, товарищ Реутов, всегда приезжал в Сосновку на сером мерине с клеймом на боку, состоящим из букв «о» и «п», что означало марку общества по распространению политических и научных знаний, хотя товарищ Реутов никаких политических знаний не распространял.

Реутов сам управлял лошадью, гордился этим перед теми, кто ездил с кучерами, получающими зарплату и командировочные.

В Сосновку товарищ Реутов в этот раз приехал в начале июня, когда наступали первые по-настоящему летние дни.

Свою деятельность он начал еще возле околицы, останавливая мерина и приклеивая на видных местах типографским способом отпечатанные афиши: «В клубе „Лесозаготовитель“ состоится лекция на тему „Мир и мироздание“, лектор тов. Реутов. Начало в 7 часов. Вход свободный. После лекции кинофильм „Зеленая карета“».

Товарищ Реутов носил серую шляпу, но сапоги и вельветовую куртку, лет ему было около сорока пяти, под носом у него бабочкой сидели модные усы, цвет лица был превосходный.

Фигуру товарищ Реутов имел коренастую, жилистую, глаза — бойкие.

Член общества приехал в Сосновку, разумеется, в субботу, прибыл к зданию клуба «Лесозаготовитель» именно в тот момент, когда, обрадовавшись первому теплему дню, вся деревенская молодежь толпилась вокруг волейбольной площадки, где метался мяч, каталась на велосипедах и мотоциклах по просохшей дороге; гуляли по деревенскому тротуару шушукующиеся девчата, мальчишки лежали на молодой траве.

На отдельной скамейке спиной к клубу сидели в черных костюмах и с тросточками в руках четверо друзей под предводительством Женьки Столетова. Парни лениво подняли голову на гром приближающейся двуколки, посмотрели на товарища Реутова довольно сухо и скучно, но помаленьку на лице Женьки Столетова прорезался некий интерес к тому, что совершал возле доски для объявлений товарищ Реутов.

— Гляди, народ! — медленно сказал Женька. — Лектор товарищ Реутов приехал. — Интересно, я бы сказал, любопытно...

Дело в том, что лектор Реутов славился в Сосновке очень сомнительной репутацией. Был он на редкость самовлюблен, многословен, но ни ума, ни знаний почему-то не обнаруживал. Зато замечен был в делах неблагоприятных. У ребят давно чесались руки сыграть с товарищем Реутовым в не очень вежливую игру.

Женька лениво поднялся со скамейки, иезуитски медленными шагами приблизившись к товарищу Реутову, замер в позе благоговейного ужаса перед типографской красно-синей афишей. Потом Женька вежливо раскланялся с лектором.

— Во, красотища! — одобрительно сказал Женька. — Мы, товарищ Реутов, собираемся поступать в технические вузы, так что нам полезно послушать про Землю, Луну, Марс и разные другие планеты. Вас сам бог послал в Сосновку, дорогой товарищ из райцентра!

В ответ на это лектор благосклонно улыбнулся.

— Благодарю за внимание, товарищ! — сказал он. — Ваша фамилия, кажется, Столетов? Это вы на прошлой лекции задавали вопрос о гармонии между литературным образом и живой жизнью?

— Я! — обрадовался Женька. — Я про гармонию спрашивал. Ой какой вы внимательный да зоркий! Ребята! — по-таежному закричал он. — Подходи сюда... Торопись, увальни! — Но к товарищу Реутову обратился с уважением: — Опирайтесь на нас! Прямо говорите, товарищ Реутов, чем вам помочь!

— Надо помочь афише, товарищи! — мягко ответил Реутов, когда тройка приблизилась. — Печатное слово — это хорошо, но... личные контакты! Они сильнее, ибо действуют на эмоции. Поэтому надо сочетать силу печатного слова с эмоциональным воздействием... — Он еще раз улыбнулся. — Не смогли бы мои молодые друзья обойти деревню и устно сообщить жителям о лекции «Мир и мироздание»? Надеюсь также, что вы будете моими лучшими слушателями, зададите интересные вопросы.

— Придем, зададим! — Чрезвычайно обрадовался Женька. — А деревню мы мигом обежим. Ваша славная лошадка еще к завалинке не успеет вернуться, как мы деревню облетим.

Товарищ Реутов засмеялся.

— Вы очень наблюдательны! — сказал он Столетову. — Моя лошадь действительно имеет странность... Ну, желаю вам всяческих успехов!

И он пошел устраивать на стоянку мерина, который на самом деле имел странность: эта животина нигде, кроме как вокруг культучреждений, пастись не желала. Бывало, выпустит ее товарищ Реутов у речки или спутает на сочном луже, а она все равно припрыгает к деревенскому клубу.

— Ваши мозги подобны квашеной капусте, — заносчиво сказал Женька, как только двуколка лектора тронулась от клуба.

Он сгреб друзей за плечи, восторженно хихикая, выложил свои соображения: парни, конечно, заржали, как перестоявшиеся жеребцы, а потом все принялись уточнять и дополнять план, который в Женькиной голове созрел в смутных эскизных приближениях.

— Ура! — наконец прокричал Генка Попов.

Вместо того чтобы бежать сломя голову по деревне, объявляя лекцию «Мир и мироздание», парни лениво обогнули клуб, улеглись на свежей травке в палисаднике. Тросточки они положили себе на животы и стали глядеть в небо, которое в просвете тополей казалось темным, и, если очень прищуриться, можно было рассмотреть, словно из глубокого колодца, случайный блеск звезды — одинокой, по-дневному придуманной.

У всех четверых было хорошее, несколько философское настроение, они долго лежали молча, потом Женька сказал задумчиво:

— Вот интересно, братцы, а ведь сам Реутов, наверное, не знает, что он круглый дурак... Себе он, видимо, кажется чрезвычайно умным... Трогательно!

Товарищ Реутов пришел в клуб вовремя, когда на скамейках уже чинно сидели почти все сосновские старики и старухи, чуточку разбавленные людьми среднего возраста; зато мальчишек и девчонок было в избытке. Ребятишки сидели на полу, муравьями облепили деревянные колонны и даже располагались на краешке сцены, хотя в зале было много свободных мест.

Ровно в семь часов, прогнав со сцены мальчишек и девчонок, лектор Реутов взобрался на фанерное сооружение; он единым духом выпил стакан воды, подождав, пока заведующий клубом нальет второй, поставил стакан под левую руку, чтобы правой можно было свободно перевертывать страницы лекции.

После этого Реутов, не заглянув в бумаги, трибунно бросил в зал:

— Товарищи, человечество издавна интересуется миром, в котором живет. Интерес, товарищи, человечества к миру, в котором оно живет, имеет такую же длинную историю, как сама история, товарищи, человечества.

Это были единственные слова, которые Реутов помнил наизусть, за ними следовала точка, после чего он уткнулся навечно в печатный текст, и голос его сразу сделался тусклым.

Женька и его приятели сидели в первом ряду, среди стариков и старух, расписные тросточки из свежего тальника стояли между коленями; они опирались на них руками, подражая старикам.

На лицах четверых было написано наслаждение; они то и дело восхищенно кивали.

Парни выслушали экскурс в историю вопроса, саму историю, благожелательно отнеслись к сложному устройству мира и мироздания, были полностью на стороне Реутова, когда он начал откровенную борьбу с сегодняшними мракобесами, пытающимися достижения ракетного века связать с божественной волей.

При словах «американская ультрареакционная наука» они гневно зашикали на эту самую науку.

Когда товарищ Реутов закончил и по клубу прокатился облегченный шум надежды на скорую демонстрацию кинофильма «Зеленая карета», в двери стали ломиться люди всех возрастов.

Лектор с помощью заведующего клубом кое-как навел порядок и спросил с интересом:

— Какие будут вопросы, товарищи?

Как и было обещано, каждый из Женькиных друзей задал по одному вопросу.

Первым, как зачинщик, поднялся Женька и произнес очень громко:

— Скажите, товарищ лектор, а нельзя ли в домашних, деревенских, так сказать, условиях поставить опыт, доказывающий, что земля — шар! Очень мы интересуемся этим вопросом.

— Спасибо, товарищ! — ответил лектор Реутов. — Прошу вас, товарищ завклубом, зафиксировать вопрос, а вам, молодой человек, можно ответить так... — Он заскрипел сапогами за фанерной трибуной. — К большому сожалению, в условиях Сосновки подобный опыт произвести трудно. Для установки маятника Фуко требуется очень высокое здание с вознесенным вверх куполом... Отсутствует в деревне и море, которое позволило бы в бинокль наблюдать увеличение в размерах приближающегося корабля.

— Спасибо, товарищ Реутов!

По одному незначительному вопросу, например, можно ли надеяться на открытие астрономами восьмой и девятой планет солнечной системы, задали и трое остальных чернокостюмных молодых человека.

Потом поднялся самый старый старик из присутствующих, собрав бороду в кулак, довольно бойко поинтересовался, будет ли конец мира.

— Не будет! — решительно ответил товарищ Реутов. — Мир, как и жизнь, бесконечен.

На этом лекция «Мир и мироздание» окончилась: очень довольный вопросами и самой лекцией, товарищ Реутов с большим трудом выбрался из толпы народа, собравшегося глядеть кино «Зеленая карета», и пошагал к мерину, который, конечно, давно ощипывал мягкую траву с клубной завалинки. Реутов взял мерина за повод и двинулся по пустой улице — вся деревня была на фильме «Зеленая карета» — к одному из маленьких переулков, за тополями которого скрывалась тайная и опасно-привлекательная вечерняя жизнь члена общества по распространению. Шагая рядом с меринком, Реутов старался прятаться за него, сгибался и вообще вел себя очень хитро и ловко.

Однако лектор товарищ Реутов напрасно думал, что никто в Сосновке не знал о маленьком темном доме меж тополями, куда он непременно забредал после каждой лекции.

В домике жила разбитная бабенка Гутя Перестукова: замужем Гутя Перестукова никогда не была, хотя имела сына Витьку.

Считая свои визиты к Гуте Перестуковой тайными, Реутов глубоко ошибался, потому что знала о них вся Сосновка.

Реутов привязал мерина к двуколке, поставленной в полукилometре от дома Гути Перестуковой, и по-прежнему боязливо, поминутно оглядываясь, начал пробираться к заветному дому.

Для этого он не пошел переулком, а, миновав два огородных перелаза, обогнул зады соседних домов и опять же огородом юркнул на крыльцо Гутиного дома...

— Все в порядке! — сказал Женька ребятам. — Раньше двух часов ночи не выйдет. Борька, не высывайся, не ровен час, заметит!

Парни посмотрели добрую половину кинофильма «Зеленая карета», погуляли со своими девчонками, развели их по домам и примерно в час ночи были на условленном месте.

Товарищ Реутов вышел из дома Гути Перестуковой минут без пятнадцати два, минут десять возился с повеселевшим меринком и в начале третьего уже ехал по длинной улице Сосновки в сторону райцентра.

Пьян он был средне.

Мерин с клеймом из двух букв — «п» и «о» — шел спокойно, дорога накатанно блестела, вожжи Реутов прочно привязал к боку тележки, так как мерин хорошо знал дорогу, и был бы путь их усыпан лунными блестками до самой районной околицы, если бы не случилось странное — мерин неожиданно остановился, призывно, ласково заржал.

— Ты чего стал, холера?! — удивился Реутов.

А клейменный мерин стоял потому, что упирался мордой в плетень из свежих тальниковых веток.

— Матушки! — воскликнул пораженный лектор и от удивления три раза икнул. — Куда же мы заехали, если здесь забор?

Не в силах поднять чугунную голову, он исподлобья оглядел залитый лунностью мир и замигал огорошенно: улица шла, как полагается идти улице, прямо и ровно, по бокам стояли, как положено, дома.

Вот колодезный журавль, вот торчит за плетнем крыша пожарного депо, тянется вверх острый шпиль гасиловского флигеля.

— Дура! — сердито закричал на мерина товарищ Реутов. — На тебя полагаешься, как на самого себя, а ты куда меня завез, холера? Ты ведь не в ту сторону меня везешь, скотина!

Товарищ Реутов завернул мерина обратно.

— Вот как надо ехать, леший бы тебя забрал, безмозглую скотину! Но-но! Давай шагай!

Мерин был скотиной веселой, ему было все равно, куда везти товарища Реутова, так как общество по распространению собственной конюшни не имело, и добрый мерин поочередно живал то в райкомхозовских владениях, то в конюшне райотдела милиции, то в геологоразведке. Чаще же всего он ночевал в окрестных деревнях, потому и не знал родного места.

Добрый конь весело прошагал по улице метров двести, затем махнул хвостом и опять остановился.

— Это еще что же за фокусы, пропастина! — совсем грубо закричал товарищ Реутов. — Ты чего опять стал? Чего стал?...

На этих словах он прикусил язык — перед мордой коня снова торчал плетень из свежих ивовых прутьев. Это было так поразительно, что товарищ Реутов целых три минуты сидел немо и вяло, потом вздохнул, как вздыхал мерин, когда его расседлывали.

После всего этого Реутов решительно выбрался из двуколки, описывая зигзаги, подошел к плетню, потрогал его пальцами и шепотом спросил:

— Это почему здесь?

На дальнейшее Реутова не хватило: неведомая сила бросила его на плетень, и он прижался к нему так страстно, словно обнимался с ивовыми прутьями. Так прошло минут пять, затем та же неведомая сила отбросила Реутова от плетня к двуколке, на мягкую дерматиновую обитость.

— Опять же неправильно поехали, охламон ты этакий! — вдруг трезво сказал Реутов. — А ну, давай поворачивай назад!

Реутов сызнова развернул лошадь, поехал обратно и через двести метров, естественно, уперся в плетень. На этот раз товарищ Реутов совершенно ничего не сказал, а только крепко зажмурился и стал отчаянно вертеть головой, точно сбрасывал с затылка пчелу. Мотал он головой с полминуты, затем открыл осторожно правый глаз, посмотрел им на плетень.

— Иррациональная картина! — пробормотал Реутов себе под нос и тоненько засмеялся. — Гутя, а Гутя, я, кажется, заснул нечаянно!

В тишине ночной улицы голос далеко разнесся, тоненький смех проверещал в глухом проулке и вернулся к товарищу Реутову басовитым демоническим хохотом, в ответ на который он еще раз тоненько засмеялся и стал клониться на бок — укладывался баиньки на ласковую

дерматиную внутренность двуколки. Он, видимо, уже спал, когда из лунной полосы, что пересекала улицу, послышался гипнотизирующий, глухой по-ночному голос Женьки Столетова:

— Я же говорил, что можно доказать в домашних условиях круглость Земли!

В ответ на это товарищ Реутов сонно похлопал губами, протяжно улыбнулся, сладко зевнул.

Он уронил голову на дерматин и уснул здоровым сном коренастого, жилистого человека.

Ко всему привычный мерин еще несколько раз мотнул головой, понурился и тоже сладко уснул, прижавшись мягкими губами к свежим тальниковым прутьям плетня, пахнущим весной, заливными лугами, молодыми кобылами и ветром.

Минут через пять из глухого переулка вышли четверо друзей, подобравшись на цыпочках к двуколке, заговорили полными голосами, так как поняли, что товарища Реутова теперь с пушками не добудишься — такой это был здоровый, крепкий человек.

— Может быть, уберем плетень и пужнем мерина? — спросил друзей Женька Столетов. — Жалко мне чего-то стало Реутова...

— Слабак! — съязвил Генка Попов. — Сентиментальный слюняй! Впрочем, ставлю на голосование. Кто за Женькино предложение? Все против... Решено! Оставим товарища Реутова в лапах рока. Если мерин сам пойдет, пусть себе шагает...

Они бесшумно и ловко сняли с дороги два новых ивовых плетня, чтобы не осталось улик, сбросили их в черную обскую воду, проследив за тем, как плетни отправляются в длинный путь к Ледовитому океану, вернулись на улицу. Мерин по-прежнему безмятежно спал, Реутов храпел так, что шевелились усики-щетки, луна висела прямо над его головой, а на широком плесе Оби двигался весь в огнях пассажирский пароход, и даже без подзорной трубы можно было заметить, что из-за отдаленности судно кажется укороченным.

— Спать, братцы, скорее спать!

Ребята торопливо разошлись по домам, а утром Сосновка увидела забавную картину: стоит посередине пустой улицы двуколка, в ней мирно похрапывает товарищ Реутов, клейменный мерин спит тоже и шевелит губами, точно щиплет свежую траву.

Закончив рассказывать, Борис Маслов вынул из кармана пачку «БТ», прикурил от сигареты Геннадия Попова, пуская задумчивые клубы дыма, насмешливо сказал:

— Ну и началась история с географией! Товарищу Реутову молчать бы в тряпочку, а он, такой дурак, накатал на нас жалобы во все инстанции. Естественно, заварилась каша! Генка чуть из секретарей не полетел раньше времени. И товарищ Пилипенко нас вызывал...

— А как же! — тотчас же отозвался участковый инспектор и сделал шаг вперед, как делал всегда, когда начинал говорить. — Вот вы перегородили улицу, а если бы автомашинка специального назначения... К примеру, пожарная машина или наша, милицейская! Вдруг пожар или происшествие?

Он сделал шаг назад, снова спрятал в темноту плакатное, героическое лицо.

В кабинете было ни тихо, ни шумно, ни весело, ни печально. Сидели в нем дружные парни, глядел на них капитан уголовного розыска, стоял свечечкой молодой участковый инспектор. Было такое чувство, словно все думают об одном.

— Что происходило на лесосеке двадцать второго мая? — безнадежно спросил капитан Прохоров. — Какая необычность вернула Заварзина на эстакаду? Почему он вернулся именно двадцать второго мая? Ведь Женька каждый день ставит трактор дыбом... Чем необычен день двадцать второго мая?

Прохорову показалось, что в комнате сделалось душно, потемнело. Борис Маслов, Геннадий Попов, Андрей Лузгин одинаковыми движениями опустили головы, Гукасов и Лобанов замерли на подоконнике со сцепленными руками, поддерживая друг друга, чтобы не выпасть из окна. Тишина было глухой, смятой, как утренняя постель; над Обью холодно посверкивала большая звезда, видимо, планета, лучи кололи зрачки.

— Этого мы вам не скажем, Александр Матвеевич! — проговорил Геннадий Попов, бесшумно слезая со стола. — Мы сами поклялись довести дело до конца... Мы сами должны это сделать!

Спустились с подоконника Леонид Гукасов и Марк Лобанов, стоял уже на ногах Борис Маслов, просторно сидел на стуле Андрюшка Лузгин.

— Вы не обижайтесь на нас, Александр Матвеевич, — сказал он. — Есть такие вещи, которые мы должны сделать сами...

— Мы после смерти Женьки не собираемся больше вместе, — сказал Генка Попов. — Мы друг на друга смотреть боимся, когда оказываемся втроем... Вы нас сегодня впервые собрали... Но мы... Мы добьемся, что Гасилова снимут с работы...

Прохоров обнаружил, что сидеть на раскладушке не так уж удобно, как представлялось раньше, — во-первых, низко и затекают ноги, во-вторых, побаливает спина и, в-третьих, лица парней видны снизу, что искажало картину: гримаса неудовольствия могла быть принята за улыбку. Прохоров встал, нашел глазами свободный подоконник — тот, который выходил на огороды, и сел на него.

— Сами, сами, — недовольно пробурчал капитан уголовного розыска. — Все они хотят сделать сами...

Лузгин бросил взгляд на Маслова. Маслов угрюмо посмотрел на самого Лузгина, потом трое уставились на остальных присутствующих.

— Мы пойдем, Александр Матвеевич! — угрюмо сказал Андрей Лузгин. — Завтра рабочий день... До свидания, Александр Матвеевич!

Прохоров продолжал сидеть, упираясь затылком в наличник, видеть боковым зрением крутую излучину лунной Оби, чувствовать запах умытой дождем земли. Он так и не пошевелился, только негромко сказал: «До свидания, товарищи!» — когда парни тихо, по одному начали выходить из кабинета. Последним ушел участковый Пилипенко, его металлические сапоги по крыльцу простучали бережно.

Капитан уголовного розыска Прохоров еще минут десять сидел на раскладушке, затем поднялся, медленный, но точный в движениях, как лунатик, наискосок пересек кабинет, остановившись возле стола, наклонил гудящую от усталости и тоски голову.

Одиночество становилось теперь уже непереносимым, как зубная боль, и он болезненно сморщился, прикусил нижнюю губу.

«У меня сегодня был трудный день!» — думал он устало. Утренний телефонный разговор с областным начальством, звонки в районные организации, Анна Лукьяненко, Аркадий Заварзин — всего этого было так много, что могло бы хватить нормальному человеку на

месяц. А Прохоров прожил все это за день, за коротенькие семнадцать часов, и этого было много для Прохорова с его узковатыми плечами, длинной шеей, с тонкими руками и мешковато сидящим костюмом. «Вредное производство!» — размышлял он с иронией.

Прохоров глядел на телефон и думал, что Вера домой приходит поздно, иногда во втором часу, — усталая, раздавленная, со следами краски на лице. Она долго лежит в горячей ванне, потом пьет чай, сосет дешевенькие леденцы и читает «Трех мушкетеров». Ложится она часа в три ночи, а сейчас Вера еще не успела залезть в ванну, еще сидит на маленьком диванчике, руки упали, волосы растрепаны...

Если ей сейчас позвонить, она сразу поймет, что звонок от Прохора: побледнеет слегка, возьмет трубку мягкой рукой.

Во втором часу ночи районная телефонистка соединит с областным городом немедленно, он через минуту услышит Верин голос, ее дыхание в трубке. Она и по «Здравствуй, Вера!» поймет, как он одинок, как трудно нести на плечах дело родного уголовного розыска, как он боится идти к родителям Столетова.

Он решился наконец — осторожно поднял трубку, прислонил холодный эбонит к теплomu уху, послушал вьюжное гуденье.

— Первая! — свежим голосом сказала телефонистка. — Слушаю, слушаю!

Прохоров неторопливо назвал свой сосновский номер, сообщил счет райотдела милиции на телефонной станции, монотонным голосом, с остановками назвал цифры 2-43-78. «Соединяю!» — тут же сказала телефонистка. В трубке завывало, радиоголос звенел позывными радиостанции «Маяк» — два часа ночи, потом послышались гудки городской автоматической станции.

Он насчитал шесть длинных гудков, пока, вывалившись из тартарары небытия, раздался сдавленный голос Веры:

— Это ты, Прохоров? Прохоров, это ты?

— Здравствуй, Вера! — сказал он с улыбкой. — Ты сидишь на диване?

— Ты ошибся, — ответила она. — Я уже собираюсь принимать ванну, я отсидела уже на диване.

Он привык к тому, что Вера обычным предложениям предпочитала короткие.

— Я ошибся потому, — сказал Прохоров, — что думал: половина второго, а сейчас, оказывается, ровно два... С секундами... — добавил он, подумав. — Поэтому я и ошибся, Вера.

Он представил ее — в легком коротком халате, с прямыми, как бы безвольными волосами, с опущенными чулками, которые она от усталости не могла снять до конца, с запавшими, всегда немного настороженными глазами. Она имела привычку, разговаривая по телефону, одно плечо держать низко опущенным, и ему отчего-то нравилось это.

— Ты очень устала, Вера? — спросил Прохоров в трубку. — Я высчитал, что сегодня у тебя был трудный день... Премьера?

— Ты любишь меня, Прохоров? — тихо отозвалась женщина. — Отвечай немедленно, Прохоров!

— Я тебя люблю! — ответил он не сразу.

Трубка замолчала. Он видел, как Вера еще ниже опускает левое плечо, одергивает полы халата, чтобы прикрыть колени. На телефонной трубке лежат ее прямые волосы. Перед Верой — маленький туалетный стол, на нем — дорогой букет алых роз. Это подарок седого поджарого полковника из артиллерийского училища. Прохоров несколько раз встречался с полковником, разглядывая пергаментное его лицо, понимал, что он любит Веру.

— У меня здесь черт знает что делается! — сказал Прохоров весело. — Я сегодня получил такой щелчок по курносому носу, что ты бы умерла от зависти...

Вера теперь в трубку дышала спокойно.

— Это значит, что ты приедешь не скоро, Прохоров, — сказала она. — Так это надо понимать... А Борисов сердчает. После премьеры пришел ко мне в уборную, спросил: «Как без Прохорова?»

Полковник Борисов был именно тем человеком, который познакомил Прохорова с Верой, своей двоюродной сестрой, очень хотел, чтобы Прохоров наконец женился на ней. На правах человека, составившего их знакомство, и родственника Борисов позволял себе вмешиваться в их отношения, наверняка говорил Вере: «Как ты, роскошная женщина, красавица, допускаешь, чтобы капиташка шлялся бог знает где? Сидел бы в какой-то Сосновке со своей дурацкой философией?»

— Неделю мне еще, пожалуй, надо, — признался Прохоров неуверенным голосом. — Это зависит от того, надолго ли... Как прошла премьеры?

— Обычно! Борисов сказал, что ты за Сосновку можешь досрочно получить майора.

Прохоров захохотал.

— Ну Борисевич! — сказал он. — Ну Борисевич! И погонями привлекает, и квартирой...

Спohватившись, Прохоров густо покраснел, чертыхнувшись, услышал, как Вера тяжело дышит в трубку.

— Он и мне про квартиру говорил... — сообщила она.

Теперь Прохорову надо было бы сказать: «Хорошо! Я подстегну сосновское дело, скоренько приеду в город, чтобы не опоздать к дележу пирога... Мы с тобой, Вера, поселимся в новой двухкомнатной квартире на проспекте Кирова... Ты бы сбегала в загс, подала бы заявление, чтобы нас немедленно расписали для права приобретения двухкомнатной квартиры...»

— Я, кажется, веду самое сложное дело в моей жизни, Вера! — сказал Прохоров. — Я бы охотно не философствовал, если бы... если бы мог не философствовать!

Он живо представил, как Вера перегибается через валик диванчика, берет со стола пачку сигарет «Столичные», вытащив сигарету, мужским движением бросает ее в рот. Вот она прикурила от маленькой газовой зажигалки — подарок седого полковника ко дню рождения, затянулась дымом так, что щеки запали. Они у нее очень худые и бледные.

— У меня ванна стынет, Прохоров, — сказала Вера. — Звони еще, Прохоров, звони. Не стесняйся, капитан! Пока!

Он положил на рычаг нагревшуюся трубку, боком отодвинулся от аппарата, надломив ноги, медленно упал на жалобно застонавшую раскладушку, ударившись головой — здрасьте вам! — о стенку.

В абажуре настольной лампы что-то билось, трещало, отчаивалось.

Посидев немножко, Прохоров неловкими безрукими движениями снял нейлоновую рубашку, но на брюки сил не хватило — так и завалился на раскладушку.

Прохоров уже засыпал, когда — далекая, чужая — пронеслась в голове выпренная мысль: «Он трус, этот капиташка Прохоров!»

Больше он ни о чем не мог думать — уснул, как исчез с земли.

Он здорово устал, капитан уголовного розыска Прохоров.

Глава третья

1

Забив еще один красный флажок, преграждающий Аркадию Заварзину последнюю свободную сторону гона, инспектор уголовного розыска капитан Прохоров вторые сутки создавал у бывшего уголовника уверенность в том, что поверил ему. Прохоров снова повстречался с трактористом Никитой Суворовым и, осторожно разговаривая с замученным мужичонкой, добился, что тот сам поверил, будто на берегу озера Круглого драка была, — пусть смело глядит в глаза Заварзину, пусть при встрече с опасным трактористом не сутулится от страха. Потом капитан уголовного розыска повел себя совсем странно: он потерял интерес к поискам доказательств одновременного пребывания на одной и той же тормозной площадке Заварзина и Столетова. Разговор с кондуктором Акимовым, могущий подтвердить это, он целиком доверил Пилипенко, забывал спрашивать, как идут дела; сам занимался, собственно, пустяками: то посылал Пилипенко за бухгалтерскими книгами, то требовал узнать, от какого жеребца произошел Рогдай, то интересовался, где заказывает мастер Гасилов яловые головки для сапог.

Фамилия Гасилова в речи Прохорова встречалась так же часто, как слово «рыба» в рыбодобывающем тресте, от него только и слышалось: «А что Гасилов? А как Гасилов? А вы скажите, что на это ответил Гасилов?» — и участковый Пилипенко это истолковал в том смысле, что Прохоров хочет вызвать мастера в кабинет, о чем он и сказал капитану. Прохоров в ответ рассмеялся.

— На веревочке?

— Для разговору, товарищ капитан!

— Не морочьте мне голову, вот что, Пилипенко!

И долго хохотал.

Потом озабоченно почесал нос, походил взад-вперед по кабинету и сказал:

— Аркадюшка расколется в ту самую секунду, когда я узнаю, что происходило в лесосеке двадцать второго мая. Тут же побежит, болезненный, за блюдечком с голубой каемочкой...

Еще немного подумав, Прохоров приказал участковому инспектору прогуляться по Сосновке с тем, чтобы, как он выразился, «наблюдательно наблюдая» за деревней, выяснить, не

собирается ли, черт возьми, в конце-то концов выбраться из своего добровольного заточения Соня Лунина, которая через несколько дней после смерти Столетова взяла очередной двухмесячный отпуск и не выходила из дому. Двухмесячные отпуска получали все рабочие северных леспромхозов.

— Неплохо также было бы узнать абсо-о-лют-но точно, когда вернется из города парторг Голубинь... Вы понимаете, Пилипенко, абсо-лютно точно! Не «кажется, что завтра», и не «говорят, что послезавтра», а точно! Вы читаете «Тысячу и одну ночь»?

— Изучаю, товарищ капитан!

— Тогда приступайте к выполнению задания, товарищ младший лейтенант.

— Есть!

Проводив Пилипенко, капитан Прохоров посмотрел на себя в зеркало над умывальником, зачем-то потрогал пальцем нижнюю губу и решительно вышел из кабинета. Он наискосок перешел жаркую и пыльную улицу, расставив ноги, остановился против конторы Сосновского лесопункта и прищурился.

Внешне контора Сосновского лесопункта была огромной, солидной, загнутой на манер буквы «г» и вовсе непохожей на обычные конторы лесопунктов. Это объяснялось тем, что Сосновский лесопункт совсем недавно назывался леспромхозом и оставался бы им по сей день, если бы в эпоху укрепления не попал в «сакраментальный» список. Однако он попал, и в один прекрасный день завхоз бывшего леспромхоза привесил слева от крыльца новую табличку таких же размеров и такую же золотую, как старая, но со словом «лесопункт». Сразу же после этого произошли интересные события и возникли следствия:

а) директор Сосновского леспромхоза Гольцов немедленно переехал со своими отделами и службами в райцентр, выторговав для новой конторы давно опустевшее здание МТС и получив персональный катер для наездов в Сосновку и другие лесопункты;

б) в новый леспромхоз вошли целых три бывших леспромхоза, которые и образовали треугольник гигантских масштабов: от Сосновки до райцентра сто двадцать километров рекой и сто семь — сушей, то есть болотами; от райцентра до Гаевского лесопункта водой и сушей сто семьдесят километров; от райцентра до Угаюльского лесопункта сто километров водой и восемьдесят два — сушей;

в) высшее леспромхозовское начальство, отдаленное теперь от лесосек и эстакад, перешло на междугородную телефонную связь и на радиосвязь;

г) ожидаемого сокращения административно-управленческого аппарата в результате гигантомании не произошло, а совсем наоборот, при сохранении института мастерских участков, например, потребовалось назначить на каждый из трех теперешних лесопунктов техноруков, а слияние трех производственно-технических и планово-экономических отделов, отделов главного механика бывших леспромхозов дало самые могучие в истории отечественных леспромхозов производственно-технические и планово-экономические отделы, а также отделы главного механика. Правда, директор нового — размерами с Бельгию — Обского леспромхоза Гольцов сделал попытку сократить несколько человек со средним и высшим техническим образованием, но столкнулся с мощными советскими профсоюзами; в результате директора Гольцова вызвали в райком партии и спросили: «А есть возможность устроить в нашем районе на работу сокращенных специалистов со средним и высшим техническим образованием?» — «Нет!» — ответил директор Гольцов, на что ему сказали: «Так что же вы, понимаете ли...»

Итак, контора теперешнего Сосновского лесопункта имела ряд больших, казенного вида окон,

два из которых были занавешены на всю длину, два — до половины, а шесть остальных занавесок не имели совсем. Очевидно было, что за полностью обзавешенными окнами сидел академически образованный начальник лесопункта Сухов, за наполовину обзавешенными — технорук Петухов, за другими — все остальные: парадный и черный входы были покрашены в такой ярко-голубой цвет, каким красят нижние половины парходных труб. Видимо, лесопунктовский завхоз голубую краску достал у знакомого шкипера.

Старательно подумав, капитан Прохоров начал подниматься в контору по ярко-голубому парадному крыльцу; отлично ориентируясь, он несколько подготовительных минут постоял в гулком и скучном коридоре с желтыми панелями и многочисленными лозунгами и плакатами. Среди прочих здесь висел и такой плакат, на котором был изображен Южный берег Крыма, склон горы с виноградником, и написано: «Боритесь с филлоксерой», хотя в Сосновке не было ни виноградников, ни их болезни — филлоксеры.

Разбираясь в плакатах, лозунгах и табличках, Прохоров слышал говор за дверями, щелканье счетов, трещанье арифмометров, шелест бумаги. Как он и предполагал, дверь технорукского кабинета находилась рядом с дверью начальника Сухова, а вот такого кабинета, где было бы написано: «Мастер П.П. Гасилов», в конторе не существовало, хотя Петр Петрович руководил тремя большими бригадами и мог потребовать отдельный кабинет.

Выполняя свой тщательно разработанный план, Прохоров с насмешливым лицом подошел к двери с табличкой «Технорук Ю.С. Петухов», деликатно постучал и получил вежливый ответ:

— Входите!

Юрий Сергеевич Петухов сидел за небольшим современным полированным столом, на котором стояли и лежали белый телефон, черный бювар и шариковая ручка — больше на столе ничего не было, так как Юрий Сергеевич относился к тому типу кабинетных работников, которые придерживались системы «чистого стола», когда всякая бумажка, попавшая на стол, требовала немедленной и срочной расправы. Какая из систем лучше — система чистого стола или стола, заваленного грудой бумаг, — Прохоров точно не знал.

— День-то, день какой! — поздоровавшись с техноруком, восторженно сказал он. — А я ведь к вам только на секундочку, Юрий Сергеевич!

Прохоров и сам понять не мог, отчего это со вчерашнего вечера у него было весело-ироническое настроение. Вчера перед сном, разговаривая по телефону с майором Лукомским, он ядовито высмеивал его пристрастие к прямой речи в протоколах; утром иронизировал над участковым Пилипенко, высмеивая каждое его слово и каждый его шаг, да и сейчас в кабинете технорука Петухова все видел в ироническом свете.

Ему казались смешными серый, почти белый костюм технорука, его сосредоточенно-деловой вид, кабинет, начальственный подбородок бывшего мальчишки из брянской деревни Сосны.

— Я всегда рад потолковать с вами! — радушно сказал технорук и сдвинул в сторону черный бювар, точно он мог помешать. — Готов ответить на все вопросы...

— Не надо на все, не надо! — испугался Прохоров. — Только один-единственный вопрос!

С этими словами Прохоров проворно вынул из кармана сложенную на восемь долек бумажку, ловко развернув ее перед носом технорука, ткнул пальцем в жирную извилистую линию.

— Простите, Юрий Сергеевич! — жалобно воскликнул Прохоров. — Простите, что я так неумело изобразил план Сосновки и ее окрестностей...

План Сосновки и ее окрестностей на самом деле был выполнен плохо: линии и квадратики разъезжались, пунктиры плясали, деревья походили на стрелы. Зато на схеме имелось все, что требовалось Прохорову, — особняк Гасилова, флигель с остроконечным шпилем, конюшня, контора лесопункта. Дом Гасилова на плане был изображен так, как рисовали здания на старинных картах городов, то есть натурально, а все остальные дома Сосновки были квадратиками и прямоугольниками. План производил такое впечатление, точно дом Гасилова — центр деревни.

— Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, не по этой ли дорожке вы гуляли с Людмилой Петровной в день происшествия с Евгением Столетовым? — спросил Прохоров, ведя пальцем по жирной линии. — Если это так, то ответьте на второй вопрос: как далеко вы заходили во время совместных прогулок?

В служебном кабинете технорук Петухов казался таким же благоустроенным, как в милицейской комнате Пилипенко. Все в кабинете было по-петуховски блестяще, основательно и половинчато, здесь ощущалась та же полуинтеллигентность, которую можно было видеть на лице технорука, когда оно не было мыслящим. Полированный стол и нелепый книжный шкаф, похожий на буфет, белый телефон, кресло с резными ручками, карта мира на стене и домотканый половичок под ногами — вот из каких крайностей состоял кабинет.

— Мы обычно доходили до Кривой березы, — сказал Петухов, показывая на плане. — Людмила не любит ходить пешком. Поэтому мы дальше Кривой березы обычно не заходили...

Это был исчерпывающий полновесный, всесторонний ответ. Прохоров свернул план, положил его в карман.

— Спасибо, Юрий Сергеевич! — проникновенно сказал он. — Я так и думал, что вы гуляли до Кривой березы, хотя Людмила Петровна непривычна к ходьбе...

Ну до удивления было веселым настроение! И капитан Прохоров начал раскланиваться и расшаркиваться, улыбаясь, пятился к двери и очень радовался тому, что технорук Петухов не знал о существовании такого милицейского способа задавания главного вопроса, когда спрашивающий инсценирует уход. Если бы технорук знал об этом, он бы не листал книгу с серой обложкой, не держал бы руку на телефоне, а внимательно следил бы за Прохоровым, который, по-прежнему вежливо раскланиваясь, пятился к двери. Вот капитан решительно взялся за дверную ручку, вот дверь заскрипела, начала открываться, когда Прохоров, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да, Юрий Сергеевич, совсем забыл! Вы каждый раз после прогулки с Людмилой Гасиловой ходили к Анне Лукьяненок или не каждый?

Ах, если бы не было книги с серой обложкой, если бы рука не лежала на белом телефоне, если бы хоть краешком мысли технорук Петухов мог подумать, что у Прохорова есть еще вопросы! Но технорук не был готов к ответу, и вопрос разорвался в кабинете бомбой.

— То есть как каждый день... — пробормотал он, выдавая себя с головой. — Какой день... почему день...

Вот чем заканчивалась игра Прохорова с планом!

— ...Ну, ходил... — бормотал Петухов, — только не одновременно... ходил... Анна... Людмила...

Прохоров стоял спокойно, руки держал сложенными на груди, глядел прямо в глаза Петухову. Так прошло, наверное, с минуту, потом Прохоров громко сказал:

— А чего вы испугались, Петухов? Я уверен, что вам отдадут Людмилу даже в том случае, если вы перекочаете на ее полированную кровать прямо из постели Анны!

Выдержав небольшую паузу, Прохоров похлопал ладонью по кожаной папке, захваченной на тот случай, если Петухов будет отрицать свои попытки пробраться в кровать Анны Лукьяненко.

— Вполне допустима мысль о том, — задумчиво сказал Прохоров, — что милиции не следует совать нос в такие вещи, как интимные отношения... Однако сейчас мы имеем дело с таким случаем, когда важно знать, любите вы Людмилу Гасилову или нет. Вы ее не любите!

Прохоров неожиданно захохотал:

— Не забудьте захватить с собой сберегательную книжку. На ней семь тысяч пятьсот двадцать рублей! А вот матери вы посылаете по пятнадцати рублей в месяц... Будьте здоровы!

В коридоре Прохоров прохихотался окончательно, сделавшись вполне серьезным, выпрямился, с напружинившимся молодым телом прошел метров пять, чтобы очутиться перед дверью с большой табличкой: «Начальник лесопункта П.И. Сухов».

Вспомнив биографию начальника Сосновского лесопункта и рассказы сплетников о нем, капитан Прохоров уверенно постучался.

2

— Садитесь, где хотите, курите! — говорил начальник Павел Игоревич Сухов в ответ на прохоровские извинения насчет того, что ворвался нежданно-негаданно. — Садитесь в кресло, а не на стул. Кресло прочнее...

Оба стула в кабинете были действительно разбитыми: в комнате царил такой хаос, в котором постороннему человеку было разобраться трудно, вещи здесь пожирали и уничтожали друг друга, и даже подоконники, заваленные книгами, чертежами, металлическими деталями, проводами, эбонитовыми плитками, фарфоровыми роликами и деревяшками, пали жертвой взаимоненависти. Стол обеденного типа прогибался под тяжестью непонятных предметов, на стенах висело такое множество таблиц, что стены казались оклеенными газетами — так мелки были цифры в таблицах. Десяти уборщицам было бы не под силу за день справиться с кавардаком суховского кабинета.

— Ну, Павел Игоревич, — насмешливо сказал Прохоров, — нужно признать, что у вас в кабинете серьезные атмосферы. Такие серьезные, что желательно чихать.

Тут Прохоров на самом деле чихнул, так как, видимо, еще с зимы окна суховского кабинета не открывались. В нем густо пахло папиросами «Беломорканал», сыростью, смешанной с запахом старой бумаги. Прохоров чихнул три раза, вытерся чистым платочком, спрятав его в карман, с интересом поглядел на огромный стальной сейф, обособленно торчащий среди хаоса. Он был не только велик, но и был самым чистым и даже кокетливым предметом в кабинете, так как к шлифованной стали неохотно льнула пыль.

— Вот это сейфище! — сказал Прохоров. — Король сейфов! Даже мне, представьте, понадобится полчаса, чтобы открыть его, — болтал Прохоров прищуриваясь. — Два поворота направо, три зубца — на себя, еще поворот направо, легкий нажим... Остальные двадцать семь минут уйдут на подбор последней отмычки из большого джентльменского

набора, как любил говаривать веселый О'Генри... Нет, это исключительно выдающийся сейф, так сказать, последний из могикан... Вы читаете Купера?

Из биографии Сухова Прохоров знал, что Павел Игоревич Сухов с отличием окончил академию и сам напросился работать в Сибирь, хотя был коренным жителем интеллигентного и туманного Ленинграда. Он был холост, не интересовался женской проблемой, не имел в Сосновке ни друзей, ни приятелей, ничего, кроме коньяка, не пил и соответственно всему этому вел замкнутый образ жизни, то есть большую часть суток — до восемнадцати часов — проводил в этом кабинете и в гараже лесопункта. Обедал Павел Игоревич в столовой, завтракал и ужинал в кабинете — кильками, колбасой, шоколадными конфетами и лимонами.

Замкнутый образ жизни Сухова, огромная почта со всех концов Советского Союза — все это приводило к тому, что о начальнике лесопункта в Сосновке говорили разное: во-первых, беспробудно пьет, во-вторых, отказывается работать, чтобы его выгнали и он мог вернуться в родной Ленинград, в-третьих, у Сухова сбежала жена-красавица.

— Мой визит объясняется причинами производственного порядка, — сказал Прохоров. — Дело, которое я веду, требует, можете себе представить, анализа производственной обстановки. — Он задрал маленький подбородок. — Вот что я вам скажу, Павел Игоревич! Сидящий перед вами милиционерушка три года самостоятельно изучал лесозаготовительное дело!

Он посмотрел сквозь запыленное окно — увидел просторную реку, все тот же осокорь на берегу, синее левобережье, ребятишек... Ироническое настроение постепенно улетучивалось, увядала злость на технорука Петухова. Теперь, пожалуй, можно было понять, что происходило с ним со вчерашнего вечера, откуда взялось насмешливо-ироническое настроение: от технорука. Нельзя же было относиться к Петухову иным образом, когда он перекочевывал от одной женщины к другой; только иронией и можно было спастись.

— Речь пойдет о Евгении Столетове, — сказал Прохоров. — «Степанида», негры, задиранье мотора... Что все это значит?

Вопрос был обдуман Прохоровым несколько часов назад, в нем были учтены все причудливые стороны характера инженера Сухова, и поэтому было сладостно наблюдать, как начальник лесопункта возбужденно потирал руки. Он, как и предполагал Прохоров, был переполнен словами, напичкан идеями, нашпигован фантазиями, которые Сухову еще никогда не удавалось излить на слушателей в этом захламленном кабинете. И вот пришел человек, которого интересовала непонятная связь между неграми в кабине «Степаниды» и задираньем мотора.

— Предельно интересно! — воскликнул Сухов. — Вы спрашиваете о предельно интересных вещах, но нам надо договориться...

Он вскочил, размахивая руками, собрался было пробежаться по кабинету, но остановился.

— Вы не примите меня за сумасшедшего! — потребовал Сухов категорично. — И тогда у вас закроется удивленно открытый рот, и вы перестанете глядеть на сейф так, словно пришли взломать его. Итак, о чем мы договорились?

— О том, что инженер Сухов психически здоров! — солидно сказал Прохоров.

— Вы должны поверить, что вот этот человек, — Сухов ткнул себя пальцем в грудь, — в недалеком будущем даст стране идеальный трелевочный трактор, хотя каждому очевидно, что одиночка в двадцатом веке обречен на неудачу в конкретной борьбе с конструкторскими бюро... — Он выбросил вверх руку. — Недавно в «Известиях» появилась статья Анатолия

Аграновского, в которой он впервые поставил вопрос о противоречиях между трактором и человеком... Газеты уже пишут об этом. Газеты! — Он побежал по кабинету. — Советская власть посадила на тракторы миллионы мужиков! Советская власть начиналась трактором, и поэтому ей сам бог велел позаботиться о снятии противоречий между человеком и машиной... Страна тракторов и электричества должна, как путь в космос, проложить стежку к гармоничным отношениям между человеческой личностью и машинной индивидуальностью... — Он остановился и захохотал. — Это я цитирую собственную статью, которую зарубили в областной газете. Довод: вы очеловечиваете машину! Ха-ха-ха!

Прохоров с интересом наблюдал за тем, как инженер носился по своему кабинету.

Он, наверное, в одиночестве прошел по комнате не один десяток километров, так как, бегая между предметами, ни обо что не спотыкался, ни на какие острые углы не налетал.

Он этаким бескостной рыбой лавировал в хаосе вещей, привычном, как собственный костюм.

— Я не буду вас утешать азбучной истиной, гласящей, что машина всегда будет зависимой от человека! — кричал инженер Сухов. — Однако машина уже начинает мыслить, воспроизводить саму себя, умеет учиться, то есть самостоятельно накапливать информацию, навыки и способность к выбору. Это тоже общеизвестно! Нам же важно следующее: на земле не существует двух абсолютно одинаковых тракторов! А почему нам это важно, Александр...

— Матвеевич.

— Нам это важно потому, Александр Матвеевич, что недалек тот день, когда можно будет услышать: «Как твоя машина? Не ленится?»

Наконец-то Сухов ударился голенью о пустой деревянный ящик, со злобой ткнул его и замахал руками возбужденно.

— И мы не удивимся этому, так как окажется, что в ленивом экземпляре машины плохо промыт какой-нибудь узел или грубо собрано электронно-вычислительное устройство... Знайте: уже давно доказано, что не существует зеркального подобия! Оно — миф, мечта, химера! Задача состоит в том, чтобы создать машину, которая была бы психологически совместима с человеком.

Трусой подбежав к столу, он сел, взял в руки кипу бумаг и чертежей, грозно помахал ими.

— Вот машина, которую ждут лесозаготовители! — надменно заявил Сухов.

— Вот почему из академии я приехал в Сибирь, бросив к чертовой бабушке маму, папу, женщину и карьеру доктора всяческих наук! Я три года живу предельно счастливо. Я — творец! Я в сутки сплю шесть часов, и мне этого достаточно! Хотите посмотреть общий эскиз машины?

Прохоров посмотрел на чертеж и пораженно задрал на лоб брови. Неужели вот этими руками, заскорузлыми от табачного пепла и машинного масла, можно было провести эти воздушные линии, вычертить эти штрихи из разноцветной туши? Кто мог поверить, что на этом столе, в этом захламленном кабинете можно было вычертить такое, что казалось напечатанным в образцовой типографии? Кто мог подумать, что Сухов не оставит на белом листе ватмана ни единого темного пятнышка? И почему, черт возьми, рисунок-чертеж казался выпуклым, выступающим из бумаги, как бы существующим самостоятельно?

— Это я сделал месяц назад! — ворчливо сказал Сухов. — Есть куча новых идей, но я не тороплюсь переносить их на ватман... Успеется!

Чертеж и походил на машину, и не походил на нее. Змеился некий щупальцеобразный хобот,

глядели в одну точку широко расставленные глаза-фары; ластилась вкрадчивая лисья спина, по-слоновьи были расставлены солидные гусеницы, со щучьей злостью вырисовывался хищный нос. Машина казалась состоящей из нескольких знакомых машин с их разными характерами: хватательность экскаватора, тупая важность бульдозера, жадность скрепера, лихость реактивных закруглений самолета, приглаженность грейдера и улаженность пропашных тракторов — все это мирно и гармонично уживалось в машине.

— Увлекательно! — сказал Прохоров. — Ну, и видел это кто-нибудь из власть имущих?

Сухов ухмыльнулся.

— Вот! — сказал он насмешливо. — Вот типичный образчик современного мышления... «Видел это кто-нибудь из власть имущих?» Не видел! Я этого никому не показывал, кроме себя! — Он выпятил грудь. — Этот человек пока недоволен работой...

Сухов, оказывается, умел прикасаться к ватману особенными движениями черных от пепла пальцев — лист бумаги он поднял со стола, как горячий уголек, спрятал чертеж в ящик стола. Упав в кресло, он задумчиво сказал:

— Столетов был одним из тех водителей, кто понимал мою идею... Будучи высокоорганизованным существом, он чувствовал, как жестоки современные трактора. Велика загазованность кабины, чужеродны телу сиденья, велики шумы... — Он разозлился. — Писатели благоглупы, когда пишут: «Он слился с машиной, точно был ее продолжением!» Че-пу-ха! Никаким продолжением трелевочного трактора человек быть не может! Эта машина противопоказана человеку...

Сухов снова носился по кабинету — лавировал между предметами, как пожарный автомобиль в городской сутолоке.

— Мы со Столетовым были единомышленниками... Вот вам образчик его отношения к машине, вот вам только один поучительный случай! — воскликнул он. — Это произошло в сентябре прошлого года, в то время, когда Столетов еще только становился опытным трактористом... **ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ**

...Женька Столетов был молодым трактористом, и «Степанида» была не просто «Степанида», а еще именовалась «Степанидой Филимоновной».

В середине сентября прошлого года Женька Столетов работал во вторую смену, то есть приезжал на лесосеку к пяти, кончал работу после полуночи. Сентябрь был отменно сухим и солнечным, и в середине месяца, казалось, вернулись погожие летние денечки. Сосны стояли на солнце барабанно-звонкие, голоса птиц были слышны за километр, земля бордовилась крупными ягодами брусники, и тракторные гусеницы возвращались из лесосеки кровавыми; тайга была такой чистой, словно осень прошлась по ней свистящей метлой, и во всем мире жили прозрачность, грустность, ощущение легкой тревоги.

В тот день, когда произошли смешные и тревожные события, к половине седьмого вечера Женька уже сделал четыре ездки, чокеровщики Пашка и Витька, давно работающие с ним, уже до отвала нажрались брусники и ходили с красными губами. В это время на трелевочном волоке появился начальник лесопункта Сухов — редкий гость в лесосеке. Он торопливо подошел к Женькиному трактору, движением руки остановив машину, сердито потребовал, чтобы Женька вышел из кабины. Столетов спрыгнул на землю, с улыбкой подошел к начальнику и пожал ему руку:

— Здравствуйте, Павел Игоревич! Рад вас видеть!

Сухов поверх Женькиной головы заглядывал в кабину трактора, поднимался на цыпочки и

по-прежнему был очень сердит. Он наконец что-то высмотрел в тракторе, опустился на каблуки и обиженно закричал:

— Слушайте, Столетов, а вы, оказывается, конструируете новое сиденье...

Обрадованные перекурком, развлечением и вообще суматохой, к трактору прискакали чокеровщики Пашка и Витька, усевшись на пеньки, радостно принялись наблюдать, как начальник лесопункта Сухов разносит, по их мнению, Столетова. Пашке и Витьке было лет по семнадцати, они из школы ушли, как только получили паспорта, и за год работы не стали взрослее.

А Сухов действительно разъярился.

— А ну показывайте, что вы там такое напортачили! — возбужденно потребовал он.

Они забрались в кабину трактора, теснясь и толкаясь, стали рассматривать самодельное сиденье из дерматина, матрасных пружин и конского волоса.

— Ну и что это дает? — недовольно спросил Сухов. — Каким образом вы учли линии тела? Как рассчитывали высоту рычагов?

— Ничего я не рассчитывал! — мрачно ответил Женька и спрыгнул на землю. — Я не знаю, как рассчитываются подобные вещи... Я, как вам известно, провалился на экзаменах в политехнический...

— Наплюйте, Столетов! — закричал Сухов. — На будущий год будете студентом...

Чокеровщики Пашка и Витька наслаждались. Витька, чавкая, ел бруснику, Пашка мстительно улыбался, и у обоих на лицах стыло блаженное выражение: не работать среди бела дня, сидеть на пеньках, слушать непонятные фразы Столетова и начальника лесопункта — что еще человеку надо! Посмотрев на них, Женька негромко засмеялся, перестал злиться на самого себя и Сухова, показал пальцем на Пашку с Витькой:

— Вы знаете, почему они здесь? Ждут, когда вы начнете «свольнять» меня с работы. Я для них — эксплуататор!

После этого Женька и Сухов забрались еще раз в кабину, разглядывая и щупая сиденье, спокойно обсудили особенности конструкции. Потом они, отойдя от Пашки и Витьки метров на двести, сели на пеньки. Сухов вынул пачку «Беломорканала», прищуриваясь от непривычного солнечного света, деловито сказал:

— Иностранцы накопили большой опыт устройства автомобильных сидений. Они трогательно заботятся о заде автомобилиста, но их опыт нельзя применить к трелевочным машинам. — Он разочарованно поморгал. — Разные задачи, Столетов! Транспортировка человека и транспортировка сопротивляющегося груза плюс транспортировка работающего человека... Понимаете? Надо соединить заботу о заде с проблемой работающих ног и широких русских плеч...

Тонкое, интеллигентное лицо Сухова было бледным от кабинетного затворничества, постоянного курения. Начальник лесопункта не замечал, что сидит на крохотном пеньке, не видел ни солнца, ни тайги, ни брусничного ковра под ногами, и солнечные блики на его лице лежали чужеродно, и весь он был такой, словно сошел в лесосеку со страниц романа — такая мыслящая субстанция, такой теоретический казус на фоне обыкновенных тракторов и сосновой лесосеки.

— Перестаньте дуться, Столетов! — ворчливо сказал он. — Инженерами рождаются! Ваше сиденье, конечно, дерьмо, но постановка вопроса интуитивно правильна... Поступите в

институт! Ясно?

— Ясно!

— Тогда извольте ответить, что вас заставило дать имя машине? Мне это важно... Почему трактор зовется «Степанида Филимоновна»?

«Степанида Филимоновна», оказывается, стояла в неловкой, вымученной, неестественной позе. Неожиданно остановленная приказывающим жестом Сухова, она замерла с низко опущенным мотором, как бы уткнувшись в землю; задняя часть машины была поднятой. У «Степаниды Филимоновны» был такой вид, словно ее, напроказившую, в наказание ткнули носом в колдобину, мучая и стыдя, как разумного щенка, оставили в обидной, унижительной позе.

— Я не очень понимаю себя, Павел Игоревич, — откровенно сказал Женька. — А вот почему вы этим интересуетесь, мне понятно... — Он помолчал, потом спросил: — Что легче ударить гаечным ключом? Автомобиль или пустотелый бак неизвестного предназначения? Ухватываете мысль?

— Эка сложность! Ухватываю...

На этот раз Женька не обиделся. Он только насмешливо прищурился. На скулах привычно набухли желваки, похожие на грецкие орехи, да округлился маленький царский рот.

— Коли вы такой сметливый, — сказал Женька, — то учтите, что водитель наедине с машиной проводит больше времени, чем с самым близким человеком... Восемь часов — это не баран начихал! Восемь часов! Вы только подумайте... В течение восьми часов ты видишь только приборы, которые обязан видеть, слышишь только голос машины, который обязан слушать... Вы встречали водителя, который бы не шептал забуксовавшей машине: «Ну, давай, родимая, ну, давай, голубушка!» — Женька остановился, подозрительно покосился на Сухова, не улыбается ли. — Моя «Степанида Филимоновна», несмотря на ее мещанское, обывательское нутро, дама решительная... Послушайте, как она сейчас сердито урчит! Недовольна, что ее оставили на среднем газу... Вы послушайте, послушайте!

В осеннем звонком лесу на самом деле слышалось, как сердито, обиженно и неуживчиво гудит мотор «Степаниды Филимоновны». Одинокая, брошенная машина не то звала к себе Женьку Столетова, не то собиралась заглухнуть на высокой сварливой ноте; в недовольном урчанье слышалось металлическое позвякивание, что-то дребезжало, постукивало.

— Вы, конечно, скажете, что у «Степаниды Филимоновны» барахлит коробка скоростей, — улыбнулся Женька. — Это так и есть, но я-то ее знаю. Она, сквалыга, злится, что ее сунули носом в яму! А Никита Суворов, передавая смену, меня сегодня предупредил: «Ты ее, заразу, послушай! Она сегодня чего-то норовиста. Так и рвет, так и рвет, холера, чтоб ей пусто было!»

Женька захохотал.

— Никитушке неизвестно, что именно сегодня в цилиндры «Степаниды Филимоновны» поступает предельно насыщенный кислородом воздух.

Они помолчали, задумчиво глядя на трактор.

— Ну, как не дать машине имя, если она зависит от погоды, от твоего настроения, от кладовщика Гурьяныча, выдающего то хорошее, то плохое горючее, даже от луны. Ей-богу, Павел Игоревич, «Степанида Филимоновна» лучше тянет в полнолуние, чем на ущербе. Причину этого можно объяснить, но как не впасть Никитушке в мистику? Луна и трелевочный

трактор! А как машина реагирует на балбесов Пашку и Витьку? Она их когда-нибудь шибанет за то, что плохо формируют пучки...

Хорошо было в осеннем сквозном лесу. Золотыми свечками стояли прямые корабельные сосны, земля, вышитая крупными бисеринками брусники, лежала под ногами ковром, воздух был легкий для дыхания, тени от ясного солнца, возвысив деревья, делали лес двойным, тройным, похожим на торжественный грандиозный собор. Безостановочно попискивали нежными голосами пичуги, летал меж соснами слепой филин, потревоженный гулом трактора.

— Здорово сердится на меня «Степанида Филимоновна», — озабоченно сказал Женька. — А эти анчихристы, Пашка и Витька, не догадаются сбросить газ... Таких лентяев, как они, мир еще не рождал!

В эту секунду и произошло то, о чем долго говорили в Сосновке. Неожиданное, конечно, объяснялось неисправностями в коробке скоростей «Степаниды Филимоновны», но впечатление от происходящего было такое, что у Женьки пополз мороз по спине, а Сухов нервно захохотал... Работающая на средних оборотах машина вдруг железно крякнула, звук был такой, будто она подавилась металлом. Потом раздалось шелестящее гудение трансмиссии, и «Степанида Филимоновна» медленно выползла из ямины. В первую секунду Женька подумал, что это Пашка или Витька включили трактор, но, увидев их сидящими на прежнем месте, зажмурился.

— Павел Игоревич, Павел Игоревич... — пробормотал Женька. — Что же это делается...

Иррациональным, мистическим, жутким веяло от машины, которая самопроизвольно двинулась с места в тот миг, когда инженер и тракторист разговаривали о том, что «Степанида Филимоновна» сердится.

Жутковатое впечатление производил трактор, начавший самостоятельное движение оттого, что была неисправна коробка скоростей, и Женька вскочил с пенька, поглядев на инженера Сухова, совсем испугался, так как на лице начальника увидел блаженное, удовлетворенное, верующее выражение.

Трактор двигался. Прыснули в стороны Пашка и Витька, сидевшие на пути машины, побежали сломя голову в тайгу, когда машина спокойно подмяла под себя молодую сосенку, замерев на секунду, уверенно двинулась вперед по трелевочному волоку, оставляя позади сизый мирный дымок.

— Павел Игоревич!

«Степанида Филимоновна» набирала скорость, так как рычаг газа от вибраций подавался назад. Трактор шел по волоку уверенной поступью человека, выполняющего свой долг.

— Какая трудолюбивая, славная «Степанида Филимоновна!» — услышал Женька насмешливый голос инженера Сухова. — Настоящая женщина!

Только после этого Женька нелепыми кенгуриными скачками бросился вслед за трактором. Он догнал «Степаниду Филимоновну» за несколько секунд до столкновения с сосной-семенником, чертиком запрыгнув в открытую кабину, все-таки успел спасти трактор от крупной сосны. Когда Женька, дрожа и задыхаясь, вылез из машины, к ней подбежали Пашка и Витька, стали смотреть на Женьку с любопытством.

— Чего это вы с ней произвели, что она сама пошла? — спросил Пашка. — Пружину вставили?

— Часовую механизму они к ней приделали, — сказал Витька. — Это навроде будильника. Потикает, а потом давай звонить.

К трактору осторожно подошел Сухов, положил руку на горячий бак машины, пробормотал что-то неслышное. Он опять был такой, что не замечал мира — не видел ни тайги, ни неба, ни земли, ни Женьки Столетова, ни чокеровщиков Витьку и Пашку.

— Двадцатый век, двадцатый век, — бормотал Сухов. — Черт знает что делается...

Не попрощавшись, Сухов задумчиво пошел по трелевочному волоку. Он сутулился, размахивал руками, разговаривал сам с собой. Женька глядел ему вслед и думал о странном, иррациональном — о том, что сейчас инженер Сухов похож на ожившую «Степаниду Филимоновну». В инженере Сухове, как в тракторе, что-то внезапно включилось, заработало, ожило.

Ничего не видящий, не слышащий шел Сухов по трелевочному волоку, и этот путь для него был таким же неосознанно-рациональным, как путь металлической «Степаниды Филимоновны». И Женька Столетов поежился. «Мистика! — насмешливо подумал он. — Вот это денек!» Он все еще не мог прийти в себя от того, что машина вела себя как человек, а человек — как машина.

— Так чего вы сотворили? — спросил Пашка. — Пружину или часовую механизму?

— Часовую механизму, — уверенно сказал недоросль Витька. — Пущать трактор она может, а останавливать еще не может...

...Начальник лесопункта Сухов сел на свое рабочее место, потеряв подбородок сильными пальцами, поглядел на Прохорова испытующе.

— Вот вам объяснение необъяснимого факта, — сказал он. — Самопроизвольное включение трактора, вызванное стечением ряда технических неисправностей старой машины, породило у Столетова желание ставить трактор мотором вверх... Парень вообще был мыслящий. Сиденье-то он сочинил перспективное...

Сухов несколько секунд посидел молча, потом снова потер пальцами подбородок, покосившись на Прохорова, вдруг решительно поднялся, перешагивая через вещи, не ища обходных путей, подошел к дверям, запер их, подергал, проверяя, закрыты ли, потом вернулся к металлическому громадному сейфу и открыл бесшумно дверцы. Они, оказывается, вовсе не были заперты на хитроумный замок, а были просто задвинуты — никто ведь не догадается подергать дверцы стального сейфа. Открылось серо-зеленое нутро, сверкнула этикеткой бутылка с коньяком, увиделась открытая банка с кильками, аккуратно нарезанный лимон.

— Не хотите ли, Александр Матвеевич? — спокойно спросил Сухов.

— Благодарствую!

Сухов налил крохотную хрустальную рюмку, посмотрев на нее хитро, одним движением опрокинул в рот коньяк, смакуя, подержал его под языком.

— У меня к вам вопрос, — насмешливо произнес Сухов, закладывая в рот ломтик лимона. — Не скажете ли вы, что произошло с родной советской милицией? Отчего она так терпима и лояльна, наша родная советская милиция? Вы — правило или исключение из правил, Александр Матвеевич?

Инженер Сухов молодец на глазах — прояснились, начинали блестеть круглые глаза, твердели черты лица, сильной становилась фигура, а от сейфа он отошел такой походкой, словно теперь вовсе не собирался присаживаться в опостылевшее кресло. Трех минут не прошло, а Сухов опять был готов бегать среди вещей, говорить, философствовать, бросаться штурмом на заманчивые идеи, вести себя естественно в собственном сладком раю грядущей удачи.

— А вы фрукт! — тоже насмешливо сказал Прохоров. — Хотел бы я знать, от кого это вы запираете дверь, если не робеете перед милицией?

— От уборщицы! — быстро ответил Сухов. — Только она входит в кабинет без стука.

— Понятно! — протянул Прохоров. — Уборщица способна нарушить плавное течение свободной творческой мысли, разрушить очарование воодушевляющего творческого процесса...

Прохоров полулежал в кресле, легкомысленно покачивал блестящим ботинком, но был такой, словно говорил: «Мне палец в рот не клади!»

— Вот что еще интересно! — сказал Прохоров. — Армянского коньяка нет в поселке. Уж не Петр ли Петрович Гасилов достает для вас коньяк?

Прохоров насмешничал, но уже понимал, что говорит не с человеком, а с очеловеченной идеей совершенного трелевочного агрегата. Капитан Прохоров принял все меры к тому, чтобы не показать восхищения инженером Суховым — человеком из тех, которые, по его мнению, двигают вперед технику, прогресс человечества, черт побери! Прохоров нарочно заузил губы, нахмурившись, начал считать про себя: «...пять, шесть, семь, восемь...» Он досчитал до девяти, когда Сухов выскочил из-за стола, лавируя между вещами, помчался по кабинету.

— Это хорошо, что вы мне напомнили о Гасилове! — неожиданно по-детски обрадовался он. — Этот человек подтверждает мысль о существовании психологического стереотипа, который из-за какого-то неисследованного дефекта лишен возможности контактировать с окружающей средой... Да чего тут непонятного! — вскричал Сухов, увидев недоуменные глаза Прохорова. — Гасилов — доведенный до абсурда тип некоммуникабельности... Тот же Столетов называл Гасилова мещанином на простейших электронных лампах. Это, если хотите знать, довольно точно отражает технический уровень Гасилова...

Прохоров склонил голову на левое плечо, посидел немножко в такой позе, выпрямился. Нет, не походил на сумасшедшего этот человек с ясными глазами и высоким лбом! Он был одержимым!.. А как хороши были слова Евгения Столетова: «Мещанин на простейших электронных лампах!» Прохоров живо представил особняк Гасилова, увидел лошадей на эстампах, телескоп под острым шпилем флигеля, философские книги на стеллажах, развернутый журнал на полированном столике. Мещанин на простейших электронных лампах!

И все-таки пахло сумасшедшинкой от этого кабинета и всего, что происходило в нем! Бегал среди хаоса бледнолицый взъерошенный человек, сверкал стальной сейф, свернутые в трубочку чертежи походили на папирусы. А где-то существовала обычная жизнь — за пыльным окном шли двое мужчин, вовсе не похожие на машины, шаркала подошвами в коридоре уборщица, над поселком висело жаркое солнце.

— Помилуй бог! — вызывающе сказал Сухов. — Отчего вы на меня так смотрите, Александр Матвеевич? Вы не схарчите меня часом, бедного?

Прохоров не улыбнулся, а только еще раз посмотрел в окно, словно хотел убедиться, что за

ним по-прежнему существовала обычная жизнь. Потом он лениво сказал:

— Убедительно прошу сесть и не перебивать меня. У меня тоже философское настроение... Хочется выяснить, прав ли человек, бросивший на произвол судьбы сто сорок живых душ во имя их будущего счастья... Простите за высокопарность!

Он вежливо кивнул инженеру.

— Пока вы работаете над новой машиной, Сухов, на лесопункте занижается производительность труда, развращается неустойчивая часть коллектива, а конфликт Гасилова со Столетовым кончается...

Прохоров ожесточился.

— Знаем мы этих гениальных устроителей будущей жизни! Нам уже сегодня нужна хорошая жизнь! На несовершенном пока трелевочном тракторе...

Прохоров перевел дыхание, измученный вспышкой гнева и теснотой слов, помолчал немного. Потом он с остановками, задушенным голосом продолжал:

— Из-за вас, Сухов, конфликт между Столетовым и Гасиловым зашел так далеко, что явился косвенной причиной его смерти... Из-за вас, Сухов, бывший уголовник Аркадий Заварзин считает, что можно жить не работая и не воруя... О заде тракториста думаете, а в душу ему плюете! Да что я вас разоблачаю, когда все ясно, как дважды два — четыре!

Прикусив нижнюю губу, он гневно замолчал, так как у Сухова опять фанатически сверкнули глаза, губы радостно сморщились, а руки взлетели.

— Вы отсталый тип! — упоенно закричал Сухов. — Дважды два уже давно не четыре!

Он вскочил, зарычал:

— Новосибирские математики, развивая теорию Эйнштейна, выяснили, что близ Земли дважды два не четыре, а на три миллиардных больше... В районе Марса эта величина изменяется еще на одну сотую своей величины... В межгалактическом пространстве десятичная система исчисления вообще, по-видимому, неприменима...

Победоносно вскинув руку, Сухов хотел еще что-то добавить, но вдруг поймал взгляд Прохорова. Капитан смотрел на него такими усталыми, печальными, грустными глазами, что Сухов осторожно сел на место.

— Кажется, я увлекся, — сказал он, — три миллиардных не такая уж значительная величина, чтобы считаться с ней в практике...

А Прохоров сидел на продавленном кресле с таким выражением лица, словно только сейчас понял, что для него начинается самое трудное, самое главное, а вот человек по фамилии Сухов не хочет понять, что началось самое трудное, самое главное... Вздохнув, Прохоров закурил, колечком выпустив дым, поискал для затылка удобное положение, прислушался — на улице кричали ребятишки, солнце нескромно заглядывало в окно кабинета, над поселком летел самолет, судя по звуку мотора, Ан-2. В коридоре смеялись женщины.

— Вас трудно привлечь к уголовной ответственности, товарищ Сухов! — негромко сказал Прохоров. — В кодексе, к сожалению, нет такой статьи, которая карала бы за социальную пассивность, но снять с работы вас необходимо... Хотите изобретать трактор в одиночестве, станьте сторожем!

Инженеру Сухову было бы легче, если бы капитан произносил эти слова обличительным

голосом, если бы Прохоров не смотрел на него так, словно не знал, что делать. Однако капитан уголовного розыска казался по-прежнему раздавленным сложностью мира, удивленным необычными стечениями обстоятельств и был совершенно непрофессионален — ничего милицейского, специфического не было в этом небольшом худощавом человеке. И глаза у Прохорова были незащищенными.

— Сторож — это, пожалуй, идея! — криво усмехнувшись, сказал Сухов. — Сторож при тракторном гараже... Вы правы, Александр Матвеевич, как начальник лесопункта я — ничто.

Он сказал это искренне. Хорошим было его тонкое, интеллигентное лицо, в появлении на свет которого принимало участие не одно поколение российских интеллигентов; хороши были глаза, в которых читались усталость и печаль. И мир Сухова теперь уже не был таким элементарным, что вмещался в один-единственный трелевочный трактор. С этим человеком уже можно было обращаться как с живым.

— Вы меня озадачили, Александр Матвеевич, — нормальным голосом сказал Сухов. — Каким образом Гасилову удается сдерживать производительность труда? При каких условиях?

Ну как не впасть в печаль и тоску, если на этой удивительной планете Земля существует начальник лесопункта, который спрашивает заезжего капитана уголовного розыска, почему на вверенном ему лесопункте сдерживается рост производительности труда? Как не будешь чувствовать себя травмированным, если инженер с академическим образованием, заперев себя в башне из слоновой кости, чтобы дать миллионам трактористов совершенную машину, никогда не допускал мысли о том, что возможен человек, заинтересованный в сдерживании производительности труда, и вот заезжему капитану приходится доказывать, что практически такой человек не только возможен, но существует и называется Петром Петровичем Гасиловым.

— Вы что, в самом деле пьете, Сухов? — официальным тоном спросил Прохоров.

— Чепуха! Не пью. Но коньяк держу.

— Каким образом сдерживается производительность труда — это вторая сторона дела! — устало сказал Прохоров. — Самое важное: для чего она сдерживается!

Сухов поднял на Прохорова умные глаза.

— Производительность труда занижается для того, чтобы всегда можно было получить предельно высокую премиальную оплату, не затрачивая на это силы! — прежним тоном произнес Прохоров. — Неужели за полтора года работы на лесопункте вы не заметили, что мастер Гасилов проводит в лесосеке не более двух часов в сутки? Он только встречает и провожает смену, треть рабочего времени проводит в райцентре, где в конторе леспромхоза и других районных организациях завязывает полезные знакомства, все остальное время Гасилов отдает своему особняку, телескопу, жеребцу Рогдаю и так далее.

Разозлившись, Прохоров поднялся с удобного, но допотопного кресла, пересев на табуретку, резко произнес:

— И в этом вы повинны, товарищ Сухов, так как помогли Гасилову создать себе синекуру.

— Каким образом?

— А вот таким...

Прохоров достал из кармана толстую записную книжку, открыл страницу алфавита на букве «п», посмотрел на цифры, бросил книжку на стол, чтобы Сухов мог заглянуть в нее.

— А вот таким образом, уважаемый Павел Игоревич! — повторил Прохоров. — Когда вы изволили прибыть на лесопункт, вы заметили, что на лесосеке применяется устаревшая технология... Так это?

— Да, — ответил Сухов. — Я приказал прекратить вывозку леса с кронами, перенес обрубку сучьев на нижний склад, разрешил грузить на сцепы больше нормы на кубометр... А в чем дело?

Женщины в коридоре перестали смеяться, ушли, видимо, и Прохоров подумал, что среди них могла быть та, которая ему сегодня была нужна, — Мария Федоровна Суворова. Уж не начался ли обеденный перерыв, уж не пропустил ли он возможность проводить Марию Федоровну до дому?

— Суть дела в том, товарищ Сухов, — сказал Прохоров, — что результаты улучшения технологии дали мизерное сокращение числа работающих на лесосеке. Взгляните в блокнот. На нижний склад переведено только шесть человек... Вы в книжку мою, в книжку смотрите...

Пока инженер Сухов разбирал мелкие, ровные, занудные буквы прохоровского почерка, капитан сидел с закрытыми глазами — весь расслабился, дышал через нос.

— Прочли? — спросил он. — Все прочли?

— Прочел!

— Вот, — печально сказал Прохоров, — в таких условиях план всегда перевыполняется, а мастер Гасилов, не затрачивая сил и времени на организацию труда и руководство бригадами, ежемесячно получает предельно высокую премиальную оплату. Легкая жизнь и деньги — вот гасиловский движитель! — Он захлопнул блокнот. — Думаю, что вы сами разберетесь в тех способах и методах, какими Гасилов сохранял предельно заниженное плановое задание. Не мне вам читать лекции, товарищ Сухов... — Прохоров сдержанно улыбнулся. — Скажу одно: Гасилова подвели декабрьские морозы.

Отдохнувший за несколько секунд Прохоров теперь весело относился к тому, что в чине капитана уголовного розыска поучал академически образованного начальника Сосновского лесопункта, умеющего чертить такие чертежи, которые казались напечатанными в образцовой типографии, но не слыжавшего о том, что происходило в лесосеке в декабре прошлого года.

— Именно в морозные дни, — сказал Прохоров, — Евгений Столетов понял, как резко занижено плановое задание бригады...

Положение было определенно комическим.

— Бог с ними, с декабрьскими морозами! — сказал он. — Меня больше интересует такой факт... Почему девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого мая выработка на лесосеке выросла до двухсот пятидесяти процентов? Есть же связь между происшествием двадцать второго мая и тем, что в эти дни выработка возросла почти в три раза? Что вам известно об этом?

— Ничего! — после длинной паузы ответил Сухов. — О такой высокой производительности труда мне ничего не известно...

Кажется, инженер Сухов начал понимать, как серьезно дело, почувствовал, какой прочной и тревожной связью соединяется его кабинет с полотном узкоколейной дороги, на обочине которой белеет похожий на череп камень. Он был умен, этот инженер Сухов, и ему хватило характера для того, чтобы подняться с места, подойти к капитану уголовного розыска и

спросить:

— Чем я могу теперь помочь вам, товарищ Прохоров?

— Выяснить, что произошло на лесосеке в эти три дня, — подумав, ответил Прохоров, хотя не верил в то, что Сухов поможет. — Гасилов, как вы понимаете, скрыл от вас итоги работы трех майских дней... Да и мы добрались до них не сразу...

«Надо реально отрабатывать собственное право на существование, — думал, уходя, Прохоров. — Без ежедневной пользы, наверное, такого права у человека не должно быть».

3

Почувствовав, что ему будет трудно сразу перейти из кабинета Сухова в шумное помещение бухгалтерии, Прохоров несколько минут стоял в гулком коридоре. Опять закрыл глаза, задерживал воздух в легких, одним словом, все делал так, как советовали йоги и их поклонник майор Лукомский. Он постоял в пустом коридоре минут пять, то есть до тех пор, пока не почувствовал себя способным действовать решительно, умно, хитро и ловко. Он посмотрел на часы, убедившись в том, что до обеденного перерыва осталось ровно десять запланированных минут, вкрадчивым шагом пересек коридор.

Придав лицу легкомысленное, фатоватое выражение, одернув полы пиджака и поправив галстук, Прохоров осторожно открыл дверь в бухгалтерию, бесшумными шагами вошел в комнату, где сидели три женщины. Выполняя свой коварный план, он невразумительно поздоровался сразу со всеми, а глядел только на Анну Лукьяненко, мало того, он подошел к ней, взял ее руку, медленно поднес к губам и поцеловал.

— Здравствуйте, Анна Егоровна! — уважительно сказал Прохоров. — Обязан доложить вам, что женщина, распространяющая о вас по деревне клеветнические слухи, была приглашена в милицию и призналась в распространении ложных слухов... Виноватая предупреждена о том, что будет привлечена к уголовной ответственности, если осмелится клеветать в дальнейшем...

Опустив руку Анны, Прохоров подчеркнуто равнодушно поглядел на кассира Алену Брыль, так как она и была той сплетницей, которую он вчера в милицейском кабинете довел до слез и откровенного признания в клевете.

— Будет немедленно возбуждено судебное дело! — повторил Прохоров, с безнадежностью поняв, что Алена Брыль никогда не перестанет сплетничать.

Как только он, Прохоров, уедет, Алена Брыль, оставив в покое Анну Лукьяненко, начнет «собирать сведения» о всех других жительницах Сосновки.

По мнению участкового Пилипенко, сосновские мужчины не могли оценить тонкую, плоскую фигуру Алены Брыль, и она возненавидела всех женщин. Между тем капитан Прохоров, вызвавший Алену Брыль в милицейский кабинет, подумал: «Экая итальянская фигура!», так как она действительно напоминала героиню итальянского современного фильма — тонкая, высокая, с узкими бедрами и крошечной грудью.

Прохоров с угрозой повторил:

— Вот так-то! Под суд пойдет дамочка, если снова осмелится клеветать!

Теперь он посмотрел на главного бухгалтера Сосновского лесопункта Марию Федоровну Суворову, проверяя, какое действие оказала на нее расправа с Аленой Брыль.

Толстая бухгалтерша сидела спокойно, но с некоторой робостью в глазах, и была такой, что ее надо было специально создать для роли жены Никиты Суворова, если исходить из того принципа, что муж и жена должны быть контрастны. «Она не такая полная, как толстая, не так похожа на слона, как на мамонта!» — развеселившись, подумал Прохоров.

— Здравствуйте, Мария Федоровна! — вдруг отдельно поздоровался с бухгалтершей Прохоров и помигал загадочно. — Значит, это вы будете являться законной женой гражданина Суворова Никиты Гурьевича? Значит, это вы и есть — одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения, русская, служащая, к суду привлекалась по подозрению в растрате, но оказалась невиновной, на иждивении трое детей, уроженка Сосновки...

Говоря все это, Прохоров равнодушно осматривал комнату бухгалтерии — вплотную сдвинутые конторские столы, испачканные чернилами и клеем, исписанные головкружительными цифрами бумаги, отлакированные пальцами счеты и ободранные арифмометры. Он будто бы только тем и был занят, что вдыхал запах пыли и сухой бумаги, прокисших чернил и коленкора, крахмала и плесени, но потом у капитана Прохорова сделалось такое лицо, словно он поразился тем обстоятельством, что Анна Лукьяненко и в суровой бухгалтерской обстановке сумела сохранить красоту и женственность. «Ах, красавица!» — сказали глаза Прохорова, хотя думал он о другом.

— Так вот эта женщина будет являться гражданкой Суворовой? — спросил Прохоров у смеющейся Анны и подмигнул ей незаметно, чтобы перестала смеяться. — Я правильно указал на эту гражданку как на человека, могущего оказаться Суворовой?

Анна сидела спиной к окну, рабочее место ее ничем не отличалось от остальных двух, но отчего-то женщина казалась отдельной от бухгалтерии, отчего-то бумаги на ее столе лежали красиво, аккуратно, счеты и арифмометры не производили занудного впечатления. Все, что окружало Анну, казалось таким же красивым, аккуратным и подобранным, как она сама. Стол, стул, бумаги, счеты, арифмометры, школьная линейка Анны в скучности и пыльности бухгалтерской комнаты казались такими же пригодными для женского существования, как ее аккуратная современная одежда.

— До свидания, товарищи и граждане! — радушно попрощался Прохоров. — До свидания, Алена Юрьевна Брыль!

И тихонько вышел из бухгалтерии, чувствуя за спиной молчаливое смятение.

Неизвестность, таинственность — вот что было самым страшным! Собственно, и Никита Суворов боялся не реальной опасности, а вот этой жуткой призрачности, которая таилась за словами Аркадия Заварзина: «Все равно доберемся до тебя, Суворов!» А кто доберется, каким образом доберется, конечно, не сказал. И если разобраться подробненько в психологической основе страха, то, видимо, откроется... Прохоров услышал позади себя скрип двери, потом по крыльцу прошаркали тяжелые задыхающиеся шаги, раздался басовитый кашель. «Ага, голубушка!» — подумал он и торопливо сошел с крыльца.

— Ах, ах! — проговорил Прохоров, озираясь. — Гагра скоро станет именоваться Сосновкой, а Сосновка — Нью-Гагрой!

День сегодня на самом деле вызрел такой жаркий и душный, какого еще не было этим летом. Над пыльной дорогой поднималось густое волнистое марево, над тайгой тоже струился горячий воздух, и даже над рекой перемещались блестящие чешуйки воздуха. На обочине дороги, задрав ноги, словно в витрине магазина, лежала неподвижная курица, она казалась бы мертвой, если бы не слышалось обморочное клохтанье. Жара была такая, что даже

свиньи, защищенные от зноя слоем жира, лежали в тени.

Прохоров решительно развернулся, поглядел на бухгалтершу Марию Федоровну Суворову гипнотическим взглядом, озабоченно спросил:

— Вы сколько получаете, гражданка Суворова? Зарплата у вас какая?

На лице толстухи выступил рясный пот. Оно и без того было веснушчатым, а теперь казалось рябым. Дышала женщина тяжело, с перерывами, словно поднималась на крутую гору.

— Так какая у вас зарплата, гражданка Суворова?

— Сто десять! — ответила она и повторила с придыханием: — Сто десять рублей.

— А детей трое?

— Трое.

Прохоров нахмурился, зашевелил губами, словно считая.

— Мало! — воскликнул он. — Предельно мало!

В этот момент, разыгрывая сложную сцену с женой Никиты Суворова — важного свидетеля, — капитан Прохоров был сам себе до чрезвычайности противен, так как пускал в дело разные штучки-дрючки, но разве он мог поступать иначе, если именно толстая и грозная жена запретила Никите Суворову подписывать правдивые показания? Прохорову было неловко наводить страх на робкого Никитушку, и без того запуганного Заварзиным и грозной женой, а вот нагонять ужас на толстуху было сладостно — пусть бледнеет от страха, такая-сякая, пусть тоже делит сто десять рублей на троих детей и на саму себя, если не хочет помочь матери Столетова узнать, как и отчего погиб ее сын!

— Между прочим, — сказал Прохоров, — в Уголовном кодексе есть статья, которая наказывает тюрьмой за отказ от дачи показаний... Можно несколько лет схлопотать!

Жарко было чрезвычайно! Они и пяти минут не простояли на солнце, а Прохоров взмок под нейлоновой — будь она проклята! — рубахой. В туфлях образовалось мокрое пекло, а лицо грандиозно-толстой бухгалтерши окончательно покрылось девчоночьими веснушками. Собственно, такой и представлял Прохоров бухгалтершу в детстве — веснушчатая полнушка с розовой и нежной кожей, с упитанными икрами и каменными руками; волосы она носила веночком вокруг головы, и лицо тогда походило на незрелый подсолнух. Девчонка была такая, что никогда не теряла вещи, книги обертывала в бумагу, а чернильницу-непроливашку носила в специальном мешочке и не всем позволяла макать в нее ручку. Никитушку Суворова она присмотрела на первомайской гулянке, подсчитав разницу в возрасте и образовании, решила, что он ее будет уважать и любить, хотя на руках носить не сможет. Работать в бухгалтерии она мечтала с пятого класса.

— Передачи в тюрьму тоже ой-ой-ой сколько стоят! — сказал Прохоров. — Сальца килограммов пять — положи, твердокопченной колбасы — купи, сахарिशко тоже надо... И нижнее белье, между прочим, иногда принимают...

Толстуха маялась от жары и страха, и Прохоров, сочувственно вздохнув, повернулся лицом к реке. От Оби хоть немножечко наносило прохладой, хоть вид воды позволял предполагать, что на земле бывает и прохладная погода. «Сдурела Сибирь! — подумал Прохоров с укоризной. — Нескромно ведет себя матушка!»

— Как бы в карты не научили Никиту играть! — мрачно произнес он. — Научат, а потом оставят в чем мать родила... А если мороз?... Тюрьма, мороз, а ты — голый! Спаси и

помилуй!

Прохоров отчаянно махнул рукой и пошел серединой жаркой улицы, хотя мог подняться на деревянный тротуар, схорониться в тени рясных палисадников. Но разве могла идти речь о выборе удобного пути, когда происходили такие ужасные вещи, как засылка тихого и робкого Никитушки в тюрьму, или необходимость делить злосчастные сто десять рублей на четверых едоков? А передачи арестантику? А забота о нижнем белье? А голый Никита, обыгранный в карты?

— Товарищ милиционер, — крикнула вслед Мария Федоровна Суворова, — товарищ милиционер...

Больше она ничего не добавила — сел голос, да и Прохоров не слышал: торопился. «Сопоставимо ли одно индивидуальное благополучие с другим? — думал он. — Вот вопрос».

4

Поплутав по сосновским переулкам, чтобы Мария Федоровна Суворова думала, что он ушел заниматься судьбой ее любимого мужа, Прохоров через десяток минут опять оказался в центре поселка — шагал неспешно, страдал от жары и думал о себе самом. «Да, мне палец в рот не клади!» — так как временной график выполнялся с такой точностью, с какой работала хорошая железная дорога. Он затратил, как и предполагал, два часа на Сухова, двадцать минут на толстуху бухгалтершу, теперь точно по расписанию прибыл к орсовскому магазину, к которому через десять минут должна была прийти Лидия Михайловна Гасилова, имеющая железную привычку не доверять домашним работницам покупку хлеба. Домработницы, как сообщил Пилипенко, хватали ковриги пальцами, мяли их, и вообще хлеб был не таким уж свежим, когда к нему прикасались посторонние пальцы.

Опережая временной график на десять минут, Прохоров сидел на теневой стороне крыльца орсовского магазина, дышал запахом свежего пшеничного хлеба и занимался демагогией, то есть жалел себя и прочих городских жителей.

О домашний, самопечный хлеб!

Пшеничная коврига, вынутая из русской печи, покрыта золотистой коркой, в пористом изломе живет захватывающий, сладкий запах; коврига такая нежная, пышная, что представляется дышащей; ломоть лежит на ладони, вздрагивая. Свежий пшеничный хлеб пахнет жизнью, все есть в этом запахе — бражная винность, осенняя прозрачность, блеск жирного чернозема, летний зной, луговая свежесть. Бедные городские люди, не знающие, что такое свежий пшеничный хлеб из русской печки! Что едите вы? Разве это еда — хлеб-кирпич! Неужели не понимаете вы прелесть ковриги, имеющей форму земли, луны, солнца; разве неведомо вам, что природа не терпит параллелепипеды, их острые углы, их унылую законченность? Хлеб должен походить на солнце, бедные городские люди! Как изменится ваше настроение, когда на стол ляжет круглая, духмяная коврига настоящего пшеничного хлеба. Вы загрустите, бедные городские люди, если поймете, что никогда не ели настоящего деревенского хлеба, похожего на солнце. Так сделайте себя счастливыми — приезжайте в Сосновку.

Лидия Михайловна Гасилова несла в руках громадную вычурную сумку, увидев которую Прохоров поднялся с крыльца и зашел за угол магазина, чтобы можно было наблюдать Лидию Михайловну, а самому остаться незамеченным. Спрятавшись, он превесело ухмыльнулся: вычурная сумка Лидии Михайловны, как и пляжная сумка ее дочери, явно не отвечали поставленным перед ними, сумками, задачам. Если Людмила носила на пляж

фруктовую сумку, то ее мать, наоборот, шла за хлебом с пляжной сумкой.

Лидия Михайловна приближалась. Несомненно, у нее когда-то были стройные, хотя и не очень длинные, ноги, несомненно, когда-то существовала очень тонкая талия, однако неумолимое время с фигурой Лидии Михайловны произвело жестокую работу — она сделалась бесформенной. Впрочем, у Лидии Михайловны оставалось свежее, красивое лицо, еще хороши были блестящие глаза, густые волосы, да и шла она по улице уверенной походкой любимой, отлично ухоженной женщины.

Когда Лидия Михайловна вошла в орсовский магазин, Прохоров последовал за ней, не боясь разоблачения. Во-первых, жена Гасилова не знала капитана милиции в лицо, во-вторых, мало ли незнакомцев появляется в Сосновке — шлялись по ней матросы с пароходов и шкиперы барж, жили районные и областные уполномоченные, приезжали на отдых родственники сосновчан. Поэтому Прохоров смело вошел в магазин, состоящий из двух половин — продовольственный и промтоварный, — подойдя к витрине, стал внимательнейшим образом рассматривать расчески, бритвенные лезвия «Нева», мыло «Красная Москва» и «Сирень», разноцветные зубные щетки и широкие подтяжки с набором никелированных застёжек и украшений.

Как и ожидал Прохоров, жена мастера Гасилова начала с промтоварного отдела. В нем работала невысокая шустренькая продавщица, которую все в деревне звали Любой и которая считала Прохорова парикмахером, приехавшим в Сосновку устраиваться на работу, а настоящего парикмахера, уволенного из городской мастерской за пьянство, принимала за капитана уголовного розыска Прохорова. Ошибка Любы, видимо, объяснялась тем, что настоящий парикмахер приходил в магазин с нахмуренным челом и по безденежью ничего не покупал, а капитан Прохоров, имеющий привычку подглядывать за нужными ему женщинами в магазине, непременно стоял у парфюмерного отдела и покупал то расческу, то щеточку для ногтей. Вчера, например, когда он наблюдал в магазине за женой тракториста Никиты Суворова, была куплена ядовито-зеленая зубная щетка.

Начиная знакомство с нужными женщинами в магазине, капитан Прохоров откровенно подражал своему бывшему наставнику полковнику Урванцеву, который любил говорить с легкой усмешкой на бесстрастных, скучноватых губах: «Ах, Сашок, если бы эту упрямую бабенку повести в магазин, да незаметно понаблюдать за ней, да подышать тем воздухом, которым она дышит возле прилавка, да посмотреть на ее пальцы, когда она перебирает розовую кофточку».

Поставив пляжную сумочку на прилавок, Лидия Михайловна вежливо поздоровалась с продавщицей Любой, без нужды выпятив живот, мизинцем показала на коричневую кофточку:

— Будьте добры, Люба, покажите вот эту.

Прохоров наблюдал за ней искоса, но с таким рабочим, сосредоточенным лицом, с каким сживал в одиночестве над протоколами следователя Сорокина. И увидел он то, что ожидал увидеть: Лидия Михайловна Гасилова щупала кофточку так, словно они существовали в одинаковых масштабах — кофточка и Лидия Михайловна. В постном, вдруг потерявшем выражение лице женщины не было ни жадности, ни восхищения, ни отрицания, ни удовлетворения, ни пренебрежения, а читалось только одно: кофточка и женщина были равноценны.

Момент был такой, что капитан Прохоров снова впал в спасительную пафосность, то есть начал смотреть на материальные излишества орсовского магазина и торжественно думать... Где вы, городские любительницы заграничных товаров! Отчего не знаете вы, что в Сосновском орсовском магазине на нестроганных прилавках лежит весь мир подлунный?

Коричневая кофточка, которую щупала мягкими пальцами Лидия Михайловна, была изготовлена во Франции, голубая курточка с восхитительными замками и висюльками приплыла в поселок из Японии, нейлоновые рубашки были упакованы в Югославии, мужские плащи были с чешскими этикетками; чулки лежали итальянские, термосы — индийские, детские гольфы — болгарские, высокие сапоги — трепещите, женщины! — приехали из Польши, белые туфли с квадратным каблуком — из ГДР.

В Сосновку, в Сосновку, городские модницы! За пшеничным хлебом и лаковыми высокими сапогами, для которых в Сосновке нет асфальта. В Сосновку, в Сосновку, ценительницы иностранных товаров! Здесь носят отечественные резиновые и кирзовые сапоги, курткам с замками и висюльками пока предпочитают телогрейки, а черные костюмы покупают только приятели Евгения Столетова...

— Тридцать шесть рублей? — постно переспросила Лидия Михайловна, лунатическими пальцами ощупывая нежный банлон. — Тридцать шесть рублей...

Между кофтой и Лидией Михайловной не было щелочки для воздуха, солнца, воды; тесное единение вещи и Гасиловой было таким, что лицо женщины окончательно потеряло человеческое выражение.

— Я, пожалуй, куплю кофточку! — таким голосом, каким разговаривают в потемках, сказала Лидия Михайловна. — Я ее, пожалуй, куплю... А другого цвета нет?

— Только коричневые!

Сверкающие кольцами и перстнями пальцы открыли створки пляжной сумки, но тут же замерли, нависли над открытым зевом. Они, пальцы, пошевелились самопроизвольно и волнисто, как щупальцы медузы, плывущей по воле волн, а через мгновение интимно, скромно и тайно нырнули в глубину пляжного разноцветья кожи и пластика. Еще через секунду-другую из сумки возник небольшой кошелек, совершив в воздухе пунктирный полукруг, приблизился к тяжелой груди Лидии Михайловны. Женщина низко нагнулась над кошельком, пальцы, как живые, задвигались, заволновались. А когда Лидия Михайловна наконец вынула на свет божий три ассигнации, Прохоров перевел дыхание и принял неожиданное для себя решение купить не коробочку пудры, а, наоборот, прозрачную расческу.

— Товарищ продавец, — деловито обратился он к Любе, — подайте-ка мне вот ту славенькую расческу.

Уплатив тридцать восемь копеек, он с тем же озабоченным видом пошел за Лидией Михайловной в продовольственный отдел.

Лидия Михайловна первой поклонилась старушонке с палкой и узелком, рассеянно кивнула двум женщинам поселкового вида, сухо посмотрела на дивчину в голубой майке. «Безобразие!» — сказали глаза Лидии Михайловны при виде голых плеч и полной груди дивчины производственного типа — то ли механизатора, то ли разнорабочей.

Надо было признать целиком и полностью, что у жены Гасилова имелась в наличии белая, нежная кожа, были красивой шея и великолепные волосы — здоровые, сильные и, наверное, тяжелые. Кожа на шее была еще молодой, и вообще вблизи можно было понять, какой красивой была в молодости жена мастера. Гасилов, наверное, не знал, а если и знал, то не принял в расчет, что будущая его жена относилась к типу женщин-обманщиц, выращиваемых в нетрудовой обстановке мещанских домов. Женщины-обманщицы в девичестве воздушны и стройны, как призраки, славные и тихие, вызывают желание защищать их, носить на руках и хорошо кормить, но через пять-шесть лет, когда удивленный супруг замечает, что женщину на руки взять нельзя — весит девяносто килограммов, он уже ничего изменить не может.

Женщина-обманщица стояла в очереди уже второй, и Прохоров обстоятельно обдумывал проблему покупки хлеба. Что он будет делать с ковригой, если ее придется купить из-за неторопливости важной Гасиловой? Если бы женщина была проворнее, он мог бы, махнув рукой, сказать продавщице сквозь зубы: «Ах, раздумал я покупать хлеб!» Однако Прохоров не мог поступить таким образом на глазах Лидии Михайловны, которая, купив хлеба, начнет так же аккуратно укладывать его в пляжную сумку, как укладывала банлоновую кофточку.

— Вот эту, пожалуйста, Дуся. Только осторожно, пожалуйста...

В голосе Лидии Михайловны почувствовалась неожиданная кокетливость, лицо приобрело массу всяческих выражений и оттенков. Во-первых, Лидия Михайловна извинялась за то, что выбирает ковригу из неудобного для продавщицы места — нужно подняться по лесенке; во-вторых, чувствовалось желание объяснить, почему Лидия Михайловна стоит в очереди и покупает хлеб сама, а не домработница; в-третьих, что было самым главным, решающим, жена мастера Гасилова сделалась снова мыслящим существом в тот момент, когда покупала пшеничный хлеб.

С прежней кокетливой, извиняющейся улыбкой Лидия Михайловна взяла двумя пальцами свежую, дышащую ароматом ковригу пшеничного хлеба, совершив ею знакомый полукруг, вдруг бросила ковригу в раскрытую сумку. Она, конечно, не могла измять хлеб, он не мог повредиться, но все же, все же... Коричневую банлоновую кофточку Лидия Михайловна в пляжную сумку укладывала в три приема, а потом долго думала, какой стороной повернуть сверток, как добиться того, чтобы край бумажного пакета не высывался из сумки. Она, видимо, не любила носить по деревне вещи открытыми, а вот золотистый край ковриги полумесяцем высывался из пластика и кожи.

— До свидания, Марта Густавовна! — сказала Лидия Михайловна старушке с палкой и узелком, замешкавшейся возле прилавка, и Прохоров понял, что старушка-то — родная мать парторга Сосновского лесопункта Марлена Витольдовича Голубиня.

— Вам чего? — удивленно спросила продавщица Дуся. — Водка кончилась.

— Что вы говорите? — обрадовался Прохоров, так увлеченный женой мастера, что пропустил такую выдающуюся подробность, как отсутствие водки на нижних полках. — А это что?

— Укус! Разве не видите?

Через полминуты Прохоров шел неторопливо по знойной улице, но все равно скоро догнал вальяжную Лидию Михайловну, склонив в полупоклоне голову, представился:

— Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым. Я — капитан уголовного розыска, а вы, наверное, Лидия Михайловна Гасилова... Если это так, то разрешите, пожалуйста, потолковать о том о сем.

Она остановилась, посмотрела на него внимательно:

— Чем могу быть вам полезной, товарищ Прохоров?

Лидия Михайловна эти слова произнесла так, что сразу почувствовалось законченное среднее образование, постоянное пребывание в довольно интеллигентной семье и внимательное чтение детективных романов, так как именно все это давало возможность спрашивать: «Чем я могу быть полезной?» А глядела она на Прохорова такими насмешливыми и отчужденными глазами, какими могла глядеть женщина, предельно далекая от уголовных розысков, происшествий, тюрем и следовательских комнат. Вся эта грязь и накипь жизни — тюрьмы и следователи — имели к Лидии Михайловне такое же отношение, как зонтик к рыбе, и Прохоров на ее величественный, недоумевающий взгляд ответил робким

взглядом.

— Ах, о какой там пользе может идти речь, — сказал он. Потом подумал и весело разрешил:
— Да вы не стойте, Лидия Михайловна. Вы идите, а я... Я петушком, петушком за дрожками...
— И сам захохотал первым. — Ах, простите меня! Я сроду такой болтун и выдумщик. Вы на меня внимания не обращайтесь, Лидия Михайловна!

Она небрежно пожала плечами:

— Пожалуйста!

Женщина-обманщица, женщина, умеющая в девятнадцать лет казаться созданной для бережного ношения на руках, пошла впереди капитана Прохорова как подтверждение его предсказаний — со сквозными от солнца глазами, с увядающей линией нежного подбородка, и все в ней было законченным: среднее образование, кольца и перстни, фраза: «Чем могу быть вам полезной?» Прodelав с Лидией Михайловной ту же операцию, что Прохоров прodelывал с женой Никиты Суворова, представив ее девчонкой, капитан в недалекой сравнительно дали увидел Людмилу Гасилову.

— Так чем я могу быть вам полезной? — спросила она.

— Вот чем вы можете мне быть полезной, — помолчав, сказал Прохоров. — Вы должны мне объяснить, почему солгали дочери, сообщив Людмиле о связи Столетова с Анной Лукьяненко?

— Я? Солгала дочери?

Лидия Михайловна бдительно держала Прохорова под прицелом ясных глаз, спрятанных за длинными ресницами так же тщательно, как была скрыта от взоров прохожих в пляжной сумке банлоновая кофточка. Прохоровым давно было замечено, что у некоторых женщин от юности до могилы не меняются две вещи — ресницы и голос, и в отношении Лидии Михайловны это наблюдение было точным, очень точным. Прохоров специально звонил в квартиру Гасилова несколько раз, чтобы убедиться в том, что мать и дочь разговаривают одинаковыми голосами, а ресницы у них были вполне взаимозаменяемы.

Женьке Столетову было бы от силы тридцать пять, когда однажды он обнаружил бы в кровати странную женщину с отдаленно знакомым подбородком. Это случилось бы непременно на рассвете, в тот час, когда он завязывал бы галстук, чтобы отправиться на работу. Оставив незатянутым узел галстука, он осторожно подошел бы к кровати, нагнулся, сморщил бы лоб: кто такая? Почему эта женщина спит на их общей кровати? Отчего она так напоминает Людмилу Гасилову?

— Я солгала дочери? — с пафосом повторила Лидия Михайловна Гасилова и неожиданно снисходительно улыбнулась. — Ну как вы можете говорить такое, товарищ Прохоров!

Она укоризненно покачала головой:

— Все это выдумки завистников! Подумайте сами, как я могла связать Женю с этой грязной, порочной до мозга костей, испорченной женщиной? Ведь Женя был чистый, порядочный. А эта женщина... Фи!

Она ничем не обставляла ложь — вот что было забавно. Жена мастера была так величественна, вальяжна, уверена в прочности своего положения, что ей даже не приходила в голову мысль придать лжи окраску правдоподобия. Она врала открыто, с упрямым самозабвенным лицом, как врут очень маленькие славные дети.

— Мы очень любили Женю! Мы к нему относились, как к родному. Уж вам-то должно быть

известно, что именно Петр Петрович сказал: «Такие люди, как Столетов, не должны умирать!» Мой муж восхищался и восхищается Женей!

Ложь Лидии Михайловны Гасиловой слушали раскаленная зноем река, понурившийся осокорь на берегу, небо, петух на заборе, тайга за деревней; весь мир слушал ложь женщины с красивым еще лицом и царственными движениями мягких, нерабочих рук.

— За Людмилой, правда, немножко ухаживал Юрий Сергеевич Петухов. Он, по-моему, даже собирался сделать ей предложение, но... Мы не считаем нужным вмешиваться в личную жизнь дочери...

Она вдруг сделала плачущее лицо.

— Боже, кто способен руководить детьми двадцатого века! Они так самостоятельны...

Прохоров готов был рассмеяться. «Немножко ухаживал Юрий Сергеевич» — это значило, что приходил каждый вечер; «Собирался сделать предложение» — значило, что технорук и Людмила решили пожениться; «Мы не вмешиваемся в интимную жизнь дочери» — это значило, что жестокой рукой направляли ее поступки. Конечно, жена Гасилова не догадывалась о том, что Столетов мог услышать в телефоне ее диктующий голос, но она, если бы дала себе труд подумать, если бы на секунду потеряла вальяжность, могла бы сообразить, что ее наглая ложь позволяла Прохорову получать правдивые сведения, так как ему надо было только отнимать отовсюду частицу «не». Не говорила — значит, говорила, не думала — значит, думала, не любила — значит, любила.

— Ах, как врут календари! — печально сказал Прохоров и поглядел женщине на кончик носа.

— Думаю, что и Юрий Сергеевич лжет, когда говорит о том, что именно вы, Лидия Михайловна, сказали: «Евгений Столетов не может быть мужем моей дочери. Он никогда не сделает карьеры, и поэтому моя дочь будет всю жизнь лишена материального благополучия!»

— И это ложь! — по инерции быстро ответила женщина. — Юрий Сергеевич, наверное, как-то не так понял меня...

Прохоров действовал в чрезвычайной обстановке молниеносно.

— А какие слова Юрий Сергеевич мог истолковать превратно? — спросил он энергично. — Первую часть вашей фразы или вторую?

Ее лицо вытянулось, посерело. Ей ли было тягаться с капитаном Прохоровым, придумавшим в момент озарения наглую ложь с фразой, якобы переданной ему техноруком? А уж разделение предполагаемой фразы на первую и вторую части вызвало у Гасиловой такое замешательство, что он с наслаждением потребовал:

— Отвечайте, пожалуйста, Лидия Михайловна!

Она смятенно пробормотала:

— Но ведь Женя действительно всегда ссорится с начальством, не умеет ладить с людьми...

Прохоров спокойно огляделся. Было жарко и душно, пыльно и желто; было обыкновенно. Сидел на заборе помертвевший от зноя петух, валялись ногами вверх куры. «Надо быть умеренным!» — подумал Прохоров. Если в чем и таилась опасность этой женщины, так это в обыкновенности.

— Спасибо, Лидия Михайловна! — вежливо поблагодарил Прохоров. — Технорук Петухов с начальством не ссорится, и, несомненно, ваша дочь будет ходить с бриллиантовым перстнем

на пальце... Спасибо! Огромное вам спасибо!

Гасилова стояла перед капитаном уголовного розыска с постаревшими губами. Она не могла еще понять, чем опасно ее нечаянное признание, но чувствовала приближение катастрофы, у нее было такое ощущение, словно кто-то в разбойную темную полночь подпиливал несущие столбы ее дома. Надо было защищаться, но она не знала от чего, надо было бороться с уличным собеседником, но она не знала, как бороться с человеком, который глядел на нее сейчас грустно и жалеюще.

— Как вы думаете, — спросил Прохоров, — технорук Петухов любит вашу дочь?

Она, кажется, уже поняла, что произошло невозможное, дикое, ужасное, как кошмарный сон; в безмятежное благополучие ее дома входило то, о чем женщина только читала и слышала, — комнаты следователя, зарешеченные окна, необходимость расписываться в конце каждой страницы.

На них уже обращали внимание. Стояла на крыльце соседнего дома прислушивающаяся старуха, женщины, возвращавшиеся из орсовского магазина, нарочно замедляли шаги, мелькали смутные лица за геранями на подоконниках.

— Это допрос! — вдруг жестко произнес Прохоров. — Примерно девятнадцатого-двадцатого апреля вам стало известно от Алены Юрьевны Брыль, что будущий муж вашей дочери Петухов посещает Анну Лукьяненко. Почему вы не сообщили об этом дочери?

Он сам чувствовал, что страшен непонятностью, грустью, всезнанием, выбором улицы, как места для допроса. А ведь на самом деле как все неожиданно и страшно... Десять минут назад куплена банлоновая кофточка, небрежно брошена в пляжную сумку коврига теплого хлеба, видна уже крыша родного дома, а она стоит возле человека в мешковатом костюме, оказавшегося капитаном уголовного розыска и задающего такие вопросы, от которых немеют кончики пальцев.

— Алена Брыль — сплетница! — приглушенным голосом сказала Лидия Михайловна. — Я ей не поверила...

— Резонно! — согласился Прохоров. — Но тогда возникает вопрос, почему Алена Брыль сочла необходимым сообщить именно вам о Петухове? Если между вашей дочерью и технорук не было ничего связующего, отчего же Алена Брыль обращается к вам? Это первый вопрос... Второй таков: что вы ответили Алене Брыль и что сделали при этом?

Боже мой! Чего хотел от нее этот человек с мальчишеским хохолком на макушке крупной головы? Он приехал в Сосновку для того, чтобы выяснить причины смерти Евгения Столетова, но почему он сказал ей, Лидии Михайловне Гасиловой: «Это допрос!» Какое отношение к смерти Столетова могла иметь Лидия Михайловна? Почему ее муж с появлением в Сосновке этого человека потерял покой — ходит по кабинету, не присаживается, не останавливается, чтобы посмотреть на разноцветных лошадей?

— Что я сказала Алене Брыль? — прошептала Гасилова. — Я не помню, что сказала ей...

— Тоже возможно, — мирно согласился Прохоров. — Но вы не могли забыть про мельхиоровые сережки... Кстати, Алена Брыль выплатила уже полную их стоимость?

Лидия Михайловна сосредоточенно помолчала.

— Я не вижу ничего плохого в том, что продала Алене Брыль сережки, которые давно нравились ей, — наконец сказала она. — Я только не понимаю, почему вы спрашиваете об этом...

— Ну, это просто! — с хлебосольной улыбкой ответил Прохоров. — Вы ей продали сережки по сниженной цене для того, чтобы она не рассказала Людмиле о визитах Петухова к Анне Лукьяненко. Вы купили молчание — вот в чем суть вопроса.

Жена мастера Гасилова к этому времени растеряла не только вальяжность и выражение превосходства на белокожем лице, но и осанка у нее переменялась. Вялая, расслабленная, постаревшая женщина стояла на сосновской улице и просительно смотрела на капитана уголовного розыска.

— Мне надо идти, товарищ Прохоров! — тихо сказала жена мастера Гасилова. — Я опаздываю...

— Ради бога! — сказал он. — Ради бога!

Женщина удалялась, ее пляжная сумка потеряла разноцветность, а Прохоров все стоял на прежнем месте и думал о том, каким несчастным человеком был бы Евгений Столетов, если бы женился на Людмиле Гасиловой. Потом Прохоров тихонечко пошел по улице, продолжая размышлять и сравнивать... Людмила — Соня — Анна...

— Дяденька Прохоров! — услышал он мальчишеский голос и обнаружил себя сидящим на низкой скамейке возле палисадника незнакомого дома. — Дяденька Прохоров!

Дяденька Прохоров, оказывается, не только сидел в задумчивой, отдыхающей позе, а успел снять пиджак и галстук, тщательно запрятаться в тень и даже обмахиваться прочитанной областной газетой.

— Дяденька Прохоров...

Перед капитаном стоял пилипенковский поклонник Слава Веретенников — малец лет десяти. Он вечно вертелся возле младшего лейтенанта, выполнял его мелкие распоряжения и был такой же важный, как сам Пилипенко. Сейчас Славка тяжело дышал, но босые ноги на земле держал строго — пятки вместе, носки врозь. Подбежав к Прохорову, он приложил руку к потрепанной кепке и вообще вел себя соответственно.

— Вольно! — сказал Прохоров и вдруг подумал: «Я, наверное, несправедлив к Пилипенко! Он просто-напросто хороший работник. Молодой, старательный, гордящийся своим милицейским положением».

— Дядя Прохоров, вам записка от дяди Пилипенко...

С тремя синтаксическими и одной орфографической ошибками было написано: «Товарищ капитан! Кондуктор Акимов дал показания. Я уехал на лесосеку для проверки сведений товарища Лузгиной. Вернусь, как было приказано, к семи ноль-ноль».

Младший лейтенант Ром Пилипенко.

Сообщаю также, что из города „Ракетой“ прибыл парторг товарищ Голубинь. Состояние здоровья их супруги хорошее».

— Дяденька Пилипенко еще велели передать дяденьке капитану, что не надо ехать в район. Дядя Бойченко из комсомола сам приехал. Он ждет... — Славка запнулся, но закончил бойко: — Он ждет товарища капитана в служебном расположении...

Под командой Пилипенко находились мальчишки и постарше Славки. За незаконной торговлей — раньше времени — спиртными напитками наблюдали восьмиклассники под руководством солидного Баранова, соблюдением противопожарных мер ведали подростки, расхаживающие в старых медных касках, порядком в поселковом клубе занимались почти

взрослые люди — десятиклассники.

— Ты чего вылупился, Славка? — сердито спросил Прохоров. — Ты почему не дышишь?

— У меня насморк...

— В такую-то жару?

— Я перекупался...

— Тогда ты свободен!

— Есть, товарищ капитан!

5

Второй секретарь райкома ВЛКСМ Бойченко был с головы до ног современен. Высокий рост, широкие плечи, узкие бедра, спортивная походка, каштановый цвет длинных волос, чемодан в руках — все это было из арсенала начала семидесятых годов, а форма чемодана чуточку опережала медленное-медленное сосновское время. Чемодан был черным, плоским, из числа тех чемоданов-папок, которые только недавно появились в обращении. Кирилл Бойченко наверняка привез чемодан из столицы. Шагая по улице, второй секретарь райкома комсомола чемоданом не взмахивал, его жесты были сдержанные, хотя ничего официального, учрежденческого в его внешности и в походке не чувствовалось.

— Называйте меня Кириллом, — попросил Бойченко после того, как вошел в кабинет и обменялся с Прохоровым крепким рукопожатием. — Так принято в комсомоле...

В черных легких брюках, в белой рубашке, ловкий в движениях, он походил на Женьку и его друзей — чуточку насмешливая улыбка, свобода в обращении, здоровая спортивность. Кириллу Бойченко отчего-то не мешал полуденный зной, в нем чувствовалась свежесть человека строгих житейских устоев, уверенность в том, что происходящее правильно, целесообразно и необходимо. Кирилл Бойченко сел на стул с таким видом, точно встреча с капитаном уголовного розыска была давно запрограммирована, хотя он узнал о желании Прохорова встретиться пятнадцать минут назад.

— Я слышал о вас, Александр Матвеевич! — сказал Кирилл. — Только вчера мы говорили о знаменитом капитане Прохорове.

Это, конечно, была не лесть, а открытое выражение доверия, словно Кирилл сказал: «Вы хороши на своем месте, капитан, мы — на своем, так давайте работать!» В нем вообще было сильным деловое начало, все было приспособлено к деятельности — одежда, чемоданчик, манеры, голос.

— Нам потребуется часа два, не больше, — задумчиво сказал Прохоров. — Еще утром я собирался ехать в район, чтобы встретиться с вами... А гора сама пришла к Магомету.

Уплатив за «знаменитого капитана», Прохоров почувствовал себя свободно.

— Меня интересует комсомольская деятельность Евгения Столетова, — сказал он. — Почему его выбрали секретарем? Это первый вопрос. А второй таков: знал ли райком комсомола о конфликте Гасилов — комсомольская организация лесопункта?

Прохоров перебрал в памяти анкету Кирилла Бойченко. Родился в сорок пятом году в семье московского инженера-химика; мать — журналистка; окончил факультет журналистики Московского университета, был назначен в областную газету сибирского города, после года работы в отделе писем увлекся комсомольскими делами — два года был инструктором обкома комсомола, потом решил перебраться в район, мотивировав это так: «Хочу начать с первооснов». Был известен как человек общительный, спокойный, твердый в отстаивании собственной точки зрения.

Сейчас Кирилл Бойченко сосредоточенно раздумывал, с чего начать, и по нему было видно, что оба вопроса были нелегкими, и Прохоров понимал, что Кирилла торопить не следует — ему сейчас было так же трудно, как за письменным столом, когда на чистом листе бумаги стоял только заголовок.

Пока Кирилл сосредоточенно молчал, Прохоров определился в пространстве и времени — было без пяти минут три. Полчаса назад приехал из лесосеки участковый Пилипенко, сообщил, что он, участковый инспектор, договорился с машинистом паровоза, который пообещал придерживаться той же скорости возле проселочной дороги на хутор, что была протокольно зафиксирована двадцать второго мая. Потом Пилипенко сказал: «Метеорологические условия будут полностью соответствовать условиям двадцать второго мая. Этот вопрос, товарищ капитан, я увязал с отчимом погибшего Столетова...»

Местонахождение Прохорова в пространстве выглядело так: за окном потихоньку приходила в себя от жары Сосновка. Река Обь беззвучно и плавно текла к Ледовитому океану, несла на себе быстрый от одиночества буксирный пароход, а лодки рыбаков уже понемногу выбирались из тайных браконьерских мест, чтобы полавливать запрещенное — осетров и тайменей. На небе упрямо не существовало ни облака, ни тучи, и от этого оно казалось темным, низким.

— Я начну с того, что Евгений Столетов был яркой личностью, — сказал наконец Кирилл Бойченко. — Он был так оригинален, что в райкоме комсомола кое-кто был против его кандидатуры в секретари...

Он помолчал, как бы давая Прохорову время обдумать сказанное, и когда ему показалось, что собеседник способен понять и последующее, неторопливо продолжил:

— Это не похвальба, Александр Матвеевич, но самым горячим поклонником Столетова был я, курирующий организацию лесопункта. А сошлись мы с Евгением на литературе... Вы читали «Над пропастью во ржи» Селинджера?

— Читал. А что?

— Мы с Евгением однажды целый вечер говорили о ней. Вот с этого и началась дружба...

Черт возьми, что происходило в Сосновке и ее окрестностях! Только за год, подсчитал в уме Прохоров, шесть сельчан побывали в заграничных туристских поездках, девятнадцатилетний Генка Попов свободно говорил на английском, начальник лесопункта изобретал трактор, парторг Голубинь, имея уже одно высшее образование, заочно учился на историческом факультете педагогического института, тракторист и секретарь райкома сошлись на Селинджере.

Когда Прохорову было столько же лет, сколько сейчас Кириллу Бойченко, председатель их колхоза имел четырехклассное образование, секретарь райкома ВЛКСМ ходил в драном полупальто и спрашивал Прохорова: «Я с тобой уже поздоровался?», за граница казалась далекой, как луна, слово «синекура» никто не знал, из американских писателей был известен только Теодор Драйзер; в районном центре бегало всего два легковых автомобиля марки М-1 — первого секретаря райкома и начальника райотдела КГБ... Подумать только, что это было

немного больше двадцати лет тому назад!

— Селинджеровские утки потрясли Женю, — продолжал Кирилл. — Вы помните: в окружении Холдена Колфилда не нашлось человека, который мог бы ответить на вопрос подростка: «Где зимуют утки, когда замерзает пруд в центральном парке Нью-Йорка?» Женя сказал: «Хочется, чтобы был всегда человек, отвечающий на вопрос: где они зимуют?»

В Кирилле, пожалуй, все-таки чувствовался Московский университет с его оттенком академичности, аристократизмом последних лет, огромной информированностью студентов и, по мнению Прохорова, отставанием от жизни. Будучи выпускником юридического факультета Томского университета, Прохоров относился к московским коллегам с корпоративной отстраненностью.

— Меня подкупали в Столетове искренность, честность, работоспособность, умение быть верным в дружбе, — продолжал Бойченко. — Он был настоящим комсомольцем, но в силу оригинальности своего характера зачастую совершал необдуманные поступки, и его ошибки некоторым мешали увидеть достоинства Евгения, а они, несомненно, перекрывали его недостатки.

Кирилл вынул пачку сигарет с фильтром, повертел ее в пальцах, неторопливо распечатал целлофановую обертку.

— Много курите! — сказал Прохоров. — Полдень, а вы распечатываете свежую пачку.

— Это первая! — в ответ улыбнулся Кирилл, и капитан Прохоров сразу же подумал о том, что если человек с утра носит при себе сигареты, но не распечатывает их, то о нем можно думать как о человеке умеренных страстей. В Кирилле, наверное, жил тот легкий налет рационализма, который был свойствен некоторым парням из комсомольского руководства. Капитан Прохоров, собственно, ничего не имел против того, что ребята склада Кирилла Бойченко к жизни подходят с научными мерками, умеют и учатся раскладывать действительность по социальным полочкам — сам Прохоров этим занимался с утра до вечера, но иногда при виде строгих костюмов и модных галстуков комсомольских вожаков элегически вздыхал по гимнастерке и телогрейке.

— Поставим точки над «и»! — сказал Кирилл. — Я поддерживал Столетова потому, что он мне казался типом комсомольца семидесятых годов. И для меня, конечно, не прошел бесследно инцидент с лектором Реутовым. Мне его впоследствии ставили в упрек...

Прохоров насторожился.

— Это, вероятно, произошло после того, как райком получил выписку из протокола собрания?

— Естественно! — ответил Кирилл. — Мне откровенно говорили: «Что посеешь, то и пожнешь... Тебя же предупреждали насчет Столетова...» Видимо, такой же упрек слышал в райкоме партии парторг участка Голубинь.

Они помолчали, потом Прохоров попросил:

— Расскажите об отчетно-выборном собрании, Кирилл. Оно, кажется, было в октябре...

— Собрание, пожалуй, было обыкновенным и состоялось действительно в октябре, — ответил Бойченко. — Большинство проголосовало за Евгения Столетова, а вот перед собранием Евгению был дан жестокий урок. Его вызвал для беседы парторг лесопункта Голубинь. В его кабинет мы вошли вместе с Женей. Парторг Голубинь сидел за маленьким письменным столом... ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...парторг Голубинь сидел за маленьким письменным столом, глядел на Женьку благожелательно, задумчиво и, как всегда, был странен нездешним лицом, неожиданностью, непредугаданностью жестов; Голубинь был альбиносом, кожа на лице у него была красная, а на шее — обыкновенная. Весной же на лице Голубиня выступали крупные частые веснушки, и это делало парторга до восхищения забавным.

— Садитесь, товарищи! — сказал Голубинь и, вместо того чтобы показать на стулья, сделал такой жест, словно отрицал что-то. — У нас есть необходимость торопиться...

Парторг был интересен Женьке... Сейчас он похаживал возле стола с таким выражением лица, которое было противоположным предстоящему разговору: речь, вероятно, должна была пойти о случае с лектором Реутовым, а у Голубиня на лице было написано совсем другое.

Кирилл Бойченко сказал:

— У райкома комсомола есть мнение рекомендовать на пост секретаря комсомольской организации Евгения Столетова. Может быть, у вас, Марлен Витольдович, будут какие-нибудь соображения, критические замечания?

Голубинь молча и неторопливо продолжал разгуливать по кабинету, хотя сам сказал, что надо торопиться.

— Предпочитаю говорить о том, чего вы ждете, товарищи! — наконец сказал Голубинь. — Мне хочется рассматривать этот вопрос не с одной стороны, а с нескольких.

Женька незаметно улыбнулся, так как все уже знали об удивительной способности Голубиня, работающего в Сосновке всего третий месяц, подходить к любому делу, даже к самому простому, с нескольких точек зрения, причем парторг иногда находил такие неожиданные стороны дела, что люди ахали.

— Мне есть необходимость подходить к делу не с одной стороны, а с нескольких потому, — сказал Голубинь, — что, видимо, райком комсомола решил взвалить ответственность на мои плечи...

То, что сказал Голубинь, было смешно и неожиданно, но еще более странно выглядел при этом сам парторг — он сделал не утверждающий, а отрицательный жест, и не улыбнулся, а погрузился.

— Я не буду говорить о той стороне, что перегораживание улицы выглядит хулиганством, — сказал Голубинь. — Нами также не может быть упущена та сторона дела, которая относится к области этики... — Он неожиданно мягко улыбнулся. — Интеллигентный человек не имеет обыкновения выставлять на обозрение общества недостатки другого человека, а проявляет при этом такт...

Было что-то мягкое, успокаивающее в том, что Голубинь, произнося правильно русские слова, забавно путался в падежах и склонениях. И смотреть на него Женьке было легко, хотя Голубинь говорил о неприятном.

— Главный сторона дела в том, что Евгений не относится к той категории людей, которые склонны предусмотреть последствия свой поступков, — по-прежнему мягко продолжал Голубинь. — Если бы он дал себе труд секундочку подумать, он бы обнаружил, что перегораживанием улица нанес вред антирелигиозной пропаганда...

Вот это и была та неожиданная сторона дела, когда приходилось удивленно ахать.

— Ко мне приходил Тогурский поп, — неторопливо продолжал Голубинь. — Будучи очень

умный и насмешливый человек, поп не упустил такую возможность, чтобы не выразить соболезнование. Поп имел большой праздник, когда товарищ Реутов, читающий антирелигиозные лекции, был скомпрометирован. Нет гарантии, что поп не выразит соболезнование райисполкому!

Голубинь мелкими шажками вернулся к столу, сделав такой жест, какой делает человек, когда собирается еще говорить, сел на место.

— Прошлое трудно исправлять, — сказал он. — Однако мы обязаны с позиции прошлого смотреть на будущее, делать коррективы в подходе к делам...

Женька сел прямо.

— После избрания на пост секретаря наш протезе будет иметь возможность расширить круг последствий необдуманных поступки, — сказал Голубинь с улыбкой и поправился: — Надо, наверное, сказать так: необдуманных поступков!.. Должность комсомольского секретаря — ответственная должность! Поэтому я хочу задать вопрос: обдумал ли наш протезе все стороны своей будущей работа?

И Женька Столетов опять увидел на лице парторга непредугаданное выражение: глаза Голубиня должны были выражать желание узнать, понимает ли будущий секретарь ожидаемые трудности, а на самом деле они были печальны и нерешительны. Сделав такое наблюдение, Женька вздохнул, прикрыв ладонями свои острые колени, задвинулся в угол дивана.

— Я не набиваюсь в секретари, — сказал он. — Есть Лузгин, Маслов, Соня Лунина... — Женька усмехнулся. — Зачем, собственно, меня пригласили?

Голубинь взял со стола три цветных карандаша — синий, красный, зеленый, — катая их в пальцах, сказал:

— Нам известно о желании большинства комсомольцев избрать вас секретарем.

Женька медленно поднялся с дивана.

— В школе есть смешная формула, — сказал он. — Там после очередной нотации принято спрашивать: — «Ну, что ты понял, Столетов?»

Голубинь улыбнулся:

— Так что вы поняли, Столетов?

— Я понял, что кончилась школа.

— Тогда мы имеет возможность пойти на собрание.

Они еще несколько секунд посидели молча, как перед дальней дорогой, затем одновременно встали.

Три часа сорок шесть минут показывал прохоровский сверхточный хронометр, когда Кирилл закончил рассказ о комсомольском собрании. Кирилл Бойченко курил уже третью сигарету, но внешне был по-прежнему спокоен, полон свежей энергии, одним словом, оставался таким же, каким вошел в кабинет.

— Против Столетова голосовало всего четыре человека, — сказал он. — Меня обрадовало,

что эти четверо были отпетыми бузотерами и лентяями... — Он сделал небольшую паузу. — На второй ваш вопрос, Александр Матвеевич, ответить труднее. Вы спросили: «Что известно райкому комсомола о конфликте Гасилов — комсомольская организация лесопункта?»

Кирилл Бойченко встал со стула, подойдя к окну, оперся спиной о наличник и посмотрел на Прохорова исподлобья.

— Райком не изучал конфликт, — медленно произнес он. — Дело в том, что многие в райкоме комсомола считали Столетова несерьезным человеком, а когда был получен протокол, в котором черным по белому стояло: «Собрание решило: усилить спортивную работу, не иметь ни одного комсомольца без комсомольского поручения и снять с должности мастера Гасилова», в райкоме комсомола долго веселились...

Кирилл спиной прикрывал половину окна, но Прохоров видел, как по Оби медленно двигался небольшой буксирный пароход, названный хорошо — «Лунный».

— Я тоже слишком поздно понял, — сказал Бойченко, — что за детскостью и внешним легкомыслием Евгения Столетова скрывалось настоящее, серьезное, подлинное... Поэтому, вместо того чтобы вникнуть в главное, мы были заняты мелочами — разбором всяческих казусов, происходящих в организации Сосновского лесопункта.

Прохоров удивленно посмотрел на Бойченко:

— О каких казусах идет речь? Мне о них ничего не известно...

— Это естественно, — ответил Бойченко. — Мы старались не подрывать авторитет Столетова и работали с ним незаметно для окружающих...

Прохоров тоже встал, скрестив руки на груди, насупился. «Интересное кино получается, — сердито подумал он. — С человеком, жизнь которого я изучаю до тонкостей, оказывается, происходили казусы такого масштаба, что в них вмешивался райком комсомола, а я ничего об этом не знаю!»

— Кирилл, — слишком, пожалуй, громко попросил Прохоров, — вы мне должны рассказать об этом...

— Пожалуйста! — пожав плечами, ответил Бойченко. — Вскоре после отчетно-выборного собрания из комсомола был исключен Сергей Барышев, а бюро райкома не нашло в протоколе серьезных мотивов для исключения... Еще через месяц в райком поступило анонимное письмо о том, что Евгений Столетов морально разлагается — живет одновременно с тремя женщинами... Последней каплей, переполнившей чашу, было известие о забастовке наоборот. О ней мы узнали из письма того самого Сергея Барышева, который был исключен из комсомола. Я немедленно выехал в Сосновку... — Кирилл остановился. — Я приехал утром, когда Евгений Столетов уже был... Его уже не было в живых...

Они долго молчали, потом Прохоров спросил:

— Что это значит — забастовка наоборот?

— Не знаю, — тихо ответил Бойченко. — Смерть Столетова помешала расследованию...

Кирилл Бойченко определенно нравился Прохорову. В нем не было и капли фальши, он не играл в руководящего работника, был откровенен, когда признался, что слишком поздно понял Евгения Столетова, и стоял он возле окна хорошо — ни веселый, ни грустный, ни настороженный.

Прохоров вышел из-за стола, протянул Бойченко руку.

— Спасибо вам за откровенный разговор, — сказал он. — До свидания, Кирилл!

Глядя на широкую, сильную и прямую спину уходящего Бойченко, капитан Прохоров думал о том, что это тоже хорошо — черный костюм из тонкой шерсти, узконосые туфли, белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и распушенным узлом галстук. Затем Прохоров сел за стол, откинулся на спинку стула, думаяще прищурился... Исключение из комсомола Барышева, распутная жизнь и, наконец, забастовка наоборот. Что это значит, а? Не связано ли это с тем, отчего друзья Столетова замолкают в ту же секунду, как только речь заходит о событиях на лесосеке двадцать второго мая? Забастовка наоборот — что скрывается за этими двумя словами?... Углубленный в размышления, Прохоров вздрогнул, когда на крыльце раздались тяжелые шаги и заскрипели половицы, а потом в дверь громко постучали.

— Входите, пожалуйста!

Дверь широко распахнулась, и в кабинет вошли маленький Никита Суворов и его огромная жена Мария Федоровна.

Она могучей рукой держала мужа за воротник, отчего казалось, что Никита висит в воздухе. Позабыв поздороваться, Мария Федоровна зашипела рассерженной гусиной:

— Признавайся, идол, говори правду, а не то... Я не знаю, что с тобою сделаю, если ты не поможешь поймать убийцу Столетова...

Заметив, что муж не пытается вырваться, она сняла руку с его воротника и подошла к столу, за которым сидел Прохоров.

— Никита готовый подписать все бумаги, — трудно проговорила она. — Я ведь чего испугалась, когда вы приходили в контору? Я думала, что вы Никиту в смертоубийстве подозреваете, а он, черт свинячий, оказывается, не хочет указать на того человека, который Евгению смерть причинил... — Мария Федоровна шлепнула ладонью по столу. — Да ведь Столетовы нам как родные. Кто тебя от смерти спас, Никита, когда у тебя перитонит произошел? Мать Столетова. Кто нашего Андрейку от скарлатины лечил? Дед Столетова. Товарищ милиционер, доставайте ваши бумаги, Никита их подписывать готовый!

Прохоров не выдержал, улыбнулся, так как Никита стоял с таким лицом, словно его собрались вести на лобное место: маленький да еще съездившийся, он казался подростком рядом с Марией Федоровной.

— Товарищ милиционер, — в третий раз повторила Мария Федоровна, — доставайте ваши бумаги, он готовый их подписывать.

Взяв себя в руки, Прохоров с официальным видом вынул из стола протокол беседы с Никитой Гурьевичем Суворовым, положив на него шариковую ручку, строго произнес:

— Протокол вы подпишете потом, Никита Гурьевич. А сначала вы должны написать объяснение, в котором скажете, что никакой драки на берегу озера Круглого не было. Если вы не возражаете, я продиктую то, что следует написать...

Шагами лунатика Никита подошел к столу, осторожно опустился на стул, замедленным движением взял шариковую ручку. Лицо у него было несчастное, испуганное, робкое, но Мария Федоровна была непреклонна:

— Пиши, идолище, пиши!

Прохоров сел на подоконник, секундочку подумав, начал диктовать:

— Я, Никита Гурьевич Суворов, вечером двадцать второго мая этого года...

6

На следующее утро капитан Прохоров проснулся с ощущением удачи и не сразу понял, чем это вызвано, но, бросив случайный взгляд на письменный стол, улыбнулся. Ощущение удачи объяснялось просто: Никитушка Суворов дал такие показания, которые уже вели к цели.

Прохоров позвонил начальнику лесопункта Сухову и попросил прислать машину, о которой они договорились еще вчера.

— Машина выйдет за вами через пятнадцать минут! — деловито ответил Сухов. — Номер пятнадцать — шестьдесят три...

Прохоров завязывал галстук, когда за окном послышался звук автомобильного мотора, запыленный, пышущий зноем «газик» резко затормозил у крыльца. Из него медленно выбрался пожилой водитель, одетый в клетчатую ковбойку и толстые суконные брюки, на босых ногах у него были теплые домашние тапочки. Шофер бесшумно поднялся на крыльцо, войдя в комнату, не поздоровался, а только неприветливо насупился.

— Кто тут будет Прохоров? — недружелюбно спросил он, хотя в кабинете, кроме Прохорова, никого не было. — Я спрашиваю, кто здесь будет Прохоров?

Губы у шофера были брезгливо оттопырены, спина надменно пряма, в глазах читалось презрение ко всему человечеству, а теплые тапочки, надетые на босые ноги, как бы кричали: «Что хочу, то и делаю, а все вы гроша ломаного не стоите!» Увидев это и поняв водителя, Прохоров вплотную подошел к нему, замерев, начал пристально глядеть в глаза и молчал. Это походило на детскую игру в гляделки и длилось до тех пор, пока водитель не опустил взгляд.

— Значит, вы и будете капитаном Прохоровым? — пробормотал он.

Он и на этот раз не получил никакого ответа, так как Прохоров поступил просто — вышел на улицу и сел на переднее сиденье машины.

— Подвезите меня к Кривой березе, — коротко распорядился он.

На этом поединок между капитаном Прохоровым и водителем «газика» Николаем Спиридоновым не был завершен. Всю недолгую дорогу до Кривой березы водитель презрительно косился на Прохорова, что-то шептал про себя, а когда машину подбрасывало на ухабах и Прохоров инстинктивно хватался за металлическую скобу, мстительно ухмылялся.

Кривая береза на самом деле была кривой. Ее ствол метра на три поднимался из земли прямо, затем совершал такой крутой изгиб, что метра на полтора уходил в сторону: да, чудное это было дерево, но по-своему красивое, так как в отличие от обыкновенных берез на нем было так много листьев, что это уже казалось расточительством. Необыкновенная береза стояла в центре огромной солнечной поляны, испещренной цветами. Эта поляна была из тех полян, какие бывают в молодости каждого деревенского жителя — юноши или девушки — и о которой не забывают до последнего дня жизни... Над поляной поднималось волнистое марево, пахло разнотравьем, гудели в воздухе пчелы и осы, трава была высока — до пояса, солнце на поляне как бы растворялось, и от этого возникало желание броситься грудью на землю, пропитаться ее теплом, запахами травы и цветов, приложив ухо к земле, слушать

непонятное гудение. Поляна звала гулять по ней с девушкой, рвать цветы и молчать, так как поляна сама разговаривала... «А вот у меня не было такой поляны, — с привычной грустью подумал Прохоров. — Какая там поляна, когда нельзя было высунуть голову из окопа...»

Вороной жеребец Рогдай, на котором мастер Петр Петрович Гасилов трижды в неделю совершал верховые прогулки, пасся на южном конце поляны; на нем не было ни пут, ни узды. Подняв голову, жеребец приглядывался к людям, ноздри раздувались, почуяв запах бензина. Это было прекрасное животное — небольшая змеиная голова, могучая выпуклая грудь, тонкие и длинные ноги, удлиненное, созданное для скорости тело. Когда Прохоров подошел к Рогдаю, жеребец потянулся к нему, осторожно и мирно переступая тонкими, ненагруженными ногами; лиловые глаза были постно опущены, подвязанный хвост болтался, словно был лишним.

За спиной Прохорова что-то происходило. Шофер Николай Спиридонов тихонечко подошел к нему, остановился так близко, что Прохоров слышал злобное пыхтение. Молчал шофер, наверное, с полминуты, потом раздался его насмешливый голос.

— Спортили жеребца! — сказал он и мстительно захохотал. — Шестой год ничего не делает... Поездит на нем Гасилов, душеньку потешит, и опять Рогдаюшка пасется, как комолая пеструха...

Прохоров к водителю не повернулся, так как был занят другим делом — старался представить, как приходит к Кривой березе мастер Петр Петрович Гасилов. Вот он несет переброшенную через плечо красивую уздечку, седло — непременно монгольское — спрятано где-то рядом с березой; мастер шагает спокойно, лицо у него удовлетворенное, плечи горделиво развернуты.

Увидев Гасилова, Рогдай призывно ржет, обрадованный, бросается к нему. Гасилов с улыбкой протягивает ладонь, на которой лежат несколько кусочков сахара, потом ласково и по-родственному похлопывает жеребца по холке...

— На трех меринов и одну кобылу жеребца выменял, — слышался за спиной по-прежнему злой голос шофера. — Четыре коняги при орсовской столовой работали, а Гасилов взял да и променял их на Рогдая. Говорит, надо товары и воду на автомобилях возить... Ну и никто слова супротив не сказал — выше Гасилова начальства нету!

Прохоров уже видел, как Гасилов взнуздывает Рогдая, надевает седло, затягивает подпруги; глаза у него почти счастливые, голос ласковый: «Ну, постой на месте минуточку, постой, Рогдаюшка!» А вот Гасилов уже в седле — это не просто всадник, это, черт побери, конный памятник, волнующее зрелище. «А самое обидное, — думал Прохоров, — что под Гасиловым жеребец хоть на секундочку да превращается в Красного Коня!»

— Жил-был на свете писатель Исаак Бабель, — обращаясь к жеребцу Рогдаю и солнечной поляне, сказал Прохоров. — И вот он написал: «Жизнь нам казалась лугом, лугом, по которому ходят женщины и кони». — Прохоров помолчал. — А потом появился человек и заменил в этой фразе слово «ходят» на слово «пасутся»...

Капитан Прохоров резко повернулся к шоферу, глядя снова пристально в его обиженно-наглые глаза, сказал:

— Евгений Столетов не ошибся: слово «пасутся» точнее выражает суть дела... Что вы думаете насчет этого, товарищ Спиридонов?

Шофер огорошенно молчал, нижняя губа у него оттопырилась, он переступал с ноги на ногу в своих домашних тапочках.

— Так что вы думаете об этом, товарищ Спиридонов? — сухо переспросил Прохоров.

Глухо стукнули о землю некованные копыта, Рогдай медленно обошел опасное растение — вех, расставив задние ноги, лениво помочился на теплую траву. Ко всему на свете безразличный, жеребец уже не помнил о Прохорове, притерпелся к запаху бензина; он снова жил в привычной, скучной, обыденной обстановке поляны, похожей на громадный обеденный стол.

— Почему вы молчите, товарищ Спиридонов? — дружеским тоном спросил Прохоров. — Вы же сами подошли ко мне и начали разговор, а вот теперь молчите...

Прохоров про себя усмехнулся: пока он наблюдал за Рогдаем, шофер Николай Спиридонов вернулся в свое обычное состояние — плотно сжатые губы, выпяченный подбородок, презрительно сощуренные глаза, пренебрежительно-прямая спина. Весь этот арсенал был пущен в бой и на этот раз не против всего человеческого рода, а только против одного Прохорова.

— Кожаная подошва или резиновая? — мирно спросил Прохоров, показывая на тапочки водителя.

Вопрос был таким будничным, простым и неожиданным, что шофер только фыркнул:

— Резиновая, где ты теперь возьмешь кожаную...

— Удобная вещь! — завистливо вздохнул Прохоров. — Шнуровать не надо, носок надевать не надо, портянки вертеть не надо... Вскочил с постели, поел наскоро и — за руль...

«Собственно говоря, — неторопливо размышлял Прохоров, — шофера Спиридонова нельзя целиком и полностью обвинять в том, что он презирает каждого пассажира в отдельности и все человечество в целом; с шофера не следовало взыскивать за ношение домашних тапочек в рабочее время, если мастер Петр Петрович Гасилов в рабочее время трижды в неделю совершает променаж на жеребце Рогдае».

— Презираете меня? — ласково обратился Прохоров к шоферу. — Стоите, ухмыляетесь и думаете: «Чего выламывается этот милиционериска, который не захотел пройти ножками полтора километра, а потребовал машину!» Ну, признавайтесь, что думаете так, Николай Васильевич?

Шофер был в таком возрасте, когда здоровому и загорелому человеку можно было дать и тридцать лет, и пятьдесят.

Николаю Спиридонову, пожалуй, было пятьдесят, так как кожа на шее была уже немолодой.

— Нам все равно, кого возить и куда возить, — плюнув в сторону, ответил шофер. — Нам что поп, что попадья — один черт. Шесть часов набежит — и меня поминай как звали!

Рогдай перестал щипать траву. Понурился, он стоял неподвижно, и было понятно, что жеребец заснул на ходу.

— Кого вы больше любите возить, Николай Васильевич, — спросил Прохоров, — Сухова, технорука Петухова или мастера Гасилова?

— Всех ненавижу! — неожиданно быстро, горячо и громко ответил водитель. — Ненавижу! Презираю!..

После этой искренней вспышки гнева и презрения шофер Николай Васильевич Спиридонов взял да и превратился в обыкновенного человека — у него были карие умные глаза, отличной

формы подбородок, полные губы и волевой изгиб левой брови; у него было хорошее рабочее лицо, противопоставленное и презрительным улыбкам, и натянутой гордо спине, и тапочкам. Было ясно, что на «руководящем» автомобиле Спиридонов работает недавно, что пришел он к «газику» с лесовозной машины.

— Давайте отделим одного начальника от другого, — весело предложил Прохоров. — Оставим в стороне Сухова и Петухова, а остановимся на Гасилове... За что вы его ненавидите?

— За все! — ответил шофер. — Когда я везу Гасилова, я из него душу вытрясаю, как вот из вас вытрясал...

— А за что вы его так ненавидите? — спросил Прохоров. — Мне хочется понять, за что вы так ненавидите мастера?

Шофер сорвал травинку, сунул ее в рот, задумался.

— А я сам не знаю, за что ненавижу Гасилова, — искренне ответил он. — Мне все противно в нем. Как он потирает руки, как здороваётся, как разговаривает, как ездит на Рогдае... Он и бригадира себе подобрал. Одно слово — Притыкин...

Они помолчали, затем Прохоров сочувственно покачал головой.

— Да, такое случается, — сказал он. — Не можешь терпеть человека, а сам не знаешь за что... У меня к вам еще один вопрос, Николай Васильевич... Кого вы везли в машине, когда первый раз в жизни вышли на работу в тапочках?

— Гасилова! — не задумавшись ни на секунду, ответил шофер.

Легкий ветер с юга пронесся над солнечной поляной, Кривая береза зашелестела и сделалась седой, так как ветер перевернул листья наизнанку: поляна была сейчас похожа на взбудораженную реку.

— Николай Васильевич! — попросил Прохоров. — Покажите место, где погиб Евгений Столетов и по какой тропинке любит ходить к Кривой березе сосновская молодежь...

Спиридонов согласно кивнул:

— Идите за мной.

Раздвигая руками высокую густую траву, они вышли на северный край поляны, свернув налево, оказались на довольно широкой, хорошо утопанной тропинке. Молча показав на нее пальцем, Спиридонов пошел по ней к полотну железной дороги, где тропинка, взобравшись на полотно, перепрыгнула через рельсы и потекла дальше.

— Мы пришли на место, — тихо сказал Спиридонов. — Если вы перейдете через железную дорогу, то попадете на Хутор, если пойдете обратно, то попадете к Кривой березе...

Прохоров медленно двинулся вдоль полотна железной дороги и, конечно, нашел то, что искал, — лежал на высохшей от зноя земле небольшой белый камень, росла вокруг него густая и мягкая трава, полотно было песочным, мягким, и не верилось, что, спрыгнув с поезда, человек мог удариться затылком именно об этот камень. Из миллиона различных вариантов на долю Женьки Столетова выпал самый страшный.

— Хороший был парнишка! — слышался за спиной голос Спиридонова.

Казалось фиолетовым безоблачное небо, головки цветов и травы пошевеливались, в

двухстах метрах от железной дороги стоял спал жеребец Рогдай. Было тихо, мирно, томно; в мире все было таким, что казалось: смерти не существует...

Прохоров решительно распорядился:

— Возвращаемся к машине, Николай Васильевич. Мы должны немедленно ехать на лесосеку, чтобы попасть к нужному нам поезду...

Ровно через час двадцать минут капитан Прохоров приехал на лесосеку, попрощавшись с водителем, подошел к кондуктору Акимову и машинисту паровоза. Они о чем-то коротко поговорили, и Прохоров взобрался на тормозную площадку груженой платформы. Через две-три секунды после этого паровозик оглушительно-тонко закричал, лязгнули игрушечными буферами платформы, состав дернулся и начал набирать скорость.

Не прошло и десяти минут, как Прохоров понял, что на ходу игрушечный паровозик и игрушечные платформы казались совсем не игрушечными; еще на выходе из лесосеки состав набрал примерно шестидесятикилометровую скорость, тяжело груженные сцепы закричали, застонали, в пространство между ними бросился тугий упругий ветер, откосы дороги сливались в такую же стремительную линию, как на ходу обычного поезда, а езда на тормозной площадке узкоколейного паровоза ничем не отличалась от езды на площадке обычного ширококолейного поезда.

Выбравшись на магистраль, узкоколейный паровозик еще прибавил скорость; ветер бешено завихрялся между платформами, а с бревнами творилось бог знает что — обхваченные цепями и крепкой проволокой, они грозно раскачивались, скрипели, скрежетали; торцы бревен казались живыми, подвижными, и было вообще непонятно, как сосновые стволы удерживаются на платформе, как не лопаются цепи, как весь состав не сходит с рельсов, которые не только прогибались под колесами, но в иные секунды — это Прохоров видел собственными глазами — отдельные колеса оказывались висящими в воздухе, а в одно из мгновений лишилась рельсовой опоры целая вагонная тележка. Прохоров в этот момент закрыл глаза.

Однако паровозишко все еще набирал скорость, воздух между платформами продолжал уплотняться, из-под неисправной тормозной колодки в серый мрак летели веселые искры; паровозишко то и дело задиристо вскрикивал, и на крутых поворотах было видно, как суетливо, задыхаясь, мельтешат штоки поршней, с огромной скоростью вращаются крошечные колеса, а из трубы валит такой черный густой дым, которого на широкой колее не увидишь, так как на ней паровозы топят не дровами, а отборным углем. Из паровозной будки высывалась голова машиниста, он спокойненько посматривал вперед.

Перестав беспокоиться за судьбу состава и за самого себя, Прохоров устало улыбнулся, сел на откидную скамейку и закрыл глаза...

Итак, он ехал той же дорогой, которой возвращался домой двадцать второго мая Евгений Столетов, сидел на той же тормозной площадке, на которой сидел погибший; платформа тоже была пятой по счету от паровоза, как в тот трагический майский день.

Время уже откусило у полной луны небольшую краюшку, луна шла на ущерб, но свет ее был еще полон и глубок; луна охотно бежала за поездом, стояла ожидающе на месте, когда поезд совершал головокружительный поворот, суетливо перепрыгивала через вершины близких к железной дороге высоких сосен. Тайга, облитая желтым светом, казалась таинственной, притаившейся, деревья сделались отчетливыми, контурными, словно их вырезали из черной бумаги и приклеили на желтое. Когда тяжелый состав вписывался в крутые повороты, впереди и позади поезда видны были две блестящие полосы рельсов, похожие на серебряные паутинки, что погожей осенью плавают в голубом небе.

Минут через тридцать Прохоров встал, подошел к левой подножке тормозной площадки, задыхнувшись от встречной струи воздуха, по километровым столбам определил, что до места происшествия оставалось чуть больше трех километров. Платформу трясло и покачивало, приходилось держаться руками за поручень и деревянную стойку, из-под левого ската впереди идущей платформы по-прежнему брызгали в стороны мелкие красноватые искры. «Вот в такой позе мог находиться Столетов перед прыжком, — размышлял Прохоров. — Он мог стоять и в другой позе, если готовился к схватке с Заварзиным. А третий вариант таков: Столетов стоял спиной к железнодорожной насыпи...» Прохоров обернулся назад, чтобы представить себе, где мог стоять Аркадий Заварзин, если он на самом деле находился на этой же тормозной площадке.

Аркадий Заварзин стоял, видимо, возле второй деревянной стойки, блестела во рту золотая фикса, были ласковыми красивые влажные глаза, профессионально ссутулены плечи. За несколько минут до рокового прыжка Столетова или... за несколько минут до того, как Столетова столкнули, на тормозной площадке произошло что-то решительное, что-то изменилось в расстановке сил, возникло какое-то изменение в позах Столетова и Заварзина, в выражении их лиц, душевном состоянии... Почему Столетов прыгал с поезда неподалеку от Кривой березы, было ясно и первокласснику, а вот по какой причине Аркадий Заварзин столкнул Евгения почти в конце пути, оставалось загадкой, если... если Заварзин был на самом деле виновен. Значит, происходило что-то такое, что изменило соотношение сил. Смутно все, загадочно, хотя... «Опять хочешь иметь ружье-сковороду! — остановил себя Прохоров. — Ой, сколько раз ты горел на спешке! Неужели ты ничему не научился, Прохоров?»

На последнем повороте перед Кривой березой паровоз загудел длинно, призывно, предупреждающе, словно сообщал близкой Сосновке, что благополучно возвращается из темного страшного леса в ее уютные светлые дома и что капитану Прохорову пора готовиться к прыжку. Перестав кричать, плавно вписавшись в поворот, поезд пошел со скоростью пятьдесят километров в час, и это была такая скорость, с какой любой состав выходил из поворота возле Кривой березы. Обстановка была точно такой, как двадцать второго мая. Прохоров застегнул пиджак, поправил брючный ремень, приготовился — платформа по-прежнему раскачивалась, как детская люлька, убегающая назад обочина сливалась в серо-лунную полосу, ветер резал глаза.

...За минуту до прыжка Прохоров настроил себя таким образом, что спиной как бы почувствовал Аркадия Заварзина, решив, что в стуче колес и в свисте ветра можно услышать его шаги и движения, приготовился и к прыжку, и к драке с бывшим уголовником. Потом капитан Прохоров ощутил всем напряженным телом, как страшно прыгать с платформы, имея за спиной вооруженного ножом Аркадия Заварзина.

Прохоров осторожно поставил левую ногу на подножку, держась правой рукой за поручень, высунулся в гудящее от ветра пространство; потом Прохоров наклонился вперед так, как наклоняется перед стартом бегун. Глядя на последний вагон поезда, он дождался, когда трижды ярко вспыхнул кондукторский фонарь, — это кондуктор Акимов предупреждал Прохорова о том, что через тридцать секунд надо прыгать. Он неторопливо посчитал до тридцати и расчетливо, стремительно бросился в мчавшиеся навстречу лунность, упругий поток воздуха, в катастрофическую неразбериху земли, неба и тайги... Затвердевшая земля ударила Прохорова по ногам, ветер полоснул по разгоряченному лицу, жутко блеснул в лунном свете небольшой камень, о который ударился головой Евгений; потом земля и небо на секунду перевернулись, поменялись местами, и земля притянула голову Прохорова к себе, но он не хотел этого и с бешеной скоростью переставлял ноги, которые отставали от туловища и головы, и это было очень и очень опасно. Страх упасть на землю, удариться о нее с огромной силой длился две-три секунды, которые показались Прохорову вечностью, затем — неизвестно как и почему — он начал выпрямляться и выпрямился совсем, когда оказался примерно в ста метрах от белесого камня, похожего на череп.

Остановившись совсем, запально дыша, Прохоров инстинктивно огляделся — мелькнул хвостовой вагон поезда с раскачивающимся красным фонарем; паровозишко в честь удачного прыжка Прохорова восторженно запищал, а затем наступила тишина, в которой отчетливо слышалось учащенное биение прохоровского сердца. От волнения Прохоров не мог стоять на одном месте и поэтому пошел по откосу, хотя ему надо было идти к Кривой березе, от которой до поселка было всего полтора километра. Он шел и думал о том, что Женька Столетов не мог совершить неудачный прыжок, так как, по утверждению Андрея Лузгина, они еще мальчишками прыгали с платформ возле Кривой березы.

«Куда я иду?» — наконец опомнился Прохоров и остановился. Кривая береза оставалась позади, знаменитая поляна была похожа на огромный яичный желток, жеребца Рогдая не было, так как именно сегодняшним вечером на нем гарцевал Гасилов, а после прогулки оставил Рогдая в пустой конюшне. Кривая береза в лунном свете походила не на березу, а на какое-то южное дерево и была менее красива, чем при солнечном освещении.

Кривая береза. Кривая береза! До нее доходили в совместных прогулках технорук Петухов и Людмила Гасилова; они могли стоять под березой, когда Женька Столетов спускался на подножку, потом висел над бездной, и ему навстречу уже летел белый камень. Испуганно и предупреждающе вопил крошечный паровоз, Людмила безмятежно улыбалась. Петухов думал о свадьбе... Затем смерть, небытие, господь бог верхом на серебряном облаке...

Все та же надкушенная луна светила в окна пилипенковского кабинета, стрелки сходились уже на двенадцати, а Прохоров, закинув руки за голову, все лежал и лежал ничком на раскладушке. Давно затихли в деревне всяческие звуки, было тихо, лаяли только собаки, но это не нарушало тишину, а делало ее еще более емкой, так как деревенская тишина без собачьего лая казалась бы искусственной.

Сначала Прохоров думал о дорогах на Хутор и к Кривой березе, которая вот уже лет пятьдесят наблюдала за всеми влюбленными парочками поселка, потом направление мыслей менялось в сторону Петра Петровича Гасилова и Аркадия Заварзина, так как Прохоров давно, то есть три дня назад, связал их одной веревочкой, хотя сам еще отчетливо не понимал, почему он это сделал... В окна струился свежий речной воздух, в кабинете горела настольная лампа, абажур которой Прохоров накрыл зеленым носовым платком. Наверное, поэтому в кабинете было по-домашнему уютно, но Прохорова не интересовал внешний мир, в котором не могло быть спокойно и уютно до тех пор, пока не решится вопрос: столкнули Евгения Столетова с тормозной площадки или он сам совершил неудачный прыжок?

Прохоров вернулся в реальный мир только тогда, когда нервно и одновременно весело зазвенел телефон. Прохоров поднял трубку и сразу же нахмурился, так как услышал вечно игривый и насмешливый голос майора Лукомского:

— Это ты, Проша? Здорово, парнище, ступай себе мимо... Как ты там живешь-можешь?

— Здорово, Луковица! — недовольно отозвался Прохоров и тут же обругал себя самыми последними словами, ибо он вместе со всеми старыми работниками областного управления милиции радовался тому, что за последние годы в стенах кирпичного мрачного здания создалась легкая, веселая обстановка дружеской подначки, вышучивания, насмешливо-иронического отношения друг к другу, за которыми скрывались приязнь и дружба. Это объяснялось тем, что за последние год-два на работу в управление пришло много молодых, интеллектуальных ребят, что погоны Министерства внутренних дел надевали кандидаты наук и даже доктора. Половина работников управления по вечерам занималась английским языком, ребята чаще обычного выезжали за границу, подолгу жилали в Москве, повышая профессиональный уровень. Капитану Прохорову все это нравилось, он, как мальчишка, радовался притоку свежих сил, охотно и быстро сходилась с неопытными

оперативниками, умел жить в обстановке дружеских подначек и вышучивания. Обладавшие развитым чувством юмора, молодые работники были умны, трудились много и охотно, легче тех людей, которые чувством юмора не обладали, переносили темную изнанку милицейской жизни. Майор Радий Лукомский был из числа тех, кто пришел в управление со званием кандидата юридических наук.

— Здорово, Луковица! — перестав хмуриться, оживленно повторил Прохоров. — Рад тебя слышать, старая перечница. Ну, реки, чего тебе от меня надобно, старче?

— Мне от тебя ничего не надо, — ответил Лукомский. — Тебя вызвал Борисевич, а трубку первым я поднял. — Он помолчал. — Мы все здесь соскучились по тебе, так что приезжай скорее, дружище! На радостях преферансик сообразим... Будь здоров, Проша!

— До свидания, Луковица, спасибо за добрые слова.

Полковник Борисов трубку, видимо, взял не сразу, а сначала — вот аккуратная зануда! — распутал свернувшийся провод, положил его кольцами на стол и уж тогда начал:

— Здравствуй, Александр Матвеевич! Завидую я тебе. Сидишь, понимаешь ли, под луной, пьешь, понимаешь ли, свое любимое парное молоко, заедаешь его, понимаешь ли, барским пшеничным хлебом, а тут изгой за тебя вкалывают... — Он, видимо, иронически улыбнулся в трубку. — Нет, серьезно, Прошенька, хотел бы я знать, что ты делаешь в Сосновке, когда по твоим же сообщениям дело окончательно раскручено? Ты, часом, не женился там, Проша? Знакомым женщинам и друзьям не звонишь — буквально, понимаешь ли, оторвался от коллектива.

Трубка помолчала, затем Борисов изменившимся голосом сказал:

— Вера четвертую ночь плохо спит, Прошенька, глаз до рассвета не смыкает после того, как ты с ней миленько поговорил по квартирному вопросу, а ведь тебе скоро ключики получать, уважаемый Александр Матвеевич. Комиссар позавчера сказал: «Прохорову надо обязательно двухкомнатную дать!» Вот так, Прошенька! В таком разрезе!

Прохоров отчетливо представил, что произошло после того, как Борисов замолчал, — он убрал трубку от уха и стал ею поматывать в воздухе с выражением неудовольствия на розовом сытом лице. Манипуляцию с трубкой полковник проделал потому, что она была очень громкой, и все, кто в это время находился в комнате, могли услышать ответ Прохорова. Поэтому капитан ничего не ответил полковнику и дождался-таки неторопливого вопроса:

— Ты почему молчишь, Прохоров? Тебе не молчать надо, а молнией возвращаться в город. У нас тут, черт возьми, такая история заварилась, что... Трубка эту историю не выдержит, Проша! Ну, не молчи, разговаривай, упрямый и злой ослище.

— Святослав! Ты меня послушай, Святослав! — наконец негромко сказал Прохоров. — Я такое дело раскручиваю, какого у меня никогда еще не бывало. Ты прости меня, дружище, за высокие слова, но я кручусь возле важного конфликта нашего времени... Да, да, Слава, я опять философствую, но я просто не имею права закрыть дело, не узнав, кто такой Гасилов и что такое гасиловщина...

— По протоколам Сорокина никакой Гасилов не проходил, — удивился Борисов.

Прохоров засмеялся.

— По протоколам следователя Сорокина не проходит и технорук Петухов, в нем даже нет намек на начальника лесопункта Сухова... Так не прикажете ли вы мне, товарищ полковник, превратиться в следователя Сорокина?

— Не сердись ты на нас, грешных, Проша! — мирно и дружелюбно отозвался Борисов. — Я отлично понимаю тебя, верю, что дело серьезное, а ведь тороплю потому... Ты войди-ка в мое начальническое положение. В Погарском районе вскрыт сейф с очень крупной суммой денег, а в управлении таких знатоков Погарского района, как ты, нет. Вот и лежит дело без движения, а оно взято под контроль обкома партии...

Голос полковника Борисова внезапно сделался строго официальным, зазвучали в нем начальнические басовитые нотки.

— Прошу вас, товарищ Прохоров, — распорядился Борисов, — ежевечерне телефонировать о деле Столетова. — И после официальной паузы: — За квартиру не беспокойся, Прохоров. В случае непредвиденных затруднений поднимем на ноги комиссара и все областное управление. До свидания, товарищ Прохоров!

В трубке защелкало, загудело, голос районной телефонистки объявил: «Разговаривали десять минут!» — потом трубка так резко заглохла, словно ее отрезали от провода. Прохоров осторожно положил трубку на рычаг, отойдя от телефона как можно дальше, посмотрел на него тоскливо. А как же он мог вести себя иначе, если он только что разговаривал с хорошими людьми, верными друзьями, умными коллегами, а сам вел себя как последний негодяй? Прохоров был заносчив и груб с друзьями, себялюбив и надменен, словно он самый лучший и самый умный, а все остальные... Он почувствовал к себе такое отвращение, что ушам стало жарко. Ведь если разобраться как следует, то окажется, что он, Прохоров, такой противный тип, которого могут переносить только очень добрые и великодушные люди. Обычный человек давно бы послал Прохорова к чертовой матери, а не заботился бы о его квартире, не узнавал бы, как спит женщина, которая любит Прохорова, не поднимал бы все управление на защиту будущей двухкомнатной квартиры этого Прохорова. И что вообще происходило вокруг Прохорова и Веры? Почему все сослуживцы, включая комиссара милиции, заботятся даже о том, чтобы Прохоров женился на Вере? Чего, собственно, хочет от жизни зануда Прохоров, избалованный удачными делами, окруженный вниманием друзей, любовью одной из самых красивых и умных женщин областного города? Кто он такой, черт побери, этот капитан Прохоров, что имеет право мучить Веру, разговаривать с ней сквозь зубы, не звонить по два дня и таким образом отвечать на вопрос о квартире, что слова могли быть истолкованы только так: «Я тебя не люблю, Вера, и не собираюсь на тебе жениться!» Зазнавшийся сухарь — вот кто такой капитан Прохоров. Всех-то он учит, всем-то он читает лекции, неодобрительно относится к новому в милицейской работе, не понимает хорошую музыку, сто лет не был в театре, хотя в нем работает Вера! Стыд! Позор! А если к этому добавить сообщение о том, что капитан уголовного розыска Прохоров трус, то получается такая ужасная картина, какой белый свет не видывал. Да! Он трус, трус и трус! Он, Прохоров, любит Веру, но боится жениться на ней, так как она актриса, самая, пожалуй, красивая женщина в городе и...

А ведь существуют на земле люди, которые умеют любить страстно, по-настоящему, не боятся повернуться спиной к Аркадию Заварзину с его ласковой улыбкой и рукой, сжимающей в кармане нож. Имя такого человека Евгений Столетов, ему было всего двадцать, когда он погиб, но Прохорову надо поучиться у Женьки уму, смелости, умению любить, ненавидеть, веселиться, страдать, петь, разговаривать, дружить, болеть, ходить по земле. Вот это был человек! Какие письма писал он Людмиле, как любил ее, как ненавидел все фальшивое, наносное, чужое!.. Прохоров медленно подошел к столу, бесшумно выдвинул ящик, вынул стопку писем, перетянутых Людмилой Гасиловой розовой лентой; от писем пахло девичьими духами, ломкий крупный почерк на конвертах был похож на Женьку Столетова — буквы были наклонены вперед, стремительно двигались куда-то с развевающимися закорючками; буквы были такими, что при виде их захватывало дыхание — с такой силой они выражали жажду жизни, любовь, нежность, молодость и неверие в смерть...

Луна откушенным краешком желтела в окошке, слышалось, как струится ночная Обь, как

ходит по крыше дома осторожный ничейный кот... ЗА ДВА ГОДА ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

«Людка, родная, хорошая! Вот я и добрался до областных цивилизаций, вон из окна нашей комнаты виден купол университета. Сейчас по улице Фрунзе движется злодей трамвай, скрипит по-птичь и не дает спать деревенщине. Поэтому я встал, позавидовал Андрюшке, который дрыхнет на всю катушку, и сел за стол.

Я тебя люблю, Людка, это так же верно, как то, что я сижу в студенческом общежитии и гляжу на Андрюшкин круглый затылок. Позавчера на палубе парохода „Пролетарий“ я шел вдоль борта, смотрел в воду, собирая пальцем пыль с деревянных лееров, и вдруг сделался таким счастливым, что заняло сердце. Это от солнца, от воды, от чаек, от приближающегося города, а главное — от того, что живет на свете такая смешная и нелепая девчонка, как Людка Гасилова. Она любит меня, я люблю ее, и мы так счастливы, что весь мир завидует нам.

Людка, чудище сероглазое, человеку, наверное, неприлично быть таким счастливым, как я. Есть еще... Ну нет, об этом я писать не буду, ты не любишь мою скучную философию, и ты права, права! Тебе, Людка, надо жить солнцем, летом, рекой, старым осокорем на берегу, который я очень люблю... Ты подойди-ка завтра к нему да посмотри, как себя чувствуют наши „Е“ да „Л“, вырезанные всего четыре дня назад! Господи, неужели это было только четыре дня назад?! Кажется, год прошел с тех пор, как я сижу на подоконнике университетского окна.

Ты, наверное, хочешь спросить, что интересного я видел в городе, ничего еще не видел. Серьезно, как говоришь ты, серьезно — я ничего не успел разглядеть, хотя народишку вертится вокруг много. Но все это пусяки! Главное, мы любим друг друга.

Оказывается, любимая моя, не врут люди и книги, когда утверждают, что матерям пишут реже, чем таким нелепым и смешным девчонкам, как ты, родная моя. Поэтому передай моим родичам, что я жив и здоров, а если захочешь, скажи, что Женька Столетов адски скучает по любимой.

Спокойной ночи, хорошая, спи спокойно, родная моя! Есть на земле Женька Столетов, который все время думает о тебе. Идет по проспекту Ленина — думает, толчется в приемной комиссии — думает, ворчит на струсившего экзаменов Андрюшку — думает о тебе, снимает со старенькой автоматической ручки крошку табака — думает о тебе, ежится от пороссячьего трамвайного визга — думает о тебе. Привет, привет всей Сосновке! А тебя я целую сто раз. Почему над нами нет густой кроны Кривой березы!

Женька».

«Вставай, не спи, кудрявая, в цехах звеня...

С этой песней, Людмила свет Петровна, я кажинный божий день бужу всесоюзного соню Андрюшку Лузгина, умываю и одеваю его в пурпурные одежды, кормлю манной кашкой, а потом, сняв слюнявчик, веду за рученьку в читальный зал библиотеки, где в эти дни сосредоточены все будущие звезды мировой науки. Читальный зал, Людмилушка, похож на машинный зал большого завода, только вместо станков установлены крохотные двухместные столики. Ты уже, наверное, догадываешься, девчонка моя хорошая, что на первой странице учебника обской богатырь Лузгин начинает похрапывать, вызывая справедливое негодование библиотечной челяди, и я сорок процентов рабочего времени трачу на приведение в чувство обского Ильи Муромца плюс Алеши Поповича плюс Добрыни Никитича.

Знаешь, Людка, как я его привожу в человеческое состояние? Я его щиплю за толстый бронированный бок, если это не помогает, дую ему в ухо, а коли и этого мало, пальцами

сдавливаю ноздри. Понятно, что окружающие нас гении покатываются со смеху, а библиотечное начальство грозит выставить меня из зала. Почему меня? Да потому, черт побери, что Андрюшка спит в позе внимательно читающего человека. Он, прохвост, и книгу-то не выпускает из рук... Вот сейчас наступает момент, когда Андрюшка заснет, и я готовлюсь принимать решительные меры...

Я тебя люблю, люблю и люблю! До вечера, хорошая моя! Вечером я напишу второе письмо, и оно будет длинным, так как Андрюшка будет спать легально.

Твой Женька».

«Здравствуйте, невестушка Людмила Петровна!

В первых строках своего письма соопчаю, что мы со сватом Андреем Анатольичем живы и здоровы, чего и Вам желаем. Сало у нас ишо не кончилось, маленько ишо копченых стерлядок да чебаков осталось, а варенье мы ишо и не починали, как оно шибко сладкое. А также передавайте наш низкий поклон дружкам Борису Василичу Маслову, Геннадию Ивановичу Попову, куме Соне Луниной, хрестному Викентию Алексеевичу Радину, а также обоим матерям да папеньке с отчимом. Желаем Вам здоровья, счастья, пропишите нам, не опоросилась ли Машка у Веретенниковых, а также про то, ходит ли Зорька, то ись корова Геннадия Ивановича, в стадо, как она очень уросливая и нравная, все от пастуха деда Сидора убегала, так она теперь, может, по-прежнему бегаёт. Ишо нам интересно, какой разворот получился с тою коровой, что купили сваты Лузгины, неужто попрех дает по двадцати литров, тогда нам можно бы маслишка подбросить, как мы наострились ржаной хлебушко маслушком намазывать, горячей водой запивать, а больше ничего ись не хотим, окромя этого. Во вторых строках соопчаем также, что очень рады за Ваш разговор с Вашей мамашей насчет того, что ежельше мы поступим в институт, то Вам позволят поехать в город, а сват Андрей Анатольевич разузнали, что женатому скубенту со временем могут дать комнату в общежитии, а если обретаться на частной фатере, то институт будет четыре рубли кажный месяц приплачивать, так что нам с Вами останется шешнадцать рублей докладать. В третьих строках своего письма соопчаем, что погоды тут стоят хорошие, картошку народишко уж давно посадил, скоро цвести будет, огурцы всходят ничего себе, дружно, насчет моркошки ничего сказать не можем, как огороды здесь все за высокими заборами. Но слыхивали мы от добрых людей, что осень назреет дождлива, так пушай мамаша свата Андрей Анатольевича картошку копать поторопится, не как в прошлом годе, что у всех убрана, а у них ишо и не копана, и что в этом хорошего, в этом хорошего ничего нету, окромя как сгноить. В четвертых строках соопчаем, что мы Вам низко кланяемся, желаем Вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, приятных снов, а также, чтобы Вы ту кофточку, котора розова, благополучно довязали, она к вашим глазам, любезная невестушка Людмила Петровна, очень пойдет, вы в ней будете такие красавицы, что нам, видать, придется ненароком приехать, морды Геннадию Ивановичу и протчим начистить, пушай на Вас не глядят в три глаза, как Вы являетесь не ихней невестой, а нашей. Ишо раз Вам низко кланяемся. Ваш жених Евгений Владимирович Столетов к сему письму руку приложили».

«Людмила! Хорошая! Далекая!

Еще неизвестно, усеян ли розами наш двухнедельный путь пригодишек к экзаменам по теплему городскому асфальту. В уже известном тебе читальном зале, похожем на машинный зал, густо сидят, по словам моего революционного деда, циники, скептики и оппортунисты, которыми, предупреждал меня дед, кишмя кишит город.

К твоему сведению, Людмилушка, вот эти самые циники, скептики и оппортунисты —

хорошие, умные, прекрасно образованные ребята. Добрая половина из них свободно читает и переводит английский текст, три оппортуниста болтают по-английски, как на родном языке, а Чингиз Агаларов, мальчишка из Баку, читает и переводит с немецкого, итальянского, французского и английского. Сестренки-близнецы из Барнаула еще в школе, как они выражаются, баловались квантовой механикой. Парень из Читы — токарь машиностроительного завода — так усовершенствовал технологию производства ступенчатых муфт, что о нем писали в центральной газете. Вот такие-то дела, старушка!

Это нелегко, но я все-таки должен признаться, что мы с Андрюшкой — сосновские отличники — на фоне оппортунистов и скептиков выглядим, мягко выражаясь, середняками. Я уже достаточно полно и, так сказать, на практике начинаю чувствовать еще существующие противоречия между городом и деревней. И ты бы это поняла сразу, если бы увидела, как сидит в читальном кучерявый, как негр, Чингиз Агаларов и от скуки делает бумажных петухов.

Людушка, солнышко, человечисце ты мое славное, твой Женька вовсе не падает духом, он, напротив, как никогда, готов к труду и обороне и даже еще сохраняет спасительное чувство юмора, а вчера, Людмила, я думал о том, что мы, мальчишки начала семидесятых годов, развиваемся на самом деле необычно быстро. Правы, ох как правы социологи, когда утверждают, что наше поколение, достигнув высокого интеллектуального уровня, переполнившись информацией, еще недостаточно зрело в гражданском смысле... Ты можешь объяснить толком, почему твой Женька поступает именно в технологический? Я не могу, так как не представляю, что такое технология и с чем ее едят. Ну почему я хочу заняться технологией, почему? Токарь из Читы — его зовут Витька Чернов — распрекрасно знает, почему его влечет технология, а пятьдесят процентов остальных „абиков“ пожимают плечами. А рыжий парнище из Тулы вчера мне сказал: „Технология чем хороша? Отбыл восемь часов в цехе, помыл руки и — домой! С конструкторами дело сложнее! Они по ночам ишачат!“

Людмилушка, прости, что напустил на тебя тоску и грусть. Я тебя люблю, постоянно о тебе думаю. Писать тебе — радость, заклеивать конверт — радость, писать на нем „Гасиловой Людмиле Петровне“ — счастье. Твое последнее письмо пахнет духами, которые мы купили вместе с тобой. Это единственные духи, которые я способен узнать и даже помню, что они называются „Быть может“. Я этого не хочу, моя хорошая, родная, славная! Не „быть может“, а скоро настанет время, когда мы с тобой пойдем на угол проспекта Ленина и переулка Батенкова, остановившись на мосту через Ушайку, будем целоваться на виду у всех. Здесь целуются не стесняясь, Людмила! Двадцатый век на дворе! Люблю тебя, люблю, люблю, люблю...»

«Людмилушка моя, смешная девочка!

Второй день идет мелкий холодный дождь, хляби небесные разверзлись надолго, в общежитии зябко — это летом-то!

Андрюшка, махнув рукой на все сложное, поперся смотреть Альберто Сорди в кинофильме „Бум“, и я сейчас один в большой пустой комнате. Мне грустно: наверное, оттого, что я вчера не мог дозвониться ни до мамы, ни до тебя, так как на переговорном пункте центрального телеграфа студенчество берет кабинки штурмом, и меня, бедного, чуть не вытолкали из очереди, но я расвирепел и все-таки сделал вызов, но ни ты, ни мама не ответили. Неужели у вас тоже идет нудный, печальный дождь?

По физике мы с Андрюшкой получили по пятерке, преподаватель мне сказал: „Весьма!“ — но все равно грустно. У меня бывают такие черные, беспросветные дни, о которых ты знаешь

еще по школе. Я беспричинно впадаю в меланхолию, подлунный мир мне кажется черным, как бумага для обертки фотопластинок. Это продлится дня два-три, потом мир мгновенно сделается нежным и удивительным, закружатся опять в парках карусели, и небо будет в алмазах. Поэтому я, спокойно переживая меланхолию, сижу над книгами печально, как мокрый ворон на заборе, но свои десять страниц в сутки перевариваю.

Не ругай меня за грустное письмо, я через два-три дня напишу веселое, бодрое, а вот это письмо мы будем читать внукам у камина, превратившись в седеньких старичков. Кстати, из меня, наверное, выйдет сухой ворчливый старик, а ты у меня будешь красивой старушкой с буклями и ангельским характером.

Эх, Людка, если бы я два года подряд не схватывал четверки по литературе устно, если бы современный литератор Борис Владимирович Сапожников не взъялся на меня за необычную трактовку Евгения Онегина, я бы получил золотую медаль и теперь бы сидел рядом с тобой под мелким дождем. Помнишь, как мы завертывались в мой плащ, как дождь весело стучал по нему? Как было хорошо нам, помнишь?

Целую тебя, люблю. Женька».

«Ах, Людмила свет Петровна, ах, коварная!

Отчего же это я получил от тебя на четыре письма меньше, чем написал сам? Это же безобразие! Ну, хорошо же — я разберусь с тобой по отдельности, как говаривал наш бывший директор Соловицин. Я такое тебе, коварная, наказание придумал, что вся инквизиция перевернется в гробу...

Докладываю, товарищ Гасилова, что математика нами сдана тоже на пятерки, и на этот раз мне экзаменатор сказал: „Любопытно!“, а Андрюшку проводил до дверей — вот какая ему была оказана честь, ибо он в математике — Лобачевский-Лузгинский. Я за него был чрезвычайно рад, и мы сразу же пошли в киношку „Фантомас разгневался“. Киношка, как говорит Марк Лобанов, — на большой! Со смеху можно было помереть, и мы поохотали как бешеные, за что нас чуть не вывели из зала, но не выгнали потому, что билетерша догадливо сказала: „Да это студентики! Наверное, сдали хорошо экзамен, вот и выпили на радостях!“ А мы, честное пионерское, даже пива не брали в рот.

Зато сегодня мы были в банях, которые здесь называются Громовскими, и, представь себе, мылись в отдельном кабинете за два рубля. У нас была персональная парная, нам выдали вместо полотенец преогромные простыни, а для вытирания ног — конвертики, похожие на наволочки для маленьких подушек. Андрюшка сам запарился и меня запарил, мы не заметили, что просидели в банном номере больше часа, и отдали бы еще один рубль, если бы Андрюшка не показал банщику кулак. Тот стушевался, и мы немедленно решили прокутить оный рубль. Мы пошли еще в один кинотеатр, где смотрели „Набережную туманов“. Это, я тебе скажу, вещь! Я чуть не заплакал, когда... Да что говорить — прекрасный фильм!

Ты, любимая моя, хоть и отстаешь на четыре письма, очень обрадовала меня последней цидулкой. Спасибо, хорошая моя, за нежность и любовь! А о том, как я тебя люблю, ты, когда мы вернемся, порасспроси Андрюшку. Я ему надоел хуже горькой редьки рассказами о том, какая ты у меня хорошая, красивая и замечательная.

Ты мое солнышко, мое счастье, моя радость!

Женька».

«Милостивая государыня Людмила Петровна!

Пикантные обстоятельства сей суетной и быстротекущей жизни, столь же подчиненной провидению, сколь и человеческим страстям, повелевают Вашему рабу и соискателю руки Вашей писать оное послание в обстановке сугубо печальной. Сии длинные шатающиеся каракули имеют то происхождение, что пальцы Вашего преданнейшего поклонника дрожат и слабы, ако сорокалетняя лошадь.

С прискорбием сообщаем Вам, милостивая государыня Людмила Петровна, что рабы божии Евгений и Ондрей по языку иностранному обрели по тройке с большой натяжкой, как рек муж, экзамен принимающий. И теперь, милостивая государыня, рабы Ваши должны получить по пятерке за науку химическую, чтобы, исходя из правил арифметики Магницкого, могли получить балл, для поступления в лицей достаточный. Однако по химии как органической, так и неорганической надеждами на пятерки себя весьма тешить не смеем. Вам не хуже, чем нам, милостивая государыня Людмила Петровна, известна наша „химиза“ Варвара Константиновна, которая по причинам слабости здоровья и занятости мирскими, то есть коровьими делами, с паствой своей не столь изучала науку химическую, сколь оделяла богоспасительными троечками.

Так что рабы Ваши преданнейшие дрожат дрожью великой: реченное слово „химия“ воспринимают с бледностью на челе и с трепетом рук, к заветному институту протянутых.

Послание оное кончая, припадаю к Вашей благоуханной и нежной ручке, милостивая государыня Людмила Петровна. Смелостью своей пораженный и дерзостью великой обуянный, смею хранить надежду на Ваше отношение хорошее и даже — сказать боязно — на любовь Вашу ответную даже в том случае, ежели наука химическая в печаль великую нас возведет.

Преданнейший раб Вам, милостивая государыня, схоласт ученый со скамей университетских Евгений сын Владимира по фамилии Столетов».

«Людмила!

Мы получили тройки по химии. Теперь нас ничто не может спасти, кроме чуда. Мы можем попасть в списки зачисленных в институт только в том случае, если двенадцать человек (12!) получат двойки по истории. Оппортунисты, циники и скептики, насчет тлетворного влияния которых предупреждал меня родной дед, вся эта „мелкобуржуазная стихия“ так уверенно шагает с экзамена на экзамен, что нас снедает зависть. Азербайджанец Чингиз идет совсем без четверок, Витька из Читы и сестры-близнецы — тоже! От этого Андрюшка похудел так, что вчера разгуливал в моей синей футболке, а я могу теперь работать вешалкой для платьев балерин.

Вчера был на диво ветреный день, я не пошел в читальный зал, а какими-то зелеными нитками подшивал обшлага брюк. Они у меня чертовски истоптались, так как я на ходу по-прежнему наступаю на обшлага. Это уже на всю жизнь, Людка! Придется тебе подшивать мои брюки брезентом или обивать жостью.

Ты, наверное, чувствуешь, какой я сегодня злой. Это все из-за химии, ветреной погоды, плохо подшитых брюк. У меня, представь себе, в глазах от злости чертики прыгают, плесни на меня холодной водой — зашипит.

Я несказанно рад, что Петр Петрович не возражает против нашей женитьбы, но ты, Людмилушка, видимо, права, когда пишешь, что в нынешнем веке жениться в девятнадцать — дикость. Но что же поделаешь, родная моя, если я без тебя жить не могу, если ты мне на

расстоянии не нужна. Ты мне пиши почаще, любимая, письма, конечно, тебя заменить не могут, но конверты пахнут духами „Быть может“, крупные буквы разбегаются в стороны, и ты постоянно ставишь точку с запятой там, где можно обойтись одной точкой. Я тебя люблю, скучаю, без тебя жить не могу, девочка моя глупенькая и ленивая. Твой Женька».

«ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМОГОРСКИЙ РАЙОН. ПОС. СОСНОВКА, ТРУБОВАЯ. 17, ЛЮДМИЛЕ ПЕТРОВНЕ ГАСИЛОВОЙ ИНСТИТУТ НЕ ПРИНЯТЫ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ТЧК ОСТАЕМСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПРИВЕДЕНИЯ ДЕЛ ПОРЯДОК

ТВОЙ ЕВГЕНИЙ»

«Лапушка моя!

Каким это образом мы умудрились семь дней не встречаться после Нового года? Что происходит? Почему ты не выбираешься из дому и не подходишь к телефону? Больна? Ты умеешь молчать, это хорошо, но я-то беспокоюсь. Позвони немедленно».

«Людка, сумасшедшая!

Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно. Ну как ты меня могла приревновать к Анне? Нет, ты сошла с ума вместе с Лидией Михайловной!

Это письмо я опускаю в щелочку почтового ящика, так как ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь в твоём доме не отвечают. Приходи сегодня в клуб за полчаса до начала второго сеанса. Двадцать седьмого апреля у меня день рождения, если ты об этом помнишь».

...Капитан Прохоров уронил последнюю записку себе на грудь, массируя уставшие веки пальцами, услышал, как отчетливо тикает в ночной тишине его дорогой хронометр; было пять минут второго, луна висела в самом центре распахнутого окна, Обь казалась недвижимой, черной. Прохладная струя ночного воздуха вливалась в комнату, дышалось легко, словно кабинет наполнили одним озоном.

Прохоров лежал и неторопливо думал о том, что и этими письмами, и записками Людмила Гасилова потихонечку да полегонечку предавала родного отца. Хочешь не хочешь, а стопка писем, перетянутых кокетливой розовой ленточкой, была жестоким подтверждением прохоровской версии происшествия, печатным оружием против Петра Петровича Гасилова и его жены. Прохоров сладко потянулся, опять заложив руки за голову, досадливо подумал: «Людмила не стоила столетовского ногтя! А какие письма ей писал Женька! Черт возьми, неужели всегда хороша такая любовь, когда один любит полно, а другой слегка полюбливает?»

У Прохорова понемножечку смеживались веки...

Опять у него выдался трудный день длиною в год: он снова поднимался до вершин суховского фанатизма и опускался до низин технорука Петухова и жены Гасилова, барахтался в мутном болоте версий и догадок, прыгал с подножки поезда. Читая письма, Прохоров переносился из деревни в город, слушал щелканье счетов и треск арифмометров в бухгалтерии, дышал сладким конским потом жеребца Рогдая. Вот он, двадцатый век,

перегруженный информацией, эмоциями, впечатлениями. А завтра? Завтрашний день обещал быть еще напряженнее, еще труднее. Завтра Прохоров, наверное, пойдет в дом Евгения Столетова, хотя по-прежнему боится встречи с его матерью, завтра он, может быть, впервые столкнется с Гасиловым и повидается с парторгом Голубиным. Он совсем закрыл глаза — в темноте увиделись шатающиеся платформы, белый камень, пальцы Лидии Михайловны Гасиловой, нависшие над жадным зевом пляжной сумки, господь бог верхом на серебряном облаке...

Прохоров спал на животе в брюках и рубашке; во сне он почему-то казался очень молодым, худеньким, одиноким среди пустой комнаты, пронизанной лунностью. У него были нежная кожа на шее, беззащитно торчащие лопатки, щуплый мальчишеский зад, но плечи были широкие, жадно охватившие подушку руки были сильными, крупными, темными от загара. Он левой щекой прижимался к подушке, правая розовела по-ночному, выражение лица во сне было таким, точно Прохоров говорил: «Не забыть бы проснуться в семь! Вы понимаете, товарищи, что мне нельзя спать долго! Вот то-то же, друзья мои!»

7

Капитан Прохоров проснулся на полчаса раньше, чем хотел. В шесть тридцать он уже, опасливо озираясь, в одних трусах спускался с крыльца во двор, юркнув за изгородь, оказался в укромном внутреннем палисаднике, где его никто видеть не мог. Здесь Прохоров, поднявшись на цыпочки, сладко потянулся, помахал беспорядочно руками и замер...

Птицы пели оголтело. На трепетной черемуховой ветке сидел дрозд, чистил кокетливо перышки, а меж этим иногда по-ораторски задирает голову, с вызовом открыв рот, издавал свой торжествующий дроздиный клич; стайка воробьев прыгала по земле — эти прохвосты неотличимо походили на заводные игрушки, свои металлические прыжки совершали словно бы нехотя, по принуждению, но продвигались вперед так быстро, что за ними было трудно уследить, — вот бесхвостый воробей что-то выклеывает из чернозема, а вот уже собирает что-то под забором, на котором спокойно сидела сорока, знающая о том, что у Прохорова не то что ружья, а даже штанов нет. Поэтому она глядела на него искоса, осуждающе, как бы говоря: «Ну, чего руками машешь, дуралей, лучше бы клевал что-нибудь».

Прохоров начал утреннюю зарядку с легких дыхательных упражнений, затратил на это минут пять-шесть, потом выполнил ровно восемь статических упражнений, рассчитанных на длительное напряжение, от которых на его сухих руках и ногах набухли продолговатые, твердые, как мрамор, мускулы.

Затем началось самое важное и со стороны жутковатое. Секунду-другую капитан Прохоров стоял неподвижно, с постным лицом, потом неожиданно утробно хэкнул, оскалил зубы и так стремительно упал на траву голой спиной, словно ему перебили ноги, но одновременно с этим он сделал руками такое движение, точно в них находилось тяжелое, извивающееся тело другого человека; едва успев прикоснуться спиной к земле, Прохоров пружиной распрявился, повертываясь в воздухе лицом к земле, бросился на нее грудью и прилег, замер, как бы придавив намертво того воображаемого человека, который секундой раньше извивался в его руках.

— Хэк! — еще раз выдохнул Прохоров.

Он легко, но лениво встал на ноги, сделав опять постное, скучающее лицо, начал искоса поглядывать в ту точку утреннего неба, где могла находиться занесенная для ножевого удара рука невидимого противника. Определив ее место, Прохоров понемножечку сгибался,

втягивал голову в плечи, глаза у него бледнели, обесцвечивались, словно из них выкачивали темную жидкость. С рукой, висящей в воздухе, видимо, что-то происходило, и он глядел на нее пустыми, ничего не выражающими глазами; затем бесшумно, как бы взлетев, ринулся вверх, повис на мгновение над землей, весь, скорчившись, ухватившись обеими руками за невидимую руку, начал падать на бок, но не упал, а, наоборот, выпрямился, согнул левую ногу в колене и так держал ее, словно наступал воображаемому противнику на грудь.

Хэк!

После этого Прохоров остановился, сам себе галантно улыбнулся, хотел погрозить удивленной сороке пальцем, но не успел — что-то случилось, и он с размаху упал на землю, в мгновение ока перекатился вправо, и отчего-то почудилось, что над его головой просвистела пуля.

— Фью! — на самом деле свистнул Прохоров.

Отдохнув немного, он широко расставил ноги, сделал руками такое движение, как будто поправлял на себе широкий тугой пояс, затем, выставив обе руки вперед, ласково, но крепко обнял невидимого противника и начал, пританцовывая, двигаться по замкнутому кругу. Он то отступал назад, то, делая ногой забавное антраше, двигался вперед, как в смешной нанайской борьбе, то цеплялся ногами за землю, не давая себя увлечь вперед; глядел при этом Прохоров на ноги воображаемого противника, все ждал чего-то, бестолково топчась, и... внезапно ударил ногой ногу невидимого и стал падать вместе с тем, кого держал в руках.

— Пшш! — издал он странный звук.

После всего этого Прохоров встал на ноги, отряхнулся, поглядел на сороку, которая теперь сидела на вершине высокой черемухи.

— Видала, трескунья! Это тебе не сплетни разносить, это тебе, брат, милицейская служба... Тут только зевни, так сразу пишут: «Похоронен такой-то, погиб при исполнении служебных обязанностей...»

С этими словами Прохоров уже подходил к бочке с холодной водой, зачерпнув из нее воду ведром, занес его над собственной головой и, прежде чем облиться, закончил разговор с сорокой:

— Это тебе не сплетни разносить, а служба... Милицейская, понимаешь ли, служба... Вот так-то, уважаемая!

Ровно в восемь Прохоров уже входил в длинный и пустынный конторский коридор, рассчитав время так, чтобы встретиться с Петром Петровичем Гасиловым, который ежедневно в восемь забегал на минутку к техноруку или изредка к начальнику Сухову.

«Ну и молодчага!» — одобрительно подумал Прохоров, когда ровно в восемь ноль-ноль из дверей петуховского кабинета вышла демократическая клетчатая ковбойка, над которой, конечно, темнело загорелое боксерье лицо, посверкивали умнейшие, мудрейшие, замечательные глаза. Увидев мастера, Прохоров широко и добродушно улыбнулся, изгибая позвоночник и почтительно наклонив голову, как бы бросился к Гасилову с распростертыми объятиями.

— Петр Петрович, дорогой Петр Петрович, я вас по всей Сосновке ищу, а вы, оказывается, у технорука товарища Петухова... Вот вы где, оказывается... Ну, здравствуйте, дорогой Петр Петрович! Как вы переносите эту погоду? Это не погода, это Крым переехал в Сосновку. Вот что наделали эти мощные перемещения воздушных масс, Петр Петрович! И не говорите... — Прохоров махнул рукой, заглянув в улыбающееся лицо мастера, слезно попросил: — А я ведь

с вами хочу встретиться, Петр Петрович! Все как-то не приходилось, а вот теперь хочу просить вас нижайше о randevу. Нельзя ли завтра, дорогой Петр Петрович, часиков бы этак в четырнадцать... Как вы, Петр Петрович?

Гасилов спокойно глядел на него, лицо у мастера было безмятежное, глаза — чистые, пахло от него одеколоном «Шипр», подчеркнуто демократическая одежда была стерильно чиста, проутюжена, сапоги, издавелека казавшиеся кирзовыми, оказались иными: голенища были сшиты из толстой свиной кожи, головки были мягкие, хромовые. В ответ на слезную просьбу милицейского капитана о randevу Петр Петрович Гасилов считающе прищурился, добродушно ответил:

— Хорошо, товарищ Прохоров. Ровно в два я буду в конторе, — и после крошечной паузы: — А теперь прошу прощения, меня ждет народ...

Слово «народ» Петр Петрович особой интонацией не подчеркивал, он вообще ничего никогда не подчеркивал, не выпячивал, как и не скрывал, не прятал; походка у Гасилова была естественной, простой, несколько по-рабочему тяжеловатой, и Прохоров смотрел на его крупную фигуру до тех пор, пока Гасилов не закрыл за собой дверь. Капитан милиции немного постоял на месте, почесал висок мизинцем с длинным ногтем и двинулся к двери с табличкой: «Парторг тов. Голубинь».

— Так! — проговорил он негромко, остановившись у дверей. — Интересно, любопытно, занимательно!

Ему не терпелось увидеть человека, который умел всякий вопрос рассматривать с одной, второй, пятой, седьмой, двадцать пятой стороны, кроме того, было любопытно, совпадает ли прохоровское видение парторга с видением второго секретаря райкома комсомола Кирилла Бойченко.

Прохоров без стука открыл дверь.

— Разрешите, товарищ Голубинь?

— Входите, товарищ! — ответил парторг, вставая.

Они сближались, внимательно и беззастенчиво разглядывая друг друга; по всему было видно, что парторг знал, кто вошел в кабинет, а капитан Прохоров узнавал описанные Кириллом Бойченко светлые волосы, рыжую кожу, глаза альбиноса, вдумчивую неторопливость и солидную основательность. Они обменялись полуулыбками, пожали друг другу руки и разместились в кабинете абсолютно правильно, то есть так, как полагалось сидеть заезжему капитану из области и хозяину: парторг сел не в свое рабочее кресло, а за маленький столик, приставленный к большому столу, Прохоров расположился на том самом диване, на котором сидел Женька Столетов перед отчетно-выборным комсомольским собранием.

— Ну, вот мы наконец и свиделись, — удовлетворенно произнес Прохоров. — Обычно я имею привычку, начиная дело, заходить сразу к партийным властям, но в данном случае... Как здоровье вашей жены?

— Все очень хорошо. Спасибо!

Парторг Голубинь в этот летний день был одет во все белое — белая рубашка, белые брюки и пиджак из рогожки, белые туфли и слегка кремовый галстук. От этого его лицо казалось еще более красно-рыжим, оно совсем не загорало на солнце, кожа была веснушчатой. Голубинь по-прежнему внимательно разглядывал Прохорова, хотя думал явно о чем-то постороннем.

— Я знаю о вашей деятельности, товарищ Прохоров, — сказал Голубинь. — Я имел возможность делать наблюдения над работой следователя Сорокина и нахожу, что ваша деятельность является более разносторонней...

Расставив точки над всеми «и», парторг Голубинь взял со стола три карандаша, сложил вместе, начал беззвучно перебирать их в пальцах; карандаши были цветные — красный, желтый, синий, — они в рыжих пальцах парторга выглядели красиво. И Прохоров, удовлетворенно кивнув, полез в карман за сигаретой.

— Меня интересует мастер Гасилов, — сказал Прохоров. — Коли вы уже все знаете, то вам наверняка известен мой интерес к его трудовой деятельности и личной жизни. — Прохоров немного помолчал. — Может быть, вам это покажется странным, но Гасилов имеет отношение к гибели комсомольца Столетова... Именно поэтому мне хочется в беседе с вами пополнить рабочий и домашний портрет Петра Петровича Гасилова.

Парторг Голубинь спокойно слушал, и опять было понятно, что он знает о пристрастии Прохорова к личности мастера Гасилова, да и по утренней информации Пилипенко было известно, что Голубинь разговаривал с Бойченко, встречался накоротке с техноруком Петуховым, долго беседовал с Гасиловым. Таким образом, контроль за работой Прохорова был произведен дотошно, и в словах Голубиня о том, что ему пришлось по душе деятельность Прохорова, был подведен итог. Поэтому Прохоров затаенно улыбнулся, не принужденный к тому, чтобы поддерживать непрерывный светский разговор, с любопытством подумал: «К чему это прислушивается Голубинь?» — так как парторг прислушивался к чему-то такому, что происходило не в кабинете, а за его стенами.

— Я бы хотел задать малосущественный для дела вопрос, — сказал Прохоров. — Как вы думаете, Марлен Витольдович, почему Гасилов беспартийный?

Человек, имеющий привычку рассматривать всякий вопрос с двадцати неожиданных ракурсов, перебирал в пальцах три цветных карандаша, наклонив голову, по-прежнему чутко прислушивался к чему-то.

— Я еще со вчерашний вечер, — неторопливо сказал Голубинь, — обдумывал свою речь для вас, Александр Матвеевич. Человек, который интересуется деятельностью мастера Гасилова со всех сторон, вызывает интерес... Я прошу прощения, но имею специальный бумажку для того, чтобы не упустить ни одной стороны из облика товарища Гасилова. Я тоже с некоторых пор имею пристрастие думать о нем.

Марлен Витольдович Голубинь поднялся, обогнув стол, вынул из ящика несколько маленьких квадратных листиков бумаги, пронумерованных красными цифрами, перетасовал их, как карты, сев на прежнее место, снова прислушивающе наклонил крупную голову.

— Необходимо ждать, — без улыбки, бесстрастно заговорил он, — что товарищ Прохоров спросит, куда глядела партийная организация, если товарищ Гасилов является косвенным участником гибели комсомольца Столетова? — Парторг поднес к близоруким глазам первый квадратик бумаги, мельком прочитал почти печатные буквы, еще ниже наклонил голову. — Ваш покорный слуга Голубинь имел честь стать парторгом только в середине прошлого года...

После этих слов Голубинь остановился, и Прохоров наконец понял, к чему прислушивался парторг. Недалеко от околицы деревни двигался тяжело нагруженный автомобиль, судя по звуку мотора, ЗИЛ-350, который, видимо, так перегрузили, что он не мог преодолеть подъем на ту возвышенность, на которую каждый вечер поднимался Викентий Алексеевич Радин.

— Вы сейчас будете иметь полную возможность удивиться тому, что станет говорить парторг Сосновского лесопункта, но я не имею привычка скрывать от коммунистов, а особенно от

такого члена партии, как вы, Александр Матвеевич, свои мнения...

Ох, какая серьезная обстановка была в кабинете парторга, обставленного тем минимумом мебели, который требовался. И шкаф с книгами, и портрет Ильича, и зеленое сукно стола, неумолимое для глаз, и бювар на столе — все помогало думать, размышлять, философствовать.

— Ошибки и даже преступление мастера Гасилова есть свидетельство слабости партийной организации, — спокойно продолжал Голубинь. — Вы спросите, почему у нас слабая партийная организация, и я вам буду отвечать на этот вопрос. — Он помотал в воздухе квадратиками бумаги. — Ослабление имело начало при разделении обкомов на сельский и промышленный. Я не хочу возразить против помощь сельскому хозяйству, но несколько лет назад мы передали в сельский хозяйство свой лучший коммунистический прослойка... Вот, пожалуйста! — Он четко прочел: — «Председателями и бригадирами в колхоз ушли: старый член партии бригадир комплексной бригады Иван Шурыгин, главный инженер леспромхоза Петровский, член партии с сорок третьего года механик Василий Терсков, тракторист Ульян Васильев — наш лучший рабочий и партийный организатор средний звено, начальник административно-хозяйственной части Маламыгин» и так далее...

Парторг Голубинь аккуратно положил прочитанный квадратик бумаги на зеленое сукно и вдруг устало поморщился.

— Второй беда есть в том, что укрупнение леспромхоза оставило нас на самый большой расстояние от дирекции предприятия, — продолжал Голубинь, заглядывая во второй квадратик бумаги. — Мы самая отдаленная точка огромный леспромхозовской хозяйство...

Машина по-прежнему натужно гудела, преодолевая крутой подъем на обской яр, она, видимо, съезжала назад, разгонялась и снова бросалась вперед, преодолевая половину пути, но в десяти — двадцати метрах от вершины подъема останавливалась на пневматических тормозах, чтобы опять скатиться назад. Теперь Прохоров, как и Голубинь, прислушивался к звуку перегруженного мотора.

— Третий беда в том, — спокойно докладывал Голубинь, — что после укрупнения леспромхозов Сосновский лесопункт имеет положение пасынка.

Он вынул четвертый квадратик бумаги.

— Четвертый беда заключается в том, что Сосновский лесопункт есть бесперспективный лесопункт... Через несколько лет мы имеем возможность прекращать лесозаготовка...

Голубинь отложил в сторону четвертый квадратик, выйдя из-за стола, подошел к тому окну, которое было ближе к буксующему автомобилю.

— Партийная организация знает о конфликте между комсомольской организацией и мастером Гасиловым, — по-прежнему монотонно произнес Голубинь. — На ваш вопрос о партийности Гасилова я буду отвечать в самый конец разговора, а теперь скажу, что партийная организация начала интересоваться ошибками и делами мастер Гасилов, но это было так поздно, что... что Евгений Столетов уже нет живой!

Это был первый восклицательный знак в речи парторга Голубиня, он впервые изменил своей бесстрастной интонации, а слово «уже» произнес так, что у Прохорова похолодела спина.

— Вы давно имеете возможность спросить, почему Голубинь не мог раньше разобраться во всем? На этот вопрос я имею плохой ответ.

Вот и наступила первая заминка в речи Голубиня; он наклонил голову, покивал своим

собственным мыслям, его лицо сделалось грустным, так как именно в это время перегруженный автомобиль в четвертый раз скатывался вниз.

— Надо уметь отвечать за случившееся и не кивать на других. Но есть необходимость сказать о моем предшественнике. Уж очень он любил триумфы и победные рапорты. Как я теперь понимаю, Гасилов умел воспользоваться слабостью бывшего парторга. Когда ваш покорный слуга имел возможность стать парторгом Сосновский лесопункт, он считал мастер Гасилов один из передовых мастеров не только района, но и области... — Голубинь улыбнулся такой улыбкой, которой, наверное, улыбнулся бы сфинкс. — Я, Голубинь, был загипнотизирован славой и достижениями мастер Гасилов и считал его непогрешимым.

Он снова улыбнулся каменной улыбкой.

— Основной часть того времени, что я мог уделить, я затрачивал на Евгений Столетов и начальник лесопункта Сухов... Первый совершает экстравагантный поступки, второй увлекается свои идеи и не занимается лесопунктом. В этом я видел основное зло...

Теперь они вместе слушали, как пятый раз взбирается на крутой подъем тяжело нагруженный грузовик ЗИЛ. На этот раз он, видимо, попятился дальше прежнего, наверное, спустился к самому подножию горушки и замер, замолк, готовясь к новому прыжку вперед; теперь машина, работающая на малых оборотах, была почти не слышна, и Прохоров немного успокоился.

— Я слушаю вас, Марлен Витольдович, — вежливо проговорил он.

Парторг внезапно опустил голову, тяжело вздохнул и уж после этого поднял на Прохорова тоскливые глаза.

— Я, парторг Голубинь, — печально сказал он, — не имел серьезное отношение к комсомольский вожак Столетов. Считал, что он есть легкомысленный, несолидный человек. Начало это имело с необдуманной поступок с лектором товарищ Реутов, потом исключение из комсомола Сергея Барышева, потом отношения с тремя особами женского пола.

Голубинь опять, как игральные карты, начал тасовать квадратики бумаги.

— Только теперь я имею понимание, что комсомольская работа Евгения Столетова имела сто положительных сторона... Это... — Он остановился, подбирая слова. — Метод работы Евгения Столетова имел аналогии в работе комсомольцев двадцатых годов... Вы имеете представление о том, как был исключен из комсомола Сергей Барышев? Нет? О, это небольшая, но поучительная история, — продолжал Голубинь и наконец-то улыбнулся простой человеческой улыбкой. — Это имело место в конец прошлого года, тогда мы получили неожиданный подарок от природы — три теплых дня. Это было двадцать шестого декабря... **ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ**

...двадцать шестого декабря, вдруг так потеплело, что, казалось, готов был хлынуть из низких скомканных туч проливной дождь. Низко над землей летали сырые вороны и сороки, не кричали, а скрежетали; тракторы начинали понемногу вязнуть в месиве из хвои и подтаявшего снега. Тракторист Никитушка Суворов ходил от человека к человеку и каждому говорил одно и то же:

— Это, правду тебе сказать, ихняя работа... Чья ихняя? Мериканцев! Бомбы взрывают? Взрывают. Каки-то шары пуцают? Пуцают... Вот тебе и лето посередь декабря. Ежели так и дальше продолжаться будет, нам ни зимы, ни лета ни видать...

— Как это так? Ни зимы, ни лета...

— А вот так, что сплошна осень будет.

Женька с товарищами трелевку закончил только после того, как трактор Андрея Лузгина напроць засел на деляне, и Андрюшка первым пришагал к передвижной столовой.

— Пусть Александр Сергеевич трелюет! — ни к кому не обращаясь, мрачно изрек он и спросил еще более сердито: — А что здесь нужно парторгу Голубиню?

Парторг действительно расхаживал возле формирующегося состава, его предупредительно провожал мастер Гасилов, и эта пара выглядела солидно — мастер и парторг были крупными, сильными людьми и ходили внушительно, тем более что оба молчали, обескураженные необычной оттепелью. Парторг откровенно хмурился, так как завершался производственный год и оттепель могла помешать перевыполнить план, а Гасилов был по обыкновению вальяжен, но тоже обескураженно качал головой: «А-я-яй, что делается!»

Наконец пришел пешком с деляны Женька Столетов, тоже забуксовавший с большим возом хлыстов, подсел к Андрюшке Лузгину и сказал:

— Ты засек, Андрюшка, одну характерную черту нашего времени?

— Да ну тебя.

— Не ну меня, — серьезно ответил Женька, — а надо быть наблюдательным... Отвечай на такой вопрос: что делают люди, когда в рабочее время им делать нечего?

— Бьют баклуши! — сердитее прежнего ответил Андрей, а Женька в ответ на это невесело расхохотался.

— Ты большая стоеросовая дура, Лузгин! — сказал он. — Когда людям в рабочее время делать нечего, в хорошем, передовом и дружном коллективе проводится собрание... Исходя из этого, товарищ Лузгин, у меня вызрело предложение собрать экстренное комсомольское собрание двух смен и... Одним словом, на повестке дня дело Сергея Барышева.

— Ура! Ура! — шепотом прокричал Андрюшка Лузгин. — За полчаса провернем это дело, и не надо будет собирать специальное комсомольское собрание... Я пошел за Генкой Поповым и Борькой Масловым.

Столетов лениво потянулся.

— Никуда не надо ходить, — небрежно сказал он и, нехотя поднявшись, взял в руки здоровенный болт, подошел к передвижной столовой и ударил со всего размаха по рельсу, висящему на крепкой проволоке.

Это было приспособление, которым бригадир Притыкин созывал рабочих на обед, объявлял начало и конец рабочего дня...

Женька успел сделать всего три удара, как лесозаготовители двинулись к передвижной столовой, а мастер Гасилов и парторг Голубинь удивленно переглянулись, но тоже двинулись к столовой. Не прошло и пяти минут, как возле Женьки и собрались обе бригады. Слышались возбужденные голоса:

— А чего работать, если трактора вязнут!

— По домам, ребята!

— К бабам под бочок...

Сурово насупившись, мастер Гасилов начал проталкиваться сквозь толпу к Женьке, но Столетов опередил его. Вскочив на бочку из-под горячего, он театрально-ораторским жестом выкинул руку.

— Товарищи! Граждане и гражданки! Руководящие и неруководящие товарищи! По той причине, что в связи с оттепелью трелевка приостановлена, а наши доблестные крановщики погрузили на сцепы последнее бревно, комсомольское бюро решило провести небольшое открытое комсомольское собрание непосредственно на лесосеке, если Марлен Витольдович не возражает... Нет? Прошу членов бюро занимать места вот на этом бревне, остальную комсомолию рассаживаться на пенках и чурбаках, а некомсомольский контингент может сидеть хоть на крыше столовой...

Все это было произнесено весело, легко, и Никитушка Суворов радостно хлопнул себя по коленкам.

— Ну уж этот Женька, ну уж этот Женька! — прокричал он. — Этот Женька такой чудной, что живот со смеху надорвешь...

Над Никитой Суворовым засмеялись все, кроме двух человек — парторга Голубиня и Аркадия Заварзина. А Женька продолжал прежним тоном:

— На повестке дня три вопроса. Первый — некомсомольское поведение тракториста Сергея Барышева. Второй вопрос — антиколлективное поведение комсомольца Барышева. Третий вопрос — антикомсомольское поведение Сергея Барышева... Тихо, товарищи, прошу не шуметь. Члена бюро Бориса Маслова я прошу не скалить зубы, а выступить с сообщением сразу по трем пунктам повестки дня... Маэстро, извольте встать вот на этот ораторский пенек... Товарища Сергея Барышева я прошу сесть вот на этот высокий пенек, чтобы мы могли его лицезреть...

Сергей Барышев поднялся с бревна, растянул в улыбке полные, добродушные губы. Внешне он производил хорошее впечатление — высокий, широкоплечий, с карими добрыми глазами, приятным овалом лица.

— А чего я должен садиться на высокий пенек? — недоуменно и довольно весело спросил он. — Мне и на бревне сидеть хорошо.

— Садись на указанный пенек! — ласково ответил на это Андрюшка Лузгин. — Как ты понять не можешь, Серж, что общественность хочет видеть тебя в натуральном виде... Садись, садись, голуба душа!

Криво улыбаясь, Сергей Барышев сел на высокий пенек, посмотрел на простенько улыбающегося Бориса Маслова и сразу же отвел глаза.

— Ну сел! — тихо сказал он, но его все услышали, так как люди уже почувствовали, что на их глазах происходит что-то важное, несомненно опасное для Сергея Барышева.

— Начинайте, маэстро! — махнул рукой Женька Столетов.

— Начинаю! — серьезно начал Борис Маслов. — Даже грудному ребенку, а не такой просвещенной аудитории, которая слушает меня, известно, что на этом довольно сносном белом свете существуют тонкомерные и толстомерные хлысты. Тому же грудному ребенку понятно, что трелевать толстые деревья в несколько раз выгоднее, чем тонкие.

Он остановился, медленно повернулся к Сергею Барышеву.

— Вам это известно, товарищ Барышев? Спрашиваю: вам это известно?

— Известно! — еще тише прежнего ответил Барышев.

— Грудному ребенку, пожалуй, неизвестно, — продолжал Борис Маслов, — о том, что, гонясь за выгодным толстомером, означенный товарищ Барышев ломает, корежит, превращает в щепу тонкомерные хлысты, по которым он ведет трактор к толстомеру... Очевидно, что именно в силу этих преступных операций Сергей Барышев дает свои сто десять процентов сменного задания раньше всех. Дело в том, что все-то остальные треляют тонкомер, в том числе и барышевский. Я сказал все, товарищ председательствующий!

— Садитесь! — великодушно разрешил Женька Столетов. — Я имею несколько вопросов к Барышеву Сергею Васильевичу. Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, сколько раз мы вас предупреждали о необходимости трелевать все хлысты, не делая никаких исключений?

Висело над эстакадой низкое грязное небо, тучи были совершенно неподвижны, снежные шапки на соснах затяжелели, и было что-то странное в том, что несколько десятков людей сидят посередине тайги и ведут разговор, а еще удивительнее было то, что никто из людей этой странности не замечал.

— Так сколько раз комсомольская организация предупреждала вас о необходимости трелевать весь лес? — переспросил Женька. — Ну, отвечайте же, Барышев?

— Один раз предупреждали, — считающе прищурившись, ответил Барышев. — В конце ноября...

После этого началось такое, что все вороны с испуганным криком снялись с мест и стремглав улетели, а Женька заорал благим матом:

— Тише! Кому говорят: ти-ше!

Когда шум понемногу смолк, Женька Столетов, потеряв руку об руку, спросил:

— Геннадий Попов, вы предупреждали Барышева, чтобы он брал тонкомер?

— Предупреждал.

— Марк Лобанов, вы предупреждали?

— Предупреждал!

— Михаил Кочнев?

— Предупреждал.

— Соня Лунина!

— Я его три раза предупреждала...

Женька поднял над головой руки.

— Есть комсомолец, который бы не предупреждал Сергея Барышева?

— Нет! — раздались дружные голоса.

— Тогда имеет слово Генка... То есть, Геннадий Попов, ваше слово, займите место товарища Маслова.

Попов рассердился:

— Плевал я на ваши ораторские пеньки... У меня и без того голос громкий... — Он вынул из кармана клочок бумаги. — Вот расчеты... Только за последнюю неделю под трактором Барышева погублено двадцать восемь кубометров древесины, четверть которой могла бы пойти на рудстойку... Я сделал все, пусть другой сделает лучше...

Сидящие на одном бревне Гасилов и Голубинь переглянулись, но промолчали.

— Прошу вносить предложения! — прокричал Женька Столетов.

— Исключить из комсомола, — отдельно произнес Михаил Кочнев и, поразмыслив, добавил: — Просить начальство снять Барышева с трактора... пусть полгода постоит на обрубке сучьев.

— У вас все, Михаил Кочнев? — спросил Столетов и, получив положительный ответ, потребовал: — А теперь, товарищ Кочнев, сформулируйте причину исключения из комсомола Сергея Барышева. Обоснуйте, так сказать, ваше предложение. Это же для протокола надо... Соня, ты все подробно записываешь? Спасибо! Продолжайте, товарищ Кочнев.

Кочнев бросил снежок в спину Лобанова, тот обернулся, но ничего не сказал, а только погрозил кулаком.

— Пусть Сонька Лунина формулирует, — мрачно произнес Кочнев, — или Борька Маслов — у него не язык, а мельница-крупорушка.

Под общий смех Кочнев сел на пенек, а Столетов снова обратился к собранию:

— Кто еще будет говорить?

— Я! — неожиданно вызвался Марк Лобанов и, еще не успев подняться, заговорил глубоким басом: — Таких хитрюг и пролаз, как Барышев, я еще не видел. Тонкомер он не трелюет, в столовской очереди — первый, домой ехать — лучшее место у печки займет, зарплату получать — первый в очереди, на воскресник идти — больной! — передохнув от злости, Марк рубанул воздух рукой. — Ис-кю-чить!

— Ис-кю-чить! — неожиданно проскандировали все комсомольцы и, не дожидаясь приглашения, подняли руки. — Исключить!

— Принято единогласно, — сказал Женька и покосился на парторга Голубиня. — Как бы нам не пришили нарушение комсомольской демократии! — продолжал он. — Мы ведь не дали слова самому Сергею Барышеву.

— И не давать! — заорали ребята. — Его сто раз предупреждали... Ему не слово надо дать, а по шее.

— Правильно, Женька! И морду хорошо было бы почистить.

— Товарищи! Товарищи!

— Чего «товарищи»? Его надо было еще год назад исключить из комсомола...

— Ничего не бойся, Женька, наше дело правое!

Бледный, с дрожащей папиросой в пальцах, Сергей Барышев немо и неподвижно сидел на своем пеньке с опущенной головой и сутулыми плечами...

Закончив рассказ, Голубинь снова поднялся, подошел к тому же окну, возле которого стоял

раньше.

— Я не принял решения выступить на комсомольском собрании, — сказал он. — Комсомольская организация под руководством Евгения Столетова была беспощадна к таким людям, как Сергей Барышев... — Он опять печально вздохнул. — Понятно, что райком ВЛКСМ и даже райком партии получили жалоба на собрание, где было нарушение демократия... Я не имею основания думать, что Сергей Барышев сам писал эти жалобы...

Голубинь во второй раз улыбнулся.

— Полтора месяца было затрачено, чтобы разговаривать с Евгением Столетовым и многочисленной комиссией, которой имели задания разобраться в жалобах... А в этот самый время...

Перегруженный ЗИЛ разбежался: надсадно заревел мотором, завыв отчаянно, он, как в последнюю атаку, бросился на высокий подъем, с вершины которого открывались просторная Обь, синее небо, зеленые облака над кромкой тайги, просторность Васюганских болот левобережья, пропитанных, как оказалось, насквозь жирной нефтью, забившей фонтанами уже по всей Нарымской стороне; за плесом Оби человеку с воображением мерещился Ледовитый океан, ледяная шапка полюса, холодная, сияющая вершина земли; в низовьях Оби тот же человек мог угадывать алтайские горы, теплые пески южного Казахстана...

— А в этот самый время, — повторил Голубинь, — комсомольцы готовились к наступлению на мастера Гасилова...

ЗИЛ преодолел середину подъема, разъяренно зарычал на крутой извилине, переполнив Сосновку грохотом, шел на окончательный штурм заветной высоты... Парторг Голубинь и капитан Прохоров замерли, затаив дыхание, глядя друг на друга, стиснули зубы; они оба вдруг почувствовали, что между грузовиком и их серьезным разговором есть связь, что-то есть важное в том, поднимется ли на вершину обского яра перегруженная машина или снова отступит.

— Н-ну! — невольно шептал Прохоров. — Н-н-ну!

Грузовик миновал середину подъема, взвыл еще отчаяннее прежнего, кажется, продолжал двигаться вперед... Еще метр, второй, третий... Боже мой, есть! Грузовик победно зарокотал, и освобожденный разом от всех перегрузок, заревел клаксоном, и появилось такое чувство, что в кабинет ворвался прохладный воздух и стало много легче дышать.

— Есть! — забывшись, прошептал Прохоров, — Есть, черт побери!

Он мгновенно выхватил из пачки очередную сигарету, а Голубинь презрительно бросил на стол три цветных карандаша, которые вертел в пальцах, — нервный человек! — когда машина штурмовала подъем. Потом они оба весело засмеялись, обменялись многозначительными взглядами и поняли, что им не надо говорить друг другу о том, что они нашли общий язык, и теперь, при одинаковом понимании событий и людей, их разговор будет во много раз легче. Поняв друг друга, они теперь смотрели в разные стороны; боясь показать взволнованность, фальшиво-насмешливо улыбались, и у обоих был такой вид, словно разговаривают они о пустяках.

— Комсомольцы имели серьезную ошибку, когда считали, что Голубинь — сторонник мастера Гасилова! — оживленно сказал парторг. — На первый месяц они имели право так думать. Вот извольте посмотреть это...

Голубинь вынул из стола огромную пачку пожелтевших газетных вырезок и протянул их Прохорову.

— Нет ничего удивительного, — сердито сказал Голубинь, — что я очень интересовался мастер Гасилов и даже имел с ним некоторое время большой дружба...

Прохоров жадно просматривал газетные вырезки. «Участок мастера П.П. Гасилова первым закрывает план», «Не только мастер, но и воспитатель», «Равнение на передовых. Из опыта работы мастера тов. Гасилова», «Мастер Петр Петрович Гасилов», «Работать по-гасиловски!», «Ни дня без перевыполнения социалистического обязательства», «Опытом делится П.П. Гасилов» и так далее, и тому подобное. Со многих газетных страниц смотрело лицо Гасилова, приукрашенное ретушью, но всегда с умными пристальными глазами.

— Мастер Гасилов есть великий мистификатор! — горько произнес Голубинь. — Только после комсомольского собрания я имел возможность усомниться в его добросовестность.

— Вы были на комсомольском собрании? — быстро спросил Прохоров.

— Нет, я не был на комсомольском собрании, не видел даже протокол, который — мне сказали комсомольцы — еще не есть в обработанном виде. Однако весь поселок имел разговоры о том, что мастер Гасилов делает много нарушений.

Голубинь опять взял карандаши.

— Партийная организация начала изучение принципов работы мастера Гасилов, но комсомолец Столетов уже не был жив... Мы очень, очень и очень опоздали!

Несколько секунд помолчали, затем Прохоров тихо спросил:

— Отчего все-таки комсомольцы скрывали от вас решение бороться с Гасиловым?

Голубинь встал, выпрямился.

— Это есть очень сложный и больной вопрос, — медленнее обычного произнес он. — Секретарь организации Евгений Столетов никогда не имел с парторгом Голубинем приятная беседа. Каждый наш встреча имела для него неприятный оттенок. На первый встреча я защищаю невежду и пьяницу лектора Реутов, на второй встреча я... как это говорится?... О! На второй встреча я снимаю стружка со Столетов за три девушка, с которыми он имеет отношения, на третьей встреча я снимаю с него стружка за то, что Барышев исключен из комсомола при нарушении демократии, так как Барышев не имел возможность сказать ответный речь и, кроме того... Райком ВЛКСМ не имел такой случай, чтобы комсомолец имел исключение за плохой работа. Исключали за пьянство, за драка, за воровство, а за плохой работа...

Голубинь безнадежно махнул рукой и сел. От волнения его лицо еще больше покраснело, веснушки выступили ярче, волосы казались уже не белокурыми, а седыми.

— Я, — парторг Голубинь, — резко сказал он, — считал Евгений Столетов плохой кандидатура на роль секретаря комсомольской организации. Я думал, он есть легкомысленный, несерьезный, несолидный человек... Думаю, поэтому Столетов и не пришел ко мне...

Парторг Голубинь замолчал. Три цветных карандаша он сначала положил веером, потом собрал в кучку, затем вытянул в одну трехцветную линию.

— Мы часто говорим о том, что молодежь надо доверять, а на деле иногда... — совсем тихо сказал он. — Вторая ошибка такой: за маленький проступок мы перестаем видеть хорошая сторона. По русской пословице это надо сказать так: «За деревом не имеем возможность видеть леса».

За окнами кабинета, громко разговаривая и хохоча, прошла стайка мальчишек, в одном из окон мелькнуло удилице с красным поплавком.

— Я благодарю вас, Марлен Витольдович, за откровенность, — сказал Прохоров. — Хотелось бы еще знать вашу точку зрения на Сухова как начальника участка.

И случилось неожиданное — парторг впервые засмеялся. Смех у него был негромкий, странный тем, что походил на смех подростка, а еще более тем, что глаза при этом у Голубиня оставались серьезными.

— Дирекция леспромхоза и партийная организация лесопункта не могут принять никакой меры пресечения в отношении товарища Сухова, — сказал он, просмеявшись. — Товарищ Сухов ни один раз не опоздал на работа, три раза в неделю ездит на лесосека, каждый день проводит планерка... — Он с улыбкой помолчал. — Товарищ Сухов работает удивительно много, но...

Прохоров молчал, стараясь решить, нравится ему парторг Голубинь или не нравится. Была, конечно, привлекательной его полная откровенность, точное понимание того, что произошло, но чего-то не хватало, чтобы картина сделалась полной. Прохоров опять закурил, крепко затянувшись, подумал, что они не договорили о знаменитом комсомольском собрании.

— Марлен Витольдович, — спросил он, — какие же меры предприняла партийная организация после того собрания, когда вы впервые усомнились в честности Гасилова?

Голубинь ответил сразу, не сделав даже крошечной паузы.

— Никаких мера мы предпринять не успели, — сказал он. — То комиссия и командированные ответственные работники, почему и какое право комсомольский организация могла принять решение о снятии с работы товарища Гасилова. Потом... смерть Столетова...

У Прохорова теперь оставался только один-единственный вопрос.

— А сейчас, — спросил он, — партийная организация убеждена в том, что мастера Гасилова надо снимать с работы?

На этот раз Голубинь молчал так долго, что Прохоров уж было собрался переспросить его, но парторг сказал:

— Мы теперь имеем убеждение, что Гасилов виновен, но снять его с работа — очень трудное дело... — Он устало покачал головой. — Очень много лет мастер Гасилов был знамя нашего леспромхоза...

— И все-таки? — подхватил Прохоров.

— И все-таки Гасилов надо снимать, — проговорил Голубинь. — Все-таки его надо крепко наказывать... Кстати, теперь можно отвечать на ваш вопрос, почему Гасилов беспартийный. Дело в том, что Гасилов не имеет стремления быть на виду, старается уйти в тень... Он... как это можно выразиться? Он похож на скользкий рыба налим...

Голубинь открыл стол, бросил в него три разноцветных карандаша, туго сжал губы.

— Я думаю, — после длинной паузы сказал он, — я думаю, что парторг Голубинь тоже должен получить большие неприятности... Меня тоже надо снимать с работа!

Мимо дома Столетовых капитан Прохоров всегда проходил торопливым шагом, боясь увидеть сквозь стекла женское лицо. Поэтому только теперь он подробно разглядел затененный тополями фасад, яркие голубые наличники, веселого петуха — флюгер, установленный на коньке крыши. В доме по расчетам Прохорова было четыре комнаты, сложен он был из прочных лиственных бревен, и вообще был одним из тех домов, которые были построены еще до революции и принадлежали хозяевам среднего достатка.

Прохоров медленно поднялся на крыльцо, прошел через небольшие сени, помедлив, нажал белую пуговку звонка. За дверью около минуты было тихо, потом послышались легкие шаги, и дверь открылась — перед Прохоровым стояла мать Евгения Столетова.

— Евгения Сергеевна, здравствуйте! — быстро проговорил он. — Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым. Мне надо поговорить с вами.

Эта торопливая, суховатая фраза была им приготовлена заранее, чтобы после обычного «здравствуйте» не образовалась пауза, а сразу бы последовал ответ на конкретное предложение поговорить. Кроме того, свои первые слова Прохоров произнес таким деловитым тоном, что они требовали в ответ такой же деловитости, не оставляя места на эмоции. И Прохоров добился своего...

— Проходите, товарищ Прохоров! — голосом врача, устанавливающего диагноз, произнесла Евгения Сергеевна. — В столовой, я думаю, нам будет удобнее.

Евгения Сергеевна с прямой напряженной спиной шла впереди, открыв дверь в столовую, вошла в нее первой и приглашающим жестом показала Прохорову на кресло. Садясь и не имея времени на то, чтобы оглядеться как следует, Прохоров все-таки профессиональным взглядом заметил обитые приятными зеленоватыми обоями стены, два натюрморта, большую деревянную декоративную тарелку на стене, полосатую домотканую дорожку на крашеном полу и белые стерильно-чистые занавески на окнах.

— Мне очень не хотелось идти к вам, Евгения Сергеевна, — сказал Прохоров. — Я старался не беспокоить мать Евгения, но... Мне не удалось!

Только теперь Прохоров по-настоящему рассмотрел Женькину мать. Она стояла перед ним прямая и бледная, закаменевшая, с лицом, на котором не читалось ничего, кроме удивления, словно Евгения Сергеевна не верила всему тому, что происходило вокруг. Сидел перед ней капитан Прохоров — почему, для чего, зачем; стоял накрытый клетчатой клеенкой обеденный стол — зачем, почему; висела декоративная деревянная тарелка — почему, для чего, зачем? Ничего из происходящего и существующего в реальности не понимала Евгения Сергеевна в те минуты, когда в доме появился человек, связанный по-своему с гибелью ее сына.

— Мне не удалось! — невнятно повторил Прохоров. — Не удалось...

У Прохорова не было слов, чтобы продолжить, так как он понял, что нет на земле человека, который бы знал, что необходимо сказать окаменевшей и удивленной женщине, до сих пор не поверившей в смерть единственного сына и продолжающей ждать, что кошмарный сон прервется. Вот-вот прокричит над ухом кто-то добрый и знающий правду: «Просыпайся, Евгения! Пора на работу!», и она радостно посмотрит на голубой мир сквозь ночные невзаправдашние слезы, так как в действительности не могло происходить того, что происходит: не мог сидеть перед ней до ужаса реальный капитан уголовного розыска, не могла звучать фраза «я старался не беспокоить мать Евгения...», не могло произойти всего того, что произошло.

У Прохорова болело горло от непродолжительной, но острой спазмы; растерянный, но

внешне спокойный, непроницаемый, он чувствовал себя так, словно из просторной столовой выкачали весь воздух, и, наверное, поэтому, сам не зная, что говорит, лающим голосом произнес:

— Моему сыну было бы столько же, сколько было Евгению, если бы он родился... Но мой сын не родился... Его мать, моя бывшая жена, убила его до рождения... — Он передохнул, так как по-прежнему не хватало воздуха. — Это страшно, это невозможно — убивать сыновей до их рождения!

А с Евгенией Сергеевной происходило нежданное, поразительное — ее глаза просветлялись, лицо начинало нежно розоветь, разжались до боли стиснутые зубы; она вся как бы раскрывалась, распаивалась, как ранним утром распаиваются навстречу солнцу большие окна большого дома. Евгения Сергеевна вдруг улыбнулась Женькиной улыбкой, знакомой Прохорову по фотографии, провела шелушащимися от частого мытья пальцами по нижней губе.

— Евгений родился здоровым, крепким ребенком, — сказала она негромко. — Он родился рано утром в воскресенье, и все женщины в палате говорили: «Ты, матушка, родила праздного человека!» Есть такая смешная примета!.. Евгений очень долго не кричал, когда был в руках врача, он очень долго не кричал, появившись на свет, но когда закричал, то вся больница его услышала...

Евгения Сергеевна теперь держала руки таким образом, словно баюкала грудного ребенка; руки беспомощно висели в воздухе, но она не замечала этого, она даже, наверное, не знала о том, что ее руки подняты.

— Женя был спокойным ребенком! — задумчиво продолжала она, делая баюкающие движения. — Он плакал только тогда, когда хотел есть, а просыпался утром с крошечной улыбкой на крошечном лице... Представьте себе, это был спокойный ребенок, хотя очень, о-о-о-чень энергичный!

Прохоров не шевелился, потрясенный. Он представил крошечного Женьку с крошечной улыбкой на лице, увидел дрыгающиеся ноги, длинную спину, родимое пятнышко на боку — мальчишка весь переливался радостью бытия, на губах пузырилось материнское молоко.

— Он рос быстро, он чрезвычайно быстро рос...

Лицо Евгении Сергеевны от воспоминаний совсем порозовело, руки вдруг переменили положение — теперь они были опущены; мизинец левой руки был отставлен, точно за него ухватился крепкой ручонкой Женька, подняв к солнцу и матери лицо, поспешал за Евгенией Сергеевной, быстро-быстро перебирая ногами. Волосы тогда у Женьки были совсем льняные, рассыпающиеся, легкие как пух.

— Женя пошел на одиннадцатом месяце, и это случилось в забавной, о-о-о-чень забавной обстановке... Я стояла вот тут. — Евгения Сергеевна показала на окно. — Он сидел вот тут, на дорожке, голопопый, а у меня в руках была яркая погремушка. Я бесцельно погремела ею, я ничего не хотела от Жени, но он вдруг поднял личико, осмысленно поглядел на погремушку и потянулся к ней... Представляете, он встал, качаясь, пошел вперед и стал уже падать, поэтому побежал и уткнулся мне вот сюда...

Евгения Сергеевна показала пальцем на место ноги, куда уткнулся Женька, и не сразу отняла руку, словно десятимесячный Женька, живой, смеющийся от радости, все еще прижимался к ее ноге.

У Прохорова сохли губы, болело сердце: ему хотелось вскочить, закрыв глаза, зажав ладонями уши, броситься вон из комнаты, чтобы где-то в темном пустом углу остановиться,

замереть, ничего не видеть, не слышать.

— Через две недели он уже ходил, как взрослый... Он уверенно ходил, представьте себе... — продолжала женщина. — А говорить он начал в полтора года, и прекрасно, прекрасно заговорил... О-о-очень четко, не картавя, произносил слово «ромашка». — Она долго молчала, потом продолжила: — У нас двор всегда зарастал белой пахучей ромашкой...

Евгения Сергеевна убрала руку с ноги — это значило, что сын уже сам бегал по белому ромашковому полю, впервые был свободен от материнского мизинца...

Убрав руку с ноги, Евгения Сергеевна, пожалуй, впервые за все эти минуты не увидела, а, наверное, ощутила Прохорова, и как бы вернулась ненадолго в комнату из далеких мальчишеских лет сына — она уже оторвала Женьку от груди, поставив его на ноги, научила говорить и отпустила в мир, где существовали такие вещи, как люди, ромашки, дома, реки, кони, огороды, небо, звезды, трава и... капитан Прохоров. Да, да, самым реальным в мире теперь оказался капитан Прохоров, и мать Женьки Столетова наконец-то увидела его как единственно существующую действительность...

— Скажите, Евгения Сергеевна, — таким же тихим вспоминающим голосом, каким говорила женщина, спросил Прохоров, — вы не помните, когда он узнал о том, что Людмила собирается выходить замуж за технорука Петухова?

Евгения Сергеевна медленно подняла глаза, недоуменно пожав плечами, неожиданно просто и великодушно улыбнулась.

— Это все деревенские сплетни, Александр Матвеевич! — сказала она. — Людмила вовсе не собирается выходить замуж за Петухова. Это выдумка, клевета на нее. Женя не имеет от меня тайн, я все знаю о его сердечных делах... Он очень любит Гасилову, и мы не мешаем ему, хотя понимаем, что эта девушка Жене не нужна... — Она укоризненно покачала головой. — Ах какие трагедии бывают в жизни! Женю любит замечательная женщина Анна, она прекрасна, она удивительно прекрасна! Представьте себе, что Женя тоже, сам того не зная, любит Анну Лукьяненок...

Прохоров стиснул зубы, впился пальцами правой руки в предплечье левой — он уже не мог больше слушать, как Евгения Сергеевна обходит прошедшее время, как она продолжает говорить о сыне в настоящем. Он знал, что ему будет трудно в доме Столетовых, но никогда не предполагал, что ему нельзя будет употреблять страшное «был».

— Он вырезал негров и любил карманные фонарики, — осторожно сказал Прохоров, оттягивая трагичную минуту окончательного возвращения сына Евгении Сергеевны в реальность. — Почему он делал это?

— Он с пяти лет любит негров... А карманные фонарики... — медленно ответила Евгения Сергеевна. — Я всегда любила читать ему вслух, и Жене исполнялось пять лет, когда я прочла «Хижину дяди Тома»... Я читала ему «Хижину дяди Тома», а он ложился на коротенькую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки — там до сих пор видны углубления... Мы долго-долго читали... ЗА ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...пятилетний Женька ложился на короткую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки, мама подсовывала ему под голову две большие подушки и читала «Хижину дяди Тома». За стенкой ходил, кашлял и стучал палкой об пол молодой тогда еще дед Егор Семенович, главный врач сосновской больницы, в маминой комнате мастерил птичьи клетки из ивовых прутьев отчим Василий Юрьевич, мама куталась в пуховый платок, хотя в доме было очень тепло, и было приятно слушать, как завывает за окном февральская метель.

В тот вечер, когда мама заканчивала читать «Хижину дяди Тома», Женька лежал ни жив ни

мертв, бледный от волнения, закусив нижнюю пухлую губу... Дяди Тома уже не было, дядя Том уже умер; за окнами выла страшная февральская метель, и Женьке было так же страшно и тревожно, как было однажды, когда дед Егор Семенович принес в дом на вытянутых руках тело девочки Лиды, попавшей под колеса автомобиля. Дед думал, что Лида еще жива, поэтому и принес ее в дом, который был ближе, чем больница, но Лида оказалась мертвой, что было жутко и странно, так как еще вчера Лида показывала Женьке, какие красивые резинки купила ей на чулки мама: «И чулки у меня, Женька, новые, перворазнадеванные...» Сейчас было страшно так же, как и тогда. На потолке трещинки, впадинки и выпуклости образовывали усатую тигриную морду с прижатыми хищно ушами, словно тигр готовился к прыжку, и прыгнул бы, если бы над книжкой не склонялось самое красивое лицо на свете — лицо мамы. У нее в волосах был ровный и теплый пробор, с покатых узких плеч падал пушистый оренбургский платок.

В печной трубе так выло, на крыше так громыхали доски, что казалось — кто-то ходит на прямых осторожных ногах. Женька ежился, стремился свернуться в самый маленький комочек; его коротенькие вельветовые штаны открывали полные ноги в чулках с крупным рубцом и позорные девчоночьи резинки, точно такие, как у погибшей под колесами автомобиля Лиды, и от этого было еще страшнее.

Наконец мама прочла последние строчки «Хижины дяди Тома», осторожно закрыла книгу, потерев пальцами уставшие глаза, уронила книгу себе на колени. У нее было несчастное, опустошенное лицо, плечи сделались совсем узенькими, платок скатился с них и упал на пол; мама не заметила этого, сидела, словно закаменела, кожа на щеках сделалась бесцветной, и Женьке вдруг так стало жалко маму, что он бросился к ней, припал головенкой к плечу; он слышал, как часто билось сердце мамы; все было родное, до слез свое, и он замер, притаился, словно он, Женька, был мамой, а мама — Женькой.

— Я люблю тебя, люблю дядю Тома... — шептал пятилетний Женька, все плотнее прижимаясь к плечу мамы и плача. — Ты ничего не бойся, мама, я тебя защищу, я тебя всегда защищу, если надо, и дядю Тома тоже защищу... Я сильный, я храбрый, мама, я не боюсь, что воет метель и кто-то ходит по чердаку... Я тебя защищу, мама, обязательно защищу...

Евгения Сергеевна гладила его круглую голову с нежными белокурыми волосами, вдыхала детский сонный запах, чувствовала, как бьется на ее плече то самое, что когда-то билось под сердцем; чувствовала все его маленькое, тепленькое, длинное тело с полными по-детски ногами. В глазах у Евгении Сергеевны стояли слезы, она видела завиток уха, похожего на ухо умершего первого мужа, и ей было сладко и легко плакать вместе с Женькой, который не видел ее слез, но, конечно, знал, что мама плачет.

— Мама, мама, ты не плачь, — уговаривал он. — Я тебя защищу, я тебя обязательно защищу. От волка, от Бармалея, от метели, от Петьки Гольцова, от усатого дядьки, что приезжает в больницу, от автомобиля, от речки, от темного леса, от мороза. Мама, мама, ты не плачь, ты не плачь, моя мама!

И Женьке казалось, что ветер за окнами утишился, никто не ходил на прямых осторожных ногах по чердаку, и Лида, живая, здоровенькая, опять показывала Женьке новые резинки. Себе Женька сейчас казался могучим, непобедимым, добрым богатырем, и он ничего на свете не боялся, а наоборот, плохие звери и плохие люди боялись его.

— Пора спать, Женька! — тихо-тихо сказала мама. — Хочешь, я тебе спою песенку про то, как ходит козлик возле речки?

Женька любил песню про козлика, часто требовал, чтобы мама пела ее, когда он засыпал, но сегодня решительно заявил, что про козлика слушать не хочет, что уснет сам — не

маленький! Он быстро и умело, как настоящий мужчина, разделся и неторопливо поцеловал улыбающуюся маму в щеку, лег в кровать не на бок, а на спину, как делал это обычно сильный и отчаянно смелый дед Егор Семенович. Наморщив лоб, Женька озабоченно попросил маму разбудить его ровно в семь, с третьими петухами, и, так как мама продолжала смеяться и тормозила его, Женька рассердился, и сердился так долго, что взял да и уснул с озабоченным и сердитым лицом.

Евгения Сергеевна погасила свет, постояла немного над кроватью сына, взяла чулки в резинку и крошечную майку — Женька спал в одних трусиках, — на цыпочках ушла в кухню, чтобы выстирать и высушить все это за ночь. В продаже тогда еще было мало детских маек и чулок, за ними приходилось стоять в большой очереди возле орсовского магазина; не было еще такого, чтобы деревенские полки сгибались под грузом отечественного и заморского барахла.

Наверное, в третьем часу ночи Женька увидел сон, о котором вспомнил сразу же, как проснулся. Сон был недлинный, но четкий, конечно, цветной.

...Женька в длинных, как у взрослых, настоящих брюках шел по светлой от солнца сосновской улице, на боку у него висела кобура, в которой хранились мыло и зубная щетка, но сама кобура была настоящей, опасной для всех врагов и особенно для Петьки Гольцова. В руках Женька держал сачок для ловли бабочек, он его все стремился нести на плече, как винтовку, но почему-то не мог поднять, хотя в руках сачок казался очень легким. Над Кривой березой, где Женька однажды гулял с отчимом, летал махаон — их никогда не бывало и не могло быть в нарымских краях, — вокруг махаона порхали белые капустницы, поднявшиеся с белой шевелящейся кочки. «Махаонище, миленький!» вкрадчиво говорил Женька бабочке, стараясь поймать ее, и уже было накрыл махаона сачком, как бабочка вдруг превратилась в налима, который, широко открыв рот-кошелек, ворчливо сказал Женьке: «Ты сам махаонище! Небось любишь налимяю печенку!» Потом не стало налима, и вообще ничего не стало, но сачок наконец-то охотно превратился в ружье с длинным острым штыком. Что делать с винтовкой, Женька не знал и...

Он проснулся в половине седьмого и вчерашним рассерженным, солидным и мужественным взглядом посмотрел на чистые чулки и майку, висящие на высокой спинке кровати. «У тебя стиральный психоз, Евгения!» — словами деда насмешливо подумал Женька о маме, но надел чистые чулки, майку и даже позорные девчоночьи резинки, решив, что взрослому мужчине унижительно спорить с мамой из-за таких мелочей, как резинки, тем более что под штанами их не видно.

— Здравствуйте, здравствуйте! — неторопливой походкой входя в столовую, сказал Женька маме, деду и отчиму. — Небось не умывались еще, проспали всю утреннюю благодать... Вот ты, дед, чего стоишь у окна и ковыряешь мозоль, когда на улице распрекрасная погода? — Женька нахмурился и дедовым голосом продекламировал: — Вечор, ты помнишь, выюга злилась, на мутном небе мгла носилась, а нынче посмотри в окно...

Не обращая никакого внимания на хохот мамы, деда и отчима, отклонив все попытки поцеловать его, Женька четким деловым шагом прошел к умывальнику, с мылом умылся, тщательно вычистил зубы и только тогда вернулся к родственникам, которые теперь уже не смеялись, а довольно серьезно смотрели на солидного Женьку.

— Ты что будешь пить, Женька? — спросила мама. — Свой чай с шестью ложками сахара или, может быть, кофе с молоком?

— Все равно, все равно! — голосом деда ответил Женька. — Меня не интересуют мелочи.

После завтрака Женька надел свою длинную необычную для Сосновки борчатку, отороченную по полам бараньим мехом, важный и насмешливо-презрительный вышел на

улицу, остановившись возле забора, внимательно осмотрелся — ослепительно блестел на солнце чистый снег, дорога синей сверкающей лентой уходила на гору, за белой и огромной рекой розовел заснеженный лес, и казалось, что вечером и ночью не было никакой метели, что все окружающее было всегда таким, как сейчас. Далеко слышался скрип санных полозьев, по улице ехал на обледеневшей бочке орсовский водовоз дядя Булыга, кобыленка по имени Спесивая медленно переставляла лохматые, покрытые инеем ноги, из мягких и добрых губ кобылы вырывалось розовое от утреннего солнца облако морозного пара.

Дядя Булыга, увидев Женьку, завистливо покачал головой и сказал: «Вот это шубейка, парнишша! В ней можно хоть на дальни проруби по воду ездить. Н-ну шубейка!»

Справа от Женьки, через один дом, стоял самый плохой и противный человек на всем белом свете — Петька Гольцов. Он вечно дразнил Женьку за короткие штаны, за длиннополую борчатку, за то, что Женьку не пускали гулять, если на дворе было ниже тридцати градусов мороза. А однажды... Однажды они начали драться, и Петька победил — он поставил колено на Женькину грудь и, хохоча, спросил: «Сдаешься?» Женька молчал, он так и не сказал «сдаюсь», но мимо дома Петьки Гольцова ходить перестал.

Сегодня Петька стоял возле ворот своего дома в коротком полушубке, в большой шапке из собачины, лихо сдвинутой набок. Увидев Женьку, самый плохой и противный человек на свете подбоченился, плюнул на снег и начал улыбаться так, словно хотел сказать: «Боишься меня, боишься? Ну и правильно делаешь!»

— Не боюсь я тебя, не боюсь! — прошептал Женька и неторопливо пошел направо, повторяя, как заклинание: — Не боюсь я тебя, не боюсь...

Петька Гольцов был на голову выше Женьки и почти на два года старше его, но сегодня Женька таким медленным уверенным шагом прошел мимо него, сегодня у Женьки было такое лицо, что Петька Гольцов перестал улыбаться и проводил Женьку задумчивым взглядом — он даже переменял позу, то есть не стал подбочениваться.

Вечером мама и Женька пошли в клуб «Лесозаготовитель», где показывали фильм «Свадьба с приданым», и возвращались домой поздно, в десятом часу, когда Женьке уже полагалось спать.

Было темно и холодно, река совсем не выделялась, огней в ближних и дальних домах было мало, так как деревня засыпала, на улице бродили собаки, замерзшие, с опущенными хвостами. Женька медленно шел рядом с матерью, держал руки за спиной, нахмутив брови, глядел себе под ноги, боясь поскользнуться на накатанной санными полозьями дороге. Чтобы сократить путь до дома, они свернули в переулок, оказались в сплошной тьме. Женька шел позади матери и вдруг тихо сказал:

— Мам, а ведь негров, наверное, ночью совсем не видно...

— Да, у них темная кожа, — рассеяно ответила Евгения Сергеевна и протянула сыну руку. — Держись, Женька, здесь ухабы...

Женька уцепился за руку матери, пошел рядом с ней широко и свободно, по-солдатски размахивал свободной рукой в остяцкой расписной рукавице с бисеринками, и они быстренько пришагали домой; мать помогла Женьке снять борчатку и развязать тесемки шапки-ушанки, проводила в детскую комнату, но тут же оставила одного, так как в стенку призывно постучал дед Егор Семенович. Наверное, что-то происходило в доме или в деревне. В доме мог появиться поздний гость, а в деревне больной, к которому нужно было бежать быстро-быстро.

— Ты сам ложись, Женька! — торопливо сказала мать уходя. — Прибегу сказать тебе

«спокойной ночи».

— Ладно, мамуль!

Женька собрался уже было снимать куртку, как замер, закусив нижнюю пухлую губу, подумал немножко и решительно полез в угол, где лежали его игрушки. Наверное, минут десять он, пыхтя и посапывая, рылся в игрушках, что-то разыскивая, затем приглушенно засмеялся:

— Вот ты куда спрятался, Джимми!

Женька держал в руках небольшого негритенка с матерчатым, пришитым Евгенией Сергеевной туловищем, с гладкой головой из папье-маше и такими большими черными глазами, что все лицо игрушки казалось состоящим только из них. Женька стер с лица игрушки слой пыли, и оно заблестело, залучилось в электрическом свете, как лицо настоящего негра.

— Ах ты, Джимми!

Негритенок смотрел на Женьку серьезно, немного насмешливо; набитое опилками туловище у Джимми было такое худенькое, что вызывало жалость. Поэтому Женька огорченно почмокал губами, а негритенок в ответ на это вдруг покачал головой и стал смотреть на Женьку искоса и лукаво: «Чего же это ты, Женька, не ложишься спать? Вот придет мать, она тебе покажет где раки зимуют!» Радостно подмигнув негритенку, Женька быстро разделся, на минуточку положив Джимми на кровать, пошел к дверям, чтобы выключить электричество, но остановился. «В темноте я не увижу лицо Джимми», — рассудительно подумал он и вернулся к кукле, ободряюще похлопав ее по тощему животу, сообщил:

— Мама свет выключит. Она придет мне говорить «спокойной ночи, Женька» и выключит свет...

Джимми, видимо, согласился с Женькой, что будет лучше, если электричество выключит Евгения Сергеевна, и вид у Джимми опять был задорный: «Мне-то все равно, Женька, будет гореть свет или не будет!» Поэтому Женька бесцеремонно взял Джимми за тощие плечи, бросился на кровать и, совершив рукой с зажатой в ней куклой размашистый полукруг, почувствовал, что кукла выскользнула из пальцев; продолжая полет по кривой дуге, игрушечный негритенок головой ударился об стенку.

Бух!

Удар был сильный, но голова куклы, сделанная из папье-маше, на части распалась медленно, как в замедленных кинокадрах: осколки бесшумно рассыпались по полу, так как были почти невесомы. Самый крупный из них — щека и бровь — перевернулся, и Женька увидел химические, расплывшиеся буквы на бумажной изнанке. На все это Женька сначала глядел с любопытством, как бы интересуясь, на сколько кусочков разделится голова Джимми, и это длилось до тех пор, пока Женька не увидел направленный прямо на него удивленный глаз.

— Джимми! — прошептал Женька. — Где же твоя щека?

Повторив вопрос кукольного глаза, Женька почувствовал тоненький укол под ложечкой, похожий на прикосновение острого металла, и как раз в этот миг в комнату быстро вошла веселая Евгения Сергеевна, энергично двинулась к сыну, чтобы поцеловать его, но остановилась и так же, как Женька, задрала на лоб брови.

— Что случилось?

Женька протянул руку, показал на кусок щеки с фиолетовыми буквами и осторожно сказал:

— Я побоялся, что его в темноте не будет видно, мам, а потом он разбился. Взял и разбился...

Через секунду Женька тонко и длинно закричал на весь дом. Это был такой тонкий и страшный крик, от которого Евгения Сергеевна пошатнулась, как от порыва ветра, бросившись к сыну, увидела, что у него такие большие глаза, что лицо казалось состоящим только из них...

В просторной столовой было тихо и пустынно, качался с мелодичным качаньем маятник настенных часов, одинокий солнечный квадрат лежал на желтом полу.

— Повзрослев, Женя стал вырезать из журналов и книг портреты стариков негров... а потом... позднее коллекционировать карманные фонарики, — сказала Евгения Сергеевна. — Как врач я скажу — это было немножко болезненным. У Жени слишком восприимчивая нервная система...

Прохоров понемногу разглядывал ее лицо; почти спокойный, он мог теперь сравнивать, размышлять, видеть ранее не замеченное: единственный сын Евгении Сергеевны мало походил на нее, только, пожалуй, глаза и шея у Женьки были материнскими, а все остальное: короткий тупой нос, маленькие круглые и твердые губы, резкий профиль — было у него отцовским.

— На Женю имеет большое влияние учитель Викентий Алексеевич Радин, — между тем задумчиво продолжала Евгения Сергеевна. — Он называет историка комиссаром, подражает ему, гордится дружбой с Викентием Алексеевичем. — Она замолчала, хрустнула пальцами. — Нет ли сигареты, Александр Матвеевич?

Прикурив от прохоровской зажигалки, Евгения Сергеевна сделала длинную сильную затяжку; видно было, что курит она давно, умеет курить и любит курить.

— Викентий Алексеевич — единственный посторонний человек, которому Женя рассказал о своем втором потрясении... — Она несколько раз кивнула. — Да, да! Было два страшных вечера в его жизни. Тот, о котором я только что рассказала, и другой — при чтении романа Гюго... После каждого потрясения он взрослел на глазах...

Сейчас ее лицо было абсолютно спокойным, движения плавно замедленными; смотрела Евгения Сергеевна в уличное окно, поэтому в ее зрачках отражалась зелень палисадника.

— Пять лет назад с Женей произошло то непереносимое, что в конце концов происходит со всяким человеком, — говорила Евгения Сергеевна. — С одним это происходит рано, с другим — поздно, но непременно происходит... — Она поднесла сигарету к губам, но так и не взяла ее в рот. — Пять лет назад вечером, после чтения романа Гюго «Девяносто третий год», Женя впервые понял, что когда-нибудь обязательно умрет, что это так же реально, как вот этот стол...

Евгения Сергеевна остановилась, долго молчала, потом незнакомым еще Прохорову голосом произнесла:

— Он понял, что когда-нибудь умрет...

Прохоров побледнел, так как почувствовал, что сейчас произойдет самое страшное, а он ничем не может помочь, ничего не может сделать, чтобы облегчить жизнь матери Евгения Столетова. А она, снова закаменев, уронила на колени руки, шепотом повторив еще раз последние слова, тихо, но мучительно ясно спросила:

— Скажите, его толкнули?... Его толкнули с подножки вагона? Скажите, ради бога, Евгения убили?

Впервые в течение всего разговора соединив жизнь сына со словом «смерть», Евгения Сергеевна резко поднялась, глядя в окно, выходящее в палисадник; она поднималась так, словно что-то нужное, потерянное, давно забытое нашла среди акаций и рябин. Обеспокоенная тем, чтобы находка не исчезла, Евгения Сергеевна по дуге пошла к окну, секунду смотрела на пыльную зелень, затем повернулась к Прохорову и вяло взмахнула рукой:

— Ах, да какое это имеет значение!

Едва проговорив эти слова, Евгения Сергеевна опять пошла вперед по дугообразному пути, заложив руки в карманы платья-халата, остановилась еще раз, но теперь у дверей; возле них она стояла долго, наверное, целую минуту, потом как-то боком, очень неловко, позабыв о Прохорове, вышла из комнаты. Немного спустя скрипнула еще одна дверь, потом еще одна, и Прохоров сквозь другое окно увидел, как в том же платье-халате, со склоненной головой, с руками в карманах Евгения Сергеевна шла по деревянному тротуару. «Отправилась в больницу!» — подумал он и прислушался к тишине — в доме никого, кроме Прохорова, теперь не было: отчим Евгения Столетова все эти дни сидел на метеостанции, а дед Егор Семенович с утра уходил на ту поляну, где росла Кривая береза. «Забавно! — подумал Прохоров. — Меня бросили в пустом доме... Вот это положение!» Он усмехнулся, встав, походил немного по столовой.

Тишина столетовского дома, построенного из толстых лиственничных бревен, была абсолютной, недышащей, замурованной; такая тишина бывает только в тех домах, где недавно кто-нибудь умер... Было нетрудно представить, как в столовую входил Женька, бросал свое энергичное тело на крепкий стул, швырял на подоконник рабочую кепчонку и насмешливо растягивал тугие губы: «Дорогие предки, я хочу жрать, как дед после разгрома Колчака! Подайте голодающему черствую горбушку хлеба...» Он наполнял дом шумом, смехом, веселой толчеей; с ним почти всегда приходили — тоже голодные — друзья, садились вот за этот стол, и Евгения Сергеевна озабоченно говорила, что хлеба обязательно не хватит, а его не только хватало, но в деревянной хлебнице оставалось еще на один обед.

Прохоров ощущал тишину даже затылком и чувствовал желание не уйти из дома, а сделать как-то так, чтобы дом ушел сам, оставив его на безлюдном пустыре. Прохоров поднял руку, провел пальцами по щеке, гладкой после недавнего бритья, и это показалось неприятным, ненужным, точно было бы лучше, если бы под пальцами заскрипела щетина. Испытывая необходимость что-то делать, говорить, он между тем стоял истуканом и думал о том, что он, Прохоров, имеет с домом Столетовых такую естественную и прямую связь, что ему не только можно, но и нужно побыть одному в пустынных комнатах, походить по всему дому, то есть вести себя так, как бы вели себя родственники Женьки; ведь теперь Евгений Столетов на всю жизнь станет близким человеком для капитана Прохорова, а семья погибшего будет родной, близкой ему. Размышляя таким вот образом, Прохоров незаметно для самого себя вышел в коридор, не сомневаясь в правильности пути, приблизился к узкой белой двери, бесшумно открыл ее — перед ним была комната Женьки.

Прохоров стоял у порога с таким видом, словно боялся перешагнуть его, и это было одновременно правдой и неправдой, так как его тянуло немедленно войти в комнату и все осмотреть, все пощупать собственными руками, а с другой стороны, он был немного напуган тем, что комната походила на того Женьку Столетова, каким представлял его Прохоров. Каким образом комната могла походить на человека, никто, наверное, объяснить бы не смог, но это было так.

Комната была узкой и длинной, всю левую стену занимал стеллаж с книгами, окно глядело

прямо на реку, в углу валялись гантели и эспандер, на правой стене висел портрет покойного отца, возле этой же стены стояла металлическая больничная кровать. Огромный фотографический портрет Людмилы Гасиловой (работа Борьки Маслова) висел над письменным столом. Стояла короткая черная кушетка, прислоненная к теплому боку печи тем концом, на котором находились ноги лежащего.

Переступив порог, Прохоров подошел к голландской печке, чтобы увидеть то, что давно хотел увидеть, — углубления, оставленные на боку печки Женькиными каблуками. Они появились от того, что, ложась с книгой на кушетку, Женька непременно задирает ноги и упирался ими в печную стенку, и, сколько ни протестовала против этого Евгения Сергеевна, ничего не помогало, так как Женька в другой позе книги читать не мог.

Углубления на боку голландской печки... По ним капитан Прохоров мог проследить всю жизнь Женьки Столетова, начиная с шестилетнего возраста. Самая нижняя ямочка относилась к тому времени, когда мальчишка только учился читать — она была маленькой и незаметной; углубления на вершок выше были сделаны Женькой между десятью и двенадцатью годами, когда жизнь в книгах казалась в миллион раз интересней, чем в Сосновке, — со страниц раздавались пушечные залпы пиратских кораблей, бродил по земле Маленький оборвыш, качалась на ветке плюшевая обезьяна. Ямка, оставленная этими годами, была глубокой, но еще не такой, какую Женька пробил каблуками между двенадцатью и шестнадцатью годами. Это было самое крупное углубление, которое несколько раз замазывали глиной, но не могли замазать, так как между двенадцатью и шестнадцатью годами Женька особенно сильно долбил кирпичи нетерпеливыми ногами. Летом он пролеживал на кушетке по двенадцать часов в сутки, зимой — по восьми. Пираты уже отстрелялись, ушел в свое несчастье Маленький оборвыш, плюшевая обезьяна надоедливо верещала. Со страниц книг теперь мчался навстречу мельницам Дон-Кихот, лукаво подмигивал Санчо Панса, устраивался на пустом и голом острове Робинзон Крузо, ходил по земле веселый и несчастный Тиль Уленшпигель, кутался в серую накидку человек в футляре, гордо носил турецкую феску Тартарен из Тараскона... Следующие углубления в кирпичах были помельче, так как ноги Женьки стали длиннее. Это было время «Хождения по мукам», «Дамы с собачкой», хохочущего над всем миром Швейка, гостиней в доме Ростовых, где Наташа целовалась с Борисом, душного «Декамерона» и страшного «Золотого осла», иронического Франса, благодушно усмехающегося О'Генри... Выше углублений на печке не было.

Прохоров подошел к стеллажу, на котором стояли те книги, которые оставили след на печи, машинально протянул руку к первому попавшемуся томику, но не взял, так как со стеллажа на Прохорова смотрели негры, много негров. И еще Прохоров увидел карманные электрические фонарики — они висели на стене, валялись на стеллаже, на подоконнике: среди них были круглые, плоские, квадратные, с подзарядкой от электросети, с пружинным механическим динамо. Фонариков было так же много, как и портретов негров, и Прохоров поморщился, словно у него отчаянно болели зубы. Он перевел взгляд на портрет Женькиного отца: тот же короткий тупой нос, те же разлетающиеся волосы, тот же наклон вперед, который делал сына похожим на стремительно идущего царя Петра со знаменитой картины.

Дальше Прохоров действовал почти механически, профессионально и назойливо точно. Ему надо было знать, какую книгу Евгений Столетов читал вечером двадцать первого мая, и Прохоров спервоначала протянул руку к средней полке, где на свободном пространстве одиноко лежала книга с зеленой закладкой. Это был томик Чехова, а закладка лежала на той странице рассказа «Ионыч», которая начинается словами: «Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову...» Держа в руках книгу, Прохоров старался представить, когда и в каком состоянии Евгений мог читать Чехова. Это было, наверное, в один из тех дней, когда Столетов впервые поспорил с Людмилой Гасиловой. А что, если?...

Перебрав еще несколько книг, Прохоров на самом деле уловил в их расположении некую

систему. Оказалось, что именно на средней полке, в самом центре стеллажа, книги стояли в беспорядке, совсем не так, как на других полках, где том следовал за томом, иностранные книги отделялись от отечественных и так далее. На средней же полке лежали только те книги, которые Женька читал в последнее время и не успел расставить по местам. У самой перегородки лежала зачитанная «Как закалялась сталь».

Продолжая перебирать книги на средней полке, Прохоров видел Женькину непоследовательность, резкую смену настроений: он то хохотал вместе со Швейком, то закладывал промокашкой страницы в «Хромом барине». И так, хаос, неразбериха, но в этом-то и была система, которая позволяла по книгам, сравнивая их с записками к Людмиле, проследить смену отношений Женьки и дочери Гасилова.

Он читал «Испанскую балладу», видимо, тогда, когда Людмила ревновала его к Анне Лукьяненко; Женька взялся за «Королей и капусту» О'Генри в тот вечер, когда написал Людмиле: «Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно...» Женька начал перечитывать «Обыкновенную историю» Гончарова в тот вечер, когда допоздна занимался математикой и физикой, а потом думал о своей — пока обыкновенной и скучноватой — жизни. Женька взял в руки «Остров пингвинов» Франса, когда... Прохоров взял синенький томик, машинально открыл его, и на пол, колыхаясь и кружась, упало несколько блокнотных листов бумаги. Он их поднял — одна из страниц начиналась словами: «Ах, как он хорош, Петр Петрович Гасилов, когда на заре, ранним утром отправляется с рабочими на лесосеку!..»

Это была речь Женьки Столетова на знаменитом комсомольском собрании, принадлежащая четырем авторам, но написанная столетовским почерком, в котором все: и клинообразные высокие буквы, и точки в три раза жирнее нормальных, и почему-то мелкие запятые, и четкое «в» — принадлежало Женьке, и не случайным было то обстоятельство, что именно в «Острове пингвинов» лежала речь. Находясь в иронически-скептическом настроении, Женька должен был снять со стеллажа только Анатоля Франса.

Дочитав выступление, Прохоров аккуратно сложил блокнотные страницы, покачив головой, подумал: «Ах, ах, технорук, товарищ Петухов!» Потом он осторожно положил на стеллаж синий том Анатоля Франса, а шесть страниц сунул в нагрудный карман пиджака...

Окно Женькиной комнаты, как и все окна в доме, было распахнуто настежь, на подоконник упала ветка черемухи с зелененькими ягодами, от нее терпко пахло — наверное, поэтому Прохорову теперь не хотелось двигаться, думать, что-то делать, и он застрял на одной примитивной мысли: «Ты умеешь врать, товарищ Петухов!» Между тем приближалось обеденное время, скоро должен был вернуться домой Женькин дед, Егор Семенович, и Прохоров не знал, что сделает воинственный старик, найдя в доме постороннего человека. С другой стороны, до возвращения Егора Семеновича Прохоров не мог уйти.

Было без пятнадцати час, когда на крыльце раздались шаркающие шаги, удары палки о дерево, и Прохоров неторопливо вышел из комнаты, чтобы встретить Егора Семеновича в прихожей; капитан милиции знал, что старик интересуется им давно, порывается иногда встретиться с Прохоровым, но все откладывает встречу потому, что, как объяснил участковый инспектор Пилипенко, «шибко сердится на следователя Сорокина». Наверное, поэтому Прохоров представлял Егора Семеновича высоким, полным и громогласным стариком пенсионером из числа тех, что сидят на лавочках и все примечают, а потом рассылают письма в разные инстанции.

Прохоров ошибся на все сто процентов — перед ним стоял согбенный, маленький, тщедушный старичок с дорогой палкой в руках и уныло повисшими мягкими усами, сплошь седыми; ничего командирского, партизанского не было в его мальчишеской фигуре, руки вовсе не походили на руки хирурга, хотя Егор Семенович в маленькой Сосновке еще

несколько лет назад делал трудные неотложные операции. Глаза у старика были водянистые, совершенно бесцветные, и он был так согнут, раздавлен горем, что, увидев Прохорова, только негромко поздоровался, волоча по полу ноги и палку, двинулся к своей комнате, вялым движением подав Прохорову знак следовать за ним.

Комната старика была точно такой же по величине, как комната внука, но книги на стеллаже были только медицинские, стола не существовало вообще, вместо кровати стояло низкое, похожее на топчан сооружение, покрытое клетчатым пледом. Старик опустил на это сооружение, пригласив взглядом Прохорова сесть на табуретку, уронил голову на руки, положенные на трость. Он минуту молчал, тяжело дыша, борясь с хрипами в горле, потом очень тихо и медленно сказал:

— Мы все эти дни следим за вами, товарищ Прохоров, кажется, вы хороший работник и человек. А я... Я ничего не помню! Я ничего не знаю! Мне семьдесят девять лет...

За полтора месяца Егор Семенович потерял двенадцать килограммов веса (так сообщил Пилипенко), состарился мгновенно, как это часто бывает с бодрыми стариками, выбитыми из привычной жизненной колеи каким-нибудь чрезвычайным происшествием. Немного оставалось жить Егору Семеновичу на этой круглой и теплой земле, и вся Сосновка уже по-бабьи пригорюнивалась, когда он волочил ноги и палку по длинной улице деревни, в которой прожил около пятидесяти лет, и не было в деревне человека, к которому не прикоснулись бы руки старого врача.

Егор Семенович постепенно приходил в себя от полуденной жары, от цветущей поляны возле Кривой березы, куда каждый день вели его старческие ноги, чтобы постоять немножко возле полотна железной дороги, обходя взглядом белый камень.

За окном на молодой буйной рябине пел самозабвенно скворец, славил день, и было странно, что такое маленькое существо способно петь так громко, что его, наверное, слышала вся улица. Скворец подражал звуку какой-то торжественной трубы, подслушанной, видимо, у громкоговорителя, и восклицательный его крик взрывал тишину опустевшего столетовского дома.

— Я никак не мог добраться до вас, — почти шепотом сказал Егор Семенович, — у меня не хватает сил на это... Но я хочу вам сказать, товарищ Прохоров, что моего внука не могли сбросить с поезда... — Он сделал попытку выпрямиться, дерзко посмотреть капитану милиции в глаза, но от боли в пояснице приглушенно застонал и снова шепотом закончил: — Мой внук сам сорвался с подножки...

Это был тот самый старик, который всего два месяца назад сделал операцию по поводу перитонита матросу проходящего парохода, а на третий день после этого пешком — ни одна машина не проходила — отмахал двадцать километров до охотничьего зимовья, где от простейшего аппендицита погибал охотник-остяк.

— Моя песня спета! — прежним голосом ответил старик на тоскливый взгляд Прохорова. — Но мне надо было умереть раньше Женьки...

Он опять уронил голову на руки, помедлил, отдыхая.

— Евгения не верит в смерть сына, я не могу подражать ей. Я — солдат, я — врач, я знаю... Смерть всегда выбирает лучших...

И он заплакал медленными, экономными стариковскими слезами, не стесняясь Прохорова, себя самого, портретов на стенах, трех ружей, шашки в облезлых ножнах; сидел перед капитаном уголовного розыска плачущий большевик, которого не мог себе представить поэт Маяковский, плакал седоусый старик, а по широкой Оби сейчас где-то шел буксирный

пароход с буквами на вздернутом носу «Егор Столетов».

— Женька предпоследний... Он предпоследний... — старушечьим голосом говорил Егор Семенович. — У старшего сына нет сыновей... — Он уже не считал себя живым, он уже зачислил себя в мертвые, коли говорил только о старшем сыне. — Погодите, не уходите... Я наберусь сил... Я должен, я обязан рассказать все...

Скворец не замолкал на буйной рябине; рябина была вся огненно-красной, хотя еще было много-много дней до осени — так освещало ее солнце, так самозабвенно пел в ее ветвях славящий день и жизнь скворец. Рябине и скворцу не было никакого дела до старика, который медленно поднимал голову, не вытирая слез, старался выпрямиться и не мог, так как его сильной и жесткой воли сегодня хватило только на поход к Кривой березе, а сейчас только на то, чтобы держать трясущуюся голову на узких согбренных плечах. Вот оно, вот! Пришло время, когда плечи ощутили годы каторг и тюрем, революцию, гражданскую и Отечественную войны. Все собралось в смертельный кулак в ту ночь, когда пришло известие о гибели внука.

— Я был не прав... — хрипло сказал Егор Семенович. — Женя, его приятели... Они хорошие, никакие не инфантильные, они настоящие... — Он глядел на прохоровские колени, болезненно морщился. — А я произносил лозунги, тешился мелкотравчатой философией... Вы понимаете, товарищ Прохоров, грош цена отцам, если они кричат наследникам: «Вы инфантильны!»

Егора Семеновича все эти полтора месяца мучило сознание вины перед погибшим внуком; он ходил по лесу и, наверное, постоянно разговаривал с Женькой, и мучился жестоко, когда понимал, что внук никогда не услышит этих слов.

Прохоров был первым человеком, которому Егор Семенович рассказывал о своей вине перед Женькой, и старику становилось чуточку легче.

— Мои лозунговые крики только мешали Женьке, — горько говорил Егор Семенович. — Он... Эх, да что говорить! — старик покачал головой. — Как я ему мешал жить! Это я заставлял Женьку бесцельно ходить к Гасилову, стоять перед этим пикардийским быком безоружным... У внука было еще мало фактов, он лез на штурм с голыми руками... А все я! «Чего ты медлишь, Женька? Чего ждешь? Почему не борешься с Гасиловым?»

Теперь Егор Семенович сидел прямо, смотрел в зеленое окно, за которым пел торжествующий скворец, но старик не слышал его, не догадывался о том, что трубный звук, переполняющий комнату, принадлежит птице, даже не знал о том, что глядит в окно.

— Он был прав, сто раз прав, мой внук!.. Однажды он сказал: «Дед, мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче! Этот белый, этот красный, этот зеленый, этот фиолетовый в крапинку... А Гасилов бесцветный! Он даже не серый, он никакой!» — говорил старик пронзительно. — Это было в тот вечер, когда Евгений в очередной раз ходил к Гасилову, и тот ушел от драки, величественно пренебрег схваткой с моим внуком... Знаете, что сказал мне Женька? Он пришел печальный и сказал: «Дед, мне очень хотелось играть с Гасиловым в подкидного дурака. Я люблю играть в подкидного дурака!» Вы бы слышали, как я кричал на него, вы бы только слышали: «Циник! Оппортунист! Скептик!»

Егору Семеновичу не хватало воздуха.

— А Женька тогда еще был безоружен. Он шел на танк с детским пугачом... И вы посмотрите, чем это кончилось? Чем это кончилось!

Старик держался за палку как за последнюю свою опору на земле; по-прежнему обращенный лицом к окну, он глядел в него слепыми глазами.

— Это кончилось вот чем... — Егор Семенович опустил голову. — Гасилова не сняли с работы, пикардийский бык процветает, а Женька... О господи! Гасилов везде говорит: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Это же оскорбление! А все я! Я! Я торопил внука, мешал ему вооружиться... А что я вытворял в октябре, когда состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание! Что я вытворял, боже мой!

Егор Семенович повернулся к Прохорову, впервые пристально и длинно поглядел на него.

— Отчетно-выборное собрание проходило в середине октября... ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...в середине октября, когда кончились остатние летние денечки, проходило отчетно-выборное собрание. Поддувал уже с Обской губы злой сиверко, по ночам беззвездное небо сливалось с землей, река была темной, незаметной, осенняя грусть насквозь пропитала шуршащие листья, воду у берегов, дневное вылинявшее небо. Собаки по ночам лаяли осторожно, по-октябрьскому грустно.

В день комсомольского собрания Женька Столетов на лесосеку не ездил — сидел дома с температурой. Накануне мать нашлепнула на грудь и спину сердитые горчичники, напоила чаем с малиновым вареньем, а утром не велела выходить на двор, угрожая воспалением легких. После утреннего приема мать прибежала домой с пилюлями, потом поставила Женьке термометр, велев держать ровно пять минут, а не минуточку, как привык нетерпеливый сын.

Женька грустно, как нахохлившаяся курица, сидел с градусником под мышкой, кривил губы и шепотом ругался, когда из своей отдаленной комнаты приперся дед Егор Семенович и еще в дверях устроил скандальчик.

— Это что за мода, — закричал дед, — не пускать Женьку на комсомольское собрание из-за пустячной температуры? Евгения, ты мне не порть внука!

После этого он, конечно, не удержался от хвастовства:

— Мы ходили на комсомольские собрания с кровоточащими ранами...

И тут же рассказал историю про своего давнего дружка Оскара Орбета, который будучи уложенным в госпиталь с сорокаградусной температурой, ночью спустился со второго этажа по водосточной трубе и в одном белье, с открытым лбом, на котором от высокой температуры кипели дождевые капли, двинулся в тридцатикилометровый путь к родному полку. Он добрался к месту с нормальной температурой.

— Нас лечили не пилюли, а революционный энтузиазм! — разорялся дед, стуча по полу палкой с медными инкрустациями. — Мы горчицу употребляли по назначению... Я мог съесть за один присест три фунта мяса! Вот какими здоровыми и жадными к жизни делала нас революционность! — хвастался дед. — Я кому говорю, Евгения, вынь из Женьки термометр...

— Я его сам выну! — рассудительно ответил Женька и объяснил: — Во-первых, прошло пять минут, а во-вторых, дед, я не зажигаюсь революционным энтузиазмом при мысли о нашем комсомольском собрании... Ну вот! Тридцать семь и четыре... Интересно, чего скажут по сему поводу мои мамы?

Мать рассердилась:

— Не пойдешь на комсомольское собрание! Это безумство идти на собрание, когда по всей стране свирепствует среднеазиатский грипп!

Дед грозно прошествовал в столовую, усевшись в любимое кресло, от злости уронил тяжелую трость Женьке на ногу, но даже не заметил, что внук зашипел от боли.

— Почему же ты, Женечка, — сладким голосом спросил дед, — не хочешь идти на собрание? Что с тобой произошло, дражайший внучатко?

— А то произошло, — тоже ласково ответил Женька, — что меня ладят избрать секретарем комсомольской организации. И Кирилл Бойченко подкатывается, и Генка Попов радуется, что ему не придется каждый месяц бегать в сберкасса с комсомольскими взносами...

Женька радостно захохотал.

— А чего это вы, Егор Семенович, на меня братскими глазами смотрите? У вас палка, часом, не стреляет крупной картечью?

Дед Егор Семенович на самом деле смотрел на внука стреляющими, ужасно надменными глазами, а пальцем правой руки распушивал лихой разлет чапаевских усов.

— Я хотел бы знать, — полушепотом сказал он, — отчего мой внук не хочет быть секретарем организации КСМ? Я же говорил вам, Евгения, что наш Евгений болен. Да-с, наш сын и внук болен, но его болезнь не из области медицины...

Дед погрозил им палкой.

— У нашего сына и внука социальная болезнь... Да, да, голубчики!

Дед ткнул палкой Женьке в живот.

— Общение с отпетыми циниками и тунеядцами, со скептиками — вот источник заражения! — Дед палкой пригвоздил к полу ковер. — Коридоры так называемого технологического института, наверное, пропахли мелкобуржуазной стихией!.. И вот вам результат-с! Мой внучок отказывается быть секретарем организации КСМ!.. Собирай, Евгения, плоды либерализма! Полюбуйся на этого милого улыбающегося представителя современного нигилизма!

Женька на самом деле мило ухмылялся, голову склонил набок, руки скрестил на груди.

— Давай, дед, давай! — приободрил он сердитого старика. — Дальше валяй!.. Про узкие брюки скажи, о всеобщем мраке, который наступает на планете оттого, что мы рассказываем веселые анекдоты. И про то скажи, что нынешняя молодежь — это сборище транзисторных приемников...

С дедом бог знает что творилось — он то обиженно моргал короткими ресничками, то грыз левый ус, то пораженно откидывался на спинку кресла.

— Кошунство! — наконец просипел он. — Евгения, выйди! Я хочу наедине поговорить с человеком, который по крови является моим внуком, но, видимо, так проникся философией мелкобуржуазной стихии, что опасен для людей социально неустойчивых... Евгения! Прошу не улыбаться.

Он замолк оттого, что внук и невестка глядели на него ласковыми любящими глазами, так как дед был человеком добрым, мягким и чистым, точно новорожденный. Достигнув почти восьмидесятилетнего возраста, он не удосужился отказаться от модели мира, в которой отрицательными персонажами были лишь классовые враги, идейные противники, которых надо изничтожать с подобающим уважением к их позиции.

— Ты, дедуля, сообрази-ка, что произойдет, если меня изберут секретарем, — мирно сказал

Женька. — Работать плохо я не умею, а там будь здоров как надо вкалывать... Комсомольские дела у нас чи-ирезвычайно запущены! А мне надо готовиться в институт. Ты же сам подчеркивал, что коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь... — Женька подхалимски улыбнулся деду. — Ты лучше меня знаешь...

Хорошо сейчас было в гостиной. Горела настольная лампа под матерчатым абажуром, хвастался дороговизной ковер, было так чисто, как бывает только в приемных покоях больниц. Дед сидел в кресле с миролюбивым видом, мама улыбалась, сам Женька глядел на них с нежностью: «Хорошие ребята!»

— Все это так, Женька, — после паузы сказал дед. — В твоих доводах есть, конечно, рациональное зерно, но... Если тебя изберут секретарем организации КСМ, ты направишь комсомолию на Петра Гасилова.

Имя и фамилию мастера дед произнес с насмешкой и пренебрежением, вздернув костлявое плечо, посмотрел на внука мудрыми глазами полководца.

— Нельзя упускать такую возможность, Женька, — сказал дед. — Это было бы неправильно тактически и стратегически...

Женька ничего не ответил, так как печально думал о том, что спокойствие и выдержка — великие вещи. Тот же любимый дед, перестав кричать и стучать палкой, из необузданного мальчишки превратился в того человека, которым был на самом деле.

Теперь в кресле сидел умный и остроглазый старик семидесяти восьми лет, совсем не такой щуплый, как представлялось в тот момент, когда бушевал, — был просто сухощавым, подобранным.

— Гасилов плевал на комсомолию! — грустно сказал Женька. — Нашего среднего образования не хватает, чтобы разобраться в делах лесопункта.

Он усмехнулся.

— Помоги, дед, выдвинуть обвинения против Гасилова. Только, пожалуйста, без оппортунизма!

— Изволь! — с широкой улыбкой ответил дед. — Пункт первый: омещанивание! Пункт второй: отход от борьбы! Пункт третий: перерожденчество!

— Расстрелять! — сказал Женька. — Расстрелять из станкового пулемета системы «Максим», ныне снятого с вооружения!

В гостиную-столовую неторопливо вошел отчим, сел рядом с Женькой и деловито сказал:

— Женьку ищет Голубинь. Сию секунду прибежал гонец... Интересно, что у них там стряслось?

С приходом отчима возникло ощущение, что в гостиную внесли громоздкий старинный шкаф спокойных и уютных очертаний, и сделалось светлее, так как отчим даже зимой умудрялся носить белое. Сейчас он был в кремовых брюках и рубашке с закатанными рукавами.

— Циклон слабеет, — сказал отчим таким тоном, словно это он заставил циклон утихомириться. — Вот увидите, дело идет к прояснению... Давай, Женька, иди к Голубиню.

Когда Женька тепло и тщательно одевался в прихожей, мать, дед и отчим стояли рядом; мама помогала ему закутывать горло, дед глядел на него с одобрением и надеждой, а отчим советовал «не лезть в бутылку», если Голубинь вспомнит о лекторе Реутове...

— Моего внука избрали секретарем организации КСМ, — сказал Егор Семенович, — и с этого самого дня я натравливал его на Гасилова, хотя у Евгения было еще мало фактов... О, как я портил жизнь родного внука! Как я ее портил...

Егор Семенович откинулся на спинку кресла, во второй раз длинно и внимательно посмотрел на Прохорова такими глазами, словно ждал от него подтверждения. Наверное, поэтому Прохоров переменял позу, то есть выпрямился и поднял голову.

— Егор Семенович, — спросил он, — вы не помните, когда Евгений узнал о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова?

Егор Семенович ответил не сразу — ему надо было совершить большой путь от осенних событий до того мгновения, в котором существовал Прохоров, зеленое окно, скворец за ним и тяжелая трость в собственных руках. Когда же старик понял вопрос, на его губах появилась тонкая презрительная усмешка.

— Гасилова верна моему внуку, — резко произнес он. — Сплетни о ее замужестве — обыкновенное проявление идиотизма деревенской жизни...

После этого Егор Семенович снова вернулся в свою собственную реальность — опять его мучил кошмар невозможности рассказать внуку о своей горькой вине, опять он мысленно разговаривал с Женькой, каялся перед внуком, и это было жестоко по отношению к самому себе, убивало окончательно, и кожа на лице Егора Семеновича казалась неживой, пергаментной.

— Они были хорошими ребятами, — прошептал Егор Семенович. — Мой внук и его отец — мой младший сын Володя... Да, да, они были хорошими ребятами! — повторил он и полуприкрыл глаза. — Володя умер через пять лет после окончания войны, а внук...

Старик замолк, остановившись, даже руки с тростью перестали дрожать; в такой позе он просидел долго, может быть, минуту, затем снял правую руку с трости, порывшись во внутреннем кармане чесучового пиджака, протянул Прохорову треугольник солдатского письма.

— Натя! — тихо сказал старик. — Пожалуйста, не читайте при мне... Все эти дни я ношу письмо Володи в кармане, перечитываю его ежедневно, думаю... — Он снова остановился, махнул рукой. — Неважно, о чем я думаю... Мне просто нельзя не думать.

Прохоров неловко втолкнул бумажный треугольник в карман и снова стал глядеть на старика и слушать, как надрывается в ветвях рябины скворец. Егор Семенович сидел молча, обе руки опять лежали на трости, старик снова так наклонялся, словно готовился уронить голову на руки. «Как помочь ему?» — подумал Прохоров, хотя знал, что ничем нельзя помочь человеку, которого судил самый высший суд на этой теплой и круглой земле — суд собственной совести, который не признает ни малых вин, ни больших, ни средних.

— Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки?! — прошептал Егор Семенович. — Неужели это так?

Столетовых, в которой погиб самый молодой, спешил к восточной окраине Сосновки, где в соснах маячили радиоантенны, проглядывало через листву что-то белое — это была метеорологическая станция. Там почти два месяца безвылазно сидел отчим Женьки Столетова метеоролог Василий Юрьевич Покровский, там хранилась тайна Женькиного сыновнего отношения к чужому человеку, скрывался последний из семьи, с кем Прохоров еще не разговаривал.

Начинался третий час дня, давно пора было обедать, но при мысли о столовой, клеенчатых скатертях и вечной осетрине у Прохорова начиналась изжога, сам процесс еды казался отвратительным. Солнце старалось вовсю; наверное, действительно перемещались огромные пласты воздушных течений, что-то происходило с климатом, если такая необычная жара стояла в Нарымском крае. Термометр в двенадцать часов показывал тридцать четыре выше нуля, это было для Сосновки необычным.

Минут через пятнадцать Прохоров углубился в лес, прошагав метров сто кедром, остановился перед большой поляной, занятой антеннами, вышками со щелястыми ящиками, будочками, похожими на волейбольные судейские трибуны, шестами, громадными термометрами и другой метеорологической механикой, покрашенной в белое. Темным на поляне был только кукольный домик; он желтел масляной краской стен, был расписным, как елочная игрушка, казался соблазнительным, как цветной праздничный торт, а трехрогая антенна представлялась вилкой, воткнутой в него.

Таким же белым, цветным, веселым казался Василий Юрьевич Покровский, рассказывающий между шестами, антеннами и вышками. На нем были широкий белый халат, серые брюки, коричневые ботинки, цветная рубашка без галстука, а на голове плотно сидел противознойный пробковый шлем. Прохоров еще только подходил к метеорологу, но уже знал, что Василий Юрьевич говорит басом, обладает деревенским здоровьем, несокрушимой нервной системой и, конечно, переизбытком оптимизма. Таким Покровский выглядел в рассказах о нем, таким он и был в действительности; и эта крупная голова, казавшаяся совсем гигантской от пробкового шлема, и румянец на щеках, умудряющийся пробиваться сквозь загар, и квадратный подбородок, и крупный нос, и богатырский рост — все говорило о том, что Василий Юрьевич Покровский человек спокойный, добродушный, не очень разговорчивый, но и не молчаливый, одним словом, человек нормальный, без того, что капитан Прохоров мысленно называл «выбросом».

— Здравствуйте, Александр Матвеевич! — пророкотал метеоролог действительно басом и крепко стиснул руку капитана. — Я давно ждал вас. Лучше будет в доме, не так ли?

И говорил он тоже нормально, хотя строй речи был энергичным. Покровский, видимо, любил ясную определенность и определенную ясность, как, впрочем, и полагалось такому крупному человеку, как он. Вежливо сопровождая Прохорова, он молча провел его на цветную веранду кукольного дома, усадил на плетеный стул, и Прохоров сразу увидел следы странного хобби Василия Юрьевича, увлекающегося плетением корзин из ивовых прутьев. На веранде дома, возле завалинки, на земле лежали разнообразные изделия из прутьев, такие же цветные, яркие, веселые, как дом, поляна, метеоролог.

— Квас, чай, воду? — энергично спросил Покровский, не замечая интереса Прохорова к корзинам. — Квас делаю сам. Настаиваю на смородиновых листьях или на горчице. Горчичный квас! Забавно! А?

Когда Прохоров выбрал горчичный квас, метеоролог быстро скрылся в доме, загремев чем-то звонким, вернулся ровно через минуту с расписным кувшином в руках. Прохоров отпил глоток холодного до ломоты в зубах квасу и чуть не улыбнулся тому, что квас был таким же ярким, расписным, веселым, как все окружение Покровского; напиток отдавал крепостью горчицы, духмяностью смородины, солнечностью укропа и домашностью пережаренного хлеба. Допив

кружку до конца, не оставив ничего на доньшке, но отказавшись от добавки, Прохоров еще раз огляделся по сторонам и негромко спросил:

— Вы совсем не бываете дома, Василий Юрьевич? Мне говорили, что вы сутками сидите на метеостанции.

Нетактичная жестокость вопроса капитана Прохорова объяснялась тем, что слишком уж резким был переход из темной комнаты Егора Семеновича к расписному раю метеорологической станции, что слишком здоров и энергичен был Василий Юрьевич Покровский, румянец на щеках которого вблизи казался трехслойным: первый слой — румянец нормального человека, второй слой — румянец человека крепкого здоровья, третий слой — румянец самоуверенного и жестковатого оптимиста. Поэтому Прохоров отвечал жесткостью на предполагаемую жестокость крупного мужчины.

— Вы абсолютно правы, Александр Матвеевич! — спокойно ответил Покровский. — Я все это время сижу на станции. Я только дважды был дома. Мне там нечего делать. Забавно! А?

Этот человек, оказывается, вставлял словечко «забавно» в свою речь точно так, как вставляла кстати и некстати слово «серьезно» Людмила Гасилова, но лишнее слово у Покровского звучало совсем не так, как «серьезно» Гасиловой, хотя Прохоров пока не мог понять, отчего метеорологу надо было пользоваться так часто словом «забавно» и вопросительным «а»; однако за этим что-то лежало значительное, и Прохоров откинулся на плетеный стул, сделанный Василием Юрьевичем прочно, красиво, удобно для тела.

— Второй вопрос такой, — мило улыбнувшись, проговорил Прохоров, — когда вам стало известно о том, что Людмила Гасилова выходит замуж за технорука Петухова?

Капитан Прохоров так много своего вложил в этот важный сейчас вопрос, был так вкрадчив и осторожен, как на самом трудном допросе; он сейчас глядел на Покровского точно такими холодными глазами, какими глядел на Аркадия Заварзина, когда задавал бывшему уголовнику самый решительный и трудный вопрос.

— Клевета! — после секундного молчания резко ответил Покровский. — Не верьте деревне! Она иногда бывает жестокой. — Он улыбнулся. — Редко привозят кино... Забавно! А?

После этого капитан Прохоров окончательно убедился в том, что по-настоящему удобно было сидеть в разноцветном плетеном кресле производства Василия Юрьевича. На веранде было нежарко, отсюда солнечная поляна казалась совсем яркой, веселой, вышки на ней казались пришельцами, навес веранды закрывал солнце, и было покойно, тихо, славно; капитан Прохоров пошевелился в кресле, пожалев, что отказался от второй кружки горчичного кваса, замороженным голосом сказал:

— Понятно, Василий Юрьевич! Спасибо за откровенность... А ловко вы разделали деревню-то...

Вот и третий человек из дома Столетовых отказывался верить правдивым слухам о том, что Людмила Гасилова собирается стать женой технорука Петухова; час назад об этом со слезами говорил несчастный дед Женьки Столетова, два с лишним часа назад об этом же капитан Прохоров слышал от матери погибшего, не верящей до сих пор в смерть единственного сына... Капитан Прохоров энергично задвигался в кресле, поглядывая на кувшин с квасом, с надеждой спросил у Покровского:

— А там еще осталось горчичное питье?

— Хоть ведро!

После второй кружки горчичного кваса Прохоров растегнул еще одну пуговицу на воротнике рубашки, перестав наблюдать за крупным румяным лицом Покровского, уверенный в том, что Василий Юрьевич сам заговорит о нужном, снова откинулся на сладостно изогнутую спинку стула.

— Вы расспрашивали в деревне обо мне, я знаю... — ставя кружку на край стола, заговорил Покровский. — Так позвольте прояснить картину... — Он сделал крошечную паузу, но тут же энергично встряхнул головой. — Я любил приемного сына уже потому, что его звали Евгений! Женечка!.. Ему дали имя в честь матери, а я любил ее с сорок первого года. Забавно! А? — Он быстро встал, но тут же сел на место и, коротко взмахнув атлетической рукой, вопросительно усмехнулся. — Вам известно, что друга покойного мужа жены тоже зовут Владимиром? Нет! Жене тоже неизвестно! Забавно! А? Я ведь по паспорту Владимир, а не Василий... Ну, разве не забавно все это! А?

Он был громадный, весь белый, пышущий здоровьем, этот самый спокойный человек в Сосновке; как он был уверен в правильности каждого своего движения, слова, откровения, как был щедр на отдачу, на искренность, как смело шел навстречу щекотливым вещам...

— Вот вам наша странная, если хотите, драматическая история! — с размаху бросил майор в отставке Покровский под ноги капитану Прохорову. — Мы с Володей учились до войны в одном отделении военного училища, спали на соседних койках... Однажды Володя позвал меня в гостиницу, где жил приехавший из Сосновки его отец... У нас было увольнение!.. — Он каждое короткое предложение обрывал, словно отрезал ножницами кусок металла. — Отец Володи представил нас студентке медицинского института, дочери его друга по гражданской войне... Это была Женя... Забавно! А?

Он поднялся, прислонившись боком к стойке веранды, стал четко белым на фоне зеленого кедра. Пробковый шлем Василий Юрьевич снял, русые волосы лежали на его богатырской голове гладко, густые, без единой сединки. Голова казалась большой, похожей на голову греческой скульптуры.

— Мы оба полюбили Женю, — энергично продолжал Покровский. — Однако она замечала только Володю-маленького... — Он усмехнулся. — Мы, два Володи, возненавидели рассказ Чехова «Володя-большой и Володя-маленький». А я? Я устранился из банального треугольника... Женя не запомнила меня... Забавно! А?... Потом мы, два Володи, поехали на фронт... — Он повернулся спиной к веранде. — Володя-маленький был ранен в ста километрах от Берлина... Володя-большой за четыре года войны не получил даже пустячной царапины...

Кедр за спиной Покровского оказался коренастым, широким, приземистым, так как стоял один на большой поляне, и Прохоров, как давеча у столика, подумал: «Я сегодня вижу только то, что мне надо!»

— Два Володи! — усмехнулся Покровский. — Да в одном нашем отделении было шесть Володь... Мы все родились в двадцать втором году... Володя-маленький умер через пять лет после окончания войны. Осколочек, крохотный осколочек стали лежал у него в миллиметре от сердца, оперировать было невозможно, и вот однажды... — Покровский не мог стоять на месте, прошелся по веранде. — За три дня до смерти он позвал меня и... Володя-маленький был очень русским человеком. Он попросил меня позаботиться о Жене... Быть ее мужем, если она захочет... Он знал о моей любви... — Покровский вернулся на прежнее место, прислонился к верандной стойке затылком. — Забота о любимой женщине в секунду смерти в традициях русского характера... Помните ямщика, который замерзает в степи? Забавно! А? Типично русская черта!.. Через год после смерти Володи-маленького я женился на Жене, но до сих пор она не знает, что меня зовут тоже Володей. Много лет я прячу от нее паспорт, сообщил всем друзьям, чтобы на конвертах они не писали мое настоящее имя... Забавно! А?

Прохоров, кажется, начинал понимать, для чего Покровскому требовалось слово «забавно» и вопросительное «а». Этим самым сильный, решительный, волевой человек прикрывал растерянность и горе; он прятался от мира в зыбкую насмешливость слова «забавно», искал подтверждение возможности быть насмешливым, когда отрывисто спрашивал: «А?»

— Почему я не иду домой? Почему сижу на станции? — спросил у кедра Покровский и крепко прижался затылком к острому ребру верандной стойки. — Кому я нужен такой здоровый, цветущий и молодой? Забавно! А? Кому нужен человек, который на фронте не получил ни одной царапины и ни разу в жизни не болел?... Почему смерть опять выбрала Столетова, а не Покровского? Забавно! А?

Он болезненно усмехнулся.

— Женя сутками работает в больнице... Зачем ей нужен Володя-большой?... Ей не нужны живые... А Женьки нет! Нет Женьки!.. — Покровский до боли прижимался затылком к режущей кромке стойки. — Такие люди, как наш Женька, не должны умирать... Он должен был жить долго, на радость людям... Хотите, я вам расскажу, как пятилетний Женька вернулся из дома Андрюшки Лузгина? — спросил он, но опять не обратил внимания на реакцию Прохорова. — Был поздний апрель, у пятилетнего Женьки были дырявые ботинки...
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...у пятилетнего Женьки были дырявые ботинки; их не успели вчера отдать сосновскому сапожнику, безногому фронтовику дяде Косте, который уже сегодня, за несколько дней до Первомая и Дня Победы, запил горькую. Евгения Сергеевна натягивала на ноги сына шерстяные носки, клала на стельку толстую картонку, но ботинки все равно пропускали воду.

Весна в тот год была ленивой — за десять дней до Первомая повсюду лежал мокрый, твердый снег, толстый лед на Оби стоял так прочно, словно не собирался в путь к Ледовитому океану, над деревней не было ни темных злых туч, ни ясного неба, ни солнца, а так себе — морока, непогода, серенькое бытьишко с мокрыми воронами... Маленький Женька с утра попытался гулять, походил возле дома минут пятнадцать и вернулся обратно, печальный, задумчивый, с мокрыми ногами... Жили тогда Столетовы в двух комнатах дома счетовода леспромхоза Суворовой; по ночам всегда было слышно, как Мария Федоровна басом разговаривает как будто сама с собой, хотя бранилась с мужем Никитой, голос которого через бревенчатые стены не доносился.

Женька осторожно заглянул любопытным круглым глазом в дверь комнаты. Мамы не было дома, она была на работе, дед тогда жил отдельно в крошечном собственном доме на берегу реки, и в комнате был только отчим, который сидел за столом и что-то быстро писал; было скучно, серенько, тихо, и хотелось не то спать, не то есть. Женька вошел в комнату матери и отчима, печально и молча сел на высокий дубовый сундук — отчим его не заметил, и мешать ему не хотелось.

Наконец отчим в последний раз умакнул ручку в чернильницу-непроливайку, написал последние слова, потягиваясь, поднялся...

— Ага, голубчик! — сказал он. — Вам не гуляется!

Голос у отчима был веселый; он, как всегда, шутил, поглядывал на Женьку разновеликими насмешливыми глазами, но парнишка от желания не то спать, не то есть веселый тон отчима не принял.

— Ты все написал, Василий? — грустно спросил он.

— Все! А почему это тебя интересует?

Женька ответил не сразу, а сначала прыгнул с дубового сундука, на цыпочках подошел к отчиму, задрал голову, чтобы посмотреть на его далекое лицо... Женька тогда был не худой и не длинный, а, наоборот, короткий и круглый; у него тогда были белокурые волосы, синеватые глаза и выпуклый, важный живот. Ходил мальчишка переваливаясь, как утка, любил закладывать руки за спину, солидно моргать глазами.

— Почему это меня интересует? — задумчиво переспросил Женька. — А потому, Василий, что мне хочется пойти к Андрюшке Лузгину. Мне хочется, а мама не велит одному далеко гулять.

Пятилетний Женька был не только важным, но и рассудительным; он страстно любил серьезные длинные разговоры, непременно сидел в комнате матери и отчима, когда они возвращались с работы, а когда приходил взбудораженный дед, заставлял его читать медицинскую энциклопедию. В те времена Женька был очень хозяйственным — игрушек у него было мало, но хранились они в образцовом порядке: он ежедневно стирал с них пыль, укладывая на предназначенные места, укоризненно качал головой.

— Мама не велит одному далеко гулять, — повторил Женька и похлопал ресницами. — А я, знаешь, Василий, еще ни разу не был у Андрюшки Лузгина. Я не знаю, где он живет. А ты знаешь, Василий?

Минут через пятнадцать отчим и Женька шли по апрельской деревне, обходя лужи, старались ступать дырявыми ботинками по сухому, но это не всегда удавалось, так как в Сосновке тогда еще не было деревянных тротуаров. На отчине шуршала тугая офицерская шинель без погон, кирзовые сапоги, тоже промокнув, хлюпали, зимняя шапка так вытерлась, что проглядывала матерчатая основа; горло у отчима было открытое, так как он отдал свой офицерский шарф Женьке. И перчаток у отчима тоже не было.

По обе стороны дороги лежала черная от непогоды, мокрая, скучная, дряхлая Сосновка. В деревне не было еще новых домов, школа стояла одноэтажная, в больнице имелось всего три большие комнаты, не было еще поселковой электростанции. В деревню с фронта не вернулось около ста мужчин, по улицам шли преимущественно старики и подростки, много женщин средних лет, а еще больше — молодых. У магазина стояла длинная очередь, пожилые женщины кутались в дырявые платки, на молодых были толстые телогрейки и кирзовые сапоги, ставшие в войну униформой российских жительниц сел и деревень.

— У меня пока нет друзей, Василий, — говорил Женька, шагая рядом с отчимом и стараясь не ступать в лужи. — А ты сам говоришь, что человеку надо дружить... Я бы познакомился с Петькой Гольцовым, но он дразнится: «Доктор едет на свинье с докторенком на спине!» А я разве виноват, Василий, что у меня мама доктор и бабушка доктор?... Я же не дразню Петьку Гольцова: «Тракторист, тракторист, у тебя на ж... лист!»

Высокий отчим двигался немного впереди Женьки, услышав про тракториста, он замедлил шаги, но остановился только после того, как странно повел шеей да пощипал пальцами нижнюю губу; уже после этого Василий Юрьевич повернулся к Женьке, наклонился, очень запахнув махоркой, сказал:

— Ты бы не употреблял, Женька, неприличные слова! Ну, сказал бы хоть «попа», что ли.

— А это одно и то же, Василий! — рассудительно заметил Женя. — Вот и мама ругается, что я говорю такие слова...

Они пошли дальше, вскоре у Женьки совсем промокли ноги, но мальчишка не обращал на это внимания, так как был рад идти к Андрюшке Лузгину. Пятилетний Женька познакомился с ним в больнице, когда пришел навестить маму и деда; Андрюшка сидел в очереди с перевязанной щекой и говорил так: «А у тебя есть рогабулька?» Мальчишка был круглоглазый, как сова, на

Женьку глядел исподлобья; сразу было видно, что он очень добрый и сильный...

— Ты лучше не заходи в дом, Василий, — сказал Женька, когда они подошли к дому Лузгиных, — а то они подумают, что ты меня за руку вел... Андрюшка сам ходит по всей деревне. Ты лучше подожди...

Женька самостоятельно пошел к дому Лузгиных... Маленький, в шерстяных чулках выше колена, в телогрейке, переделанной из дедовской, в шапке, сшитой охотником-остяком, другом Егора Семеновича, специально для него, с рукавицами на веревочках.

Василий Юрьевич присел на лавку, стоящую возле дома, поеживаясь от сырости, завернул из махорки толстую козью ножку, так как еще не мог привыкнуть к папиросам, которыми иногда угощал его Егор Семенович. Махорку отчим Женьки завертывал в газетную бумагу, сложенную специальным образом; отрывая длинную полосу, он прочел четкие буквы: «Развязав войну в Корее, американский империализм пытается, как и встарь...» Приготовив козью ножку, Василий Юрьевич достал из кармана коробку спичек, повернул ее к себе этикеткой и увидел слова: «Помните о Хиросиме!», грибовидный взрыв, перекошенное лицо, пальцы-кости...

Женька вышел на улицу вместе с Андрюшкой Лузгиным, одетым тоже в телогрейку, прожженную в нескольких местах, до смешного длинную, в шапчонке. Андрюшке тогда было четыре года, но в отличие от Женьки будущий сосновский богатырь был еще тоненьким, прозрачным и длинноногим; под его взрослой телогрейкой было трудно угадать многообещающую ширину плеч, прочность короткой мощной шеи. На ходу Андрюшка подпрыгивал, вел себя несолидно, как говорят в Нарыме, мельтесился, и это было особенно заметным потому, что за ним шел медленный, печальный, важный толстяк Женька.

— Драсте, дядя Вася! — сказал Андрюшка.

Ответив на забавное приветствие мальчишки, Василий Юрьевич поднялся со скамейки, поглядев на понурого Женьку, понял, что в доме Лузгиных что-то произошло — такой тот был задумчивый, медленный, как черепаха; синие глаза были широко открыты, рот округлился, налитые щеки возбужденно розовели.

— Ну ладно, двинули, солдатня! — сказал отчим. — Не отставать!

Обратный путь по деревне был еще более трудным: несколько минут назад по улице проволочился к шпалозаводу тяжело нагруженный газогенераторный лесовоз, расквасил дорогу в непроходимое болото. Обеспокоенный отчим уже было повернулся к Женьке, чтобы взять его на руки, но увидел, что Андрюшка шлепает по воде калошами, надетыми на самые настоящие, позаправдашные лапотные онучи. Василий Юрьевич ухмыльнулся, нагнувшись, бесцеремонно подхватил обоих мальчишек и понес их на руках дальше.

Сначала Женька и Андрюшка пытались вырваться, обиженно пищали, но вскоре притихли — сидели нахохлившись, как мокрые галчата, лица у парнишек были сосредоточенные, словно они считали про себя шаги Василия Юрьевича. Он их живенько доволоч до дома, сгрузив мешками на высокое крыльцо, сказал наставительно:

— Я сбегаю на работу, а вы у меня... Смо-о-отрита!

Вернулся Василий Юрьевич часа через два, когда уже смеркалось, по-холодному сияли продутые ветром торосы на Оби, на мутное небо напозала синяя дымка от деревенских труб, лужи покрывались сальной ледяной коркой.

Еще на крыльце Василий Юрьевич услышал голоса жены и приемного сына, обрадовавшись, что Женя дома — а это случалось нечасто, — с хорошим, деловым и умиротворенным

настроением открыл перекошенную дверь. Жена и приемный сын действительно были дома; сидели за столом, на котором уже стояла большая чашка с дымящимся картофелем, лежали три ломтя черного хлеба и — представьте себе — возле каждой тарелки белели накрахмаленные салфетки из такого тисненого, украшенного вензелями полотна, из которого, ничего полезного сшить было нельзя. Женя, в ситцевом халатике, умытая, гладко причесанная, посвежевшая и очень красивая, сидела на хозяйском месте, Женька громоздился на высоком детском стуле, похожем на трон. Он был мирный, солидный, рассудительно-деловой.

— Здорово, мужики! — приветствовал их Василий Юрьевич и, не снимая шинели, стал подходить к столу крадущейся походкой. — Ну, держитесь! Вы у меня сейчас — бряк!

Загадочно улыбаясь, согнувшись, как под обстрелом, он вдруг соорудил равнодушное лицо и выложил на стол большую селедку, завернутую в районную газету «Советский Север».

— Кто живой остался, того я сейчас доконаю! — грозно сказал Василий Юрьевич. — Второе орудие! Пли!

На стол лег небольшой, но толстый кусок сала с налипшими кусками соли.

— Третье орудие! Огонь!

Василий Юрьевич выложил на стол — о чудо! — граммов двести шоколадных конфет в блестящих обертках.

Женька сидел на тронном стуле ошеломленный, вытянувшийся к конфетам, с потоньшавшей от этого шеей, но с закрытыми глазами, точно боялся поверить, что на столе действительно лежали шоколадные конфеты. Глаза у него были закрыты так плотно, что лицо казалось ровным — не было провалов глазниц. Потом Женька поднял ресницы, посмотрел на конфеты еще раз: лежат и даже посверкивают картинкой, на которой был изображен салют Победы.

— Конфеты — всем поровну, а фантики — мои, — солидно произнес Женька. — Ты, Василий, на фантики-то не зарься. Не маленький! Кого тебе с фантиками-то делать?

Мать и отчим захохотали, «кого тебе с фантиками делать» — это был след пребывания в доме Андрюшки Лузгина; интонация у Женьки была тоже забавная, по-нарымски напевная, весьма подходящая к его солидности и рассудительности; в голосе прозвучала и хозяйственность, и забота о фантиках, и уважение к отчиму, имеющему право на фантики, как человеку, доставшему конфеты.

— Пусть будет так! — торжественно объявил Василий Юрьевич и поцеловал жену в висок. — Пир объявляю открытым...

Они сели ужинать, и было светло за столом, хотя горела только коптилка-бутылочка с опущенным в нее фитилем; в те послевоенные времена в такой деревне, как Сосновка, еще свободно не продавали керосин, но им все равно было славно сидеть за семейным столом, на котором стояла дымящаяся картошка, лежали селедка, сало, двести граммов конфет с салютом Победы и горела в коптилке нефть с Каспийского моря; жене Покровского тогда было тридцать два, самому Василию Юрьевичу — тридцать три, а Женьке — пять.

На полочке Женькиного трона лежали пять конфет, и он изредка поглядывал на них с озабоченным видом, но не притрагивался к сладостям перед картошкой, салом и селедкой — такой был сознательный. На груди у Женьки болталась коричневая больничная клеенка, светлые волосы лежали на круглой голове шапкой, голые руки были сплошь в ямочках, а нос, тупой и короткий, глядел на мир фигой.

В комнате, где они празднично ужинали, было царственно пусто: стояли одна не очень широкая деревянная кровать, комод из красного дерева, подарок Егора Семеновича, и молодой фикус в большой кадке; на окнах висели белые мадаполамовые занавески, на стене — портрет Сталина в мундире генераллиссимуса. Не считая обеденного и рабочего стола отчима, в комнате больше ничего не было.

— Раздавай селедку, мать! — сказал Василий Юрьевич. — Эх, братцы, знали бы вы, как я мечтаю о ней.

Женьке достался кусочек средней части с белесым жирком внутри; подражая матери, он взял его двумя пальцами, положил на свежий газетный лист и, сладко облизав губы, обстоятельным голосом сказал:

— Андрюшка Лузгин очень бедный... У них даже картошка кончается! — Женька захолопал длинными ресницами и укоризненно поглядел на отчима. — Ты мне, Василий, читал, что у нас бедных не бывает, а Андрюшка бедный. Мам, а что значит: «До июля сдюжить»?

Мать Женьки поднесла ко рту селедку, как и сын, быстро моргала, а Василий Юрьевич уже жевал селедочный хвост, и Женька опять укоризненно покачал головой.

— Вот и ты, мам, не знаешь, что значит: «До июля сдюжить». И Андрюшка не знает. — После этого он поднес селедку к острым зубам и пообещал невнятно: — Я вырасту, стану большим, как Василий, так сделаю, чтобы бедных не было...

Отчим Женьки Столетова энергично оборвал рассказ, верный своему обыкновению строить короткие энергичные предложения, поставил после конечной фразы жирное многоточие. Его белый халат был распахнут, виднелся широкий офицерский ремень, прoderнутый сквозь штрипки штатских брюк; у него намечался животик, и Василий Юрьевич жестоко стягивал его железной кожей армейской сбруи.

— Я любил Женьку больше, чем родного сына, — резко сказал он. — Я сам не хотел иметь второго ребенка. Забавно?! А? Страшно, когда в семье есть родные и неродные.

Он сел на прежнее место, забыв о Прохорове, налил себе горчичного квасу, пил большими глотками, закинув назад голову, — на сильной, атлетической шее мерно, но напряженно билась крупная артерия. Покровский одним духом выпил весь квас из кружки, пристукнув донышком по столу, сказал зло:

— Чувство собственности — вот главный враг человечества! Забавно! А?

Прохоров был сейчас почему-то совершенно спокойным, хотя не было никаких оснований для этого. Однако еще во время рассказа Покровского о пятилетнем Женьке он почувствовал, как проходит ощущение его вечной неуверенности в себе, как тихая и мудрая философичность бесшумно гасит нетерпение. Что-то в отчине Евгения было такое, что казалось крупнее обычного, и эта крупность, философичность не позволяли суетиться, жить мелкими заботами, проявлять элементарные и примитивные эмоции. Поэтому Прохоров неторопливо выпрямился, оторвав спину от плетеной благодати, размеренным тускловатым голосом спросил:

— Василий Юрьевич, а как вы оцениваете мастера Гасилова, с которым Евгений вступил в непримиримый конфликт? Что вы можете сказать о его человеческой сущности?

Покровский задумался. Он в первый раз за все это время прищурился от солнца, полуопустил голову, сомкнул крупные, почти негритянские губы. Он, наверное, сейчас представлял себе

Гасилова и его окружение, шел мимо роскошного особняка, видел дочь Гасилова, жену Гасилова.

— Гасилов мне неинтересен, — спокойно ответил Покровский. — Он мещанин, а это банально и привычно, как восход солнца. — Покровский неожиданно улыбнулся. — Знаете, как Евгений именовал Гасилова? Он его называл мещанином на электронных лампах, предполагая, что где-то может существовать мещанин и на транзисторах.

Оказалось, что кедровые тоже умеют шелестеть своими твердыми иголками — приземистое дерево возле веранды пошумливало, на каждой иголке лежал солнечный блик, весь кедр с восточной стороны казался зелено-золотым. Могучее дерево так прочно вцепилось в землю, что образовало вокруг себя выпуклый бугор, мало того, стремясь к еще большему могуществу, кинуло поверх земли длинные и прочные корни-щупальца. Он прочно стоял на земле, этот сибирский кедр с зелеными фонарями шишек на концах ветвей. «Раскручу я завтра Заварзина! — неожиданно подумал Прохоров. — А потом вытащу из мутной воды Гасилова-налима...»

— Вы скупердяй и плохой хозяин, — обратился Прохоров к метеорологу, — отчего бы это, хотел бы я знать, вы в одиночестве пьете свой горчичный квас, а измученных сыщиков не угощаете? — И плотоядно потер руку об руку. — Ну-к, налейте мне холодного кваску, да я побегу по следам мещанина на электронных лампах.

10

Найденную «хоть из-под земли» участковым инспектором Соню Лунину капитан Прохоров пригласил посидеть вместе с ним на скамейке, что находилась под старым осокорем, и поступил правильно, так как с Оби дул влажный ветер, могучее дерево успокаивающе шелестело листвой, солнце только наполовину спряталось за горизонт, и от этого по реке растекалась розовая волнистая полоса.

Соня Лунина была точно такой, какой ее построило воображение Прохорова при чтении протокола знаменитого комсомольского собрания; вся она была светлой, как молодой, недавно народившийся месяц. У третьей женщины, связанной с именем Евгения Столетова, не было трагедийности и привлекательной женственности Анны Лукьяненко, броской и яркой красоты Людмилы Гасиловой, а все было таким, что начинало казаться прекрасным только по истечении некоторого времени. Она была маленькая, тонкая, у нее были густые волосы, толстые русые косы, точеный нос тропининской «Кружевницы» и при тонкой талии, при узких покатых плечах, при небольшом росте красивые длинные ноги. Да, Соня не казалась красивой сразу, с первого взгляда, но чем больше Прохоров всматривался в ее тонкое лицо, тем больше понимал, что она хороша, очень хороша!

Прохоров уже минут пятнадцать разговаривал с девушкой, убедился в том, что Соня Лунина на самом деле плохо написала протокол из-за любви к Столетову — она забывала о бумаге и ручке, когда Женька произносил свою веселую речь, ей было не до писанины, когда собрание восторженно вопило. Прохоров уже успел сообщить Соне о том, что нашел запись речи Столетова, и добавил, что они — Прохоров и Соня Лунина — теперь могут восстановить течение комсомольского собрания со стенографической точностью, но сделают это немного позже, то есть после того, как Соня расскажет о своем отношении к Евгению Столетову. Капитан Прохоров думал, что девушка смутится, когда зайдет речь о ее любви к погибшему, но Соня Лунина спокойно сказала:

— Женя с восьмого класса знал о моей любви к нему. Как-то на Первомайском празднике мы

затеяли игру в почту, и я написала Жене записку, в которой сказала все...

Об этой записке Прохоров знал от Андрюшки Лузгина, помнил даже ее текст, но он, конечно, не перебивал девушку, уже не удивлялся ее простоте и непосредственности, а просто слушал, глядел в добрые глаза, следил за пухлыми молодыми губами.

— Почтальон Андрюшка Лузгин нашел меня в коридоре, куда я убежала, испугавшись своей смелости, вручил мне ответ Жени и сразу ушел... — продолжала девушка. — А я долго смотрела Андрюшке в спину. Знаете, я считала странными, непонятными друзей Жени. Всех их — Андрюшку Лузгина, Бориса Маслова, Генку Попова... — Она немного помолчала. — Мне казалось странным, что они все время общаются с Женей: разговаривают с ним, смеются, ходят вместе, сидят, купаются, катаются на лыжах и не замечают этого. Им было так же привычно общаться с Женей, как чистить зубы или ходить в школу. А я...

Она уже не глядела на Прохорова, а только на реку, на тонкие зеленые лучи, хороводящиеся по горизонту вязальными спицами; по реке шел тяжело нагруженный баржами буксир, хлюпали по воде суетливые плицы, над пароходом вились чайки, кричали гортанно на всю реку. Буксир назывался «В. Маяковский», он уже зажег все сигнальные огни и казался нарядным, как новогодняя елка.

— А я боялась Женю! — сказала девушка совсем тихо. — Он был простой, веселый, общительный, а мне казался недоступным, как директор школы.

Вспоминая, Соня то и дело меняла положение правой руки: то проводила пальцами по щеке, то ненужно поправляла прядь тяжелых прямых волос, то крутила пуговицу на белой кофточке.

— Я боялась с ним встретиться глазами, сразу бледнела, а он краснел... Я теперь понимаю, почему он краснел! — Она летуче вздохнула. — В его ответе на мою записку все было добрым. Женя написал: «Соня — ты самая лучшая девчонка на свете! Давайте пойдём домой все вместе. Ты, я, Людка, Андрюшка!»

Белая кофточка на Соне была из тех, которые можно носить с темным бантом, на ней топорщились опять входящие в моду складки и оборки, сквозь кофточку просвечивали смуглые плечи. Глаза девушки блестели, правая рука опять искала занятие и успокоилась тем, что стала теревать оборку на кофточке.

— Для меня радостным было даже самое мелкое, незначительное. Я, например, старалась прийти в класс первой, чтобы в одиночестве подойти к списку учащихся и найти фамилию Жени... — Соня, казалось, видела стенку, на которой висел список фамилий. — Там было написано только «Е. Столетов», а я могла стоять возле списка целый час...

Слушая ее, Прохоров думал о Вере, вспоминал их последний разговор по телефону, потом увидел Веру так ясно, точно она была рядом.

...Вера стояла возле окна тесной прохоровской комнаты, болезненно щелкая суставами пальцев, говорила почти то же самое: «Я терпеть не могу твоего веселенького майора Лукомского, не терплю Миронова, готова растерзать Сергованцева, когда он приходит к тебе и молча пьет рислинг... Ты мой, только мой!»

— Мне хотелось выйти из класса, — негромко продолжала Соня, — когда литератор читал вслух сочинения Жени. Он читал часто. Женя хорошо писал. А я... Я не могла слушать! Мне казалось, что Женя в эти минуты принадлежит всем, кто слушает его сочинение...

Девушка была не только умна, но и тонка — она предугадывала вопросы Прохорова, опережала его на одну-две ассоциации и поэтому шла впереди него, как пароход «В.

Маяковский», ведущий на буксире три огромные баржи. Они — пароход и баржи — двигались навстречу мощному обскому стрежню отчаянно медленно, со скоростью километров пять-шесть в час, и Прохоров подумал, что «В. Маяковский» прибудет в Ромск недели через полторы, когда он, Прохоров, уже вернется, увидит Веру, поговорит с ней, посидит в ее пропахшей гримом и духами комнате...

— Я ходила за Женей, как нитка за иголкой, — говорила Соня Лунина. — Не знаю, зачем я это делала, но я ходила за ним и тогда, когда Женя вернулся из города и решил жениться на Гасиловой. Наверное, я все на что-то надеялась, как герой одного из рассказов О'Генри. Помните, тот все ждал, что священник перепутает и обвенчает с невестой его... Очень смешно все это. Я понимаю...

Прохоров ничего смешного в ее рассказе не находил, продолжая наблюдать за буксирным пароходом, вспомнил Сонину записку дословно. Она писала: «Я хочу с тобой дружить, потому что люблю тебя, как в кино „Лейла и Меджнун“. Гасилова тебя не любит, она дружит с тобой потому, что ты отличник и очень красивый».

— Я ходила за Женей до последнего его часа, как ходила за ним и Анна Лукьяненко... Мне ее было жалко. Она много старше Жени и такая несчастная! Живет на кровати... — Соня Лунина нащупала пальцами пуговицу на воротнике кофточки, начала нервно крутить ее. — За Женей ходил и самый страшный его враг Аркадий Заварзин.

Соня закрыла глаза, словно ничего не хотела видеть наяву, а шла узкой извилистой тропинкой за Людмилой Гасиловой и техноруком Петуховым.

— Аркадий Заварзин, как и я, первым в деревне узнал о прогулках Людмилы Гасиловой и технорука Петухова, хотя они старались встречаться незаметно.

Услышав это, Прохоров выпрямился, заглянул девушке в лицо; почувствовав и услышав его движение, Соня открыла глаза.

— Да, это было так, Александр Матвеевич! — подтвердила она. — Петухов и Людмила скрывали свои отношения... Иногда мне казалось, что я смотрю пьесу Островского.

Рассеянным, отсутствующим взглядом Соня смотрела на реку. По Оби по-прежнему черепашьям ходом шел буксир «В. Маяковский», плыла рыбацкая лодка с розовыми от закатного солнца веслами, висела в зените легкая вечерняя тучка, иссиня-розовая, просквоженная насквозь солнечным светом. Соня вздохнула, задумчиво пообещала:

— Сейчас объясню, почему все походило на пьесу Островского... Людмила и Петухов всегда гуляли молча, им нечего было сказать друг другу, и поэтому было видно, что они гуляют не по своему желанию. — Она смущенно улыбнулась. — Я плохо объясняю, Александр Матвеевич, но только Петухов время от времени произносил несколько ничего не значащих слов. А однажды он сказал: «Мы сможем построить отличный дом в областном центре». Людмила улыбнулась, но ничего не ответила... Только тогда я поверила сплетням, которые разносила по поселку сплетница Алена Брыль. Она говорила, что Петухов женится на Людмиле из-за денег и сам тоже богатый... Ну, разве это не Островский?

Еще раз летуче вздохнув, Соня Лунина замолчала. Пальцы правой руки опять нашли пышную оборку на белой кофте, стали теревить ее, поблескивая кольцом с розовым камешком. Прохоров был почти уверен, что на внутренней стороне кольца выгравированы инициалы Столетова — так Соня однажды посмотрела на кольцо, и надето оно было на тот палец, на который надевают обручальное.

— Спасибо, Соня! — ласково поблагодарил девушку Прохоров. — От вас я узнал очень важную деталь и совсем не осуждаю вас за то, что вы следили за Женей и его окружением...

— Он посмотрел на девушку просительно. — Я знаю: вы много пережили, пока рассказывали о Петухове и Гасиловой, но все-таки попрошу вас подробно рассказать о комсомольском собрании.

Прохоров достал из нагрудного кармана шесть небольших блокнотных страниц, протянув их Соне, отвернулся от девушки с таким видом, точно его в этот момент больше всего на свете интересовал буксир «В. Маяковский». Пока Соня читала крупные прыгающие буквы, Прохоров старался понять, как это не надоело пароходу почти на одном месте буравить встречный обской стрежень, почему не бросается от скуки в воду штурвальный или вахтенный начальник, по-петушиному сидящий на боковом леере с ненужным мегафоном в руках. Разглядывая пароход и удивляясь терпению речников, Прохоров слышал бережный шелест блокнотной бумаги, легкое, прерывистое дыхание, потом наступила такая тишина, словно Соня не сидела на скамейке рядом с Прохоровым.

— Да, это та самая речь, — сказала наконец Соня, — после нее большинство комсомольцев и проголосовали за снятие мастера Гасилова... Я почти ничего не записывала, я сильно волновалась. Мне речь Жени казалась слишком легкомысленной, но он не мог вести себя иначе, а потом я поняла, что Женя и не должен был быть серьезным — это превратило бы его речь в злословие...

Камня на камне не оставалось от того, каким представлял себе внутренний мир Сони Луниной капитан Прохоров. Да, внешне она подтвердила его прогнозы, но в остальном он ошибся — рядом с ним сидела вовсе не птичка божья, не белокурая простушка, а умная девушка, хорошо понимающая, что речь Столетова на комсомольском собрании была написана в единственно возможном варианте. Можно ли серьезно представить, что в одном из лесопунктов страны процветает и здравствует мастер, который сдерживает производительность труда, чтобы легко жить и всегда получать максимальные премиальные за перевыполнение заниженного планового задания. Да, такое представить трудно, и Евгений Столетов, чтобы не казаться по-настоящему смешным, произнес веселую и даже легкомысленную речь.

— Соня, — еще раз попросил Прохоров, — расскажите мне о комсомольском собрании... Вы обрисуете обстановку, а я в нее вставлю речь Евгения. Таким образом мы получим цельную картину...

Соня слушала так, словно ожидала этого вопроса, и сразу же начала неторопливо вспоминать.

— Это было в середине апреля, двенадцатого, как записано в протоколе, но ранняя весна была в разгаре... — задумчиво сказала Соня. — Я видела Женю, когда, опаздывая, он бежал на комсомольское собрание... Да, да, было тепло, если Женя бежал без пальто и кепки по сухому тротуару... ЗА МЕСЯЦ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...Женька Столетов без пальто и кепки бежал по высохшему и от этого звонкому тротуару.

Было по-весеннему тепло и солнечно, хотя в Лягушачьем болоте лежал рыхлый черный снег, дул пропитанный влагой ветер. Обь собиралась вот-вот двинуться в свой длинный путь к Ледовитому океану и по ночам потрескивала уже грозно, сухо, предупреждающе, как сосновые стойки в шахте перед обвалом.

Торосы на реке были такими же синими, как ветер, и цвет неба был голубым.

До начала собрания оставалась минута, когда Женька ворвался в контору, окунувшись в шум и гром, понял, что действительно чуть-чуть не опоздал. Комсомольское собрание сделали открытым, и Женька увидел многих несоюзных парней.

Не останавливаясь, Женька влетел в красный уголок, где за длинным столом в скучном молчании сидели члены бюро — Генка Попов рисовал на клочке ватманского листа длинновязую фигуру опаздывающего секретаря комсомольской организации, Борька Маслов, по ночам штудирующий английский, сладко дремал, Андрюшка Лузгин мастерил из бумаги кораблики, недавно демобилизованный солдат Мишка Кочнев и замужняя комсомолка Зоя Радищева просто скучали.

— Начинаем, начинаем! — на ходу закричал Женька. — Давай заходи, братцы!

Минут через пять красный уголок был наполнен до отказа.

Как и полагается всякому председательствующему, Женька постучал карандашом о графин, призывая к порядку, объявил собрание открытым.

— На повестке дня два вопроса, — сообщил он серьезно. — Первый вопрос: «Почему мы работаем недостаточно хорошо, когда можно работать достаточно самоотверженно?», второй вопрос: «Надо ли принимать в комсомол Николая Локтева, который гонит самогон?»

В зале захохотали, хотя именно так и было написано на большой афише, нарисованной акварельными красками Генкой Поповым и прибитой на бревенчатую стену у входа в клуб.

— Кто за предложенную повестку дня, прошу голосовать! Против? Нет. Воздержавшихся? Двое: чокеровщики Пашка и Витька... Слово для сообщения имеет Евгений Столетов, — объявил Евгений Столетов и встал за фанерную трибуну. — Регламент, братцы, устанавливать не будем. Я в десять минут думаю уложиться... Пашка и Витька, притихните, а то будете позорно удалены.

Взгромоздившись на шаткую фанерную трибуну, Женька Столетов многозначительно помолчал и, ухмыльнувшись, выкинул руку ораторским жестом.

— Милостивые государи и милостивые государыни! Комсомольцы и некомсомольцы!

В зале опять дружно захохотали, и Женька удовлетворенно подумал, что они, то есть комсомольское бюро, правильно сделали, когда решили открытое собрание провести весело, как бы несерьезно, чтобы решение о мастере Гасилове было неожиданным.

— Понимая, что вы удивлены столь изысканным обращением, — продолжал Женька, — я вскорости перейду на удобоваримый язык комсомольских собраний, но, как говорится, во первых строках своей эпохальной речи допущу пафос и словоблудие, ибо разговор пойдет о нашем благодетеле и добром наставнике Петре Петровиче Гасилове, да святится имя его!

После этого Женька вынужден был сделать паузу, так как в зале сделалось шумно и перекричать собрание было невозможно. Зарычали от восторга радующиеся всякому скандалу чокеровщики Пашка и Витька, завопил истерично влюбленный в Гасилова юродивый Васенька Мурзин, по-настоящему грозно орал заступник мастера Сережка Блохин, а комсомольцы просто хохотали.

— Какой же вопрос я хочу задать во первых строках своей речи? — уморительно-серьезно спросил Женька. — Я бы хотел спросить вас, братцы комсомольцы и граждане несоюзный народ, зачем нужен капитан Сегнер мирозданию и что он такое, капитан Сегнер, по сравнению с красотами природы?... Этой цитатой из горячо любимого мною «Бравого солдата Швейка» я хочу обозначить место Петра Петровича Гасилова в научно-техническом прогрессе, материальном производстве и в борьбе за повышение борьбы...

Женька сам звучно захохотал, когда увидел, что приверженцы мастера Васенька Мурзин и Сережка Блохин ничего не поняли из сказанного.

— Товарищи! — с новой энергией загремел Женька. — Используя предложенную сидящим здесь товарищем Поповым формулировку, я вынужден заявить прямо: «Что называется синекурой, если нельзя назвать синекурой положение нашего достопочтенного мастера?» Специально для Васечки Мурзина я переведу сказанное на русский... Василь Денисович, я утверждаю, что Петр Петрович филонит, а не работает...

Опять, конечно, раздался вой и рев, Васечка Мурзин заверещал как зарезанный, Блохин заорал: «Долой!», а чокеровщики Пашка и Витька подпрыгивали на скамейках и восторженно аплодировали жестяными от стальных тросов ладонями. Шум еще не утих, когда бесшумно открылись двери и в красный уголок вошел, как всегда, изысканно одетый, театрально озабоченный и деловой технорук Петухов. Заметив его, Женька специально для технорука со вкусом повторил последнюю фразу, а слово «синекура» произнес по слогам. Потом он краешком глаза заглянул в блокнотный листок, склонив голову набок, и, мечтательно округлив глаза, произнес:

— О, как он хорош, как он прекрасен, наш Петр Петрович, когда ранним утром едет в лесосеку со своим замечательным рабочим классом! Вспомните, как он мирно улыбается, какой у него созидательный вид, как он величественно держит голову, как мудры начальственные глаза, когда он по-отечески заботливо обнимает кого-нибудь из нас за плечи и говорит сердечно: «А сегодня, дружок, тебе надо поработать лучше, чем вчера и позавчера!» И мы дружной шеренгой идем в лес и работаем сегодня точно так, как работали вчера, а Петр Петрович первым же поездом уезжает в деревню, чтобы появиться в лесосеке только к концу смены и, опять обняв кого-нибудь за плечи, произнести: «Спасибо, дружок, за хорошую работу!» Таким образом, товарищи комсомольцы и некомсомольцы, Петр Петрович в лесосеке проводит в сутки не более двух часов, — он знает, что норма будет выполнена и перевыполнена, а мы с вами выполняем нарочно заниженное сменное задание, ибо при нормальном задании глубокоуважаемому Петру Петровичу некогда было бы в целях сохранения спортивной формы кататься на жеребце Рогдае, заботиться о своем драгоценном здоровье.

Мне пришлось бы, товарищи комсомольцы и некомсомольцы, нагнать на вас скуку, — весело продолжал Женька, — если бы я стал подробно рассказывать, как и какими методами Петр Петрович занижает плановые задания, но могу сообщить, что ни разу за три последних года его мастерский участок не выполнил норму менее чем на сто десять процентов. В зной и холод, в дождь и распутицу Петр Петрович Гасилов получал премиальные за перевыполнение плана, а каждый из здесь сидящих знает, что в конце марта мы работали по три дня в неделю... Откуда взялись эти сто десять процентов? Об этом, если понадобится, расскажет выдающийся математик Борька Маслов, а я авторитетно заявляю, что анкета Петра Петровича выглядит так: «Род занятий — стремление не строить коммунизм. Профессия — никаких профессий. Социальное положение — никакого социального положения!» Да, да, никакого социального положения, ибо ничем не занятый Петр Петрович не принадлежит ни к рабочему классу, ни к трудовому крестьянству, ни к технической интеллигенции...

Он сделал паузу оттого, что Соня Лунина, увлеченная происходящим, ничего не записывала, а только смотрела на него. Заметив Женькин взгляд, она смущенно улыбнулась и склонилась над протоколом.

— Бюро комсомольской организации, — неожиданно серьезно, как и было предусмотрено заранее, сказал Женька, — бюро комсомольской организации тоже не сразу пришло к пониманию происходящего. Мы чувствовали что-то неладное, удивлялись мастеру, почти не бывающему в лесосеке, но в чем дело, не понимали. Нам помогли декабрьские морозы.

В зале теперь было абсолютно тихо, угомонились даже чокеровщики Пашка и Витька.

— Вспомните, друзья, — простым, не ораторским тоном обратился Женька к собранию, — что во время морозов, спеша в тепло, каждый из нас за два часа до смены выполнял задание, хотя никто из нас, пардон, пуп не надрывал... Вот после этого мы и поняли, что Гасилов фокусник...

Женьке уже не нравилась та серьезность, с которой слушало его собрание, так как, по его мнению, расправу над Гасиловым надо было чинить в веселой, юмористической обстановке. Поэтому он снова смешно выкинул руку, голосом лектора Реутова, считающего необходимым иногда встряхивать слушателей остротой, пискливо выкрикнул:

— Спящие, проснитесь! Сейчас я использую мысль сосновского Капабланки, то есть уважаемого Бориса Маслова, который утверждает, что Остап Бендер, знающий более двухсот способов увода и отъема денег, бледнеет перед Гасиловым, умудряющимся иметь трижды упитанного тельца.

Теперь Женьке был интересен технорук Петухов, слушающий его речь спокойно, внимательно, но с таким лицом, на котором абсолютно ничего нельзя было прочесть, и Женька удивленно подумал: «А он верен себе!»

— Заклячая эту короткую коллективную речь, — иронически продолжал Женька, — я хочу отдать должное будущему техноруку, но астроному по хобби Андрею Лузгину. — Он поднял вверх палец. — Гелио — это солнце. Так вот, по мысли товарища Лузгина, существует не только гелиоцентрическая система, но и гасиловоцентрическая система, система ничегонеделания. По крайней мере, на двести километров в округе нет второго такого человека!

Женька опустил руку и будничным тоном сказал:

— Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к вам, братцы, с призывом вынести решение с просьбой к райкому комсомола помочь нам в снятии с должности мастера товарища Гасилова... Я все сказал, пусть другой скажет лучше!

Под возгласы, аплодисменты и хохот Женька слез с трибуны, раскланиваясь с членами президиума, авторами коллективной речи, занял свое председательское место и оглушительно заорал на весь зал:

— Прошу не трепаться попусту, а высказываться с фанерки... Давай, давай! Кто там первый крикун?

Соня Лунина закончила свой рассказ, потрогав напоследок пальцами пуговицу на кофточке, нервно повела плечами; она была мужественна и терпелива, за ее скромной внешностью скрывался сильный характер, который угадывался далеко не сразу.

— Чем кончилось собрание, вы знаете, — сказала Соня, немного отдохнув. — Большинство комсомольцев проголосовало за предложение Жени... А по второму вопросу... — Она, не сдержавшись, улыбнулась. — Николая Локтева все-таки приняли в комсомол, хотя поначалу большинство было против. Но Николай Локтев хорошо работал, и поэтому слово взял Гена Попов. Он сказал, что Николая надо принять в комсомол. Я хорошо помню его последние забавные слова; «Мы не имеем права, товарищи, стоять на пути технического прогресса! Применение двух обыкновенных тазов для получения самогона вместо устаревшего змеевика свидетельствует о том, что Николай Локтев стремится не отставать от космического века. Поэтому я предлагаю все-таки принять его!» Взяв с Николая слово прекратить самогонование, его приняли в комсомол.

От буксира «В. Маяковский» на обском плесе оставались только разноцветные сигнальные огни, зажглись уже лампочки на маленьком дебаркадере, так как ночь на землю спускалась быстро, словно задергивали темную штору; туча, повисшая в зените, не увеличилась, а только потемнела, как и вода в Оби.

— У нас в организации было весело при Жене, — по-вечернему тихо сказала Соня. — Мы здорово работали, дурачились, выпускали смешную стенгазету «Точка, и ша»... Нам было хорошо! Такого уж теперь, наверное, не будет.

Темнело быстро, очень быстро; тот невидимый, что задергивал штору, старался не оставить ни единой щелочки, заботливо укутывал в черный бархат реку, небо, тайгу, деревню; на небе черный бархат прореживался звездами, деревня освещенными окнами накладывала заплаты, река разрезала оловянной полосой. Луна еще не поднялась, но уже над зубцами тайги появлялся тонкий росчерк ее будущего могущества.

Наблюдая за игрой света и теней, Прохоров думал о том, что жизнь до смешного неорганизована и запутана, что самые элементарные вещи в ней, в жизни, становятся такими сложными, что порой кончаются катастрофами... Ах, жизнь, жизнь! Соня Лунина ходит по тропинкам за Женькой Столетовым, за Соней Луниной ходит влюбленный в нее Андрюшка Лузгин, к Анне Лукьяненко, которая не может жить без Столетова, бегают технорук Петухов, решивший жениться на Людмиле Гасиловой, столетовской возлюбленной.

— Это верно, что Евгений походил на молодого царя Петра? — неожиданно для самого себя спросил Прохоров.

— Очень походил! — после паузы ответила Соня. — Это первой заметила я, сказала Андрюшке Лузгину, а он — всем... Еще в школе, когда мы проходили Петровскую эпоху и Викентий Алексеевич принес на урок картину Серова. Я посмотрела и охнула: от меня, в глубине картины, с палкой в руках уходил Женя... — Голос Сони приглушился. — Это было после того, как я написала Жене записку...

Бог ты мой! Как все сплеталось в плотный клубок, как одно цеплялось за другое и как все сложнее и сложнее делалось прохоровское положение, так как вместо одной задачи перед ним возникало сто задач, требующих немедленного решения.

— Соня, а Соня, — с надеждой произнес Прохоров, — уж вы-то мне расскажете, что происходило на лесосеке двадцать второго мая? Какое выдающееся событие потрясло все основы?

Прохоров не успел досказать последние слова, как девушка, видимо, непроизвольно отодвинулась от него, поджала губы и опустила в землю взгляд.

— Так что произошло двадцать второго мая?

— Ничего не произошло, — ответила девушка. — Абсолютно ничего!

Соня Лунина не умела врать, и Прохоров досадливо поморщился: «И эта не говорит!»

Краешек луны уже показался над горизонтом.

спецовке, кирзовых сапогах, за широким ремнем торчали истрепанные рукавицы; в светлых волосах Бориса зеленели сосновые хвоинки, пахло от него всеми таежными запахами, соляжкой, брусничными листьями. Устало поздоровавшись с Прохоровым, он тяжело опустился на табуретку, руки сунул в карман.

Борис Маслов среди четырех неразлучных друзей считался самым спокойным, здравомыслящим, по-житейски мудрым, да и внешне все в этом парне вызывало доверие: невысокая фигура, прямые плечи, широкий лоб, крупные губы и выражение лица такое, какое бывает у людей, хорошо знающих, чем кончится сегодняшний день и чем начнется завтрашний.

— Я пришел к вам, Александр Матвеевич, — заговорил Борис, — хотя совсем не понимаю, что происходит... — Он поднял на Прохорова серые немигающие глаза. — Нам трудно понять, почему вы занимаетесь только Гасиловым, а Заварзин вас ни капельки не интересуется...

Он вопросительно замолчал, и Прохоров подумал, что из таких парней, как Борис, со временем получают директора заводов или знаменитые хирурги, способные одним своим появлением внушать больным веру в спасение; стремительный, импульсивный, эмоционально переполненный Женька Столетов был, несомненно, плохим шахматным партнером для Маслова.

— Откровенность за откровенность, Борис, — серьезно сказал Прохоров. — Я, естественно, не имею права рассказывать вам о ходе следствия, но между гибелью Евгения Столетова и мастером Гасиловым существует прямая связь. Поэтому для меня чрезвычайно ценно все то, что раскрывает их отношения. Каждая встреча, каждое слово, если хотите, каждый жест... Гасилов — это та печка, от которой я пляшу... Слушайте, Борис, да снимите к чертовой матери эту вашу брезентовую куртку! Будем заниматься каждый своим делом: я потеть от напряжения, слушая вас, а вы наслаждаться отдыхом...

Борис неторопливо снял куртку, аккуратно расправил ее, повесил на деревянную вешалку, вернувшись на место, закурил.

— Что вас интересует, Александр Матвеевич? Я готов ответить на любой вопрос, кроме...

Прохоров заулыбался, легкомысленно махнул рукой.

— Знаю, знаю...

— Тогда спрашивайте, Александр Матвеевич.

— Что произошло между Гасиловым, Столетовым и вами двадцать первого апреля, когда вы беседовали с мастером в конторе лесопункта?

В распахнутое настежь окно струился влажный речной ветер, отчетливо слышалось, как по Оби, мелодично поскрипывая уключинами, движется многовесельная лодка — это возвращались из Заречья с лодочной прогулки те самые молодые люди, которые поздними лунными вечерами грустили под стон неумелой, но трогательно-старательной гитары. Сейчас гитарист тоже, наверное, терзал струны, но музыка не слышалась.

Борис Маслов сказал:

— Мы пошли с Женькой к Гасилову по решению комсомольского бюро... Это была последняя попытка договориться с мастером, в которой я должен был играть роль арифмометра и огнетушителя... — Он помолчал. — Александр Матвеевич, вам, наверное, тоже кажется, что я самим богом создан для этих двух ролей... Когда-то я и сам думал так, но с Женькой мы

дружили с первого класса и...

Борис тонко улыбнулся.

— Короче говоря, перед вами сидит Женька Столетов, подключенный к замедляющему реле... Вы видели, как я вешал куртку?

— Видел.

— Я каждое движение проделал в пять раз медленнее, чем это сделал бы Женька, — вот и вся разница... Вы понимаете, зачем я об этом говорю?

Прохоров сделал такое лицо, словно его сейчас больше всего интересовала скрипучая многовесельная лодка. «Дрянной мальчишка! — ворчливо подумал он о Борисе Маслове. — Кого это он держит за дурака? Самого капитана Прохорова?» Разве он, Прохоров, с самой первой встречи с друзьями погибшего тракториста не заметил, что Андрюшка Лузгин делает такой жест руками, словно хочет оттолкнуть от себя все брэнное и ненужное (поза Евгения Столетова на школьной фотографии), что Генка Попов, взволнованный, ходит так, словно его подгоняет сильный ветер, что Соня Лунина иногда по-столетовски задирает подбородок, и даже забавный мужичонка Никита Суворов, сменщик Столетова, незаметно для самого себя по-Женькиному округляет хохочущий рот.

— Рассказывайте о беседе с Гасиловым, — досадливо попросил Прохоров.

— Мы поймали Гасилова в кабинете технорука Петухова... — неторопливо начал Маслов. — Они сидели на диване и разговаривали так тихо, что даже при открытой двери мы не слышали о чем... Увидев нас, Гасилов и Петухов повели себя так, как мы и предполагали: технорук поднялся, крепко и дружески пожал руку мастера, и, даже не поглядев на нас, изящной походочкой вышел из своего собственного кабинета, а мастер Гасилов... Мастер Гасилов за считанные секунды превратился в того самого Петра Петровича, которого хотелось ласково называть папой и каяться перед ним в самых мелких полупридуманных грехах... Одним словом, на диване сидел человек... ЗА МЕСЯЦ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...в кабинете технорука Петухова на современном поролоновом диване сидел человек с отечески добрым, ласковым, доброжелательным, веселым лицом. Не говоря ни слова, он взял Женьку Столетова за руку, несильно потянув, посадил рядом с собой, а Борису Маслову показал место по другую сторону от себя. Пахло от Петра Петровича чем-то теплым и домашним, крупные складки упитанного лица источали уют и покой, в мягких сапогах, стоящих на дешевеньком коврикe, было что-то такое, отчего вспоминалось детство, пресные калачи, сказочный свист зимнего ветра в печной трубе, ласковая тяжесть отцовской руки на взъерошенной голове. Сказками Андерсена, историями о том, как жили-поживали старик со старухой, как по щучьему веленью ходили ведра на тонких ножках, а печь плыла к царевне-красавице, — вот чем веяло от мастера Гасилова, ласково положившего руки на плечи Женьки Столетова и Борьки Маслова. Самый опытный физиономист, психолог с седой головой и мировой известностью не обнаружил бы в поведении Петра Петровича ни капельки фальши, ни грамма театральщины. «Эх, ребята, ребята! — говорили мудрые глаза мастера. — Вы даже не подозреваете, какой вы хороший, замечательный, какой славный народ! А как хороша жизнь, ребяташки! Боже, как она хороша, эта самая жизнь! Ну улыбнитесь, друзья мои, скажите Петру Петровичу, что хорошо жить на свете — сидеть на поролоновом диване, слушать апрельскую капель, думать о близкой весне...»

— Борька! — жалобно проговорил Евгений Столетов, согнувшись под тяжестью ласковой руки мастера. — Борька!

Напрасно! Сидел, присмирив, Борька Маслов, считающий себя способным играть роль огнетушителя и арифмометра, страдал от приступа любви и добра к Гасилову Женька

Столетов, и не знали они, такие молодые и неопытные, что делать и говорить, если на плече дружески лежит рука человека, с которым ты начал борьбу. Однако жизнь — хорошая или плохая? — отсчитывала секунду за секундой, и, конечно, наступило время, когда Петр Петрович Гасилов с неохотой снял руки с плеч трактористов и кабинет превратился в обыкновенный кабинет, диван — в диван, репродукция с репинских «Бурлаков» — в обыкновенную дрянную репродукцию. Еще рука мастера, медленно соскользнув с Женькиного плеча, висела в воздухе, а Столетов уже стоял в центре кабинета, его маленький подбородок с заносчивой ямкой уже задрался, фигура была наклонена вперед так сильно, словно его в спину толкал плотный морской ветер.

— Петр Петрович, — волнуясь и торопясь, заговорил Столетов, — Петр Петрович, мы пришли к вам, чтобы... — Он по-детски приложил длинные руки к груди. — Я не верю, что люди не могут договориться. Если вы, Петр Петрович, поймете нас, а мы вас, все будет хорошо, все образуется... Петр Петрович, не надо, не улыбайтесь так, словно перед вами дети! Петр Петрович...

Женька ошибался: мастер не улыбался, а беззвучно и весело хохотал. То самое лицо, которое минутой раньше было по-отцовски ласковым и добрым, теперь буквально лучилось бесшабашным весельем: по всему было видно, что запальчивость и волнение Столетова мастер не может принять и никогда не примет всерьез, что к Женьке Столетову он по-прежнему относится с отцовской нежностью, а смеется оттого, что молодой тракторист ему нравится. По тому, как Гасилов смеялся, было ясно, что на человеческом языке не существует слов, которые могли бы вывести Гасилова из состояния добродушия и веселости, что ему действительно хорошо и счастливо жилось в эти секунды, — он, видимо, по-настоящему наслаждался отдыхом на мягком поролоновом диване, с радостью прислушивался к звону апрельской капели, у него наверное, счастливо пощипывало под сердцем, когда из форточки в кабинет врывается воздух, пахнувший прелыми листьями.

Женьке на секунду показалось, что он совершает кощунство, ведет себя как самый последний негодяй, когда с угрожающе поднятыми кулаками врывается в жизнь счастливого, не чувствующего за собой никакой вины человека. Женька ощутил такое, словно он разбойной безлунной ночью тайным лазом пробирается в дом безмятежно спящих людей.

— Петр Петрович, Петр Петрович! — потерянно шептал Женька. — Ведь нам надо обязательно поговорить...

Продолжая беззвучно и ласково смеяться, Петр Петрович лениво поднялся с дивана, крупный, похожий на потешного медведя, приученного показывать, как ребятишки воруют на огороде горох, мягко прошелся по кабинету — добрый отец, благожелательный наставник, опытный старший товарищ.

— Говорить, говорить, говорить, — задумчиво произнес он и встряхнул гривастой головой. — Боже мой, сколько мы говорим, сколько произносим лишних слов, а ведь все так просто и понятно... Евгений, Борис, вы еще так молоды, что еще верите в слова, в их силу и значение. Поверьте, друзья, моему опыту: слова редко помогают людям понять друг друга...

Он остановился, задумался, привычным движением заложил руки за спину; в его фигуре, позе, лице по-прежнему не было ничего такого, что могло бы вызвать протест, раздражение, желание противоречить; и крупность Гасилова, и его брыластые боксерьи щеки, и большая умная голова, и мудрые глаза — все вызывало симпатию. Стоял в центре кабинета немолодой уже человек, спокойно и доброжелательно размышлял о жизни, был прост и естествен, как апрельская торосистая Обь за окном, были ему чужды суетность, мелкость, житейская обыденность. С таким человеком трудно было разговаривать о хлыстах и трелевках, тракторах и погрузочных кранах, сдельных расценках и премиальной оплате.

— Слова, слова! — с легкой горечью продолжал Петр Петрович. — Мудрый сказал о них как о самой лучшей упаковке для правды и лжи. «Мысль изреченная есть ложь». Да вам ли рассказывать об этом, друзья мои!

В три могучих шага Петр Петрович Гасилов подошел к единственному окну петуховского кабинета, бросив на него мгновенный лихо-бесшабашный взгляд, одним-единственным ударом волосатого кулака выбил внутреннюю раму двойного окна, прислонил ее к стенке, вторым ударом распахнул летнюю раму. В кабинет ворвался клуб синего пара, одуряюще запахло талым снегом, черемуховой корой, льдистым запахом заторосившейся реки.

— Весна, друзья мои, весна! — дрогнувшим голосом сказал Гасилов, и Женька заметил, как молодо и жадно раздулись ноздри его прямого крупного носа. — Весна идет, друзья мои, а мы тратим время на слова, которым грош цена.

Казалось, что в дурно обставленный, разностильный, с претензиями на городской шик кабинет технорука Петухова по волнистой струе синего и зябкого ветра вплыл апрель; трижды тинькнула и, словно испугавшись саму себя, замолкла синица, опрорхнув метнулась с крыши кособокая сорока, профыркала крыльями большая стая повеселевших воробьев, загалдели на улице обрадованные оттепелью ребяташки — весна и вправду шаталась, захмелев от радости, по сосновским улицам и переулкам, развешивала по крышам сосульки, подгрызала сугробы, продувала до драгоценной голубизны торосы на реке; бродя по улицам и переулкам, захаживая в дома и нескромно заглядывая в окна, весна была как раз такой, каким сейчас видел Женька Столетов мастера Гасилова, — счастливой до одурения.

— Петр Петрович, Петр Петрович, — снова потерянно пробормотал Женька Столетов и сделал шаг к мастеру. «А чего, на самом деле, я хочу?» — с удивлением спросил он себя и огляделся с таким недоумением на лице, точно никогда в жизни не видел петуховского кабинета, Борьку Маслова, Петра Петровича Гасилова.

Чего, ну чего он хочет от жизни, Женька Столетов?! Зачем ему нужны тракторы и краны, электропилы и платформы, когда на самом деле на улице творит свое счастливое дело захмелевший от собственной радости апрель? К чему все это, если он может, сделав всего два шага вперед, взять за добрую теплую руку Петра Петровича Гасилова, заглядывая в его отечески добродушное лицо, сказать, что они пошутили — не было никакого комсомольского собрания, никто с рулеткой не ходил по лесосеке, не измерял расстояния трелевки и, наконец, никто — ни он, ни Борис Маслов — не собирается ни о чем разговаривать с Петром Петровичем... Апрель! Весна! Жениться поскорее на Людмиле Гасиловой, построить большой дом, родить детей, купить телескоп, теплыми вечерами кататься на жеребце Рогдае, чтобы возвращаться в Сосновку в те минуты, когда солнце садится и жеребец превращается в красного коня... Жить! Дышать, двигаться, спать, просыпаться, засыпать...

— А разговаривать мы все-таки будем! — неожиданно послышался скучный, занудный и отчего-то сдавленный голос Бориса Маслова. — Мы просто обязаны разговаривать... Разрешите!

Подчеркнуто занудным движением, с лицом постным, как понедельник, Борис Маслов подошел к окну, распахнутому Гасиловым, не обращая внимания на мастера и даже слегка потеснив его плечом, закрыл обе створки и таким же манером, то есть с брезгливым лицом и потухшими, сонными глазами, вернулся на прежнее место.

— Петр Петрович, — искоса глядя на дурацкую трехцветную люстру, подвешенную к высокому потолку, сказал Борис Маслов, — и вам и нам будет удобнее, если вы сядете...

Продолжая беззвучно смеяться, оставаясь прежним, Петр Петрович Гасилов с потешной торопливостью сел на первый попавшийся стул, повернувшись к Борису Маслову, положил на колени руки так, как это делает старательный ученик, собираясь слушать обожаемого

учителя.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним, — тяжело двигая челюстями, словно их сдавливали, продолжал Маслов. — Вы смеетесь сейчас, товарищ Гасилов, вы умирали, говорят, от хохота, когда узнали о решении комсомольского собрания, и, если говорить откровенно, вам можно позавидовать. Не каждому дано сохранить такой заряд оптимизма в вашем возрасте.

На все возможные и невозможные ухищрения шел Борис Маслов, чтобы заставить мастера Гасилова хоть на мгновение сделаться серьезным, — и неестественно хмурил брови, и угрожающе перебирал в пальцах вынутую из кармана пачку хрустящих листов бумаги, и вольнодумно положил ногу на ногу, и лексикон употреблял канцелярско-бюрократичеекий, но с Петром Петровичем никаких благожелательных перемен не происходило — благодушеествовал, беззвучно посмеивался, продолжал смотреть на Борьку обожающим взглядом: «Давай, давай, разговаривай, мой молодой, мой строгий и беспощадный судья, мой смешной и бог знает почему такой сердитый приятель...» И даже сейчас, даже после того, как Маслов все-таки заговорил, Гасилов оставался по-прежнему естественным, правдивым; опять в его позе, движениях, выражении лица невозможно было уловить фальши, разглядеть неискренности. Хороший, отличный, замечательный человек сидел на стуле, полный доброжелательной готовности слушать Бориса.

— Продолжайте, продолжайте! — проговорил этот человек с ожиданием и любопытством. — Продолжайте, Борис, я жду...

Женьке показалось, что Борька Маслов уменьшался в размерах, как пробитый шилом футбольный мяч. Почувствовав острую боль за друга, Женька инстинктивно сделал порывистое движение к нему, но остановился, так как почувствовал, что с ним происходит то же самое, что с Борисом, — гневное kloкотание в груди утишивалось, голова сама собой опускалась, руки принимали покорное ученическое положение, шея — вот этого нельзя было и представить! — казалось, укорачивалась.

— Женя, Боря! — словно из-за толстой стены, из пространства другого измерения послышался голос Гасилова. — Говорите же, я жду...

Столетов и Маслов печально переглянулись. Они были молоды, неопытны, плохо знали жизнь, но вот сейчас поняли, что были с ног до головы опутаны и связаны тщательно скрываемой, глубоко затаенной, жестокой и несгибаемой волей Гасилова.

Сколько таких мальчишек, как они, видели его выпуклые глаза, сколько раз за десятки прожитых лет он в жестокой борьбе отстаивал свои «стада и поля», сколько раз ему приходилось намертво вцепляться в свой особняк и вороного жеребца Рогдая, в нежное и белое тело медленно стареющей жены! Перед такими ли людьми, как Женька и Борис, сживал Гасилов под угрозой разоблачения, такими ли бумагами шелестели перед его носом! И как ему было не улыбаться, не хохотать беззвучно, когда этот щенок Борька Маслов цедил сквозь молодые, неизъеденные зубы: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Комариное жужжание, детский крик на лужайке — вот что происходило сейчас в петуховском кабинете.

При закрытом окне в кабинете нечем было дышать, густо и настырно пахло неизвестным гасиловским одеколоном, мягкие его сапоги попирали ковер с уверенностью и силой, в складках лица синеватой тенью залегла ликующая безнаказанность.

Борис Маслов поднялся, осторожно, точно боялся обронить, поднес к глазам листок бумаги, близоруко сощурившись, сказал:

— Десять последних дней мы занимались тем, что играли в бухгалтерию. Канцелярские

счета — вещь, оказывается, удобная, и мы довольно легко подсчитали, что на триста километров в округе существует только один мастер лесозаготовок, который за последние пять лет ежемесячно получает максимальные премиальные... Я еще раз прошу тебя, Женька, сесть и не махать руками...

Мастер Гасилов весело крутил головой, глаза блестели, на стуле он сидел так непрочно, как молодой шустрый воробей на электрическом проводе. Ему определенно нравилось, как нервничал Женька, доставлял удовольствие вымученный голос Маслова, и снова, черт побери, на всем его облике было крупно и ярко написано: «Ах, ребята, ребята, вы и не представляете, какая это хорошая штука — жизнь!»

Маслов продолжал:

— Опыт работы мастерских участков нашего леспромхоза и соседнего — Петровского — показал, что в течение круглого года ни один из них не может из месяца в месяц перевыполнять плановые задания. Распутица, двухметровой толщины снежные сугробы, поломки механизмов, невыходы рабочих на лесосеку из-за болезней — сто причин существует для того, чтобы хоть в одном месяце мастерский участок не смог перевыполнить, а то и выполнить план. С мастером Гасиловым этого никогда не случалось. Волшебство? Техническая гениальность?... Женька, я немедленной уйду, если ты не сядешь на место и не будешь вести себя нормально!

— Сижу. Молчу.

Через закрытое окно апрель все же настырно врывается в комнату. Ребятишки на улице уже не кричали, а вопили, грохоча и чихая, шел гусеничный трактор с плохо отрегулированным мотором, на клубном здании — будь он неладен! — сверхмощный динамик ревел во всю мощь о том, что «не кочегары мы, не плотники...».

— Из чего складывается задание комплексной бригады? — спросил самого себя Борис Маслов и вытянул руку, чтобы было удобнее загибать пальцы. — Из среднего объема хлыста на лесосеке, из среднего расстояния трелевки и, наконец, из количества рабочих дней, необходимых на трелевку в расчетный период. Правильно?

Гасилов утвердительно закивал.

— Совершенно правильно! — горячо подтвердил он и озабоченно почесал затылок. — Было бы, однако, неплохо, Борис, если бы вы к этим трем важным факторам добавили еще хорошую эстакаду и чистые трелевочные волокна... — Он спохватился. — Прошу простить меня, Борис, я прервал логический ход ваших размышлений.

— Вы не нарушили логический ход моей мысли, — по-мальчишески сердито ответил Маслов. — Этого сделать нельзя, так как мне осталось сказать всего несколько слов. В нашей комплексной бригаде вами, товарищ Гасилов, всегда занижен средний объем хлыста, преступно увеличено расстояние трелевки по сравнению с реально существующим и уменьшено количество рабочих дней за счет фиктивного времени на переходы из одной лесосеки в другую...

Мальчишки, они и на этот раз оказались в западне! Борис Маслов только начал говорить обличительные слова, как Петр Петрович Гасилов с хлопотливой готовностью выхватил из нагрудного кармана шариковую ручку, блокнот, развернув страницы, с огорченным и разгневанным лицом нацелился острием ручки на чистую бумагу. «Безобразие! Преступление! — было написано на всей массивной фигуре мастера. — Всех разоблачу, всех уволю... Боже, боже! Неужели все это может происходить на мастерском участке, которым я руковожу?!» И в третий раз за все это время Женька Столетов мог бы поклясться, что в поведении Гасилова не было ничего театрального: он был правдив и только правдив.

Побледнев от напряжения, Борис Маслов тихо продолжал:

— Все эти преступления совершаются для того, чтобы вы, товарищ Гасилов, всегда получали предельно крупные премиальные. Это раз! Во-вторых, обман и махинации вам нужны для того, чтобы не тратить никаких усилий на руководство участком... Каждый мальчишка в поселке знает, что больше трех часов в день вы на лесосеке не проводите. Вы сознательно тормозите производительность труда на своем участке. Вы умело это делаете, вы прекрасно знаете, что о таких ловкачах не раз предупреждала партия...

Петр Петрович Гасилов старательно писал. Как только Борис замолчал, шариковая ручка повисла в воздухе, Петр Петрович поднял голову, укоризненно покачав головой, нетерпеливо проговорил:

— Продолжайте, продолжайте, Борис! Вы и представить не можете, какими ценными фактами вооружаете меня... Эх, Притыкин, Притыкин! Сколько раз я говорил тебе...

После этого и произошла катастрофа; с перекошенными губами, бледным дергающимся лицом Женька Столетов вскочил со стула, размахивая руками, бросился к Гасилову и не закричал, а сдавленным до боли в горле шепотом проговорил:

— Подлец! Негодяй! Подлец!

Наконец-то, наконец на лице мастера Гасилова появилась неискренняя, фальшивая, театрально-ослепительная улыбка; мастер лесозаготовок улыбался так, как, наверное, улыбается нетерпеливый охотник, когда слышит долгожданные звуки рожков, которыми загоняют зверя в смертельное кольцо. Гасилов четкими привычными движениями спрятал блокнот и ручку, застегнул какую-то пуговицу на теплой стеганой куртке, с рассеянным и отсутствующим видом поднялся со стула. Неизвестно для чего Гасилов подошел к письменному столу технорука, подумав, закрыл тяжелой крышкой медную чернильницу, а потом с озабоченным и деловитым видом вышел из кабинета, притворив дверь за собой так плотно и окончательно, словно в комнате никого не оставалось.

— Борька! — потерянно прошептал Женька Столетов. — Я не хотел тебе мешать, Борька...

— Да ты мне не помешал, — ответил Маслов. — Ты просто избавил меня от сотни ненужных слов.

Прохоров удобно сидел на кончике письменного стола, Борис Маслов смотрел на сверкающий ботинок капитана уголовного розыска, сам Прохоров, в свою очередь, глядел в окно, и это было как раз такое состояние, в котором и должны были находиться они после того, как Маслов кончил рассказывать. Несколько спокойных минут они молчали, затем Прохоров спустился со стола, подмигнув Маслову, неожиданно весело спросил:

— И после этого вы перешли в атаку? Я вас правильно понял, Борис?

— Вы меня поняли правильно.

Многовесельная лодка давным-давно причалила к обскому берегу, веселая компания уже минут десять пребывала в заветном молодом ельнике, и гитара в тысячный раз пела о том, что «во дворе, где все играла радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень Леньку Королева, присвоив ему звание короля...»

— И вы перешли в атаку! — повторил Прохоров. — Пе-ре-шли в ата-ку...

Дождь пошел неожиданно, сразу после обеда, хотя утро не предвещало никакого дождя: небо было безоблачно-мирным, солнце палило по-вчерашнему, река, гладкая и синяя, катилась да катилась на свой холодный север. И все-таки в третьем часу дня неизвестно откуда набежали перистые облака, поплавав по небу, сгрудились в тучки, приспустившись к земле, застелили солнце, и сразу же после этого затарабанили по земле крупные дождевые капли. Первые из них, упав в пыль, превращались в серые шарики, подвижные, как пролитая ртуть, но скоро дождь припустил так сильно и отчаянно, что пыль уже превращалась в обыкновенную грязь. Только в седьмом часу на низком небе начали появляться голубоватые просветы, тучи, расплываясь, поднимались вверх и появилась надежда, что через час-другой дождь окончится. Так оно и произошло. В восьмом часу, когда капитан Прохоров, вдоволь надышавшись свежим дождевым воздухом, сидел на подоконнике, тучи расплзлись так быстро, словно им отдали команду, и над Сосновкой опять засияло промытое бодрое солнце. Воспользовавшись этим, Прохоров сходил зачем-то к особняку Гасилова, минут десять постоял возле больших, окованных железом ворот, затем отправился в контору лесопункта, где часа полтора ворошил бумаги, принесенные по его просьбе женой Никитушки Суворова. Перебрав двадцать с лишним папок с тесемками, он записал в блокнот всего несколько цифр, но по усмешке, появившейся на его брезгливо сложенных губах, можно было понять, что Прохоров нашел очень важные факты.

Пригласив уборщицу, занятую приведением в порядок конторы, Прохоров попросил ее запереть красный уголок, в котором он сидел, и вышел на улицу. Было уже темно и по-хорошему прохладно, в ельнике постанывала все та же неумелая гитара, реку пересекала волнистая лунная полоса, в одном из домов хрипела радиолоа, рассказывающая о том, как «дороги подмосковные вечера». Прохоров энергично зашагал по деревянному тротуару и в десять часов с минутами поднялся на крыльцо милицейского дома. Здесь он застегнул на все пуговицы пиджак, подтянул узел галстука и, сделав непроницаемое лицо, неторопливо вошел в кабинет.

— Добрый вечер, товарищи!

На табуретках, на единственном стуле и на подоконнике размещались те люди, которых Прохоров велел Пилипенко собрать на десять часов вечера. На подоконнике сидели неразлучные Лобанов и Гукасов, стоял недавний солдат Михаил Кочнев, трое ближайших друзей погибшего — Попов, Лузгин и Маслов — занимали табуретки и единственный стул. Отдельно от всех, в углу, широко расставив ноги и сверкая фиксой в зубах, стоял бывший уголовник Аркадий Заварзин и насмешливо, исподлобья наблюдал за происходящим. На приветствие Прохорова он ответил вежливым поклоном, переполненным спокойствием и доброжелательством, хлебосольно улыбнулся. Вся его фигура, лицо, глаза были такими, словно Аркадий Заварзин наслаждался тем, что совершалось вокруг него, а появление капитана Прохорова было самым дорогим и долгожданным подарком.

Зафиксировав все это быстрым, летучим взглядом, Прохоров молча подошел к столу, вынул из ящика несколько листов дрянной газетной бумаги, выпрямился так резко, словно собирался щелкнуть каблуками.

— Не будем рассиживаться по кабинетам, товарищи! — сухо произнес он. — Сейчас

пятнадцать минут одиннадцатого. Пока то да се — будет и половина... — Полуобернувшись к Аркадию Заварзину, он тихим, но тугим голосом приказал: — Вам придется пройти с нами, гражданин Заварзин. Я обвиняю вас в убийстве Евгения Владимировича Столетова. Потрудитесь пройти на место следственного эксперимента.

В комнате сделалось тихо, как в глубоком высохшем колодце. Ребята на подоконнике подались назад, Андрюшка Лузгин слегка побледнел — он еще не видел такого Прохорова, не подозревал даже, что глаза разговорчивого капитана могут быть такими опасными. Прохоров действительно был жутковат, как нож с пружиной, выскочивший из тайного гнезда. Что-то такое открылось в капитане уголовного розыска, что было упрятано далеко, запечатано семью печатями, хранилось до поры до времени, до такого вот нужного мгновения.

— Прошу выходить из кабинета! — уверенно командовал Прохоров. — Андрей, пожалуйста, запирайте дверь на ключ. Остальных прошу следовать... Вы идите впереди меня, Заварзин! Вот так!

Они вышли на улицу. Висела в небе полная луна, деревня благоухала сладкой ночной сыростью, в огромных лужах, как в мокром асфальте, отражались, двоились, троились огни, на темном плесе Оби двигался освещенный разноцветными огнями пароход. Виделось, как старательно, чисто ливневый дождь промыл жаркую и пыльную от зноя Сосновку, до светлоты выхлестал деревянные тротуары.

— Прошу не отставать, товарищи!

Они шли по той дорожке, по которой несколько дней назад Прохоров гулял с Викентием Алексеевичем; поднимались на тот же взорок. Когда подъем кончился, луна, словно по просьбе Прохорова, окончательно выпуталась из проредившихся лохмотьев туч, засияла на свободе, причем показалось, что, восторжествовав, она как бы скачком поднялась еще выше, чем была минутами раньше. Вскоре идущие увидели на высоком обском яре две освещенные луной человеческие фигуры — это стояли участковый Пилипенко и учитель Викентий Алексеевич Радин.

— Добрый вечер! — поздоровался Прохоров. — Товарищ Пилипенко, разъясните принцип выбора участников следственного эксперимента.

Участковый инспектор Пилипенко сделал четкий шаг вперед, рапортовым голосом произнес:

— Среди участников следственного эксперимента в наличности трое граждан, которых товарищ Радин знает. Это товарищ Маслов, Лузгин и Попов... Далее... С одним из граждан — Михаилом Кочневым — товарищ Радин мог встречаться, не зная его по фамилии. Трех граждан — Заварзина, Гукасова и Лобанова — товарищ Радин не знает... У меня все, товарищ капитан!

— Спасибо, младший лейтенант, — ответил Прохоров и повернулся к Аркадию Заварзину. — Таким образом, вы находитесь в равном положении с Гукасовым и Лобановым, гражданин Заварзин. Товарищи Маслов, Лузгин и Попов приглашены для того, чтобы продемонстрировать точность опознания, Михаил Кочнев — чтобы еще раз подтвердить очевидное... Вы готовы, Викентий Алексеевич?

— Готов.

— Еще раз прошу простить милицию, Викентий Алексеевич.

— Начинайте, Александр Матвеевич.

Луна горела в полную меру — круглая, большая, покрытая морщинами, она казалась прозрачной, похожей на колобок из детской книжки; река Обь под высоким яром лежала спокойно, притихшая, отдохнувшая, охлажденная дождем; с деревьев капало, пахло отцветшей черемухой — все вокруг было таким знакомым, понятным и мирным, что всем участникам следственного эксперимента, исключая Прохорова и Пилипенко, происходящее на высоком обском яре казалось не то длинным, пока непонятным сном, не то театральным представлением. Андрюшка Лузгин сутулился и втягивал голову в плечи, Маслов и Попов старались держаться в тени, Михаил Кочнев старательно играл спокойствие, Гукасов и Лобанов неслышно шептались, а Аркадий Заварзин улыбался прежней хлебосольной улыбкой.

— Следуйте за мной! — распорядился между тем Пилипенко. — Начинаем тянуть жребий — кому идти первому, кому второму и так далее... Не теряйте времени, граждане, не теряйте! Бояться нечего, товарищ Маслов, вам ничего не будет. Не робейте. Айда, айда!.. Вы почему стоите, Заварзин? Я спрашиваю: почему не идете за нами, Заварзин? Товарищ капитан...

Жутковатое, невероятное, театральное действие продолжалось. Молчаливые ребята выстроились в цепочку согласно жребию, Викентий Алексеевич Радин с закинутой назад головой встал на то место, где имел привычку долго отдыхать во время каждодневных прогулок. Было тихо, слышалось, как шелестит под яром великая сибирская река, как лает одинокая собака.

— Заварзин! — негромко произнес Прохоров. — Заварзин!

Все замерло, притихло, так как Аркадий Заварзин на самом деле стоял с таким видом, словно и не собирался идти вслед за Пилипенко, чтобы продемонстрировать ночной проход перед Викентием Алексеевичем.

— Гражданин Заварзин! — еще раз выкрикнул участковый Пилипенко. — Прошу следовать!

На высоком обском яре все происходило так, как предполагал Прохоров. Вывший уголовник Аркадий Заварзин медленно вынул руки из карманов, погасив блеск фикса и улыбку, по-воровски ссутулился. Было серым и вдруг похудевшим его лицо, согнутый, он казался перебитым в позвоночнике, руки болтались как пришитые на живую нитку. Он сделал шаг к Прохорову, занес было ногу для следующего шага, но остановился, наверное, потому, что ноги были тяжелыми, словно их отлили из свинца.

— Ну, ну, гражданин Заварзин! — резко прикрикнул на него капитан Прохоров. — Не молчите, Заварзин, и не стойте на месте!

Еще две-три секунды длилась страшная голая тишина, потом послышался хриплый голос Заварзина:

— Ехал я одним поездом со Столетовым, ехал...

Прохоров боковым зрением заметил, как подались вперед трое близких друзей погибшего, как сжал кулаки вчерашний солдат Михаил Кочнев и как испуганно отстранились Лобанов и Гукасов, а слепой завуч Викентий Алексеевич Радин быстрым движением полез в карман за сигаретами. Прохоров скорее привычно-профессионально, чем осмысленно, продолжал действовать.

— Товарищ Пилипенко, — распорядился он, — проводите гражданина Заварзина в свой кабинет.

Он не успел закончить эти слова, как Аркадий Заварзин, еще более ссутулившись, заложил руки за спину, то есть проделал сам то, что ему должен был приказать Пилипенко. И как

только произошло это, показалось, что на обском яре повеяло холодом. Не имея возможности наблюдать за всеми участниками эксперимента, Прохоров посмотрел только на одного Андрея Лузгина и прочел на его лице то, что и следовало прочесть: «Убийца! Это живой убийца!»

— Действуйте, действуйте, Пилипенко! — торопил события Прохоров. — Все участники эксперимента могут быть свободными.

Пилипенко и Заварзин уже давно исчезли в темноте, уже затих стук сапог участкового инспектора, а парни все еще неподвижно и немой стояли на месте, словно ни один из них не услышал Прохорова. Небо окончательно прояснилось, набухали, пульсируя, крупные звезды, круглая луна светила торжественно, велеречиво; душный запах травы и перегноя поднимался от земли, и это тоже был торжественный, молодой запах, и наплывало такое чувство, словно и земля, и небо, и река, и деревья только что родились, чистые и непорочные.

По одному, как будто сразу потеряли связь друг с другом, участники эксперимента, забыв попрощаться с Прохоровым и Радиным, исчезли в темноте; двигались они бесшумно, отчего-то по-заварзински сутулясь. Когда исчез последний из них, Прохоров подошел к Радину, осторожно прикоснулся пальцами к его локтю.

— Спасибо, Викентий Алексеевич! — сказал он. — Спасибо, и еще раз простите милицию.

В прилегающем, ловко пригнанном к высокой фигуре костюме, простоволосый, пахнущий дождем и свежестью, освещенный луной, Викентий Алексеевич казался таким же молодым и чистым, как все вокруг; тени в глубоких глазницах делали его лицо зрячим, туго затянутый ремень придавал Радину офицерский лоск, и было понятно, что перед Прохоровым стоит тот самый политрук сибирского батальона, о котором писали все армейские газеты зимой сорок второго года.

— Знаете что, Александр Матвеевич, — сказал Радин, — мы с вами не виделись всего несколько дней, но вы за это время сделались ярко-красным... Вы даже не красный, вы — пунцовый! Как это вам удалось, Александр Матвеевич?

2

Вооруженный неопровержимыми фактами, логикой развития события, капитан Прохоров спокойно и твердо сидел за столом, глядя в угол кабинета, выдерживал необходимую, по его мнению, паузу. Потом, когда время истекло, Прохоров медленно сказал:

— Никакой драки, Заварзин, на берегу озера Круглого не было! Вы запугали Суворова, навязали ему драку возле озера, чтобы оправдать порванную рубашку на погибшем. Таким же образом вы запугали кондуктора Акимова, который видел, как вы сели на тот же поезд, с которым ехал из лесосеки Столетов... — Он опять допустил паузу, но крошечную. — Я имею доказательство и того, что вы ехали на одной тормозной площадке с погибшим... Дело в том, что Суворов и Акимов дали показания.

Только после этого Прохоров, глядящий в угол, перевел взгляд на лицо Аркадия Заварзина. Бывший уголовник сидел на краешке табуретки, во рту торчала погасшая сигарета, лицо казалось таким же серым и похudevшим, как во время следственного эксперимента.

— Пилипенко! — позвал Прохоров. — Введите свидетелей Суворова и Акимова.

Заранее предупрежденный участковый инспектор нарочито медленно поднялся с места,

растягивая во времени абсолютно все движения, пошел к дверям таким шагом, словно его кто-то удерживал. Он уже брался за дверную ручку, когда Аркадий Заварзин негромко проговорил:

— Не надо свидетелей! Ехал я со Столетовым на одной площадке... Я все расскажу, только не держите за моей спиной соловья!..

— Вот так-то лучше! — сказал Прохоров и приказал: — Идите отдыхать, Пилипенко!

— Есть идти отдыхать! — козырнул участковый. — Счастливо оставаться, товарищ капитан!

Прохоров подумал, что Заварзин на воровской жаргон перешел именно потому, что его приперли к стенке и где-то в темном мире, то есть за окном, куда он сейчас глядел, уже мерещилась Заварзину решка, как называют тюремную решетку в преступном мире и где соловей — это милиционер. Именно поэтому Прохоров, ненавидящий уголовный жаргон, не поправил Заварзина, а только кисло поморщился да придвинул к себе стопку газетной бумаги.

— Замазался я! — тихо признался Заварзин. — Однако я бармить буду, что не сбрасывал Столетова на железку. Сука буду, что не сбрасывал!

И Прохоров опять не прервал поток жаргонных слов и только потому, что на блатном языке Заварзину было труднее лгать и капитан уголовного розыска больше верил «сука буду», чем обыкновенному «клянусь». Кроме того, Прохорову было тяжело глядеть на теперешнего Заварзина. Куда девалась его золотозубая нагловатая улыбка, как могло произойти, что густой загар на лице сменился серой бледностью, отчего он сейчас казался узкоплечим и низкорослым? Оттого ли произошло это, что Заварзин столкнул Столетова с тормозной площадки, или оттого, что был невиновен?

— О деле Столетова мы поговорим позже, Заварзин, — задумчиво сказал Прохоров. — А пока вы решаете, признаваться или не признаваться в убийстве, давайте-ка поговорим о более легком. Например, о вашем друге и учителе Гасилове. Вопрос простой: за что вы любите его? И честно, честно, Заварзин! Теперь мне врать опасно! Я уже примерно знаю, когда вы врите, а когда нет! Так не лгите больше, Заварзин, себе повредите!

Да, Прохорову теперь на самом деле нельзя было врать. Отбросив всяческие профессиональные приемы, вроде фальшивого гляденья в окно или безалаберной, притупляющей бдительность допрашиваемого болтовни, капитан снова был таким, как во время следственного эксперимента, — глядел на Заварзина прямо, жестко, обнажающе и был опасен, очень опасен.

— Поехали, Заварзин!

И они поехали. Поехали издалека, так как Аркадий Заварзин прищурился, покусал белыми зубами нижнюю губу и длинно посмотрел в окно, где сияла яркая, благоухающая дождевой свежестью одна из тех летних ночей, ради которых стоило родиться и жить. Такие ночи много лет спустя, возникнув в памяти, заставляют сердце сжиматься от боли и страха, что это уже никогда не повторится. Все, все на белом свете сейчас было таким, что Аркадий Заварзин заговорил ночным приглушенным голосом.

— Еще в последнем лагере я решил завязать! — сказал он. — Причин было много, вам это неважно, это к делу не относится, но я решил рвать из уголовщины... Сказано — сделано! Я написал письмо Марии, которую знал с детства, получил ответ, что ждет, если не обману с завязкой, и приехал в Сосновку... Он говорил медленно, тяжело двигал подбородком, точно жевал тугую резинку, глаза возбужденно блестели, но на губах уже появилась насмешливая и скептическая улыбка над самим собой. Нужно отдать должное Заварзину, он, несомненно,

обладал всегда спасительным чувством юмора, как огня, боялся пафосности, открытого проявления добрых чувств, и в этом, как в зеркале, отражалась вся его трагическая и трудная биография. Хорошо было и то, что ни на первом допросе, ни сегодня Прохоров не уловил в голосе Заварзина ни одной сентиментальной нотки — этой неременной черты уголовного мира.

— Трактора я знал давно, — медленно продолжал Заварзин. — И, приехав в Сосновку, не сразу, но все-таки получил машину, и... — Он опять остановился, снова сам себе насмешливо улыбнулся. — И начались мои мучения! Работать не хотелось, как умереть. Через неделю я возненавидел трактор до того, что однажды навернул его кувалдой... Мария не хотела выходить за меня... Одним словом, я запсиховал!

Прохоров удовлетворенно кивнул. До сих пор он не услышал ни одной фальшивой интонации, верил каждому сказанному слову; ему просто-напросто в эти минуты нравился Заварзин — и поза его, и голос, и улыбка, и большие рабочие руки, положенные на колени.

— Психовал я долго, — еще медленнее прежнего продолжал Заварзин. — А потом — понемножечку да полегонечку — стал притихать, так как увидел, что на лесосеке-то пуп работой не надрывали. Кто хотел, восьмичасовую норму делал за шесть часов, а кто не хотел — тянул до конца. Перекуривали, трепались, ходили в гости к другу по тракторам. А зарплата идет! На третий месяц я получил триста пятьдесят. Ничего себе зарплата за шесть часов шалляй-валяй! Кто же, думаю, дал такую сладкую житуху?

Заварзин очень точно шел к цели, ничего не забывал на пути, пробираясь опасной дорожкой, крепко держался за спасительный поручень юмора, но после слов о «сладкой житухе» на его лице уже начала вырваться та ослепительно-ласковая улыбка, которая делала Заварзина страшным. Именно с таким лицом и такой улыбкой Заварзин темной ночью подкрадывался к той двадцатилетней девушке, которую раздел буквально донага, не сказав ни одного слова и не имея в кармане даже перочинного ножа.

— Кто, думаю, дал такую сладкую житуху? — повторил Заварзин и ослепительно-ласково улыбнулся. — Пригляделся — Петр Петрович Гасилов! — Он сделал короткую, как бы прицеливающуюся паузу. — Он-то и заставил меня завязать окончательно!.. Не надо поднимать брови, товарищ Прохоров, я сам объясню. Я на полуправде не живу, товарищ Прохоров! Я уж до конца хожу...

Показав зубки, бывший уголовник снова ухватился за спасительный поручень.

— Я всякую власть ненавижу! — смешливо произнес он. — Мне власть хуже ножа! А вот с Советской властью я мог бы жить душа в душу, если бы не этот хреновский принцип: «Кто не работает, тот не ест!»

Прохоров тоже улыбнулся. Сколько раз, черт побери, он слышал такое же на допросах, и каждый из тех, кто не соглашался с основным принципом Советской власти, думал, что он единственный. Вот и Заварзин победно задрал подбородок, гордясь собственной смелостью, вызывающе выпрямился.

— Я тогда завязал, — наглым голосом произнес Заварзин, — когда понял, что есть на свете человек, который не ворует, не грабит, не работает, а ест... Советская власть против эксплуатации человека человеком, а Гасилов нашел способ, не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму Советскую власть... Вот у кого, думаю, надо учиться! Можно жить не работая и не воруя... После этого я и стал называть Гасилова своим паханом.

Заварзин замолк. Несколько секунд стояла полная тишина, потом за окном раздался тихий женский смех, по тротуару зацокали туфли на высоком каблуке, шаги мужчины были глуше и нерешительней, но голос прозвучал счастливо, когда мужчина позвал: «Аленка!» И опять

наступила тишина, в которой слышалось, что Прохоров щелкает замком шариковой ручки. Он задумчиво глядел в переносицу Аркадия Заварзина, медленно думал о том, что обнаженная правдивость допрашиваемого опасна возможностью скрыть что-то самое нужное для следствия.

— Продолжайте, Заварзин! — попросил Прохоров.

— А я все сказал! — весело ответил Заварзин.

Прохоров закрыл замок шариковой ручки, поняв, что нервничает, достал из кармана маленькие четки; их можно было перебирать одной рукой незаметно для собеседника, и он осторожно перекатил по нитке первую круглую бусинку.

— Съедем еще раз с большака, — подчеркнуто мирно предложил он. — Вы утверждаете, что завязали только потому, что нашли человека, умеющего, не работая, сидеть на самом удобном месте возле государственного пирога? Отчего же тогда, Заварзин, вы последние полгода были на втором месте в социалистическом соревновании трактористов? — Он вынул из кармана свой дешевенький блокнот. — Вот же данные, Заварзин! Январь — сто двадцать семь процентов, февраль — сто двадцать шесть, март — сто двадцать девять и апрель — сто сорок два... Сто сорок два, Заварзин, а у погибшего Столетова сто сорок шесть... Не Гасилов же вас заставлял работать, а? Отчего же вы так хорошо работали, Заварзин?

Бывший уголовник молчал. Он опять глядел в окно, тонкие ноздри трепетали, ослепительно-ласковая улыбка казалась приклеенной к его лицу, неестественной, театральной.

— Долго думаете, Заварзин, — сказал Прохоров. — Но так как я знаю, почему вы хорошо работали последние полгода, извольте рассказать подробненько, что произошло на берегу озера Круглого. И так же искренне, как о Гасилове... Ну, поехали на берег озера Круглого...

На прохоровских четках было сорок две бусины, пятнадцать из них имели выпуклый ободок, пятнадцать были гладкими, десять имели два выпуклых ободка, и две бусины мастер сделал пупырчатыми — седьмую и семнадцатую. Когда Прохоров добирался успокаивающимися пальцами до пупырчатых бусинок, он имел обыкновение загадывать желание или задавать самый главный вопрос; загадывал он желания тогда, когда пупырчатая бусинка приходилась седьмой, и считалось исполненным, если четки шли в сторону семнадцатой пупырчатой бусинки, а не в обратном порядке.

— Крупный разговор был на берегу озера Круглого, — тихо сказал Заварзин. — Я точно не помню, в котором часу это было, но я вернулся в лесосеку поездом...

— В семь тридцать две.

— Этим поездом, если вы, товарищ Прохоров, лучше меня знаете, когда я приехал... Ну, Столетов все еще разговаривал с Гасиловым, так что мне пришлось немного подождать... — Заварзин помолчал. — Я совсем немного ждал, минут пятнадцать... Светло еще было, стояла еще высоко балдоха...

На этот раз Прохоров перебил его.

— Без жаргона! — попросил он. — Без жаргона, Заварзин! Вам еще рано переходить на жаргон. Так что давайте уж солнце называть солнцем, а не балдохой... Итак, было еще светло, солнце стояло высоко... ЗА ПОЛТОРА ЧАСА ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...было еще светло, солнце еще не опускалось за тупые вершины сосен, а в тайге все еще лежал снег, хотя шла вторая половина мая, и в Сосновке парни уже неделю ходили в одних

рубашках, цвела черемуха, самые отчаянные мальчишки купались в Оби. А двадцать второго мая внезапно заглодало, наступило такое меженное время, когда на солнце было жарко, а в тайге холодно в телогрейке.

В резиновых сапогах, в суконной куртке и шапке Женька Столетов медленно спустился с лестнички вагонки, оглянувшись, приветливо кивнул буфетнице, которая глядела на него через окошко кухни. Заметив ее удивленные глаза, махнул рукой, словно хотел сказать: «Зря беспокоитесь, тетя Лиза, все у нас идет хорошо!» После этого Женька огляделся — давно уже работала вторая смена, из тайги доносился то смутный, то приближающийся гул тракторных моторов, отчаянно, точно обещая взорваться, трещали бензопилы «Дружба», краны неустанно сгибались и разгибались. В двадцати метрах от вагонки сидел на пне отчего-то не уехавший домой полупьяный бригадир Притыкин и удивленно осматривался.

Он не мог понять, отчего эстакада перегружена хлыстами, почему вот уже полтора часа к вагонке не приходил ни один человек, чтобы лениво покурить и поболтать с товарищами, почему в его, притыкинскую смену, по словам учетчицы, сменное задание выполнено на двести шесть процентов.

Женька Столетов двинулся к автокрану, на котором работал Генка Попов, и работал так, что механизм ни на секунду не прерывал движения. Увидев друга, Генка Попов остановил кран, высунувшись из стеклянной кабины, закричал, чтобы перекрыть шум мотора:

— Не хватит сцепов! Вот об этом мы не подумали, Женька!

О сцепах они действительно не подумали, да и кому могло прийти в голову, что при нормальной, ритмичной работе уже в конце первой смены железная дорога окажется перегруженной, а к восьми часам вечера некуда будет валить хлысты? Это обстоятельство было интересным, обещало дать отличные результаты, и Женька, хохоча, прокричал в ответ:

— Вали лес на обочину!

Кран Попова дернулся и заскрежетал, мотор обиженно взвыл, так как крановщик с лету подхватил большой пучок бревен, размахнувшись стрелой, как занесенной рукой, бросил эти бревна небрежно на обочину железной дороги и пошел дальше хватать и хватать лес, а уже шел на самой высокой скорости из лесосеки трактор Борьки Маслова, выглядывающего из кабины с таким лукавым и подначивающим лицом, как выглядывает нахал воробей из захваченного скворечника: захлебываясь восторгом, выли на валке леса бензопилы «Дружба» в руках Гукасова и Лобанова, и вслед за Борькой Масловым, тяжело гудя на одном точном и напряженном звуке, лез на эстакаду трактор Мишки Кочнева. Гремела, пела, ликовала лесосека, и бригадир Притыкин по-прежнему не мог понять, что происходит вокруг него.

— Вали лес на обочину! — во второй раз ликуя прокричал Женька — «забастовка наоборот» гремела угрожающе тракторными моторами, самозабвенно выла пилами «Дружба», размахивала руками кранов, летала в Сосновку, постукивая на стыках стремительными платформами, хлестала по теплой и круглой земле умирающими на лету деревьями, хватала жадно весеннюю землю стальными траками машин; «забастовка наоборот» кричала Петру Петровичу Гасилкову о том, что приближается время, когда он, потеряв солидный и созидательный вид, выбежит из теплой вагонки, поняв, что случилось, замрет от предчувствия конца.

Счастливым «забастовкой наоборот», весной и близким летом, Женька запахнул куртку, пощупав, не вывалился ли из кармана электрический фонарик, быстро пошел к погрузочной площадке, где кран тихого и незаметного комсомольца Петрова заканчивал загрузку сцепа с тормозной площадкой. Женька уже поставил ногу на подножку платформы, взялся уже за поручни, чтобы бросить тело вверх, но остановился, так как за спиной раздался тихий голос:

— Пстой-ка, Столетов! Погоди-ка, доро-о-огой!

В кожаной куртке на «молниях», с золотом во рту, с ослепительной улыбкой на красивом лице и руками в карманах стоял за спиной Женьки тракторист Аркадий Заварзин, который уехал вместе с Андрюшкой Лузгиным в деревню, но вот, оказывается, вернулся и специально подкарауливал Женьку.

— Я за тобой, Столетов! — ласково сказал Аркадий Заварзин. — Я, может быть, и не вернулся бы, но ты сам сказал: «Глаза ты мне попозже выдавишь, Заварзин! Попозже!» Вот я и пришел! — Он поднял к глазам руку с часами, поглядел на них неторопливо и внимательно. — Вот, думаю, и пришло время, Столетов! Или еще рано тебе глаза выдавливать? Ты-то сам как считаешь, Столетов?

Увлеченные «забастовкой наоборот», на предельной скорости уходили в лесосеку тракторы Борьки Маслова и Михаила Кочнева; из своей стеклянной будки Генка Попов, загороженный составом, не мог видеть Столетова и Заварзина — бывший уголовник выбрал отличное место. Вдвоем были они, Столетов и Заварзин, наедине друг с другом, и только машинист и кондуктор могли наблюдать за ними, да, пожалуй, мог увидеть молчаливую парочку тракторист Никита Суворов, как раз в этот момент подъезжающий к эстакаде.

— Заступничков ищешь! — засмеялся Заварзин. — Так их нет, заступничков-то! Так что пошли, дорогой, прогуляемся до озера Круглого... Айда, Женечка, айда!

Стараясь не бледнеть, продолжая цепко держаться за поручень платформы, чтобы не дрожали руки, Женька глядел в глаза Заварзина и чувствовал, что уши делаются тонкими, как бы сквозными.

— Не умирай раньше смерти, Столетов! — заботливо попросил Заварзин. — Говоришь про себя: «Пролетарий!» — а обыкновенного накидыша боишься. Пролетарии, они с булыжниками против пулеметов ходили. А ты с ножом боишься идти против Аркани Заварзы...

Боже, неужели было время, когда он, Женька Столетов, был таким глупым и наивным, что не боялся Аркадия Заварзина, что на его глазах достал из кармана складной нож и, думая, что жизнь — это игра в оловянные солдатики, бросил крутящуюся смерть в железную от мороза сосну? Только теперь он понимал, что смерть вовсе не крутится в воздухе блестящей рыбкой пиратского ножа, пронзающего грудь венецианского купца, что смерть не всегда похожа на факел летящего к земле самолета капитана Гастелло, не была прикрывающей весь мир грудью Матросова, вовсе не таилась в романтической тяжести и ласковой воронености пистолета, а, напротив, смерть умела улыбаться, и рядом с нею стояли тракторы и деньги, проценты выработки и барский особняк Гасилова, сплетни об Анне Лукьяненко и убийственные записки Людмилы Гасиловой. Смерть была такой же будничной, как движение трактора Никиты Суворова, так же чумаза, как машинист паровоза, высунувшийся из своей будки.

— Ты пойдешь, Столетов, или не пойдешь?

Надо было идти на озеро Круглое. Этого требовали отцовские письма, отцовская смерть, жизнь матери, несчастья отчима, буксирный пароход «Егор Столетов», морщинистые лица негров, электрические фонарики, селедка послевоенных лет, любовь к нему Анны Лукьяненко и Софьи Луниной, его любовь к Людмиле Гасиловой.

— Пошли, Заварзин! — проглатывая горькую слюну, сказал Женька. — Пошли на Круглое.

Они двигались рядом, держа руки в карманах, молча и быстро, шли тем путем, который избрал Аркадий Заварзин, то есть по такой извилистой и хитрой тропинке, которая скрывала

их от посторонних глаз. По-северному быстро темнело, тайга источала льдистый холод, проглядывали в полусумраке белые снега, пахнувшие холщовым бельем; сосны желтели по-весеннему, смеялся над самим собой зяблик, стрекотала сорока, не упустившая, конечно, возможности поглядеть, куда это идут два загадочных человека, — она, опережая Столетова и Заварзина метров на пятьдесят, с криком перелетала с дерева на дерево, спешила предупредить весь лес о вторжении в него двух человеческих существ. Женька и Заварзин шли быстро, следили за каждым движением друг друга, и Женька думал, что было бы хорошо не останавливаться — идти вот так и идти до тех пор, пока не покажутся деревня, люди, река.

Однако до озера Круглого было рукой подать, оно из-за частых сосен вынырнуло неожиданно, точно по волшебству, — небольшое, метров триста в диаметре, без единой морщинки на застекленевшей поверхности. Озеро среди глухой тайги было таким неожиданным, что полоснуло по глазам голубизной и розовостью, и Заварзин с Женькой невольно остановились.

— Вот и пришли, — вздохнул Женька.

Сорока села справа от Заварзина, поверещав, замолкла и склонила набок голову. От озера исходил голубовато-розовый свет, пространство освобожденной от тайги земли было светлым, вольным, легким для дыхания; сюда все-таки доносились звуки тракторных моторов и бензопил, скрежет кранов, задиристый писк узкоколейного паровоза. «Я не боюсь Заварзина, — на глазах у голубовато-розового озера подумал Женька. — Это он должен бояться меня».

— Ну ладно, Столетов! — сквозь зубы сказал Заварзин и перестал двигать пальцами в кармане. — А ты все-таки молодец, что не струсил, пошел в тайгу...

Глаза Заварзина возбужденно светились, красивое лицо с каждой секундой темнело, словно наливалось черной венозной кровью, и это длилось до тех пор, пока не задергалось в тике веко правого глаза.

— Если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу! — прошептал Заварзин. — Если бы знал!

Он скрипнул зубами, руки в кармане брюк, видимо, до судороги в пальцах сжали рукоять ножа с выскакивающим лезвием.

— Если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу...

Аркадий Заварзин закусил нижнюю губу, на ней появились пупырышки пены; дрожь от ярости, задышавшись, он наклонился к Женьке, глядя ему прямо в зрачки, не сказал, а выдохнул:

— Я так тебя ненавижу, Столетов, что не сплю ночами, хожу днем как чумной — все вижу твою ненавистную харю.

Женька Столетов чувствовал истерическое напряжение Заварзина, понял, что бывший уголовник не может владеть собой, и почувствовал облегчение, свободу, радость. Женька понимал, что с таким лицом, какое сейчас было у Заварзина, не бросаются на противника с ножом, что самый страшный Заварзин, ласково и мило улыбающийся, потонул в истерической ненависти, которая сейчас водопадом обрушивалась на Женьку.

— Как я тебя ненавижу, Столетов! — словно в полуобмороке, шептал Заварзин. — Я так тебя ненавижу, что вкалываю как ишак, ставлю рекорды... Я сегодня с твоими подонками двести пятьдесят процентов сделал. Я себя презираю, а тебя, Столетов, ненавижу, ненавижу... Ненавижу! — неожиданно выкрикнул он, и показалось, что Заварзин не видит Женьку, что ненависть затмила все на свете, и он кричал не Женьке, а самому себе, чтобы прокричаться,

облегчиться от душной, мешающей жить ненависти. — Отойди, Столетов, уйди от греха, сука! Порежу!

Он уже не мог пустить в дело нож, этот потерявший себя от ненависти человек, так как чрезмерная ненависть, как и чрезмерная любовь, пустопорожни, словно стрекотанье сороки, которая на крик Заварзина ответила оглашенной трелью.

— Хорошо, я отойду, Заварзин! — спокойно сказал Женька и действительно сделал три шага назад. — Просишь, отойду.

Заварзин мелко дрожал, лицо по-прежнему темнело, глаза обморочно закатывались.

— Я одно хочу знать! — прижимая к груди обе руки, сутулясь, говорил Заварзин. — Хочу знать, для чего ты все это делаешь, Столетов? Ведь в справке для института тебе не напишут, как ты работал... Отышачил три года, и все! Все! Так зачем ты вкалываешь? Зачем? Ты сейчас тягаешь такую деньгу, что больше не бывает. Зачем же ты вкалываешь все больше и больше?!

Вот как мучился этот Аркадий Заварзин, человек, неспособный понять, что можно и нужно жить так, чтобы не пастись на зеленом и веселом лугу жизни; ему и в голову не приходило, что существует на земле сила большая, чем деньги, слава, любовь к комфорту, к ломтю хлеба с черной икрой. Заварзин так мучился, что Женьке Столетову стало жалко его дрожащих от возбуждения рук, непонимающих, опустошенных глаз, увядшего рта; пораженный Женька тоже прижал руки к груди, взволнованный, страстно сказал Заварзину:

— Да пойми ж ты, Аркашка, я — пролетарий! Рабочий! Я же говорил тебе об этом...

Мальчишечье обращение «Аркашка» с Женькиных губ сорвалось совершенно случайно, от школьной привычки обращаться так к сверстникам, от того, что Заварзин мучился, не находя ответа на такой простой, само собой разумеющийся вопрос. Мальчишечье окончание серьезного и несколько торжественного имени Аркадий прозвучало у Женьки тепло, по-братски, в нем вылилась вся его мальчишечья доброта к жизни, к людям, вся биография человека, еще не видавшего и тысячной доли той страшной изнанки жизни, которую с ранних лет познал Аркадий Заварзин. И все это было произнесено так искренне, что бывший уголовник вдруг замолчал, согнувшись и подавшись вперед, заглянул в Женькино лицо снизу вверх.

— Пролетарий, говоришь...

— А ты думал!.. Тебе глаза застит особняк Гасилова, его Рогдай. Ты не видишь, что он только своему бараклу служит по-настоящему, ему молится... Зачем мне это?

Женька весь, с ног до головы и с головы до ног, был правда! Его никогда не лгавшие глаза глядели на Заварзина добродушно и смело, лицо забавно морщилось, маленький подбородок торчал вызывающе, как бы спрашивая: «Да как ты смеешь, Аркашка, не верить мне!» Весь, весь Женька Столетов был правдой, искренностью, открытостью, и Аркадий Заварзин, человек так же остро чуткий к правде, как и ко лжи, выпрямился, замер в такой позе, точно не зная, что делать и что говорить.

— Дай папиросу, — неожиданно попросил он Женьку. — Дай! У меня кончились...

— Я не курю, — тихо сказал Женька. — Пробовал, но так и не научился... — И огорченным голосом мальчишки добавил: — Горько, и голова кружится...

Молчала тайга, на которую уже опускался настоящий вечер, начавший тушить краски и на лесном озере: уже было мало розового, а голубое густело до синего, зеркальные отражения

деревьев в воде расплывались, и от этого озеро как бы немного сокращалось в размерах, терялось ощущение его глубины: разгуливал по воде вечерний ветер, рябил ее, взбаламучивал.

— Ты ж добьешь моего пахана, Столет! — криво улыбнувшись, сказал Заварзин. — Если бригада недельку поработает так, как я сегодня, на пункт прибежит вся твоя родная Советская власть... Что случилось? Откуда взялись двести процентов? — Он помолчал. — Ты насмерть бьешь, Столет! А это разве по-комсомольски?

— По-комсомольски, Аркадий! — мягко ответил Женька. — Сдерживать выработку — воровство из государственного кармана... А мы решили: вопреки гасиловским нормам дадим полную выработку. Вот какие дела! — И заулыбался радостно. — Мы это назвали «забастовкой наоборот»... Лихо придумано, а? Вот такие дела, Аркашка!

Быстро темнело! Так быстро, что черты Женькиного лица расплывались и хорошо виделись только глаза — возбужденные, яркие, сияющие.

— Вот и все! — сказал Аркадий Заварзин и так криво улыбнулся, как улыбался, наверное, на берегу озера Круглого. — Мы еще минут десять потрепались и пошли на эстакаду. По пути Столетов рассказал мне о комсомольском бюро, на котором они решили добить Гасилова «забастовкой наоборот»...

Бывший уголовник по-прежнему глядел в открытое окно, успокоился, и все, что последовало дальше, было закономерно, правильно, естественно. Аркадий Заварзин медленным движением разнял руки, сложенные на груди, сунув их в карманы, искренне сказал:

— Я тогда понял, что Столетов для себя выгоды не искал. Он не для себя старался — для других. Для других... — Он задумался, потом, как бы забыв о Прохорове, самому себе сказал: — Я опустел, когда Столетова не стало... Мне без него плохо... Мне неохота ехать в лес... Он умер, а я пустой... Пустой я — вот в чем беда...

Темнело за спиной Заварзина третье окно кабинета, заглядывала в него одинокая крупная звезда; капитан Прохоров сидел с опущенной головой. Тихо было на деревенской улице, неустанно трудилась могучая река Обь, неся на своей выпуклой груди два встречных судна и катер, шелестели на берегу старые осокори, с чем-то мирно соглашаясь.

— «Мы тебя и ненавидя любим, мы тебя и любя ненавидим», — прочел Прохоров и со вздохом добавил: — Максим Горький.

Он поднялся, на мягких ногах приблизился к Заварзину, коротко выдохнул:

— Ну! Ну, я говорю!

Аркадий Заварзин молча вынул из кармана нож, взвесил его прощающимся жестом на ладони, протянул Прохорову со словами:

— Некондиционный! Не придеретесь... Я же завязал!

Нож, которого боялся Женька Столетов, на самом деле был из тех ножей, которые не подлежат изъятию милицейскими властями — он выскакивать-то выскакивал из гнезда, но длину имел не криминальную, он блестел отличной сталью, но не был заточен с двух сторон, он имел наборную ручку из цветного плексигласа, но не было усиков, предохраняющих руку от лезвия. Конечно, в лесу и на платформе Аркадий Заварзин мог иметь другой нож, но кто знает, кто знает... Капитан Прохоров правду еще не знал и поэтому вернулся за двухтумбовый стол, садясь, осторожно вынул из кармана четки.

— Последний вопрос, Заварзин! Зачем вы ходили в вагон-столовую, когда вместе со Столетовым пришли с озера Круглого?

Этот вопрос для Аркадия Заварзина был настолько неожиданным, что бывший уголовник слегка подался назад, исподлобья посмотрел на Прохорова, снова превратился в опытного преступника, умеющего вести себя на допросах.

— Не надо долго думать, Заварзин, — простодушно усмехнулся Прохоров. — Мне нужны только факты. Ну!

— Я рассказал Гасилову о «забастовке наоборот»...

Ничего удивительного в этом не было. Действуя по инерции, неспособный еще к решительным переменам, Заварзин должен был непременно зайти к мастеру и подробно рассказать ему о «забастовке наоборот», о которой Женька Столетов проговорился потому, что уж слишком необычной была ситуация на берегу озера Круглого. Прохоров цепко ухватился за пупырчатую бусинку на четках, ощупав ее пальцами со всех сторон, задумчиво спросил:

— Вчера праздновали день рождения Петра Петровича... Отчего не пригласили вас, Заварзин?

Попадание было таким точным, словно капитан Прохоров послал пулю между цифрами мишенной «десятки». Аркадий Заварзин стиснул зубы, побагровел скулами, туго отвернул голову от окна, наверное, он не один месяц мучился пренебрежительным и холодным отношением к нему Гасилова, понимал, что мастер умышленно держит его на расстоянии — человека, скомпрометированного тюрьмой, лагерями, опасного для Гасилова. Внешне они никак не были связаны — Петр Петрович Гасилов и тянувшийся за ним Аркадий Заварзин.

— Будем отвечать?

— Не будем.

Прохоров уже отсчитал на четках от пупырчатой костяшки шесть бусинок с одним и двумя ободками, оставалось еще четыре до счастливого совпадения, и можно было на некоторое время остановить пальцы, чтобы отдалить поражение или победу. Подумаешь, четыре костяшки: долго ли их перебрать, если Заварзин и дальше будет говорить правду!

— О чем еще шла речь в вагоне-столовой? — спросил Прохоров. — Ей-богу, Заварзин, «забастовки наоборот» было мало для того, чтобы выйти от Гасилова с перекошенным лицом... Я уверен, что именно после этого разговора с вами что-то произошло... Вот и отвечайте, о чем еще шла речь?

Стосвечовая лампочка без абажура высвечивала каждую морщинку на лице уставшего Заварзина, так жестоко освещала его, что трудно было пропустить даже незначительный оттенок выражения, мимолетное замешательство, и Прохоров удовлетворенно хмыкнул, когда снова запульсировало в тике левое веко.

— Опять не будем отвечать? — легкомысленно спросил Прохоров.

— Почему? Теперь будем... Больше в столовой ничего не говорилось!

Это была наглая ложь!

— Добре, — мирно сказал Прохоров. — Вы арестованы, Заварзин... Встать!

Вот такие трудные вещи капитан Прохоров никогда не готовил заранее, всемерно оттягивая

ту секунду, когда надо было произносить тяжкое слово, так как арестовать человека — это такое дело, которому никогда не научишься. Надо самому не побледнеть и не дрогнуть, когда человек твоею волей вдруг отделяется от лунной реки за окном, от шелестящего осокоря, синего кедрача, от славного мальчишки в детском саду, от верной и преданной жены Марии. Надо крепко держать себя в руках, когда за спиной арестованного тобой человека уже мерещится клетчатый мир, видный через тюремную решетку.

— Встать!

Аркадий Заварзин поднимался медленно — с замороженным лицом, с перекошенной нижней губой, с бледной кожей на сразу похудевшем лице. Выпрямившись, он покачнулся, как сделал бы каждый человек, забывший при вставании раздвинуть ноги.

— Я сам не обыскиваю, Заварзин! Ну!

На столе появился финский нож кондиционной длины с выскакивающим лезвием, с усиками и коричневый кошелек с деньгами, паспорт, водительские права мотоциклиста, ключи от мотоцикла и квартиры, чистый носовой платок, потрепанная записная книжка, расческа в сером чехольчике, пачка папирос «Беломор» и спички, пилочка для ногтей, шариковая ручка с тремя цветными стержнями, квитанция о квартплате, часы «Заря» и две конфеты «Снежинка». На столе лежало все, что принадлежало товарищу Заварзину, но не могло принадлежать арестованному гражданину Заварзину.

— По моим расчетам, Заварзин, — отдельно сказал Прохоров, — по моим расчетам, Столетов не только сорвался с подножки, но ему и помо-о-огли сорваться... Садитесь! И как вам не стыдно, Заварзин, брать с собой два ножа! Вы ведь не мальчишка, чтобы считать всех придурками... На этот нож будет составлен отдельный протокол...

Он произносил эти необязательные, лишние и пустопорожные слова, потому что не узнавал Заварзина. Откуда эта покорность и даже растерянность? Отчего подследственный ведет себя так, точно, не признаваясь в преступлении, все-таки чувствует вину? Что лежит за покорностью Заварзина? Что вообще происходит с этим Заварзиным, который при аресте ведет себя и как человек, совершивший преступление и как не совершивший его?

— Садитесь, садитесь, гражданин Заварзин!

Заварзин сел, сложив руки ладонями друг к другу, затолкал их между коленями и стиснул крепко, до боли, до полной неподвижности рук; глаза у него отрешенно блестели, губы стиснуты, кожа на щеках совсем обвисла; глядел он опять в окно, за которым был детский сад, собственный дом, свой трактор, добытый с таким трудом.

— Защищайтесь, гражданин Заварзин, — сказал Прохоров. — Доказывайте, что не сталкивали Столетова с подножки... Защищайтесь, Заварзин!

А Аркадия Заварзина не было в пыльном кабинете участкового инспектора... Неторопливо бродил он по зеленым заливным лугам, примыкающим к родной деревне Сосновка, где пятнадцать лет назад остался круглым сиротой, где совершил первую кражу — украл из кладовой пять пар кожаных рукавиц; обвиняемый Заварзин, глядящий в окно с пустым и спокойным лицом, брел по улице, останавливался на бугорке утрамбованной земли, где когда-то стоял его отчий дом, шел к теперешнему своему жилью, нес в детский сад две конфеты «Снежинка»; он мысленно вошел в свой вечерний дом, обнял свою сонную и теплую жену Марию.

— Заварзин, а Заварзин!

Только после этого громкого призыва Заварзин медленно повернулся к сотруднику уголовного

розыска, с трудом разлепив губы, сказал:

— Я только на вас надеюсь, гражданин капитан! Вся кодла бармит, что вы еще никого зря не взяли в бедность...

Прохоров вздохнул, встав, подошел к Заварзину и протянул ему носовой платок, папиросы и спички. Вернувшись на место, он таким тоном, каким говорят люди, зная, что им соврут, все-таки спросил еще раз:

— О чем еще говорил в столовой Гасилов? Вы наконец скажете правду, Заварзин?

— Ни о чем больше речи не было.

Заварзин врал, и врал так открыто, что Прохоров ухмыльнулся, когда вспомнил, что с Заварзиным по поводу последнего дела один из приятелей Прохорова возился два с половиной месяца. «Недели достаточно», — самодовольно подумал Прохоров и почти ласково посмотрел на Заварзина, который в эту минуту сидел на табуретке спокойно и так глядел на Прохорова, словно целиком и полностью верил его профессионализму, добросовестности и честности. Это, конечно, было очень тонкой, ювелирной работой, но это было так, и не считаться с этим Прохоров не мог.

— Значит, ни о чем больше речи не было?

— Не было.

— Ну и хорошо, ну и отлично! — добродушно согласился Прохоров и крикнул: — Пилипенко!

Капитан Прохоров и в этом случае не ошибся: отосланный домой спать Пилипенко, естественно, бродил возле дома и через три-четыре секунды, после того как его позвали, монументом вырос на пороге:

— По вашему приказанию прибыл, товарищ капитан!

— Вот что, товарищ Пилипенко, — встав на ноги, сказал Прохоров, — гражданин Заварзин арестован. Обеспечьте охрану и питание. Это раз! А во-вторых, объясните, почему сейчас в деревне так тихо и даже гитара не бренчит?

— Сегодня исполнилось ровно два месяца со дня смерти Столетова, — ответил Пилипенко.
— Вся молодежь ушла на кладбище...

На дворе действительно было двадцать второе июля, стояла необычная для нарымских краев жара, целую неделю люди, животные и растения изнывали от южного зноя, температура в Оби к вечеру поднималась до двадцати градусов, и только пополудни прошел дождь — бурный, но короткий.

— Уведите арестованного! — приказал Прохоров и вытер пот со лба. После дождя уже парило, и, судя по всему, снова обещала вернуться жара.

Оставшись один, Прохоров подошел к окну, забравшись на подоконник с ногами, медленно и сладко закурил. Не менее десяти минут он сидел с безупречно пустой головой, так как обдумывал вопрос о том, сможет он или не сможет ходить босиком по колючей земле, потом постепенно, хотя сейчас и не хотел этого, вернулся к делу Евгения Столетова...

«Забастовка наоборот», а?! «Забастовка наоборот» — кто мог додуматься до такого? А уж о смысле «забастовки наоборот» не приходилось и говорить... Ах вы, такие-разэдакие! — думал Прохоров о друзьях Столетова.

— Ах вы, черти полосатые! Ну, держитесь у меня, охламоны!

Подойдя к дверям, Прохоров выключил электричество, в кромешной тьме прошел через сени, остановившись на крыльце, не меньше минуты привыкал к темноте, так как на луну в это время напозла, может быть, самая последняя тучка из тех, которые днем пролили на Сосновку долгожданную благодать. Прохоров уже ходко шел к околице, когда тучка освободила луну и все вокруг волшебным образом проявилось, — небольшой дом, за секунду до этого казавшийся развалюхой, превратился в аккуратное строение, от завалинки до конька крыши покрытое искусной резьбой по дереву; то, что раньше казалось Прохорову длинным колхозным сараем, превратилось в хорошо устроенные ремонтные мастерские, а то, что Прохоров принимал за мостик через небольшой ручей, оказалось узенькой полоской молодой капусты, перечеркнутой широкой тропинкой.

Освободившаяся от туч луна была такой же чисто промытой и свежей, как все вокруг, тени от нее были резки и чеканны, никакой расплывчатости теням домов и деревьям луна не позволяла, и поэтому справа от Прохорова переставлял, плоско лежа на земле, десятиметровые ноги второй капитан Прохоров. Луна светила так ярко, что кладбищенские березы были желто-голубоватыми, словно их покрасил человек, никогда не выдавший настоящих берез.

Шел второй час ночи, совсем немного оставалось времени до того момента, когда восточная сторона неба посветлеет и раздастся предутренний птичий хор. Наступая на собственную тень, Прохоров прошел в низенькие кладбищенские ворота и остановился, чтобы услышать шум, который всегда создают люди, собравшись в одно место, но ничего, кроме свиного уханья, не услышал. Тогда капитан огляделся и увидел, что сквозь молодые рясные березы яичным желтком пробивается ровный, немигающий свет.

Возле свежей могилы Евгения Столетова, заросшей короткой травой и осыпанной венками, сидели человек тридцать и, глядя на могилу, светили на нее электрическими карманными фонариками. Ни единого человека без карманного фонаря здесь не было, и капитан Прохоров остановился далеко от могилы, скрытый густой тенью. Комсомольцы на земле сидели молча и неподвижно, карманные фонарики в их руках не меняли положения, лучи скрещивались в одном месте, и Прохоров зябко поежился.

Страшным казалось то, что нельзя было разглядеть ни одного лица — только фонарики, только одни фонарики...

3

Луна уже стояла в зените, кедровые рощи казались синими. Обь, залитая желтым светом, как бы вздыбилась из темного провала берегов, в деревне было совсем тихо, когда Прохоров, грустно опустив голову, подходил к служебному помещению участкового инспектора; было около двух часов ночи, день опять выдался трудным, но главное по делу Столетова осталось позади, на завтрашний день, то бишь уже на сегодняшний, оставался последний и решающий допрос Заварзина, тяжелая, но окончательная беседа с Людмилой Гасиловой и ее отцом, встреча накоротке с техноруком Петуховым, и все. Все, все! Наверное, поэтому Прохоров сейчас походил на гостиничного постояльца, который бесцельно бродит по городу перед утренним отъездом и не хочет возвращаться в номер, где в центре комнаты стоят упакованные чемоданы, на полу валяются бумажки, обрывки веревок.

Прохоров подошел к дому, медленно, отчего-то считая ступеньки, поднялся на крыльцо, задумчиво повернулся лицом к реке. По ней, оказывается, шел пароход — на этот раз

пассажирский, ночной, тихий, казалось, совершенно пустой, так как на нем все казалось замершим, как на «Летучем голландце». Пароход был из новых, не колесный, а винтовой, он со сдержанным монотонным гуденьем мощных дизелей стремительно разрезал сильное встречное течение, и под этот гул пассажирам, наверное, хорошо спалось в современных каютах. Только тогда, когда пароход поравнялся с Прохоровым, он заметил на палубе двух женщин, стоящих на противоположных концах верхней палубы. Обе женщины держались руками за металлические стойки, по-одинаковому прижались к ним щеками, и это отчего-то показалось таким многозначительным, что Прохоров тяжело вздохнул и решительно потянул на себя сенную дверь, которую, как и внутреннюю, по рассеянности оставил открытой. Войдя в кабинет, Прохоров включил электричество и вздрогнул от неожиданности.

— Вот это да! — глупо воскликнул он.

На белой раскладушке, подперев подбородок руками, сидела Вера. Глядя на оторопевшего Прохорова ясными счастливыми глазами, она поднялась, сделала два шага вперед, остановилась под яркой лампочкой, освещающей невероятно красивое, невозможно красивое лицо.

— Ну, здравствуй, ассенизатор и водовоз! — негромко сказала Вера. — Здравствуй, Прохоров, мы не виделись целую вечность.

Высокая женщина стояла посреди комнаты, вся она была тонкая, рвущаяся вверх, как ракета, в ее фигуре не было ничего лишнего, как в боевом оружии; женщина была такой, что куда-то сразу пропала раскладушка, серая запыленность комнаты, канцелярский стол, дремучесть заброшенной, давно не протапливаемой русской печи; от одного присутствия этой женщины служебное помещение казалось торжественным и ярким, как театральная сцена.

— Я возненавидела твоего Пилипенко! — весело сказала Вера. — Я ему: «Где Прохоров? Подавайте мне его, живого или мертвого!» — а он свое: «Они заняты!»

Прохоров неподвижно стоял у порога, стараясь сдержать учащенное биение сердца и желание броситься к Вере, прижать ее к груди и долго-долго рассказывать о том, как ему, Прохорову, плохо живется без нее, что почти каждую ночь он видит ее во сне, а проснувшись, клянет себя за то, что боится превратить сон в явь. И Прохоров бросился бы к Вере, если бы в последнее мгновение еще раз не увидел, как она прекрасна, невозможна красива.

— Надо читать детективные романы, моя милая! — тусклым голосом проговорил Прохоров. — В каждом из них детектив не успевает ходить с женой в театр...

Он, наверное, потому упомянул о театре, что произошло обычное — все, что окружало Веру, уже казалось декорацией. Русская печка была построена декоратором специально для того, чтобы подчеркнуть современность женщины, двухтумбовый стол приспособлен был для того, чтобы отделить женщину от всего мирского, обычного, будничного, а раскладушка декоратору была нужна для того, чтобы подчеркнуть великодушие этой бесстыдно-красивой женщины, рискнувшей появиться в бревенчатом деревенском доме.

Прохоров наклонился вперед, досадуя на то, что туфли не блестели, запорошенные деревенской пылью, наставительно сказал:

— Нельзя, моя милая, быть такой красивой! Это безобразие — вот что я тебе скажу.

Произнося эти слова, Прохоров так любил Веру, что потемнело в глазах и еще сильнее прежнего хотелось броситься к ней, положив голову на плечо, хныкать и рассказывать, какой у него был трудный день, как он боялся идти в дом Столетовых и как ему вообще плохо живется. Но вместо этого Прохоров на шаг отступил от Веры, сделав ироническую гримасу, насмешливо проговорил:

— Мисс Область, ассенизатор и водовоз из Сосновки приветствует вас!

Ох, как это было глупо, подло, мелочно, не по-мужски, но Прохоров ничего не мог поделаться с собой и стоял перед Верой с дурацкой улыбкой на лице и тяжелым взглядом.

— Эх, Прохоров, Прохоров! — безнадежно вздохнула Вера. — Неужели все ушло в любовь к хорошей обуви?

Стремительная космическая фигура женщины надломилась, лицо мгновенно потеряло яркость: отвернувшись от Прохорова, Вера подошла к окну, ссутулилась; из-за ее правого плеча в комнату заглядывала луна. Минуту-две Вера молчала, потом медленно повернулась к Прохорову, тоскливо покачав головой, спросила:

— Откуда у тебя комплекс неполноценности, Прохоров? Отчего ты такой слабый? — Она по-бабьи вздохнула. — Это я, Прохоров, пропадаю от комплекса неполноценности, но я — актриса, я с шестнадцати лет живу в нервной, суетной и неверной обстановке борьбы за успех, а ты-то... Ты-то почему защищаешься?... Офицер, человек, делающий мужское, важное дело... Отчего ты-то бросаешься в драку? Это ведь мне надо защищаться от твоей нерешительности, от страха потерять тебя...

Она опять повернулась к окну, еще больше ссутулилась, и луна теперь висела, как серьга, на мочке ее уха.

— Я знаю, я уверена в том, что ты любишь меня, но боишься моей красоты... А она мне не нужна, Прохоров, если тебя нет...

Он неотступно глядел ей в спину, видел жалкие плечи, трогательно согнутую длинную шею, безвольно опущенные руки. Вера казалась ниже, чем была на самом деле, и от этого пилипенковский кабинет уже не казался декорацией: русская печка была только русской печкой, двухтумбовый стол оставался канцелярским столом, а бревенчатые стены не были чужеродными женщине, умеющей вздыхать по-бабьи горько.

— Погибаю я без тебя, Прохоров! — сказала в ночь Вера. — Совсем погибаю... Как мне нужны твоя мужская слабость и неустроенность... О, какой сильной стала бы я, если бы ты перестал защищаться от меня. Я бы горы передвигала, Прохоров, я бы стала самой лучшей актрисой на свете...

Прохоров осторожно подошел к Вере, мягко обнял за плечи, прижался щекой к теплому затылку... Родной запах чистых волос, польских духов «Быть может», длинная нервная спина, любимый завиток волос на шее... Вера осторожно выпрямилась, боясь выскользнуть из прохоровских рук, повернулась медленно, чуточку потеснив его, сама прижалась щекой к его плечу. Голова Веры долго лежала неподвижно, потом он почувствовал, как на плече задвигался ее теплый и нежный подбородок.

— До каких пор я буду завидовать всем твоим друзьям? — тихо просила она. — Они могут звонить тебе в любой час, видеть тебя когда захотят...

Совпадение было таким разительным, что Прохоров замер в неподвижности, так как Вера почти буквально повторила слова Сони Луниной, завидовавшей всем друзьям Столетова. А голова Веры продолжала лежать на плече Прохорова, и Вера была так спокойна и блаженно-уравновешенна, словно сумела забыть о жарких и больных для глаз огнях рампы, о декорациях, пахнущих известкой и клеем, о зыбкости успеха о подругах, которые не понимали ее любви к капитану Прохорову, о седом полковнике, каждый спектакль оставляющем для нее дорогой букет цветов, о бесприютном одиночестве маленькой комнаты и о себе самой как о женщине, которой хотелось иметь ребенка.

— Ты у меня молодец, старушка! — сказал он, глядя на полную луну. — Ты молодец, что приехала!

Луна, похожая на высокий уличный фонарь, хорошо освещала серую тучу, по-прежнему висящую в небе; у тучи были отороченные серебром края, посередине темнело дождевое пятно, а под тучей распласталась Обь, на взгляд неподвижная, мертвая, как озеро.

Вера порывисто бросилась к нему, схватила голову Прохорова обеими руками, отстранила от себя его лицо, засмеялась приглушенно и, радостная, счастливая, начала долго и часто целовать Прохорова в глаза, губы, уши, шею, подбородок; одной рукой теперь она гладила его по волосам, рука дрожала, а Вера смеялась и была такой счастливой, какой Прохоров ее не видел никогда, и такой красивой, какой не может быть живая женщина.

— Дурачок ты мой, глупенький ты мой! — говорила Вера, прижимая к себе Прохорова, как ребенка. — Я все понимаю, я все чувствую... Ты сегодня видел мать погибшего... Я все, все понимаю... Я люблю тебя, люблю...

Потом Вера сквозь смех заплакала, потом бросилась к раскладушке, сорвала с нее белое пикейное одеяло, перевернула подушку, поправила сбившуюся простыню, вернувшись к Прохорову, прежним счастливым голосом приказала ему раздеваться.

— Ложись спать! — командовала, хохоча, Вера. — Ложись спать, Прохоров! А я сегодня ложиться не буду, я буду сидеть рядом с тобой. Не проси меня, ничего не поможет... Я буду сидеть возле тебя, пока ты не уснешь...

Увидев, что Прохоров медлит с раздеванием, Вера подбежала к нему, расстегнув пуговицы, сняла с Прохорова рубаху, отвернувшись, так как Прохоров стыдился длинных трусов, со смехом заставила его снять ботинки и брюки и лечь в постель. Когда он выполнил все это, Вера закрыла его до подбородка простыней, присев на край раскладушки, притихла — счастливая, с материнской улыбкой на полных губах.

— Спи, Прохоров, спи и ни о чем не думай...

Ошеломленный ее натиском, Прохоров тоже вначале посмеивался, уверенный в том, что долго не уснет, загодя лег на спину и сразу же после этого — вот уж чудо из чудес! — почувствовал, что болезненно, до ломоты в костях, до зеленых точек в глазах хочет спать. Сон шел по кабинету Вериными бесшумными шагами, сон хранился в ее немножко опущенной голове, сон источала Верина рука, положенная на руки Прохорова. Глаза Прохорова закрывались. Вера расплывалась, раздваивалась, и Прохоров, еще раз по-детски вздохнув, слепым движением поднес ее руку к своим губам, поцеловав, оставил лежащей на груди. Затем он в последний раз сделал попытку открыть глаза, но из этого ничего не вышло, так как веки были тяжелы, как гири. Последнее, что он почувствовал, был запах духов «Быть может», и, видимо, поэтому он привычно подумал: «Красивая женщина!», но не понял, что еще раз целует руку Веры.

Прохоров уснул. Утомленное восемнадцатичасовым рабочим днем, его лицо было спокойным, умиротворенным, на щеках проступил ночной здоровый румянец, веки, наоборот, побледнели... Неподвижная Вера неотрывно глядела на спящего Прохорова, и впервые за два года их знакомства ей было легко, она не чувствовала себя человеком, подглядывающим в щелочку чужую тайную жизнь, как это бывало раньше, если она видела Прохорова спящим. Сегодня Вера материнскими глазами смотрела на него и была счастлива тем, что способна на такое чувство. Непонятно почему и отчего, но она знала, что вскорости произойдет какое-то важное событие, которое положит конец их трудным отношениям. Ощущение перемены к Вере пришло не сейчас, когда она глядела на спящего Прохорова, оно только усилилось в эти минуты, а впервые возникло тогда, когда пароход причаливал к темному обскому берегу. С ярко освещенной верхней палубы Сосновка почти не была видна,

проступал в темноте только ряд ближних домов, пахло дымом и свежескошенной травой, и Вера вдруг вся — с ног до головы — затрепетала от предчувствия счастья. «Я приехала в его молодость!» — подумала она и, чтобы не заплакать, заставила себя думать о том, что ей придется в этой крошечной темноте искать Прохорова.

Минут через пятнадцать, после того как Прохоров уснул и перевернулся на бок, Вера осторожно поднялась, смеясь сама с собой, подкрасила перед маленьким зеркалом губы — это глубокой ночью-то! — и бесшумно пошла к дверям. Спустившись с крыльца, оказавшись сразу на глазах у гигантской, облитой желтизной Оби, под бесконечно величественным небом, с непривычным для Веры низким горизонтом, она, всю жизнь прожившая в городах, стискивающих мир стенами и улицами, переулками и башнями, антеннами и подстриженными деревьями, почувствовала себя такой маленькой, точно ее поднял на ладони Гулливер... Все в этом, прохоровском, мире вздымалось кверху, все стремилось к небу: и река, словно море, поднимающаяся вверх, и кроны осокорей, и удлиненные лунными тенями дома, и светлая дорога, взбирающаяся на крутой яр, и даже собачий лай казался звучащим не на земле. Она почти на цыпочках пошла по дощатому тротуару — он мог скрипеть и тем самым мешать волшебству, которое творила на земле ночь. Вера пошла по берегу Оби, и с каждым шагом в мире прохоровской молодости предчувствие счастливых перемен сменялось уверенностью в близком счастье. Прохоров проснулся, как обычно, в шесть часов, верный манере проверять самого себя, одним глазом посмотрел на часы — было точно шесть, сладко потянулся и открыл второй глаз, чтобы немного полежать в бессмысленной неге, когда утренний отдохнувший мозг перерабатывает только приятное и незначительное. Сначала он подумал о том, что в столетовском деле оставалась неясной только одна деталь и что он близок к тому сладкому моменту, когда схватит за воротник милашку Гасилова, затем... Он вдруг вскочил с заохавшей раскладушки, больно ударился пятками о крашеный пол. Боже мой, ведь к нему приехала Вера! Прохоров неверяще оглядел пустую комнату — может быть, все это он видел во сне! — но на табуретке лежала лакированная дамская сумка, а в кабинете пахло духами «Быть может», и Прохоров вспомнил все: и про свой непобедимый сон, и о руке Веры, которую он оставил на своей груди, и про ее счастливый смех, и про то, что он впервые за время их знакомства без тоски подумал: красивая женщина!

В пять минут одевшись и побрызгав на лицо холодной колодезной водой, Прохоров схватил сумочку Веры, ничего не замечая на пути, забывая здороваться с уже знакомыми стариками, спозаранок вышедшими сидеть на своих уличных скамейках, бегом бросился к пристани... Веры на причале не было. Здесь возился с канатами начальник пристани, три женщины в теплых головных платках сидели на мешках, тонкая черноволосая девушка стояла у кромки воды, парень в дымчатых очках дремал, а вот Веры не было, хотя уже на длинном прямом плесе Оби точечкой был замечен самый ранний пароход «Пролетарий». Сообразив, что за ночь других пароходов, идущих до Ромска, не было и не могло быть, Прохоров только для самого себя, для того, чтобы успокоиться, крикнул начальнику пристани:

— Иван Спиридонович, а сегодня после двух часов ночи были посудины вверх?

— Откуда им взяться, товарищ Прохоров! — прокричал в ответ старик. — Это же тебе не пятница.

Прохоров медленно пошел к тому концу пирса, на котором никого не было, сел на низкий деревянный кнехт, стал глядеть, как в розово-зеленой утренней воде ходят веселые, похожие на запятые мальки; иногда между ними тенью проносилось что-то большое, темное, извивающееся, и тогда мальки ошалело брызгали в стороны. Вода всегда успокаивала Прохорова, и, посидев над ней две-три минуты, он понял, а скорее всего почувствовал, куда ушла и чем занята Вера. Он посмотрел на обыкновенную лакированную сумку, которую она оставила в комнате, потом перенес взгляд на реку, на противоположный далекий берег, на утреннее небо, на котором и следа не осталось от вчерашней угрюмой тучи. Было хорошо, сладко сидеть на деревянном кнехте, у самой кромки воды, отчего река казалась уже не

просто широкой, а совсем похожей на море. Она плавно уходила как бы к несуществующему левобережью, над водой кружились розовые чайки, река была тоже розовой и от этого казалась теплой, хотя в шесть часов утра вода была холодна. Сейчас, ранним утром, все краски вообще были приглушены розовостью, мир был промыт росой до молодой свежести белобоких огурцов, и солнце, висящее над Обью, тоже казалось новеньким, словно только минуту назад было сотворено.

Прохоров услышал шаги Веры метров за пятьдесят, не обертываясь, старался понять, что она несет к нему с гордо поднятой, как всегда на людях, головой, что выговаривают туфли на модных высоких каблуках. Очень скоро выяснилось, что в деревенской тишине каблуки выстукивают незнакомое — в ритме не было ни подчеркнутой резкости, ни вечерней усталости, ни ночной растерянности, ни утренней расслабленности лежащей спать на рассвете актрисы. Туфли шли по деревянному пирсу так, как никогда не ходили раньше, и, как это ни странно, приближающаяся, невидимая еще Вера казалась такой же розовой и свежей, как все кругом. Чудеса, но и звук ее шагов казался розовым... Вот Вера остановилась за спиной Прохорова, наступила гулкая тишина, потом на его плечо легла теплая рука Веры, и раздался такой голос, которого Прохоров ни разу не слышал.

— Доброе утро! — сказала Вера. — Смотри, идет мой пароход!

Он обернулся. Перед ним стояла незнакомая женщина. Она была на полголовы ниже актрисы Лужиной, у нее было другое лицо, руки, плечи, ноги, и глаза у нее были вовсе не черные, а карие. Боже мой, что произошло? Всего шесть-семь часов назад капитан Прохоров считал, что актриса Лужина одета безукоризненно модно, а сейчас заметил, что костюм на ней давно вышел из моды, туфли были не только пыльными, но и поношенными; еще прошлым вечером он не видел на лице Веры ни единой морщинки, поражался сохранностью ее густых волос, а сейчас заметил, что у нее под глазами сеточка морщинок, что в волосах поблескивают белые паутинки.

— Здравствуй, Вера! — еле слышно ответил Прохоров. — Ты сядь, пароход пристанет только минут через двадцать.

Прохоров уже понял, что произошло. Он взял Веру за руку, непрерывно глядя в ее лицо, погладил по волосам таким движением, каким гладила его вчера Вера. Прохорову хотелось не то смеяться, не то по-бабьи расплакаться, а больше всего он желал того, чтобы Вера уже никуда не исчезала, чтобы всегда была рядом с ним, чтобы не увозил ее пароход «Пролетарий».

— Вера, — проговорил Прохоров, — а ты знаешь, что за два года мы никогда не видели друг друга при дневном освещении...

Он прижался щекой к ее руке, протяжно вздохнул:

— Я люблю тебя, Вера!

Женщина замерла, перестала дышать, словно не поверила в услышанное, и тогда Прохоров повторил:

— Я люблю тебя, Вера!

Она сидела тихая, чуть-чуть грустноватая, как бывает со всяким человеком, когда в одно мгновение свершается то, чего долго ждал. Человек счастлив, готов обнять весь мир, но ему все-таки немножко грустно оттого, что ждать уже нечего. А Прохоров все глядел в ее лицо и думал о том, что рядом с ним сидела женщина, которую он искал всю жизнь и вот нашел наконец на берегу Оби.

— Пошли, Вера!

Он взял ее под руку, она легонечко прижала локтем его кисть к своему бедру, понимая, что не надо говорить ни слова, пошла рядом с Прохоровым к пароходу.

Приставая к берегу, «Пролератий» басовито гудел; он не делал разворота, так как речные пароходы делают разворот только тогда, когда идут вниз по течению.

4

Опять наступила жара великая, солнце не светило и не грело, а палило нещадно, листья черемухи свертывались в трубочку, знакомый Прохорову скворец, забившись в густую тень, не закрывал раскрытый клюв, дышал тяжело, словно разгрузил баржу с мукой. Обь в полдень никакого цвета не имела, так как на нее смотреть вообще было невозможно, как на солнце, и Прохоров с наслаждением разделся бы до трусов, если бы его гостьей не была сама Людмила Гасилова.

Однако в центре пилипенковского кабинета на простой некрашеной табуретке, в розовом сарафане и почти несуществующих босоножках сидела Людмила Гасилова и, к удивлению Прохорова, ни капельки не страдала от жары. Ее лицо без косметики было свежо, загорелые руки и ноги казались выточенными из дерева редкой породы, светлые глаза, сейчас такого же непонятного цвета, как река, были безмятежны.

В кабинет Людмилу, конечно, привел не участковый инспектор Пилипенко, ее, естественно, не вызвали повесткой, а сам капитан Прохоров до тех пор прогуливался неподалеку от гасиловского особняка, пока девушка не вышла из дому. Заметив ее, Прохоров разыграл радость нечаянной встречи и, узнав, что Людмила идет к подруге, а подруга живет неподалеку от пилипенковского кабинета, набился к ней в попутчики и, шагая рядом, галантно брал Людмилу за прохладный локоток, если на деревянном тротуаре обнаруживалась гнилая или шаткая доска. Они проходили мимо милицейского дома, когда Прохоров заявил, что не отпустит Людмилу к подруге до тех пор, пока не угостит ее выдающимся холодным квасом.

— Догадайтесь, — хитро прищуривая левый глаз, спросил Прохоров, — откуда у приезжего милиционерши появился холодный квас домашнего приготовления? Нет, нет, ни за что не догадаетесь! — Он снова взял ее осторожно за локоток и заговорщически шепнул: — Взятка! Типичная взятка! Квас мне принесла семипудовая гражданка Суворова, и взамен она коленопреклоненно умоляла больше не вызывать на допросы ее Никитушку... Можете себе представить, Людмила Петровна, что после каждой встречи со мной Никитушка Суворов, оказывается, не может уснуть до тех пор, пока супруга не выдаст ему четвертинку.

В ответ на все эти прохоровские штучки-дрючки Людмила добродушно улыбалась, предложение попробовать холодный квас приняла охотно и вот теперь со стаканом в руках сидела в центре комнаты, так как другого места не было: Прохоров заранее вынес в сени все остальные табуретки, а на единственном стуле сидел сам.

— Отличный квас, — сказала Людмила и хотела подняться, чтобы поставить пустой стакан на стол, но Прохоров опередил ее — взял стакан и сам отнес его на место. После этого он сел и пожаловался:

— Жарко, а, Людмила Петровна, до того, понимаете, жарко, что... Во! Посмотрите на человека, который не способен придумать мало-мальски приличного сравнения... Сказать, что в Сосновке жарко, как в Сахаре, — банально, как в бане — неэстетично...

Огорченно почесав затылок, Прохоров просительно прижал руки к груди.

— Людмила Петровна, — жалобно произнес он, — а вы не обидитесь, если я вас задержу на минуточку?

Она посмотрела на него удивленно.

— Да что вы, Александр Матвеевич, — сказала Людмила. — Я вовсе никуда не тороплюсь... Я ведь всегда опаздываю... Серьезно! И в кино опаздываю, и в школу опаздывала... Выйду, кажется, вовремя, а все равно опоздаю... Серьезно...

Не слушая девушку, Прохоров думал о том, что, оказывается, Людмила Гасилова не умеет сидеть на обыкновенной деревянной табуретке и Андрюшка Лузгин не выдумывал, когда рассказывал, что Людмила в школе подкладывала на сиденье парты подушечку, набитую конским волосом. Да и сам Прохоров вспомнил, что в тот день, когда он вместе с Людмилой попал в особняк Петра Петровича, девушка ни одной минуты не сидела — она то полулежала на диване, свертываясь уютной кошечкой, то забиралась с ногами в большое удобное кресло.

На простой некрашеной табуретке Людмиле Гасиловой сидеть было до того неудобно и непривычно, что она все время меняла положение рук и ног, едва не опрокидывалась на спину, когда, забывшись, стремилась откинуться на несуществующую спинку; она успокоилась только после того, как поставила локти на колени, а на руки положила подбородок — выражение сладкой безмятежности и естественной правильности всего того, что происходило на белом свете, снова появилось на ее красивом лице.

— Полчаса назад, Людмила Петровна, — легко и просто соврал Прохоров, — на этой самой табуретке сидел Юрий Сергеевич Петухов, ваш будущий муж...

Как он и ожидал, на лице у Людмилы не отразилось ни удивления, ни радости, ни огорчения — абсолютно ничего не было нового на лице девушки, кроме удовлетворения по поводу того, что ей удалось сравнительно хорошо устроиться на неудобной табуретке.

— Да, да, — стараясь держать себя в руках, повторил Прохоров, — полчаса назад здесь сидел Юрий Сергеевич и рассказывал о том, как вы решили пожениться... Знаете, Людмила Петровна, оказалось, что ваш суженый — можно мне его так называть? — никогда не читал Бабеля...

Прохоров открыл стол, вынул небольшую серую книгу, положил ее перед собой. Бабеля он любил, время от времени возвращался к нему в трудные минуты жизни и сейчас боролся с самим собой, понимая, как это кощунственно — Людмила Гасилова на деревянной табуретке и зачитанный серый томик... Прохоров закрыл глаза — где-то сейчас шипел паром и тонко покрикивал на перекатах старенький пассажирский пароход «Пролетарий», в каюте первого класса не могла заснуть от усталости и нервного перенапряжения самая лучшая женщина на всем белом свете, грустная и счастливая одновременно, а здесь...

— Это Женина книга, — вдруг сказала Людмила, поднимая голову. — Он давал мне ее почитать, я ее куда-то дела и еле нашла, когда книга понадобилась Жене. — Она улыбнулась. — Посмотрите, там есть Женин экслибрис... Очень смешной! Серьезно.

Экслибрис был плохонький, художник явно подкачал, но это был тот экслибрис, который должен был принадлежать именно Столетову, — четыре руки сцепились в крепком пожатии, фоном был пучок света от электрического фонарика, а внизу было написано: «Мы будем петь и смеяться, как дети».

— Здорово смешно! — повторила Людмила без улыбки. — Я долго смеялась, когда впервые

увидела рисунок... Серьезно!

Прохоров насторожился — что-то новое, совсем незнакомое и неожиданное прозвучало в голосе девушки. Людмила сейчас была грустна и задумчива, быллинный овал ее классического русского лица как-то потускнел. «Надо сделать так, — жестоко подумал Прохоров, — чтобы ей было больно. Очень больно, как Столетову, когда он узнал, что она выходит замуж за Петухова...»

— Евгений ошибся, когда считал, что рассказ Бабеля «История одной лошади» кончается словами: «Жизнь нам представлялась лугом, лугом, по которому пасутся женщины и кони», — негромко сказал Прохоров. — У Бабеля не «пасутся», а «ходят»... И знаете, кто в этом виноват, Людмила Петровна?

— Кто? — еле слышно спросила она.

— Вы! — резко сказал Прохоров и поднялся. — Но это не все, далеко не все, Людмила Петровна... Я стопроцентно убежден в том, что Евгений Столетов по-настоящему любил не вас, а Анну Лукьяненко, хотя думал, что любил вас. Да, он женился бы на вас, если бы вы захотели, но этот брак был бы непродолжительным. — Он приблизился к Людмиле, выдержав холодную паузу, сказал: — А вы, Людмила, любили Столетова и всю жизнь будете любить, так как таких людей не разлюбивают...

Вот он и разрушил сладостно-безмятежный мир Людмилы Гасиловой! Раздавленная, пронзенная тоской, понимающая, что прежней радости уже не будет никогда, точно так, как нельзя вернуть к жизни Евгения Столетова, она бледнела, словно была близка к обмороку, и ей было больнее, чем этого хотел Прохоров.

— А теперь, гражданка Гасилова, — садясь на свое место, официальным тоном произнес он, — вы мне расскажете, когда, как и при каких условиях вы дали согласие на брак с Петуховым...

Твердой рукой, по-прежнему не испытывая ни капельки жалости к девушке, Прохоров налил в стакан квас, подойдя к ней, молча вложил стакан в ее дрожащие пальцы.

— Итак, — повторил Прохоров, — когда, как и при каких условиях вы дали согласие на брак с Петуховым?

Людмила теперь на табуретке сидела прямо, бледная, дышала тяжело.

— Прошу отвечать на заданный вопрос.

Дочь Петра и Лидии Гасиловых беззвучно и горько заплакала и, как все плачущие красивые женщины, казалась до того изменившейся, что совсем не походила на саму себя. Плакать Людмила не умела и не привыкла, крупные слезы она вытирала неловко — тыльной стороной ладони, — длинные ресницы слиплись, и от этого она казалась незрячей. Прохоров терпеливо ждал, когда девушка выплечется. «Ничего, ничего, — думал он. — Человек должен отвечать за свои поступки...»

— Вы бы не сидели здесь и не плакали, Гасилова, — сказал Прохоров, — если бы не позволили сделать из себя предмет купли и продажи... Как могло случиться, что Евгения Столетова вы променяли на Петухова? Вы не ребенок, вам двадцать лет...

Людмила прошептала:

— Я сама не знаю, как это произошло...

Она в последний раз вытерла слезы, поежившись, ссутулилась.

— Все решилось первого марта, — сказала Людмила, — хотя папа мне и раньше запрещал встречаться с Женей... А в этот раз... В этот раз в доме с самого утра творилось что-то непонятное... ЗА ДВА МЕСЯЦА И ДВАДЦАТЬ ДВА ДНЯ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...в особняке Гасиловых с самого утра происходило что-то непонятное. Домработница Степанида уже дважды бегала в орсовский магазин. Лидия Михайловна временами выбегала из кухни с испачканными мукой руками, взглянув на часы, опять скрывалась, а Петр Петрович Гасилов, вернувшийся из лесосеки к девяти часам утра, сидел в своем кабинете тихо, словно его и не было в доме.

Все это походило на приготовления к встрече важного гостя, но когда Людмила спросила у матери, кого ждут, Лидия Михайловна оглядела дочь с головы до ног, вздохнула и сказала:

— Ах, я и сама ничего не знаю... — И деловито посоветовала: — Ты сегодня должна быть красивой... Вымой голову и сделай высокую прическу...

Часа в два дня на лестнице появился Петр Петрович и негромко позвал:

— Людмила, зайди ко мне.

В кабинете девушка села с ногами в большое кожаное кресло, свернувшись в комочек, приготовилась слушать отца, который бесшумно расхаживал по толстому ковру. Крупная голова Петра Петровича была задумчиво склонена, руки он заложил за спину, бархатная стеганая куртка придавала ему мирный домашний вид. Не останавливаясь и не глядя на дочь, Петр Петрович наконец сказал:

— Я давно готовился к этому разговору... Я, наверное, находил по этому ковру километров двадцать, пока привел в порядок мысли...

Он подошел к дочери, погладил ее по голове. Брыластое лицо Гасилова было добрым, нежным, растроганным: оно выражало такую любовь и заботу, что Людмила перехватила руку отца, прижалась к ней щекой.

— Я слушаю тебя, папа, — прошептала девушка, — говори.

Петр Петрович осторожно вынул руку из пальцев дочери, еще раз медленно и бесшумно прошелся по кабинету, прислушался — за громадным окном хулигански посвистывал влажный мартовский ветер, флюгер на остроконечной башне вращался с жестяным скрипом, на первом этаже суетливо хлопали двери.

— Людмила! — чуточку излишне торжественно сказал Петр Петрович. — Я хочу с тобой говорить о таких вещах, о которых говорить трудно, да и не всегда нужно... Мне раньше казалось, что ты сама разберешься во всем, но ты... Ты не разобралась!

Он вернулся к дочери, сел рядом с ней в такое же кресло, в каком уютно пригrelась Людмила, внимательно посмотрев в ее лицо, неторопливо продолжал:

— Еще раз прости меня за то, что вмешиваюсь в твои сердечные дела, но ты у меня одна, и я не могу допустить, чтобы моя дочь совершила непоправимую ошибку... Я хочу говорить о Евгении Столетове и... еще об одном человеке...

Петр Петрович еще раз проверяюще посмотрел в лицо дочери — оно было безмятежно-ласковым, спокойным, на нем легко читалось: «Я тебя люблю, папа, я тебе верю, говори все, что хочешь!» Тоже успокоенный, Петр Петрович поднялся, прошел из одного угла кабинета в другой; оказавшись в центре, он остановился.

— Я неплохо отношусь к Евгению Столетову, — сказал Петр Петрович. — Он умный, честный

и добрый парень...

Гасилов сделал многозначительную паузу, в третий раз проверил действие своих слов на дочь и, не заметив ничего тревожного, повторил:

— Евгений умный, честный, добрый парень, но его жизнь будет тяжелой...

За оттаявшим грандиозным окном жил синий мартовский день, с крыш свисали ранние для нарымских краев сосульки, река поблескивала на солнце голубыми торосами, а в палисаднике на большом кусте черемухи сидели сразу три красавицы сойки.

— Я ничего, Людмила, не имею против так называемых правдолюбков, — шутливо сказал Петр Петрович. — Мир без них был бы, наверное, немножечко хуже, чем он есть на самом деле, но мне, прости, доченька, не хочется, чтобы твоим мужем был один из представителей этого беспокойного племени...

Петр Петрович глядел в окно, на реку, и его умное лицо казалось еще умнее от иронической улыбки, а тело было таким, каким его представлял Викентий Алексеевич Радин, — мудрым и ловким.

— Чтобы быть понятным, я должен сделать некоторый экскурс в родословную твоей матери и твоего отца... — шутливо и весело проговорил он. — Основные, так сказать, вехи тебе, конечно, известны, но я хочу обратить твое внимание на то обстоятельство, что в наших семьях женщины никогда не работали...

Петр Петрович подошел к дочери сзади, положил руки на ее плечи, подбородком прижался к пышным волосам.

— Женька Столетов непременно заставит тебя работать, — с заботливой угрозой проговорил Петр Петрович. — А что ты умеешь делать, дочь моя? Институт тебе ни за какие коврижки не окончить, да и поступить-то в него не сможешь, и что же выпадет на твою необразованную долюшку? — Он осторожно засмеялся. — Одно тебе останется: быть при Женечке домработницей, так как сей правдолюбец всю жизнь будет ходить в драных штанах...

Петр Петрович расхохотался, продолжая обнимать дочь за плечи, сделался серьезно-комичным.

— Хочешь, Людка, — предложил он, — я тебе нарисую картину вашей будущей жизни с Евгением? Хочешь?

— Хочу! — откликнулась Людмила.

Петр Петрович отошел от дочери, сел на стул и нахмурился, насупился, заостенел.

— Все начнется еще в институте, — пророческим басом захохотал он. — В один прекрасный день твой еще более прекрасный муженек приходит в крохотную комнатку, которую вы снимаете на мои деньги, и объявляет гордо: «А меня собираются выгонять из института!» И ты последней в областном городе узнаешь, что твой чудо-муженек на факультетском собрании разнес в пух и прах декана за попытку зависить студенческие оценки или произвести нечто еще более криминальное. — Петр Петрович лукаво подмигнул. — Теперь предположим, что твоему правдолюбцу удалось каким-то чудом окончить институт, и он работает на заводе. Уже через три недели твой милый Женечка разносит на клочки начальника цеха, через полгода — директора... По вышеозначенным причинам квартиру вы получаете в последнюю очередь, твой принципиальный муженек третий год ходит в мастерах, и, мало того, его обратно же собираются увольнять из-за профнепригодности, а это такая штука, что легче верблюду влезть в игольное ушко, чем доказать обратное...

Сложив губы бантиком, Петр Петрович широко развел руки и замер, как городничий в финале «Ревизора».

— Вот, значит, увольняют твоего сударя за профнепригодность, а он с этим, конечно, не согласен и собирается ехать с жалобой в Москву, а денег-то у него нетути! — смеясь, продолжал он. — И тогда твой Женечка едет в столицу на товарнике... А что в это время делает моя родная дочь, которая ничего делать не умеет? Моя родная дочь в это время пытается заштопать последнюю кофту, купленную еще отцом-матерью. А потом, — Петр Петрович от ужаса зажмурился, — даже я боюсь заглядывать в потом, когда появится на свет мой внук или внучка...

Петр Петрович снова сложил губы жеманным бантиком, смеясь только одними глазами, скрестил руки на груди и театрально насупился. Это было смешно, очень смешно, и Людмила захохотала, а Петр Петрович помахал перед ее носом толстым пальцем.

— Не смеяться! — трагическим шепотом приказал он. — Как можно смеяться, если мой родной внук ходит в школу в шубе на рыбьем меху... А что касается любви, что касается любви, то...

Петр Петрович мгновенно снял с лица улыбку и привел в нормальное состояние губы.

— Любовь в шалаше, Людмилка, проходит гораздо быстрее, чем в особняке. А по Фрейду — читывали и мы в молодости кой-кого — всякая любовь длится не более двух с половиной лет...

Над Сосновкой с мощным ровным гулом пролетел реактивный пассажирский самолет, на мгновение вой турбин достиг такой силы, что стекла в окне зазвенели, затем гул моторов неожиданно быстро и ладно смешался со свистом шустрого мартовского ветра, и уж потом со звоном упала на землю и разбилась крупная сосулька, выросшая под высокой крышей гасиловского особняка.

— Ты любишь Столетова? — внезапно быстро и резко спросил Петр Петрович.

Людмила осторожно переменяла позу, наморщила ясный, слегка прикрытый волосами лоб, задумчиво поглядела в окно; молчание длилось долго, наверное, минуты две, затем девушка повернула к отцу привычно уравновешенное, бездумное лицо.

— Я точно не знаю, папа, — тихо сказала она. — Иногда мне кажется, что я без Жени не могу прожить и часу, а когда он появляется, чувствую себя перед ним виноватой... Нет, нет, ты не подумай, папа, что Женя груб или слишком требователен — этого нет, он любит меня, но в его присутствии я всегда чувствую себя перед ним виноватой...

— За что?

— За все! — прежним голосом ответила Людмила. — За то, что я не способна поступить в институт, за то, что я изнеженна и ленива, за то, что долго ем, за то, что я часто молчу, словно мне нечего сказать... Иногда мне кажется, что я виновата за то, что родилась...

— Значит, ты его не любишь?

— Не знаю, папа! Может быть, люблю, а может быть, нет...

Теперь они молчали вместе. Людмила при этом опять смотрела в окно, отец — в лицо дочери. В нем было мало его, гасиловского, но отец-то умел находить свое среди материнского и дедовского — немножко скошенный подбородок, коротковатая и слишком крепкая для тоненькой и хрупкой фигуры шея.

— Ты меня понимаешь, Людмила? — вкрадчиво спросил Петр Петрович. — Ты согласна с моими доводами?

И снова дочь долго и бездумно молчала.

— Я не знаю, что тебе ответить, папа! — наконец призналась она. — Я, наверное, не умею думать. — Людмила ясно и ласково улыбнулась. — За меня всегда думал кто-нибудь другой. И в школе, и дома...

Ни волнения, ни радости, ни тревоги за свою судьбу — ничего не выражало лицо Людмилы, в которое изучающе, словно в первый раз, вглядывался Петр Петрович Гасилов. Он, естественно, давно знал, что Людмила послушная дочь, но и предполагать не мог, что послушность дочери достигнет такого безмятежного и холодного равнодушия.

— Людмила, — тихо спросил Петр Петрович, — ты понимаешь, чего я хочу?

— Конечно, понимаю, — не отрывая глаз от окна, не пошевелившись, ответила дочь. — Вы с мамой хотите, чтобы я вышла замуж за Юрия Сергеевича Петухова...

Бог знает что Людмила высматривала в окошке, но глаза у нее были такие, словно самое главное, самое важное сейчас происходило не в кабинете отца, а за голубоватым стеклом; она так смотрела в окошко, что Петр Петрович невольно повернулся к нему, но ничего интересного и нового там не обнаружил.

— Сегодня вечером Юрий Сергеевич придет к нам, — с досадой сказал Петр Петрович. — В домашней обстановке ты поближе познакомишься с ним и, может быть, поймешь, что он тот человек, который тебе нужен.

— Хорошо, папа!

...Технорук лесопункта Юрий Сергеевич Петухов пришел в гости с опозданием на десять минут, то есть как раз на столько, на сколько мог себе позволить человек, стоящий на одну служебную ступеньку выше хозяина. И все же, раздеваясь в передней, он долго и настойчиво просил у Лидии Михайловны прощения за опоздание и только после того, как хозяйка пообещала «рассердиться на деликатного гостя», вошел в гостиную.

— А нельзя ли сменить обувь? — попятившись, с многозначительной улыбкой спросил Петухов.

— Вам — нельзя! — тоже многозначительно ответила Лидия Михайловна и взяла технорука за руку. — Проходите, проходите, Юрий Сергеевич, сейчас спустятся сверху Петр Петрович и Людмила...

Незаметно оглядывая гостиную, технорук улыбался, раскланивался, еще раз «от всего сердца» благодарил Лидию Михайловну за теплый и радушный прием. Опустившись в низкое кресло, Петухов по привычке собрался было искать самую удобную для сидения позу, но оказалось, что этого делать не надо, так как стоило ему только откинуться на спинку кресла, как он оказывался в предельно удобной позе.

Петухов на несколько секунд поднялся, когда в гостиную вошли Петр Петрович и Людмила. Мастер крепко пожал руку техноруку, похлопал его по спине, затем отступил в сторону, чтобы Петухов мог поздороваться с дочерью... Людмила и технорук, конечно, были знакомы и раньше, они десятки раз встречались на улицах и в клубе, но ни разу не разговаривали, а вот сейчас держались так, словно расстались несколько часов назад, причем Людмила сама не догадалась бы вести себя таким образом, если бы Петухов не подал пример. Увидев Людмилу, он сдержанно улыбнулся, подойдя к ней очень близко — видно было, как чисто

выбриты его щеки, — взял ее руку в свою и не отпускал до тех пор, пока этого не заметили родители.

— Вы хорошо выглядите, Людмила Петровна!

Сам Петухов выглядел не просто хорошо, а отлично: от него за версту пахло здоровьем, силой, удачливостью, самодовольством. Одет Петухов был в шерстяной костюм спортивного покроя, галстук переливался радугой, меховые французские ботинки вкрадчиво поскрипывали.

— Проходите, Юрий Сергеевич, проходите в столовую! — пела Лидия Михайловна. — Милости просим, милости просим!

— Пожалуйста, пожалуйста! — снисходительным баском подпевал Петр Петрович.

Наконец вся четверка оказалась в столовой, где был накрыт обильный и по сосновским масштабам изысканный стол. Горели солнечные искорки в дорогом хрустале, просвечивала насквозь посуда из старинного фарфора, туго накрахмаленная скатерть напоминала блестящий снежный наст; лежали на блюдах различной величины и формы соблазнительные закуски, столовое серебро как бы подчеркивало разнообразие блюд, в центре стола возвышалось серебряное ведро с замороженным шампанским.

— Проходите, проходите, Юрий Сергеевич, будьте как дома, у нас ведь все попросту, у нас все по-семейному, без церемоний...

Лидия Михайловна незаметно подталкивала Петухова к тому стулу, где ему было предназначено сидеть.

— Вот сюдасеньки, вот сюдасеньки! — шутливо выговаривала она. — Здесь вам будет хорошо, и не дует из окна.

Пока хозяйка устраивала гостя, Петр Петрович и Людмила тоже сели, и, конечно, получилось, что Петухов оказался подле Людмилы, а Петр Петрович вплотную придвинул свой стул к стулу Лидии Михайловны. Образовалось тесное семейное застолье, в котором главное место сегодня принадлежало не Петру Петровичу, а Петухову.

— Ну-с! — потирая руку об руку, проговорил Гасилов. — Начнем, пожалуй... Юрий Сергеевич, вырुливайте на старт.

Технорук Петухов — человек, начавший жить в искалеченной войной бедной брянской деревне Сосны, сделавшийся инженером ценою полуголодного студенческого быта, — за гасиловским застольем вел себя еще как дикарь. Он и предположить не мог, что в небольшом поселке существует такое изысканное гостеприимство. Пораженный, никогда еще не бывавший в таких домах, Петухов на некоторое время растерял самого себя в сверкании хрусталя, в пестроте иностранных этикеток на разнокалиберных бутылках, в тесноте закусок, солений и варений... Минуту-другую за столом сидел деревенский парень с блестящими от восторга глазами, в которых легко читались две четкие, откровенно бесстыдные, голые мысли: восторженное: «Вот как надо жить!» и мрачное, почти угрожающее, непоколебимое: «Ладно, ладно! Я скоро буду жить еще лучше!»

— Ну-с, граждане, — веселым домашним голосом сказал Петр Петрович и поднял бокал с шампанским, — не выпить ли нам попервости за самих себя? Дай нам бог здравствовать!

Четыре бокала сошлись в центре стола, осторожно прикоснувшись друг к другу, неторопливо разъехались в стороны. Когда шампанское было выпито, Лидия Михайловна, прижав пальцы рук к вискам, ужаснулась:

— Людмила, ты плохо ухаживаешь за Юрием Сергеевичем! Он сильный большой мужчина — разве можно ему есть так мало? Ах, ты ничего не понимаешь... Ну-ка, Юрий Сергеевич, дайте мне вашу тарелочку — я покажу Людмиле, как надо кормить настоящих мужчин...

К этому времени Петухов успел прийти в себя, то есть проделал все те манипуляции, которые считал обязательными для руководящего инженерно-технического работника и над выработкой которых он трудился еще на последнем курсе института.

Технорук выпрямился, поднял подбородок с волевой ямочкой, прищурился, свел брови на переносице и надменно-иронически задрал уголки губ. Он легким, чуть-чуть снисходительным кивком поблагодарил Лидию Михайловну, твердо посмотрел в глаза Петра Петровича, а Людмиле улыбнулся покровительственно.

— Вы любите шампанское? — светским голосом спросил он девушку.

— Оно вкусное, — подумав и пожав плечами, ответила Людмила, которая с первой секунды встречи с Петуховым ничуть не изменилась: сидела, двигалась и делала все так, словно ужин на четверых был обычным будничным явлением. «За столом сидит Юрий Сергеевич Петухов? Так в чем дело?... Ах, какие пустяки! Стол накрыт как для большого праздника? Так в чем же дело? Ах, какие пустяки! Папа хочет, чтобы я стала женой технорука? Так в чем же дело? Ах, какие пустяки!» Глядела Людмила в пространство, катала в пальцах комочек черного хлеба и на самом деле походила на сытую молодую корову, которая бродит по траве, выбирая самые лакомые растения.

— Закусывайте, закусывайте, Юрий Сергеевич, — старалась Лидия Михайловна. — Попробуйте вот эти огурчики — они прелестны!.. Вы знаете, Юрий Сергеевич, наша домработница Степанида — величайший мастер по засолке грибов. У нее про-о-осто грибной талант...

— Спасибо, спасибо, я вовсе не стесняюсь...

На первое подали бульон с гренками, после бульона Степанида принесла баранье жаркое, потом на столе появилось мороженое, так как выяснилось, что Степанида так же хорошо умеет делать мороженое, как и солить грибы, и что мороженица у Гасиловых хранится с тех пор, как умерли родители Лидии Михайловны. Одним словом, интимный, по-домашнему непринужденный ужин продолжался и кончался так, как полагалось, по мнению хозяев, в аристократическом доме, и технорук Петухов — способный малый! — уже понял, как надо вести себя: ел с ленцой, улыбался сдержанно, разговаривал равнодушно и, несмотря на то, что из кухни уже доносился аромат кофе, не удивлялся тому, что никто не начинал того важного, серьезного и решающего разговора, ради которого родители Людмилы поставили на белую скатерть черную и красную икру, семгу, копченую осетрину и стерлядь. За весь ужин Людмила не произнесла ни слова, почти ничего не ела, а все катала в пальцах хлебный шарик. Разговаривала за столом только хозяйка дома, Петр Петрович ей поддакивал, а Петухов отделялся восклицаниями: «Спасибо», «Признателен вам», «Нет, нет, больше не надо!», «Очень, очень вкусно!» и так далее.

Ответственный разговор начался только тогда, когда домработница Степанида принесла кофейные чашечки и вычурный серебряный кофейник. Держа небольшую чашечку в руке, отпив всего два или три глотка, Лидия Михайловна вдруг тяжело вздохнула и грустно потупилась; сейчас у нее был смиренный, монашеский вид, золото и камни в ее перстнях и кольцах, казалось, потеряли блеск.

— Вы бы знали, Юрий Сергеевич, — печально произнесла она, — как мы с Петром Петровичем завидуем вам... Подумать только, вам тридцать, вы дипломированный инженер и, конечно, не будете всю жизнь торчать в этой проклятой Сосновке. А я... Откровенно вам признаюсь, Юрий Сергеевич, я до сих пор больна от невозможности стать горожанкой...

Все, что сейчас говорила Лидия Михайловна, было правдой и только правдой.

— Мы так и не сумели перебраться в город, — продолжала она. — У Петра Петровича нет высшего образования, на одной городской зарплате мы не смогли бы существовать... Да и времена были другие...

В столовую опять бесшумно вошла Степанида, выключила верхний свет, и теперь только торшер и бра освещали четверых сидящих за столом; полусвет, полумрак были приятны после сияния хрустальной люстры с подвесками, обстановка в комнате сделалась уютной, располагающей к откровенной беседе.

— Да, да, было такое дело! — задумчиво проговорил Петр Петрович. — Я ведь Лиду привез из города; она так хотела вернуться в город и так ненавидела деревню, что иногда неделями не выходила из дому... — Он улыбнулся краешками губ. — Можете себе представить, Юрий Сергеевич, каково мне было входить в комнату затворницы... Летающие тарелочки — это не вымысел!

Они сдержанно похихотали.

— Человек ко всему привыкает! — после паузы вздохнула Лидия Михайловна. — Только я не хотела бы, чтобы моя дочь повторила горькую судьбу матери...

Людмила покосилась на мать, потом на отца, но ничего не сказала, а, наоборот, стала еще более спокойной: «Ты хочешь, чтобы я жила в городе? В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Слушайте, Юрий Сергеевич, — вдруг решительно сказал Гасилов. — А не удалиться ли нам в мой кабинет? Как, Юрий Сергеевич, а?

— С большим удовольствием! — неожиданно холодно ответил Петухов и резко поднялся. — С превеликим удовольствием, Петр Петрович!..

Людмила Гасилова опять поставила локти на колени, на ладони удобно устроила подбородок, и от этого сделалась такой, какой была перед тем, как заплакать, и это было правильно, естественно, так как дочь Петра и Лидии Гасиловых не была способна долго страдать.

А Прохоров сидел на кончике стола, подравнивал ногти изящной пилочкой, вынутой из дорожного набора, висящая нога у него раскачивалась так, словно он напевал про себя что-то. Может быть, это был фокстрот времен его молодости, может быть, твист, которому его как-то, дурачась, научила Вера. Когда Людмила кончила рассказывать, Прохоров не изменил позу, а только бросил на Людмилу короткий взгляд.

— Это все? — спросил он. — Вы все рассказали?

— Все! Все, Александр Матвеевич... Серьезно.

Прохоров поднялся, спрятав пилочку, выглянул на двор, — было не просто жарко, дышать было нечем. Вот до чего довели родные нарымские края беспорядочные массовые перемещения воздуха!

— Людмила Петровна, — бесцветным голосом сказал Прохоров. — Людмила Петровна, ну кто вам поверит, что вы не подслушали разговор Петра Петровича с техноруком Петуховым? Ведь в первой нашей беседе вы признались, что подслушивали беседу отца и Столетова. Что вам помешало в тот раз поступить так же?

— Ничего, — коротко подумав, ответила Людмила. — Я на самом деле их подслушивала...

Серьезно!

Ни крошечного пятнышка стыдливого румянца не появилось на ее щеках, голос не дрогнул. Не меняя позы, выражения лица, Людмила несколько секунд вспоминая молчала, затем сказала:

— Папа и Юрий Сергеевич говорили о доме, который они хотят построить для нас, то есть для Юрия Сергеевича и меня в областном городе... Они долго рядились...

— Рядились?

— Да, рядились, — подтвердила девушка. — Папа давал десять тысяч, а Юрий Сергеевич пять и при этом хотел, чтобы папа увеличил сумму до пятнадцати тысяч... Он все говорил, что у него и пяти-то тысяч нет, но он их наскребет, если папа даст на дом пятнадцать тысяч... Рядились они долго, наверное, часа два, а чем дело кончилось, я не знаю, так как меня мама позвала к телефону...

Остановившись, Людмила бросила на Прохорова один из тех взглядов, которые он уже знал. «Вы — Прохоров, я — Людмила Гасилова? Так в чем же дело? Ах, какие пустяки!» Однако Прохорову сейчас было не до улыбок, так как он старательно высовывался в окно, чтобы отделаться от кошмара, которым повеяло от рассказа Людмилы... Прохоров взглянул на реку — течет себе, родная, течет; перевел взгляд на два старых осокоря — стоят себе, изнывая от жары; пригляделся к соседним домам — хорошие, простые и удобные дома. Одним словом, все на белом свете находилось на своих местах, но — не кажется ли это Прохорову? — на его глазах происходило невозможное... За спиной вот этой девушки отец и жених рядились о приданом, это ее, почти не знавшую Петухова, отдавали ему в жены, это она безмятежно подчинялась воле отца и матери, чтобы по-прежнему можно было пастись на лугу, заросшему высокой и сочной травой... Черт возьми, да если бы Прохорову кто-нибудь рассказал, что видел и слышал это наяву, Прохоров не поверил бы, но вот теперь...

— Вы все рассказали? — рассеянно спросил Прохоров. — Если все, то вам придется все рассказанное записать...

Он протянул девушке шариковую ручку, кипу писчей бумаги, жестом приказал ей сесть к столу. Людмила подчинилась ему беспрекословно, все делала так, как он хотел, но как только начала писать первые слова, выражение отвращения и скуки появилось на ее лице.

— Не мешкайте, Людмила Петровна, не мешкайте!..

5

Капитан Прохоров, энергично шагающий к дому мастера Петра Петровича Гасилова, вдруг решил на несколько минут задержаться на берегу Оби. Захотелось постоять на берегу реки и посмотреть, как на небе созревает опасная дождевая туча. Все было четко, как наглядное пособие на школьном уроке под названием «Откуда берутся тучи и почему на землю льется дождь». С реки в небо волнистым маревом поднимались испарения, добирались до центра голубого купола и здесь натыкались на крохотное безобидное облачко; постепенно они образовывали в центре облака все увеличивающуюся темноту, которая, в свою очередь, медленно превращалась в темное и грозное дождевое ядро. Вот оно-то и было способно изрыгать гром и молнию, сделаться ливнем или обернуться нудным нескончаемым дождем.

Стоя на берегу великой сибирской реки, Прохоров думал о том, что сосновское дело, как,

впрочем, и всякое другое, похоже на тучу, вот уж много дней пытающуюся разразиться громом и молнией. Вторую неделю Прохоров собирал по капелькам влагу фактов и наблюдений, концентрировал заряды, накапливал электричество, чтобы разразиться громом и молнией... Переполненный мыслями, предчувствием близкой грозы, стоял на высоком берегу родной реки капитан Прохоров, и было ему хорошо. Так прошло минут десять, потом Прохоров повернулся, пренебрежительный к мелочам и снисходительный к людской суете Сосновки, легкой ногой двинулся к дому Петра Петровича Гасилова. Машинально поздоровавшись с женой мастера и понявший лишь одно слово «дома», он как бы пропустил мимо себя удивленную Лидию Михайловну, ковры и хрустальные бра, винтовую лестницу и лошадиные эстампы; постучавшись и получив разрешение войти, он с силой рванул на себя двери кабинета и, оказавшись в нем, заговорил сам, опять пропуская мимо себя удивление Гасилова и его самого.

— Здравствуйте, здравствуйте, Петр Петрович! — не слыша себя, говорил Прохоров. — Убедительно прошу простить меня за то, что я изменил место и время нашей встречи, но, знаете ли, человек предполагает, а бог располагает... Еще и еще раз простите меня за самовольное вторжение...

Садясь в кожаное кресло, Прохоров неожиданно для самого себя решил отказаться от привычной чепуховой болтовни, которой он еще десять минут назад собирался заморочить Гасилова. Он с неудовольствием проглотил заранее приготовленную длинную фразу, удобно разместил спину на кожаной упругости кресла, ноги утопил в ворсистом ковре и решил немножко помолчать, чтобы еще и как следует рассмотреть мастера лесозаготовок.

По внешности и по манере держаться Петр Петрович Гасилов отнюдь не походил на человека, который всю жизнь пасется среди сочной травы, в нем уже чувствовалось ленивое и небрежное удовольствие высокой степени сытости. Это объяснялось, видимо, тем, что Петр Петрович уже привык скрывать чувство радости и наслаждения бездельем, ощущением незыблемости выбранного им образа жизни. Мало того, он сумел выработать тот созидательный вид, который все окружающие принимали за деловитость, вечную занятость и неистребимую работоспособность. Отец тем и отличался от дочери, что она по молодости лет еще не научилась тайно пастись по дармовому лужку — не умела скрывать безмятежного вида, радости бездумного бытия, вальяжности и даже сытости. Она, бедная дурочка, не скрывала уверенности в том, что никогда не опоздает к праздничному пирогу, так как вся ее жизнь уже была торжественным застольем. Наверное, поэтому на лице и во всем облике дочери Гасилова еще не было и намек на то выражение созидательности, которым ее отец прикрывал свою истинную сущность. Все это должно было прийти к Людмиле позже, в годы замужества, когда мужу понадобится ее фальшивая внешность и привычно-ложное поведение.

Да, Петр Петрович Гасилов давно привык рядиться в чужие одежды, но капитан Прохоров — и не такое видывали! — раздевал Петра Петровича до последней нитки... Клетчатая ковбойка, сапоги с будничными головками, простенькие часы на руке — камуфляж под рабочего, и даже крупные, значительные складки на лице Гасилова, делающие его похожим на пса боксера, тоже были камуфляжными, маскировали молодую, крепкую и гладкую кожу здорового, отлично сохранившегося человека. Ну зачем, спрашивается, нужны Гасилову философски значительные и глубокие морщины на лбу, с каких пирожков могли появиться горькие складки возле губ? Камуфляж и еще раз камуфляж!..

— Дело Евгения Столетова, — неожиданно весело заявил Прохоров, — потребовало, чтобы я, Петр Петрович, немножко поспрашивал вас... Извините, но я, например, хочу знать, за что вас любит и даже обожает тракторист Аркадий Заварзин?

Едва произнеся последнее слово, Прохоров пожалел, что не пришел к Гасилову в форме. Эх, как неплохо сейчас было бы сидеть в тугом кителе с твердыми от погон плечами, сиять

красным кантом пехотных офицерских брюк, как ловко лежала бы на правом колене фуражка общевойсковой образцы — ведь Прохоров был не капитаном милиции, а офицером внутренней службы МВД СССР.

— Я слушаю вас, Петр Петрович. Вопрос, на мой взгляд, простой...

— Вопрос на самом деле простой! — тоже с улыбкой согласился Гасилов. — Вы, наверное, позже, как следователь Сорокин, будете выяснять, не был ли пьян Евгений Столетов, так я отвечу сразу. Нет, нет и нет!.. А насчет Заварзина просто... — Он добродушно прищурился. — Я ему помог достать трактор... Видите ли, общественность довольно долго не доверяла ему сложную машину, а я рискнул и выиграл...

Прохоров прищурился точно так же, как это делал мастер Гасилов, — вот это полное соответствие допрашиваемому было Прохоровым задумано заранее, так как он железно решил не подарить Гасилову ни единой собственной интонации, ни единого собственного выражения лица и ни одной собственной позы. Полное соответствие допрашиваемому, подыгрывание под него по опыту Прохорова давало отличные результаты, допрашиваемый при этом пребывал только в собственных переживаниях и словах.

— Спасибо, Петр Петрович, — вежливо поблагодарил Прохоров. — Не имея намерения ничего скрывать от вас, я объясню свой вопрос... Тракторист Аркадий Заварзин имеет дока-азанное отношение к смерти Столетова и, естественно, что я интересуюсь его связями... — Он немедленно убрал правую руку с колена, так как то же самое сделал Гасилов. — Вообще у меня к вам, Петр Петрович, накопилась тьма вопросов. Да вы и сами можете представить, как много хочется спросить у мастера капитана уголовного розыска...

Прохоров допустил маленькую передышку только потому, что в его груди отчетливо разрасталось опасное для дела грозное облако. Оно вбирало в себя — заряд за зарядом — электричество со складок собачьего лица мастера, собирало будущий пушечный гром с лошадиных эстампов, заполнивших все свободные стены кабинета.

— Второй вопрос несколько щекотливый, — спокойным голосом Петра Петровича сказал Прохоров. — Если не захотите, можете не отвечать. Почему вы не член партии?

Трудный и сложный момент переживал Прохоров. Ему нужно было подражать Гасилову, не упускать ни одного изменения психологического состояния мастера, укрощать накапливающиеся гнев и ненависть к Гасилову, и в это же время через окно наблюдать за настоящей тучей, которая становилась все опаснее и опаснее.

— Почему я не член партии? — задумчиво переспросил Гасилов. — Да потому, что недостойн пока быть коммунистом... Вы, наверное, помните цитату, товарищ Ленин говорил о том, что коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь знанием всех тех богатств, которые выработало человечество... — Гасилов посмотрел на свои большие руки, покрытые камуфляжными морщинами. — А у меня только среднее образование...

Говорил Петр Петрович спокойно, веско, с видом создателя, измученного временным творческим бессилием. «Понимаете, товарищ Прохоров, — говорило лицо Петра Петровича, — как трудно жить человеку, не овладевшему знанием всех богатств, которые выработало человечество. Можете себе представить, товарищ Прохоров, каким полезным человеком был бы я для общества, если бы овладел всеми богатствами?»

— Хочу задать целую серию мелких неделикатных вопросов, — с гасиловской улыбкой сказал Прохоров. — Для чего вы купили телескоп? Почему расхотели иметь зятем Евгения Столетова? Для чего создали собственную теорию посредственности?

Прохоров действовал так потому, что ему надо было понаблюдать за Петром Петровичем в

тот момент, когда после телескопа прозвучит вопрос о Столетове. Может же быть и такое, что среди собачьих морщин гасиловского лица появится нечто чужеродное, например беглая заминка, так как природа гасиловской лжи резко отличалась от бабьего вранья Лидии Михайловны и целесообразной профессиональной лжи Аркадия Заварзина. Ведь Петр Петрович Гасилов, если разобраться по существу, не лгал, не обманывал, не скрывал правду, он давно забыл о том, что существуют ложь и правда; в сознании праздного мастера давным-давно стерлись все грани между ложью и правдой, между понятиями «честность» и «бесчестность», и все это было так же естественно, как привычка жить, ничего не делая.

— Повторить вопросы?

— Не надо... У меня хорошая память!

Гасилов поднял правую руку, на глазах у Прохорова демонстративно загнул указательный палец.

— Телескоп купил по случаю, а вот астрономией интересуюсь с детства... Евгений Столетов был бы моим зятем, если бы не погиб... На последний вопрос ответить труднее...

Он спокойно замолк, а Прохоров обидно выругал себя за то, что не мог сообразить сразу, почему Гасилов не удивляется неделикатным дурацким вопросом. «Дура ты, капиташка! — подумал он. — Гасилов не удивляется потому, что вообще никогда ничему не удивляется... Ну чем можно удивить такого человека, как Гасилов, умного и всегда готового к любым неожиданностям? Кроме того, — размышлял Прохоров, — мастер Гасилов ничего не боится, он создал себе прочную славу передовика производства и считает себя вправе безнаказанно сидеть с большой ложкой возле государственного пирога».

— Продолжайте, Петр Петрович, — любезно попросил Прохоров.

— Только философствующий на пустом месте Сухов может назвать мои случайные слова теорией посредственности, — осторожно сказал Гасилов. — Однако в моих словах есть доля правды... Вы же не станете отрицать, что гениев-одиночек стало меньше, что времена энциклопедистов прошли...

Прохорову было важно знать, как Гасилов произносит слово «энциклопедисты», «гении», как строит речь в отвлеченном разговоре; судя по корешкам книг в шкафу, Гасилов довольно много читал... Значит, телескоп, чтение, легкая философия на досуге...

— Суховы теперь редки, — увереннее продолжал Петр Петрович. — Боюсь, что ему не удастся изобрести современный трактор... Это под силу только коллективу, целой группе людей, связанных одной целью. Коллективность вообще теперь становится нормой жизни...

«Конечно, конечно, — веселился Прохоров, — бездельнику Гасилову весь мир должен казаться состоящим из посредственностей, кто же, если не посредственности, позволяют ему превратить жизнь в бесконечный пир!» Прохоров оживленно повозился в мягком кресле, нашел удобную ямочку и для левого плеча.

— Я не думаю, что коллектив непременно должен состоять из посредственностей, — будто прочел мысли Прохорова Гасилов. — Однако личность в коллективе непременно нивелируется... В социалистическом обществе гений — это коллектив!

Как ловко все-таки Петр Петрович Гасилов оперировал всеми этими «нормами коллективной жизни», «личностью в коллективе». Высокие слова с его твердых губ слетали легко, как подсолнечная шелуха, выражение лица было постным.

— И это правильно, что творцом научно-технического прогресса становится коллектив, —

легко говорил мастер, привычно собирая на лбу крупные складки. — Если творцом революции, истории давно стал коллектив, то это правило надо распространить и на технику...

Постой, постой! Да ведь вся эта философия, все торжественные слова — тоже камуфляж! Рассуждениями о высоких материях, философствованием, употреблением таких слов, как «социализм», «коллектив», «общество», Гасилов маскировал пустоту, цинизм, лицемерие. О! Можно было себе представить, какое впечатление на некоторых работников райкомов и райисполкомов, на корреспондентов газет, на командированных из треста и комбината производил на первый взгляд обыкновенный мастер. В какой восторг, наверное, приходили разные инструкторы, а корреспонденты газет дрожащей от радости рукой писали в блокноты: «Приметы нового... Высокий культурный уровень нашего рабочего класса можно показать на примере мастера Гасилова...»

— Спасибо, Петр Петрович! Я вас понял...

Прохоров проник во все обнаруженные им удобные ямки кожаного кресла, полуприкрыв глаза, внутренне хохотал, хотя лицо оставалось по-гасиловски постным. Он был истинным чудом, этот роскошный Петр Петрович Гасилов! Камуфляж! Везде камуфляж...

— После смерти Евгения Столетова вы, Петр Петрович, сказали: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Какой смысл вы вкладывали в слово «такие»? — спросил Прохоров. — Что вы хотели сказать этим?

Мастер на мгновение задумался, потом уверенно сказал:

— Столетов был великолепным образцом современного молодого человека. Честность, искренность, работоспособность, доброта — вот далеко не полный перечень его достоинств.

Петр Петрович искренне-печально вздохнул, потупившись, долго не смотрел на Прохорова, который тоже вздохнул и потупился, думая о том, что Гасилов не врал, перечисляя достоинства Женьки Столетова; он искренне оценивал погибшего, и не хватало только одной-единственной фразы: «Столетов человек хороший, но не для моей дочери!»

— За четыре часа до смерти, — бесстрастно сказал Прохоров, — Евгений Столетов имел с вами серьезный разговор. Я хотел бы знать о чем.

Капитан уголовного розыска Прохоров впервые в жизни сидел в таком кресле, которое было словно специально приспособлено для наблюдений за лицом собеседника, и, будьте уверены, он не пропустил ничего: заметил и нервный тик правого века, и растерянность, и лишнюю собачью складку возле губ.

— Ваш разговор со Столетовым случайно слышала повариха Лузгина. Каждое слово этого разговора запротоколировано и подписано Лузгиной, — охотно объяснил Прохоров. — Все это имеет прямое отношение к смерти Столетова, и мне хочется услышать этот разговор из ваших уст...

Теперь весь внешний облик мастера служил камуфляжем трусости; по-обывательски умный, правильно понявший слова «имеет прямое отношение к смерти Столетова», знающий от Заварзина, что произошло на тормозной площадке, Гасилов никогда не думал, что его разговор со Столетовым и Заварзиным — второй разговор был, видимо, важнее первого, — станет через Лузгину известен работнику уголовного розыска, и не надо было иметь большого воображения, чтобы представить внутреннее состояние Гасилова. Это был откровенный страх!

— Я жду, Петр Петрович!

— Столетов зашел ко мне после смены, — глухо сказал Гасилов. — Он зашел ко мне после смены, чтобы... Он хотел со мной поговорить как с мастером и как с отцом Людмилы... Это было... это было часов в пять вечера... **ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДО ПРОИСШЕСТВИЯ**

...стремительно, словно его подгонял сильный ветер, простоволосый, радостно возбужденный удавшейся «забастовкой наоборот», Женька Столетов подбежал к мастеру Гасилову, положил руку на локоть мастера. Заглянув в его лицо и поразившись, в который уже раз, что Людмила все-таки здорово походила на отца, Женька просительно и мягко обратился к мастеру:

— Петр Петрович, давайте поговорим...

За спиной Женьки Столетова стоял неопасный из-за соседства Андрюшки Лузгина золотозубый Заварзин; лицо охлаждал весенний ветер, тракторы гудели оглушительно, на эстакаде рабочие еще хохотали над дураком Притыкиным, Женькина «Степанида» должна была через минуту ожить, к ней уже шел его сменщик Никита Суворов, в Сосновке было тепло и сухо — чего еще не хватало Женьке Столетову для полного счастья?

— Поговорим, Петр Петрович! — повторил он ласково. — Пойдем в вагонку и поговорим...

Мастер Гасилов тоже улыбнулся, не отводя локоть от Женькиной руки, охотно повернулся к вагонке. Его забавное собачье лицо обросло добродушными морщинами, было тоже ласковым, и Женьке вновь показалось, что все происходящее между ним и Гасиловым — пустяк, недоразумение, результат какого-то дурацкого непонимания. Вот сейчас они войдут в столовую, сядут рядом, поглядят друг на друга и... засмеются. Бог ты мой! Что им было делить, когда на дворе весна, когда живет на земле дочь мастера Людмила, когда ты дружен со всем миром, а мир с тобой! Да, да! Все их конфликты надуманы, несерьезны; они ссорятся только потому, что просто не понимают друг друга, а вот сегодня, сейчас, Петр Петрович наконец поймет, что Женька Столетов не хочет ему зла, что он, Женька, стремится к тому же, к чему Петр Петрович: лучше работать, веселее и дружнее жить.

Конечно, конечно, вот сейчас они объяснятся, и Петр Петрович окончательно станет своим, понятным, родным человеком — он все-таки отец Людмилы, не чужой Женьке человек...

— Идемте, идемте, Петр Петрович!

Радуюсь и от этого торопясь, Женька первым поднялся в вагонку, дождавшись, когда Петр Петрович тоже войдет и сядет на скамейку возле стола, поглядел на мастера по-весеннему просветленно.

— Петр Петрович, — горячо заговорил Женька. — Петр Петрович, ведь это смешно, что мы с вами целых две недели не разговариваем... Разве можно, Петр Петрович, производственные дела переносить на личные отношения, даже не здороваться? Почему вы смеетесь, Петр Петрович? Вы считаете, что это просто забавно?

Однако Петр Петрович Гасилов не только весело смеялся, он хохотал во все горло. Мастер даже вытянул по полу большие ноги, поблескивающие хромовыми головками, но похожие на кирзовые, руками уперся в скамейку. Плечи у него тряслись, на глазах выступили слезы: он смеялся смехом здорового, спокойного и добродушного человека, и смеялся так долго, как ему хотелось. Потом Гасилов неторопливо достал из кармана большой носовой платок, обстоятельно вытер слезы и так же неторопливо спрятал платок.

— Женя, роднулечка моя! — проникновенно сказал мастер. — Чего же это ты, лапушка, переносишь с больной-то головы на здоровую? Кто это не здоровается? Я или ты? Ну-ка скажи, кровиночка моя, кто сегодня отвернул мордолизацию, когда я уже пошел навстречу? Александр Сергеевич Пушкин или ты, роднуля?

Женька попятился и тоже сел на лавку, так как с мастером он сегодня встретился впервые и ни о каком «отвернул мордолизацию» не могло быть и речи.

— А что касается производственных вопросов, лапушка, — весело продолжал Петр Петрович, — то могу сообщить тебе приятную новость. Юрий Сергеевич Петухов и я разработали мероприятия, направленные на то, чтобы увеличить темпы заготовки и вывозки древесины... Вот, пожалуйста, касатик!

Под нос ошеломленного Женьки легла клетчатая страница большого формата, вырванная из конторской книги.

— Вот, дорогой Женечка! — добродушно сказал Гасилов. — Мы наметили укрепить трудовую дисциплину, покончить с простоями техники по вине заправщиков и слесарей, путем тщательной очистки пней бороться с напенной гнилью и навсегда ликвидировать захламленные волокни... Вот как реагировала администрация на ваше комсомольское собрание... Так кто из нас не здоровается?!

Женька сразу понял, что мероприятиям Гасилова грош цена, но они все-таки были выработаны, записаны и тем самым представляли собой документ.

— Вот такие-то дела, Женечка! — снисходительно пробасил мастер. — Советую тебе не горячиться, больше думать, не торопиться с решениями... — Он покровительственно улыбнулся. — Вот и Людмила на тебя жалуется. Говорит, что ты не умеешь ладить с людьми, бываешь груб... Женщины, братец ты мой, любят спокойных, положительных, основательных...

Наклонив голову, Женька думал о том, что его родному деду Егору Семеновичу неплохо было бы послушать сейчас Гасилова, получившего ложью и ханжеством право и на снисходительный тон, и на поучительную интонацию.

— И ревнив ты больно, Женечка! — не унимался Петр Петрович. — Людмила приболела, а ты осаждаешь ее записками, обрываешь телефонный провод, ругаешься по телефону. Откуда ты взял мысль, что Людмила переменила отношение к тебе? Женщины, брат, ревности не любят. Им надо доверять, тогда они в благодарность за доверие привязаны, верны, нежны... Женщина — тоже человек, братец ты мой! — Он зевнул, сладко потянулся. — А еще глупее ревновать женщину, когда она разлюбивает... Тогда уж женщину не удержишь... Да ты небось читал «Обыкновенную историю» Гончарова! Превосхо-о-о-дная вещица!

Женька сидел молча, глядел на цветной плакат с призывом копить деньги в сберегательной кассе и грустно думал о том, что он все-таки глупый и нервный мальчишка, если его можно заставить молчать наглой и откровенной ложью, если он теряет от этого.

— Я думаю, хватит меня учить уму-разуму, Петр Петрович, — негромко сказал Женька. — Да, я молод и неопытен, но это не значит, что со мной можно обращаться снисходительно. Это во-первых! А во-вторых, бумажка с вашими мероприятиями заставляет нас самих разбираться с производственными делами...

Женьке немного стало легче, когда он услышал через тонкие стены вагонки веселый и непрерывающийся шум тракторов, судорожный треск бензопил, металлический скрежет крана Генки Попова — «забастовка наоборот» шла по лесосеке бульдозером, сметала все, что стояло на ее пути, а напыщенно-самоуверенный мастер еще не понимал, что происходит.

— Будьте здоровеньки, Петр Петрович!

Женька неторопливо поднялся, еще раз посмотрев на румяное лицо гражданина, призывающего хранить деньги в сберегательной кассе, сдержанным кивком попрощался с Гасиловым и пошел к выходу.

Неохотно и вяло произносящий слова Гасилов замолк, ожидая очередного уточняющего вопроса Прохорова, мрачно посмотрел в его лицо, обращенное к окну.

— Теперь, пожалуйста, расскажите о визите Заварзина, — медленно попросил Прохоров. — Зачем он заходил к вам? Что он сказал?

Прохоров все еще глядел в окно — старый, шаблонный метод! — но чувствовал и как бы видел всего Гасилова. У мастера опять затрепетало веко, дыхание на мгновение прервалось, поза сделалась такой, словно Петр Петрович судорожно вцепился руками в кожаное кресло.

— Зачем пришел Заварзин и что сказал?

— Заварзин был какой-то странный и куда-то торопился. Однако он сообщил мне о том, что комсомольцы начали какую-то «забастовку наоборот»...

— Дальше!

Прохоров на глазах Гасилова вынул из кармана четки, которые имел обыкновение прятать от собеседника, нащупал напряженными пальцами костяшку с двумя ободками, резко перекатил ее влево, чтобы следующей оказалась пупырчатая бусинка; она, конечно, оказалась другой — с одним ободком, — но это теперь не имело никакого значения.

— Я прошу вас идти дальше, Гасилов... По протоколу Лузгиной!

— Я сообщил Заварзину о том, — выдавил из себя Гасилов, — что моя дочь собирается зарегистрироваться с Петуховым...

Боже ты мой! Даже капитан Прохоров до этой последней секунды не верил, что такое могло произойти.

— Вы могли бы мне этого и не говорить, Гасилов! — холодно сказал Прохоров.

Сидящий на фоне окна-стены Гасилов словно бы растворялся в солнце и речном сиянии, подробности его лица исчезли, и Прохорову показалось, что он разговаривает не с человеком, а с его силуэтом.

— Вы знаете, Гасилов, — спросил он, — как на языке преступного мира называется лошадь? Скамейка!.. Скамейкой кличут лошадь матерые уголовники...

Прохоров обвел взглядом сонмище цветных лошадей на эстампах. Он вдруг всем телом ощутил тяжелую двухэтажность гасиловского особняка, почувствовал кожей траурность тишины и кажущегося покоя, понял, как холодно огромному дому от того, что в кресле сидит притихший, неподвижный, по-настоящему испуганный хозяин.

— Это вы, Гасилов, столкнули с подножки вагона Евгения Столетова! — медленно произнес капитан Прохоров и поднялся. — Через час я точно узнаю, как это произошло, а вам предлагаю прибыть к шести часам в контору лесопункта.

Он пошел к дверям, но остановился:

— Я только сейчас понял, что такое уголовник, но вы узнаете об этом позже... До шести

часов вечера, гражданин Гасилов!

6

В кабинете Пилипенко было накурено и очень жарко, так как полуденное солнце через окна успело уже нагреть пол, стены, громадную русскую печь, но здесь все равно дышалось легче и веселее жилось, чем в кабинете Гасилова, хотя бывший уголовник Аркадий Заварзин неподвижно сидел на табурете, а участковый инспектор стоял гранитным часовым за его профессионально ссутуленной спиной.

Ввалившись в комнату, Прохоров со злостью и радостью сорвал с себя пиджак и галстук, облегченно вздохнув, потребовал, чтобы Пилипенко сию же минуту принес ведро ледяной колодезной воды. Когда Пилипенко исчез, Прохоров на свое место садиться не стал, а подошел к Заварзину и, капризно оттопырив губу, заявил:

— Когда я уезжал в Сосновку, майор Лютиков, который вел ваше последнее дело, Заварзин, просил вам передать привет, если вы по-настоящему расстались с прошлым... Так вот! Не буду я вам передавать привет от Лютикова! — Прохоров рассвирепел. — Показания гражданина Гасилова уличают вас в даче лживых показаний и сокрытии правды...

Только сейчас Прохоров разглядел на лице арестованного Заварзина новое выражение, которое сразу не увидел. Ясно, что арестованный по-прежнему был тосклив и бледен, данные допроса Гасилова, несомненно, вызвали страх, но новым было то, что в глазах Заварзина читалась лихорадочная надежда.

Он как бы повторял уже однажды произнесенную фразу о том, что Прохоров никогда еще не доводил до тюрьмы невинного человека. «У меня нет никакой надежды на спасение, кроме вас, Прохоров, — умоляли глаза Заварзина. — Не может быть, не может быть такого, чтобы вы взяли невинного!»

Непонятно улыбнувшись, Прохоров сел на свое место как раз в тот момент, когда в кабинет с ведром воды ввалился Пилипенко.

— Есть ведро колодезной воды! — щелкнув каблуками, доложил он. — Будете пить, товарищ капитан?

— Продолжаю допрос, — после того как все напились, сказал Прохоров. — Итак, вернувшись вместе со Столетовым с Круглого озера, вы вошли в столовую, чтобы повидать Гасилова и рассказать ему о «забастовке наоборот»... Правильно?... Теперь скажите, что еще вами было сообщено Гасилову?

— Ничего.

— Великолепно! А что вам сообщил Гасилов взамен «забастовки наоборот»?

На лице арестованного не было сейчас никакого выражения, и всякий человек, но не Прохоров, удивился бы тому, что лицо живого человека может быть таким опустошенным.

Однако у Аркадия Заварзина было именно такое лицо — бескрасочное, безглазое, плоское и неподвижное, как маска.

— Так что же вам сообщил Гасилов?

— Он как бы смехом сказал, что его Людмила расписывается с Петуховым! — безголосо ответил Заварзин. — Я его спросил, зачем приходил Столетов, а он взял да и ответил: «Странный человек этот Столетов! Людмила собирается регистрироваться с техноруком, а он все талдычит о высокой производительности труда!»

Ах вот, оказывается, еще как! Оказывается, что с глазу на глаз со своим уголовным продолжением Петр Петрович Гасилов изволил перейти на заварзинский язык. Он, умеющий так веско и вкусно произносить слова «социализм», «энциклопедисты», в благодарность за услугу употребил словечко «талдычит». Ах, ах, как не стыдно, дорогой Петр Петрович!

Старательно скрывая радость по поводу такого важного признания, Прохоров несколько раз щелкнул замком шариковой ручки, затем легкомысленным тоном спросил:

— Почему вы утаили от меня эти данные на предыдущем допросе, арестованный?

— Забыл!

— Да что вы говорите! — удивился Прохоров. — Главное забыли, а!..

— Забыл...

Вот и наступил тот редкий момент, когда на обветренном, костистом, загорелом и немного узкоглазом лице альпиниста и теннисиста Прохорова проявились голубые глаза богобоязненной, умиленной чудом жизни и всеобщей человеческой красотой старушки: эта старушка с радостью просыпалась на заре, осеняла себя крестным знамением и до самого позднего вечера не переставала благодарить бога за то, что он позволил ей прожить еще один день на этой теплой и круглой земле... Вот какие глаза глядели с христианским смирением и любовью на арестованного Заварзина, и в них уже можно было читать оторопь перед тем, что существовала тормозная площадка, стоял на ней Аркадий Заварзин, мчался поезд, во мраке белел камень, похожий на человеческий череп.

«Да не может быть этого! — жалобно молили голубые глаза старушки. — Никаких камней не бывает, никакой смерти нет!»

Под прицелом этих глаз арестованный вздохнул, тыльной стороной ладони по-детски вытер губы и замер в такой позе, которой и хотел добиться Прохоров, — смотрел не в угол комнаты, а на Прохорова.

— Вы не могли забыть, Заварзин, самый важный факт, сообщенный вам мастером, — тихо сказал Прохоров. — Видимо, весть о замужестве Людмилы играет какую-то роль в происшествии, если вы утаиваете этот единственный факт... А это жаль!

И опять начало работать, как выражался майор Лукомский, «высшее достижение мальчика с полноводной Оби» — старушечьи глаза Прохорова.

По-прежнему полные счастливого удивления перед добротой и сказочностью мира, не верящие в то, что могут существовать лживые люди, они с испугом и недоумением как бы говорили: «Этого не может быть, чтобы вы врал, Заварзин! Это недоразумение, вопиющая ошибка! И я верю: вы сейчас скажете, что это действительно была ошибка и глупое недоразумение».

— Так как же, Заварзин, забыли или утаили?

Прохорову вдруг показалось, что Аркадий Заварзин вместе с табуреткой сидит на самом краешке бездонной пропасти, и вот сейчас, в одно напряженное мгновение, решает, упасть в пропасть или удержаться на самом ее краешке...

Секунда молчания растягивалась в минуту, минута начинала казаться часом, тишина в кабинете сделалась звонкой и прохладной, а в глазах Прохорова с еще большей силой прорезалось верующее, иконное, по-матерински бабье...

— Не забыл... — прошептал Заварзин. — Утаил... Дайте еще воды. Я все расскажу, все! Мы вместе со Столетовым... ЗА ПЯТЬДЕСЯТ МИНУТ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...Женька Столетов вместе с Аркадием Заварзиным стояли на тормозной площадке мчавшегося поезда, прятались от пронзительного завихряющегося между платформами ветра, а когда поезд с таежного «уса» вырвался на простор главной магистрали и еще добавил скорости, на них неожиданно пахнуло весенним теплом и самым радостным запахом на всем белом свете — запахом начинающей цвести черемухи.

Уже было сумрачно, узкоколейный паровозик раздвигал темень желтым светом лобового прожектора, но все равно кусты черемухи, отороченные свадебной белизной, проклевывались в темноте, и чем дальше поезд уходил от лесосеки, тем чаще мелькали белые кусты, иногда сливались в сплошную линию.

Счастливым стоял на тормозной площадке Женька Столетов. Еще несколько часов назад он не поверил бы, если бы ему сказали, что в десятом часу вечера он поедет на одной тормозной площадке с Аркадием Заварзиным и будет чувствовать его локоть, нечаянно прикоснувшийся к Женькиному бедру, видеть белое в темноте лицо с полоской белых зубов, раздвинутых улыбкой... Жизнь вообще была счастьем. И этот суетливый паровозик с весело снующими штоками поршней, похожих на согнутые ноги, и свадебный наряд черемухи, и мысли о том, что скоро он встретится с Людмилой, действительно нездоровой и поэтому не отвечавшей на его записки, — все было прекрасным. Они с Людмилой пойдут смотреть фильм «Этот безумный, безумный мир», сядут на заднюю скамейку, и он скажет, когда кончатся титры: «Я тебя люблю так, как в кино!»

Это значило бы, что он держал ее руку в своей, смотрел на экран ее глазами, смеялся ее смехом, удивлялся ее удивлением, а когда ловил на себе ее взгляд, то с губами происходило странное — они так плотно смыкались от нежности, что потом не хотелось разжимать.

Паровозик тоненько посвистывал, плевался паром, на поворотах выбрасывал из-под котла новогодний фейерверк искр, звезды и луна вращались вместе с небом — и это все тоже было таким, что Женька Столетов не мог долго молчать. Он еще раз посмотрел на кособокую луну, хватив ноздрями острый черемуховый запах, дружески положил руку на плечо Заварзина:

— У тебя славный пацаненок, Аркаша! — весело прокричал он. — Недавно твоя жена приводила его к моей матушке, так твой Петька насмешил всю больницу.

Женька сам во все горло захохотал:

— Матери в тот день помогал лысый фельдшер Марвич, так твой оголец потрогал пальцем его лысину и спросил: «Дядя, а дядя, где же у тебя голова? Все лоб да лоб!»

— Мне Мария рассказывала об этом, — откликнулся Заварзин и тоже захохотал. — Ты не стой, Женька, на ветру, сдай немного к центру...

Между тем паровозик все прибавлял и прибавлял скорости, луна понемножечку становилась все больше и больше, а звезды, наоборот, гасли, уступая место лунному сиянию.

— Он забавный, этот фельдшер Марвич! — кричал Женька. — Вот человек, который никогда не улыбается, как участковый Пилипенко. Однажды приходит к нам, молча садится на стул и говорит деду: «Егор Семенович, не обращайтесь на меня внимания! Мне надо просмеяться, тогда я скажу, зачем пришел...» А у самого лицо как у покойника. — Женька прыснул в кулак.

— Ну, ты знаешь моего деда! Это, брат, не сахар! «А над чем или над кем вы смеетесь, любезный?» — «Как над кем? — удивился фельдшер. — А кинофильм „Верные друзья“, который мы просматривали вчера?»

Рассказывая, Женька оживленно жестикулировал, надувал щеки и морщил многозначительно лоб, чтобы походить на фельдшера Марвича, и Аркадий Заварзин смеялся вместе с ним, но что-то странное, непонятное слышалось Женьке в его хохоте, словно что-то мешало Заварзину смеяться. От усиливающегося света луны его лицо все сильнее бледнело, щеки ввалились, плотно сжатые губы погасили золотой блеск фикса.

Одним словом, Заварзину было не так весело, как он стремился показать, и Женька, огорченный за него, хотевший, чтобы все люди сейчас были счастливы, наклонился к уху Заварзина.

— Аркаша, ты не думай, что мы хотим плохого Гасилону, — с детской интонацией и откровенностью сказал Женька. — Мы через недельку прекратим «забастовку наоборот», убедим всех в правильности нашей позиции, и... если Гасилов станет работать по-новому, мы ему поможем... Да боже мой, Петр Петрович! Ну ты подумай, Аркадий, разве я могу желать ему лиха, если он отец Людмилы... Ты только подумай — отец Людмилы!

Женька замолк так резко, словно ему в рот забили тугой кляп, тихонечко ойкнул и даже попятился, так как лицо Аркадия было перекошено, бледно и так же страшно, как возле озера, когда он задыхался от ненависти к Женьке Столетову. У бывшего уголовника было такое лицо, с каким выхватывают из кармана нож...

Когда арестованный Заварзин замолк с закушенной нижней губой и косящими от напряжения глазами, капитан Прохоров нагнулся над столом, отложив в сторону все лишнее, принялся читать что-то написанное на листках квадратной плотной бумаги, и его опущенные глаза снова умиротворенно соглашались с правильностью и необходимостью всего, что происходит в этом лучшем из миров. «А вот это может быть! — говорили старушечьи глаза Прохорова. — Это не только может быть, но так и должно быть и не может быть иным, так как все хорошо и славно в этом прекрасном мире...»

А бывший уголовник Аркадий Заварзин снова качался вместе со стулом на крошечном кончике бездонной пропасти, и существовал человек, который был способен толкнуть Аркадия Заварзина в бездну или, схватив за руку, вытащить на солнечный простор. Этого человека звали Александром Матвеевичем Прохоровым, он что-то читал, а когда закончил, поднял на арестованного глаза ласковой, верующей, доброй ко всему миру старушки.

— До сих пор все было правдой, — медленно сказал он. — Теперь надо закончить правдой... Да вы посмотрите мне в глаза, Заварзин! Я не кусаюсь!.. Прямо, прямо!

И когда Заварзин посмотрел в глаза Прохорова, он снова увидел иконное, верующее, неистовое, словно капитан радостным шепотом говорил: «На белом свете не бывает таких людей, которые врут. Это ошибка, недоразумение, так как человек не создан для того, чтобы врать...»

— Итак, вы смотрели на Столетова с ненавистью, у вас было, как вы сами почувствовали, перекошенное лицо, и Столетов с испугом отшатнулся... ЗА МИНУТУ ДО ПРОИСШЕСТВИЯ

...у Заварзина было перекошенное, страшное лицо, глаза в свете луны горели желтой кошачьей ненавистью, закушенная губа дрожала; весь Заварзин в эту страшную минуту походил на эпилептика за секунду перед припадком, и Женька испуганно отшатнулся от него, молниеносно приняв решение бить Заварзина длинным ударом в подбородок, замер...

А Заварзин уже изменился — все ненавистное и больное вдруг мгновенно исчезло с его красивого лица, вместо этого — так же мгновенно — появилась красивая, плакатная, ласковая улыбка, сверкающая золотом.

Это было еще страшнее прежнего, и Женька, забыв обо всем на свете, начал замах, когда бывший уголовник заговорил.

— Я не тебе, Женька, глаза выдавлю, а Гасилову, — с ослепительной улыбкой сказал Заварзин. — Он меня хуже тюрьмы поломал. Он и тебя сломать хочет... Людмила-то собирается с Петуховым расписываться...

Оглушительно стучали хлысты на передней платформе, срывался с них упругий взгальный ветер, ударив в лицо Женьке, растрепал волосы и прикрыл ими глаза.

— Врешь! — крикнул Женька приглушенно.

— Не вру! — прокричал в ответ Заварзин. — Сейчас Петухов с Людмилой возле Кривой березы гуляют...

— Врешь!

Женька бросился к Заварзину, схватив его обеими руками за лацканы кожаной куртки, так приблизил к себе его лицо, что их лбы соприкоснулись. Женька трясся, как в лихорадке.

— Врешь!

Заварзин не врал. Доведенный тюрьмой, допросами, страхом до неврастения, он вдруг отвернулся от Женьки с заслезившимися глазами, опустил голову и повис в руках Столетова.

Он упал бы на пол площадки, если бы Женька не поддержал Заварзина инстинктивным движением и не прислонил бы его к стене. Когда же у Женьки освободились руки, он, развернувшись, пошел к подножке, забыв о Заварзине, о себе, о скорости поезда, о скользких резиновых сапогах.

Женька не услышал крика пришедшего в себя Заварзина, не почувствовал, что его схватили за рукав так, что затрещала рубаха.

— Стой! Остановись!

Женька не остановился — шагнул в духовитую темень и теплоту черемуховой поляны с Кривой березой в самом центре...

У арестованного Аркадия Заварзина в глазах стояли слезы; он действительно так износил к двадцати семи годам нервную систему, что уже не мог владеть собой ни в ненависти, ни в горе, ни в любви.

Он низко наклонился, чтобы Прохоров не видел его лицо, достав из кармана носовой платок, приложил его к глазам и так, не разгибаясь, сидел долго. Потом глухо, в платок, сказал:

— Это я угробил Женьку! Если бы я ему тогда не сказал про Петухова и Гасилову, он бы жил... Но я ему потому сказал, что он счастливый был, как ребенок. Таких людей нельзя обманывать! Это все равно что ребенка обворовать...

Чтобы не щипало в глазах, Прохоров через окно рассматривал тучу, которая за это время выросла и распухла, в черном ядре ее перемещались иссиня-розовые космы, похожие на

дым пожарища, и скоро, очень скоро туча обещала закрыть надолго солнце.

— Верните арестованному вещи! — приказал Прохоров участковому инспектору. — Следствие стопроцентно убеждено в том, что гражданин Заварзин не оказывал механического воздействия на прыжок Столетова... Наоборот, он пытался удержать погибшего...

Наступила недолгая тишина, затем послышались металлические шаги — это участковый Пилипенко, покинув свой пост за спиной Заварзина, пошел за вещами арестованного. С места Прохорова казалось, что центр комнаты опустел, словно не было ни Заварзина, ни табуретки — ничего!

Вопиющая пустота образовалась в центре кабинета, хотя Аркадий Заварзин уже подавал еле заметные признаки жизни — на левой руке, висящей вдоль туловища, вздрогнули пальцы, одно плечо поднялось выше другого, словно Заварзина что-то изгибало, корежило.

— Вы свободны, товарищ Заварзин.

Тракторист сжал пальцы в кулак, подержав их немного в таком положении, разжал; мелкие капли пота поблескивали на его меловом лбу, подбородок заострился. Впрочем, в комнате действительно было так душно, как бывает перед близкой грозой, — воздух был неподвижен и густ; слышалась уже специальная, ни на что не похожая предгрозовая тишина, белые занавески на окнах от влажного воздуха висели прямо, тяжело.

— Вы свободны, Заварзин! — уже абсолютно спокойно повторил Прохоров и с легкомысленным видом помахал над столом одним из плотных квадратных листов бумаги. — Жаль, Заварзин, — убежденно сказал он, — жаль, что вы до сих пор даете показания и даже разговариваете на воровском жаргоне... Вот в протоколе Сорокина сказано: «Я вернулся из лесосеки до десяти часов вечера. Это все соседи могут подтвердить. У меня квартира-одноходка...»

Прохоров потрогал подбородок пальцами, ничего лишнего не обнаружив, продолжал:

— Одноходка — это квартира с одними дверями. Вся человеческая жизнь, Аркадий Леонидович, тоже своего рода одноходка. Одни двери в жизнь — трудовые! Все иное — чердачные ходы и оконные лазы...

В кабинете сделалось опять тихо: не шелестел в предгрозовой неподвижности воздуха старый осокорь на берегу, замерли рябины и черемухи, птицы куда-то исчезли, черная туча уже откусила от солнца небольшой кусочек.

— Можете идти, Заварзин! — вставая, сказал Прохоров. — Идите, идите, Аркадий Леонидович, пока не началась гроза...

Табуретка под Заварзиным тонко заскрипела, деревянные ножки заелозили по полу, затем шаркнули подошвы тяжелых кирзовых сапог, замолкли, потом опять шаркнули...

После этого шаги уходящего из кабинета Аркадия Заварзина стали напоминать начало сильного дождя... Вот цокотнула о сухую твердую землю первая капля, за ней с треском шлепнулась вторая, потом сразу две, затем три-четыре — и пошла писать губерния!..

Из досок крыльца каблучки Аркадия Заварзина выбили отчаянную барабанную дробь, а по деревянному тротуару стучали беспорядочно, жутковато, как птица в силке.

— Пилипенко, немедленно догоните Заварзина, — быстро проговорил Прохоров. — Догоните и проводите до дому...

— Так точно, товарищ капитан! Поставлена задача проследить за тем, чтобы Заварзин не пошел к Гасилону и... и не шлепнул бы его...

— Исполняйте!

— Есть исполнить!

И понес плакатную улыбку в двери кабинета, просквозил ею темные сени, вынес на деревянный тротуар и дальше, дальше, по всей деревне, видимо, до Аркадия Заварзина, шаги которого уже не слышались в кабинете.

— Черт полосатый! — выругался Прохоров. — Он все-таки личность, этот Пилипенко...

Солнце почти совсем скрылось за тучей. Теперь был виден только розовый мутный диск, и все окрест порозовело: река, осокорь на берегу, собака, которая, задрал хвост, легонько трусила по тротуару с озабоченным видом — наверное, бежала брехать на волков к околице деревни, коли среди бела дня, в пятом часу пополудни наступила ночь из-за темной грозовой тучи...

7

В строгом полупустом кабинете парторга Марлена Витольдовича Голубиня темные шторы на окнах были раздвинуты до конца, но было все равно сумрачно, сосновский день в пятом часу казался вечером при выщербленной луне, и, наверное, поэтому на лице технорука Петухова, сидящего за маленьким столом, приставленном торцом к большому, лежала как бы двойная тень — от скудного освещения и внутреннего состояния. На подоконнике зыбко сидел вялый начальник лесопункта Сухов и чистил ногти обгоревшей спичкой. На дерматиновом диване с полуприкрытыми, как бы зашторенными глазами посиживал капитан Прохоров, а на отдельном стуле расположился Петр Петрович Гасилов, совершенно непохожий на самого себя. Это объяснялось тем, что мастер сейчас был одет в строгий черный костюм, замшевые туфли, белую рубашку с бордовым галстуком. Этот маскарад, по мнению Прохорова, был ошибкой Гасилова, так как свидетельствовал о том, что Петр Петрович придавал особенное значение происходящему и, значит, праздновал труса, хотя сам мастер, наверное, считал, что непривычное для обыкновенного рабочего дня облачение придаст ему большую значительность. Этого, однако, не произошло. Обычные для него клетчатая ковбойка и сапоги создавали впечатление бодрой созидательности, а черный строгий костюм неожиданно придал Гасилону канцелярско-бюрократический вид. И другое: черный костюм дал совершенно неожиданный эффект — вкуче с бордовым галстуком он сгладил, сделал менее заметными камуфляжные боксерские складки и морщины на лице мастера и тем самым уничтожил выражение спокойной и вальяжной мудрости. Одним словом, Петр Петрович Гасилов проигрывал во всех отношениях, сменив ковбойку и сапоги на костюм и рубашку с галстуком.

На часах было пятнадцать минут пятого, когда парторг Голубинь, перебирая в пальцах три цветных карандаша, сказал:

— По причине окончания следствия по делу Евгения Столетова капитан Александр Матвеевич Прохоров имеет желание сказать несколько слов... Пожалуйста, Александр Матвеевич...

— Спасибо!

Прежде чем говорить, Прохоров незаметно для себя самого осмотрел кабинет таким внимательным взглядом, каким, наверное, окидывает боевые порядки командир перед боем. Поле сражения представляло собой обыкновенную комнату с портретом Ленина, висящим над головой парторга, с картой СССР на стене, книжным шкафом, с двумя поставленными друг к другу столами, ковровой дорожкой и черным телефоном на свободном от бумаг столе.

— Я хочу объяснить свое присутствие в этом кабинете, — негромко сказал Прохоров и тускло улыбнулся. — Как известно, советская милиция существует для того, чтобы бороться с уголовно-преступными элементами и для профилактической работы по предупреждению преступлений...

Проговорив эти слова привычно-заученно, Прохоров остановился и так посмотрел на Гасилова, словно хотел спросить: «Помните, я вам обещал объяснить, что такое уголовник?»

На лице Гасилова не появилось никакого любопытства, поэтому Прохоров официальный тон переменял на будничным.

— Как-то бессонной сосновской ночью, — сказал он, — я родил, простите за хвастовство, следующий афоризм: уголовник — это мещанин, доведенный до абсурда.

Прохоров лицемерно вздохнул.

— В Уголовном кодексе Российской Федерации нет пока статьи, преследующей мещанство, поэтому я, — он с легкомысленным видом ткнул себя пальцем в грудь, — я могу заняться только профилактической работой...

После этого Прохоров почувствовал необходимость посмотреть, что произошло со слушателями, пока он занимался этой, по его мнению, пустопорожней болтовней. Перемен было немного, но они были существенны: во-первых, мастер Гасилов подъехал со стулом к маленькому столику, чтобы спрятать ноги и поставить локти на столешницу, во-вторых, технорук Петухов с независимым видом положил ногу на ногу и принялся мечтательно глядеть на грозовую тучу, начальник лесопункта Сухов сидел по-прежнему вялый, потный, скучный без своих чертежей.

— Я считаю, — сказал Прохоров, — что мне необходимо объясниться сначала с товарищем Петуховым... Ей-богу, Юрий Сергеевич, я неповинен в том, что трое коммунистов отозвали рекомендации, по которым вы должны были стать кандидатом в члены партии... Правда, ход расследования дела Евгения Столетова мог повлиять на позицию рекомендуемых, но... Без моей подсказки, товарищ Петухов, без моей подсказки...

Прохоров сделал еще одну длинную паузу, чтобы убедиться в том, что его слова не произвели никакого впечатления на технорука Петухова — он по-прежнему глядел на темную тучу, лицо у него по-прежнему было мечтательным, словно технорук говорил: «Хороший будет дождичек! Такой хороший, что просто прелесть!» А положение петуховского тела, находящегося в самом удобном положении для этого момента, было откровенно вызывающим. «Мели, Емеля, твоя неделя!» — вот что выражала барская поза технорука.

Прохоров почувствовал щекочущий холодок в груди, что с ним происходило всегда, когда встречался, как говорится, крепкий орешек. Прохоров тоже положил ногу на ногу, тоже начал мечтательно глядеть на черную тучу.

— Мне думается, — таким тоном, каким говорят о давно решенном деле, сказал Прохоров, — что и администрация леспромхоза не останется в стороне, когда узнает о том, что дипломированный инженер из личных побуждений скрывал, на мой взгляд, преступное занижение производственных планов и возможные приписки к плану... Кстати, последним фактом в ближайшие дни займется ОБХСС.

Технорук Петухов, черт бы его побрал, и после этого ни на йоту не переменялся. Мало того, он в стекле распахнутого во всю ширь окна заметил, что широкий узел галстука ослаб и, неторопливым четким движением устранив беспорядок, снова замер в прежней позе.

Прохоров ярко улыбнулся.

— Не выпячивайте челюсть, Петухов! — насмешливо сказал он. — На вашем лице легко читается мыслишка: «Не удалось на этот раз, удастся в другой!» Знаю: вы упрямы и работоспособны, как вол, но время не то... Не то время! Теперь люди не позволяют по головам ходить... Неужели вы так наголодались в детстве, что на всю жизнь потеряли благородство? Евгений Столетов тоже вырос не в барских хоромах, а каким бессребреником был. Так какого же черта вы наступаете на человеческие головы? Они не ступеньки, ведущие вверх...

Прохоров забавно выпятил нижнюю губу и быстро спросил:

— Однажды в присутствии Андрея Лузгина вы назвали Анну Лукьяненко, любви которой домогались, проституткой. Так это или не так? Я к вам обращаюсь, Юрий Сергеевич. Да или нет?

Теперь Прохорову приходилось держать в поле зрения сразу двух человек — технорука и мастера.

— Так это или не так?

Мастер Гасилов бросил на технорука вопросительный взгляд, а сам технорук, продолжавший смотреть в окно, заметно побледнел, однако не сделал ни одного движения.

«Гасилов знает об Анне Лукьяненко», — решенно подумал Прохоров, уже имеющий сведения о том, что мастер слышал о визитах Петухова к вдове. И если раньше Прохоров раздумывал, верить или не верить слухам, то теперь ни капельки не сомневался в их подлинности.

— Да или нет, гражданин Петухов?

— Да, — резко и злобно ответил технорук.

— Так кто же из вас проститутка? Анна, отказавшая вам, или вы?

Парторг Голубинь разложил веером на столе три цветных карандаша, движения пальцев были спокойными, но левая бровь нервно приподнялась. Поэтому Прохоров сделал длинную успокоительную паузу, потом вздохнул и сказал:

— Вы, наверное, больной человек, Петухов, и с вами полагается говорить осторожно... Простите меня за прокурорский тон!

Прохоров действительно так обозлился, что потерял ощущение реальной обстановки. «Мало меня били! — сердито подумал он о себе. — Увлекаюсь, как мальчишка, и хвастлив, как мальчишка...»

— Вы определенно больны, Петухов! — тихо и спокойно сказал Прохоров. — У Джека Лондона есть рассказ «Любовь к жизни». Если не читали, прочтите... Герой этого рассказа, пройдя через огонь и медные трубы, на спасшем его корабле ворует и прячет галеты, чтобы наперед не случилось голода. Он набивал галетами матрац, прятал их под подушку... Рассказ кончается фразой: «Скоро это все прошло...» Кончайте и вы копить галеты! Наш народ сейчас хорошо ест. Какого же дьявола вы...

Прохоров не закончил фразу, так как инженер Сухов, спрыгнув с подоконника, щелкнул

языком, выбросил вперед и вверх ораторско-философским жестом руку. Он не заговорил, а так горячо и громко закричал, словно в кабинете нескончаемо долго спорили.

— Во! Святая правда! — восторженно завопил Сухов. — Когда я сопоставлял параметры будущей трелевочной машины с параметрами водителя, то расчеты показали одну прелюбо-о-опытнейшую деталь. Прелюбопытнейшую!

В кабинете на полу ничего лишнего не было, никаких деталей, чурбаков, железных листов, и инженер забежал по кабинету освобожденной веселой рысью.

— Прелюбо-о-опытнейшую деталь я обнаружил, товарищи! — по своему обыкновению орал Сухов. — Усредненный вес сосновского тракториста ныне превышает тот вес, который считался предельным в пятидесятые годы... Вы же понимаете, что я не могу конструировать трактор, не зная среднего веса и среднего роста водителя! — Он изумленно округлил глаза. — Я не могу, не могу без этого, товарищи!.. И вот обнаруживается, что вес усредненного сосновского тракториста на четы-ыре килограмма превышает вес того же усредненного тракториста в пятидесятые годы. Четыре лишних килограмма! А кондиционер воздуха, который для машины обязателен, должен весить не больше одиннадцати килограммов. Каково?! А?

Бегающий по кабинету Сухов все-таки нашел обо что споткнуться, — он зацепился ботинком за край ковровой дорожки, потеряв равновесие, чуть не упал на Прохорова, но чудом удержался и, зло пнув дорожку, продолжил:

— Как быть? Что делать? Я бегу к местному врачу Столетовой, усаживаю ее против себя и начинаю выяснять, отчего средний вес тракториста так резко увеличился... И что вы думаете?! Тракторист, оказывается, пе-ре-кормлен! Врач Столетова сказала, что...

Внезапно, словно он наткнулся на стенку, Сухов остановился, опустив руки, пораженно посмотрел на Прохорова и, обнаружив на лице Прохорова то, что искал, зябко повел плечами.

— Насколько я понимаю, местный врач Столетова — это, видимо, родственница Евгения Столетова? — неуверенно проговорил он. — Скажите, пожалуйста, они однофамильцы или родня? Кто она? Тетка, сестра или... или мать Евгения Столетова? Не однофамилец?

— Мать! — сказал Прохоров. — Мать!

Инженер Сухов, траурно опустив голову, вернулся почти на цыпочках к своему насиженному подоконнику, но не сел, а остановился и обернулся к Петухову. Он смотрел на технорука точно такими же удивленными глазами, как смотрел на капитана Прохорова несколько секунд назад, когда узнал, что местный врач Столетова — мать погибшего тракториста.

Удивленное молчание длилось довольно долго, потом Сухов сказал:

— По Малинину и Буренину получается, что вы, Петухов, косвенный соучастник гибели Евгения Столетова... А?!

— Как и вы, товарищ Сухов! — прозвучал в тишине голос Прохорова. — Как и вы!

И наступила такая тревожная тишина, в которой было невозможно следить за тем, как черная зловещая туча поглощает остатки света и тепла.

Если полчаса назад солнце еще давало знать о себе похожими на пожар лохматыми космами, то теперь оно скрывалось совсем, и сделалось так темно, как бывает при солнечном затмении.

— А ведь это только начало, Павел Игоревич! — сказал Прохоров, когда инженер осторожно примостился на краешек подоконника. — Это только самое-самое начало...

Прохоров пересел на валик дерматинового, грандиозно большого дивана, произведенного на свет в конце сороковых или в начале пятидесятих годов.

— Так как суда по делу Столетова не будет, — монотонно проговорил он, — то мне необходимо сообщить присутствующим те детали дела Столетова, которые в случае судебного разбирательства вошли бы в частное определение...

Прохоров успел заметить, что Гасилов опять бросил на Петухова взгляд, которого технорук не пожелал заметить. Да и вообще, за все это время Петухов не только ни разу не посмотрел на Гасилова, а, напротив, вел себя так, словно мастера в кабинете не было.

— Итак, начинаю, — неохотно и вяло произнес Прохоров. — Гасилов Петр Петрович, русский, социальное положение... — Прохоров замолк и вопросительно посмотрел на Гасилова. — Социальное положение требует специального исследования, — неохотно признался он. — Поэтому не удивляйтесь, что я буду пользоваться мыслями и определениями покойного Евгения Столетова.

Он загнул указательный палец.

— Утверждать, что Гасилов — рабочий, нельзя по той причине, что он не имеет никакого отношения к орудиям труда. Служащим, то есть работником конторского типа, назвать гражданина Гасилова тоже нельзя. К руководящему составу гражданина Гасилова причислять нельзя по той причине, что он никак и ничем не руководит, возложив все функции на бригадира Притыкина. — Прохоров загнул очередной палец. — К технической интеллигенции Петр Петрович не может быть отнесен по элементарной причине: мастер нигде не учился после десятилетки.

Петр Петрович чуточку наклонился вперед, ноги расположил удобно и прочно, голову втянул в плечи, а лицо у Гасилова было таким маловыразительным, точно вокруг него не было ни единой живой души. Мастер, несомненно, был тысячекратно умнее технорука Петухова, открыто демонстрирующего независимость от всего того, что происходило в кабинете парторга.

— Гражданин Гасилов, — сказал Прохоров, — вы имеете право отказаться отвечать на мои вопросы, покинуть кабинет или просто-напросто послать меня туда, где Макар телят не пас... — Он покосился на технорука. — К слову сказать, на это же имеет право и гражданин Петухов.

На улице по-прежнему было темно, как вечером, в грозовой туче уже безостановочно и бесшумно металась молния, вспышка следовала за вспышкой, но ни одна из них не вызвала громовых раскатов, слышалось только, как в туче что-то басовито урчало, точно безуспешно заводили мотор реактивного самолета. В темном тревожном мире неожиданно светлой, голубой и яркой казалась река.

Прохоров этим не был удивлен — он давно заметил, что река перед грозой всегда бывает светлой частью земли и неба.

А в кабинете было душно, очень душно...

— До свидания! — послышался спокойный голос. — Я с большим удовольствием уйду отсюда...

Технорук Петухов поднялся, поблескивая синтетическим заграничным костюмом, прямой,

стройный, независимый, неторопко пошел к дверям, без скрипа открыл их — и был таков!

Только легкий запах какого-то мужского одеколona остался в кабинете парторга от инженера Петухова. Капитан Прохоров усмехнулся.

— Эффектный уход! — сказал он и обратился к Гасилову: — Вы тоже уйдете?

— Нет, нет! — проговорил мастер таким голосом, точно ему предлагали покинуть кинозал в тот момент, когда еще не закончился детективный фильм и не было известно, кто совершил преступление. — Я дослушаю вас, товарищ Прохоров. Вольному волю, спасенному — рай!..

Прохоров еще раз усмехнулся.

— Пожалуй, я недооценил вас, Гасилов, — раздумчиво сказал он. — А это опасно...

Прохоров в который уж раз погасил гнев, распирающий грудь и мешающий дышать и без того душным воздухом.

— Состав вашего преступления, Гасилов, не предусмотренного Уголовным кодексом РСФСР, таков... Во-первых, вы не соблюдли основной принцип социализма и коммунизма: «Кто не работает, тот не ест!» Во-вторых, и это главное, вы едва ли не прямой виновник гибели Евгения Столетова...

Прохоров поднялся, так как больше не мог сидеть на дерматиновом диване, к которому липли брюки и от которого смрадно пахло столярным клеем.

Не надеясь получить облегчение, Прохоров все-таки подошел к окну, боком прислонился к нему, сунув в рот потухшую сигарету, сквозь зубы проговорил:

— Третье ваше преступление, гражданин Гасилов, состоит в том, что вы исковеркали жизнь собственной дочери, уничтожив ее как личность... Мне известно, что Людмила, согласившись на брак с Петуховым, каждый день тайно от вас ходит на могилу Евгения Столетова.

Капитан Прохоров потихонечку да понемножечку бледнел. Он ведь воевал целых четыре года, сразу после войны начал работать в уголовном розыске, неудачно женился, заработал язву желудка в дрянных столовых и забегаловках, расшатал свои нервишки на адской милицейской службе.

— Дочь уже жестоко, но пока неосознанно мстит за свои несчастья отцу! — сдерживаясь, сказал Прохоров. — Она предает вас, Гасилов! Это Людмила сообщила мне, что первого марта вы и Петухов по-купечески долго и жадно рядились о сумме, которую тому и другому следовало внести на строительство дома для молодоженов в Ромске.

Он отошел от окна, присел на петуховский стул.

— Четвертое ваше преступление, Гасилов, в том, что вы позволили бывшему уголовнику Аркадию Заварзину на какое-то время укрепиться на антиобщественных позициях. Дело, видите ли, в том, что Заварзин неосознанно подтолкнул Столетова к прыжку как раз в тот момент, когда переживал окончательное освобождение от гасиловщины.

Прохоров почувствовал, что у него дрожат руки и горячий комок ярости подкатывает под сердце.

— Минуточку! — сказал он, сам у себя выпрашивая передышку. — Только одну минуточку...

Он посмотрел на часы — время материально существовало и даже двигалось вперед, обратил взгляд на инженера Сухова — сидел живой, невредимый, покосился на Голубиня —

парторг все три заветных карандаша держал в пальцах.

«Спокойствие, спокойствие! — сам себя приглушал Прохоров. — Научиться спокойствию — значит научиться быть мыслящим существом!»

— Все остальные аспекты дела Столетова имеют философскую, нравственно-этическую окраску, — сказал Прохоров, — и мне кажется, что гражданин Гасилов не дорос до их понимания.

Он встал, прошелся по ковровой дорожке, вынул из кармана пачку сигарет, но тут же забыл об этом.

— Погиб герой нашего времени, — негромко, но так, что все слушатели замерли, сказал Прохоров. Только после этого он вспомнил о сигарете, слепым движением нашел в кармане газовую зажигалку и вынул ее. — Такие парни, как Евгений Столетов, в минувшую войну бросались грудью на доты...

Зажигалка загорелась не сразу: видимо, и на кремень действовала духота и влажность, и зубчики кресала увлажнились, так что после третьей попытки из зажигалки вырвался жаркий огонек, подсветивший бледное лицо Прохорова.

— Евгений не бросался на дот, — медленно продолжал Прохоров. — Он погиб в борьбе с мещанством, которое в его сознании отождествлялось с гасиловщиной...

Наливалось кровью, как бы набухало большое лицо мастера. Привычный в жаркие дни ходить налегке по своему прохладному домашнему кабинету, давно отвыкший работать в жаркие дни, он сейчас жестоко страдал от духоты и жары в своем черном костюме, надетом для большей представительности, а на самом деле превратившем его в заштатного канцеляриста.

— Гасиловщина! — с энергией произнес Прохоров. — Она страшна как осколочная бомба, ибо бьет с одинаковой силой во всех окружающих...

Капитан Прохоров сел, откинулся на спинку стула с облегченным видом человека, исправно выполнившего свой долг, но собирающегося сделать еще что-то внеплановое. Он потянулся к пепельнице на маленьком столике, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, и посмотрел на лицо Гасилова вблизи. Затем, опять откинувшись на спинку стула, смерил мастера взглядом с ног до головы и внезапно увидел, какой он весь дряблый, какой, оказывается, мутноглазый, кукольный и, если вдуматься, несерьезный...

Нет, не прошла даром для Петра Петровича Гасилова паразитическая, неактивная жизнь, не могло пройти бесследно пассивное существование!

Старый, с настоящими морщинами на круглом лице человек сидел перед Прохоровым, не вызывая у него ни жалости, ни сострадания.

— Гасиловщина! — снова с силой произнес Прохоров. — Гасиловщина!

А дождь все еще не начинался, хотя казалось, что в гигантской теперь туче ревели на полную мощность моторы реактивного самолета, огромная сеть молний ежесекундно опутывала все небо, старый осокорь шелестел тревожно... «Круто сегодня будет жеребцу Рогдаю», — жалеюще подумал Прохоров и представил, как жеребец испуганно прядает ушами.

Потом Прохоров услышал желчный голос суховского шофера: «Спортили жеребца, сволочи».

— Я вам уже говорил, Гасилов, — сказал Прохоров, — что на языке уголовников лошадь

называется скамейкой... Клянусь, — тихо закончил он, — клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока из-под ваших ног не будет выбита скамейка!

Инженер Сухов вытер мокрый лоб рукой и с болезненной, жалкой гримасой посмотрел на Гасилова.

— Слушайте, товарищ Гасилов, — неуверенно проговорил он, — слушайте... Ведь получается, что вы... Вы обманывали всех, в том числе и меня... Да как вы... Как вы смели лгать и комбинировать?!

В голосе начальника лесопункта было столько оторопи и удивления, что даже невозмутимый Голубинь уронил свои три карандаша на стол, а Прохоров укоризненно покачал головой.

— Мне больше нечего сообщить гражданину Гасилову, — брезгливо сказал Прохоров. — Если у вас, Марлен Витольдович, нет вопросов, мне бы хотелось остаться втроем.

— Мне тоже, — ответил Голубинь. — Я очень много опоздал...

Встав со стула, но не подымая головы, Гасилов пошел по ковровой дорожке к дверям. От уходящего технорука Петухова мастер отличался тем, что не бравировал, не показывал безразличия к тому, что произошло в кабинете. Не попрощавшись и не обернувшись назад, Гасилов прямой рукой распахнул двери и — растворился, исчез, дематериализовался, так как по коридору пошел на цыпочках или, что тоже возможно, подслушивающе приник к дверям.

Трое оставшихся в кабинете долго молчали. Сухов по-прежнему вытирал лоб тыльной стороной ладони, Голубинь снова перебирал пальцами три цветных карандаша, а капитан Прохоров снова подошел к окну.

— Я бы хотел, как говорится, поставить точки над «и», — сказал Прохоров. — Необходимей всего, пожалуй, понять, в каких условиях может торжествовать его преподобие мещанство...

Вынужденный избегать прокурорского тона в разговоре с Петуховым и Гасиловым, капитан Прохоров не считал нужным быть сдержанным в присутствии Сухова и Голубиня. Он сделал резкое рубящее движение правой рукой и повернулся к Сухову.

— Гасиловщина пробирается в щелочку нашей безалаберщины, ухарства, широты характера и, конечно, пьянства!.. — Прохоров сделал паузу и объяснил: — Термин «гасиловщина» изобретен Евгением Столетовым... — И опять к Сухову: — Есть и еще одна щелочка, в которую проникает гасиловщина, товарищ Сухов. Нельзя любить завтрашнего человека, не любя сегодняшнего! — Прохоров опять помолчал. — Прошу простить меня за напыщенное философствование, но ведь именно вы, товарищ Сухов, помогли утвердиться Гасилову в его доморощенной теории посредственности... А как же! Посредственность считает всех других тоже посредственностями и знает о гении только то, что он имел три жены или пил горькую... — Прохоров обозлился. — Как же Гасилову было не утвердиться в своей идиотской теории, когда талантливый инженер не замечает, что его, как мальчишку, обводят вокруг пальца. Да не только талантом должен быть обделен инженер Сухов, если, подписывая сводку, не понял, что на лесосеке началась «забастовка наоборот»! Вот такие пирожки, товарищи! Я беру на себя смелость утверждать, что в истории человечества не было явления, даже отдаленно напоминающего «забастовку наоборот»...

Походило на то, что дождь и не собирался идти. Правда, молнии все еще беззвучно прошивали зловещую черноту, середина тучи все еще была исполосована нитевидными космами, правда, старый осокорь призывно шелестел в ожидании влаги и прохлады, черемухи, наоборот, замолкли, но вот робко чирикнул в листве воробей, за ним — второй, третий, и начался хулиганский воробыный концерт в предгрозовом мраке.

— Я имею возможность по вашему лицу видеть, Александр Матвеевич, что вы уже кончили разговор, — сказал Голубинь, поднимая со стола три цветных карандаша. — Если это так, то я позволю себе рассказать вам маленькую историю... Мой дядя, — задумчиво сказал он, — мой дядя Круминш, бывший красноармеец латышского полка, имел честь после революционных событий служить начальником ЧК города Ромска... — Голубинь согласно кивнул Прохорову. — Да, да, это тот самый Круминш, о котором вы можете знать, Александр Матвеевич...

Прохоров наконец понял закономерность в обращении парторга с цветными карандашами: красный, синий, зеленый, затем наоборот — зеленый, синий, красный. Таким образом, синий карандаш, самый нейтральный, всегда оказывался в центре.

— Мой дядя Круминш имел роковой ошибка с колчаковским офицером Колбиным, — невозмутимо продолжал Голубинь. — От этой ошибки Колбин получил возможность бежать... — Он сделал еще одну большую паузу. — После ошибка с колчаковский офицер мой дядя Круминш подавал в отставка...

Специально для Прохорова парторг улыбнулся.

— В двадцатые годы еще имелся привычка подавать в отставка...

Голубинь решительным жестом положил карандаши на стол.

— Я три дня назад тоже подавал в отставка, — сказал Голубинь, и его рыжевато-белое сухощавое лицо осветила очередная вспышка молнии из тучи, не хотящей проливать на землю такой нужной освежающий дождь... — Подавал в отставка, — повторил Голубинь. — Но сейчас не двадцатые, сейчас семидесятые годы. И в райкоме сказали, что свои ошибки надо исправлять самому, не передавать другому... Партийная комиссия вела здесь в мое отсутствие работу. Завтра мы будем смотреть первые итоги... Если вы сможете, товарищ Прохоров, я прошу вас принять участие...

— Вот как, — проговорил Сухов. — Ах вот как...

Гроза не началась и в седьмом часу вечера, когда Прохоров, опустив голову, шел по длинной деревенской улице. Туча по-прежнему грозно висела над поселком, изредка бенгальским огнем вспыхивала остывающая молния, но уже на западном склоне неба желтел едва приметный сноповидный пучок солнечных лучей. На полпути к поселковой больнице Прохоров встретил знакомого старика Кулемина, работающего сторожем на нефтебазе, и старик так поздоровался с Прохоровым и покачал головой, что было понятно — дождь не состоится. Прохоров шел в больницу оттого, что у него не хватило бы выдержки и мужества еще раз встретиться с матерью Евгения Столетова в домашней обстановке. Занятая делом, живущая чужими горестями и бедами, среди палат и врачебных кабинетов, Евгения Сергеевна, представлялось Прохорову, должна была легче перенести последний визит сотрудника уголовного розыска. Думая об этом, Прохоров в накинутом на плечи халате осторожно прошел по длинному коридору больницы; постучал и, получив разрешение войти, открыл дверь с табличкой: «Главный врач».

За двое суток Евгения Сергеевна еще похудела, кожа на лице была сухой и желтой, глаза ввалились, а белый, туго накрахмаленный халат делал ее высокой и совсем худой. Узнав Прохорова, Евгения Сергеевна резко поднялась, кивнув в ответ на прохоровское «здравствуйте», сняла с груди фонендоскоп и принялась смотреть на Прохорова округлившимися немигающими глазами, и через несколько секунд звучного молчания Прохоров понял, что в больнице мать Столетова верила в смерть сына.

Среди белого полотна, лекарств, никелированных режущих и колющих инструментов, страданий и страха смерти Евгения Сергеевна не могла не верить в жуткую реальность

происшедшего.

— Прямых виновников смерти Евгения нет! — глядя в пол, сказал Прохоров. — Однако Гасилов получит по заслугам, а Людмила не станет женой Петухова...

Евгения Сергеевна закинула назад голову, руки осторожно сунула в карманы халата, между бровей у нее прорезалась трагическая мужская складка. Сейчас перед Прохоровым стояла такая женщина, какой и должна была быть мать Евгения Столетова и вдова командира разведвзвода, врач-хирург.

— Я многому научился у Евгения, — сказал Прохоров. — В деревне, пожалуй, нет человека, который бы не испытал светлого влияния личности вашего сына, Евгения Сергеевна.

Прохоров стоял прямо, руки держал по швам и, конечно, не замечал, что принял парадную стойку.

— Спасибо вам за Женьку, — тихо продолжал он. — Мать Столетова для меня звучит так же, как мать Матросова... Прощайте, Евгения Сергеевна!

На скрипучем крыльце больницы Прохоров вынул пачку сигарет, дрожащими пальцами прикурил от газовой зажигалки, жадно затянувшись сладким и крепким дымом, внезапно почувствовал, что теряет ощущение времени и пространства. Такое с капитаном Прохоровым случалось довольно часто, и он сразу понял значение случившегося как тягу к перемещению... Не замечая черной, все еще опасной тучи, не обращая внимания на торжественные пучки солнечных лучей, возникшие на востоке, точно так, как это бывает, когда заканчивается затмение, капитан Прохоров тяжелым крупным шагом начал подниматься на возвышенность, по которой любил ночами гулять Викентий Алексеевич Радин. Живя одновременно утром, днем, вечером и ночью, Прохоров через неопределенность пространства перемещался в прошлое, и он не мог бы ответить, когда и каким образом оказался возле могилы Женьки. Он стоял возле железной оградки серо-стального цвета. Пятиконечная красная звезда венчала металлический, сваренный из толстых листов памятник: земляная крыша последнего Женькиного дома уже обросла молодой травой, осторожно и робко покачивались дикие сибирские колокольчики, среди которых казались особенно яркими чуточку увядшие букеты, положенные на могилу человеческой рукой... Лежали анютины глазки — букет Анны Лукьяненок, тихие саранки — подарок Софьи Луниной, парниковые тюльпаны — след тайного визита Людмилы Гасиловой.

Прохоров вошел в металлическую оградку, сел на кедровую скамейку, врытую в теплую землю; по-прежнему затерянный в пространстве и времени, замер. Тишина покачивала его, как на волнах, время, казалось, струилось через Прохорова, и если бы его сейчас спросили, какой сегодня день недели, месяц, год, Прохоров не понял бы вопроса... Женька лежал близко — внизу, в двух с половиной метрах от Прохорова... Легкий озноб катился по спине... Прохоров поднялся, криво усмехнувшись, вынул из заднего кармана тяжелый пистолет; стараясь не греметь металлом, он вынул из пистолета обойму, нагнувшись, резким движением вонзил ее в землю возле подножия памятника. Заросшая травой крыша последнего Женькиного дома была еще мягкой, неслежавшейся, и обойма с патронами исчезла бесследно. После этого он опять ощутил, как тело покачивает тишина, как легким не хватает воздуха, и опять почувствовал жадность к движениям, потребность перемещаться в пространстве, чтобы не плыть по воде тишины и безвременья. Ему было все равно куда идти, но, прежде чем сделать шаг, он все-таки поднял голову и увидел, что по слегка розовеющей Оби с двумя баржами на буксире медленно движется пароход «Е. Столетов». Прохоров все дни пребывания в поселке ожидал встречи с пароходом, носящим имя Женькиного деда, и часом раньше поразился бы маловероятной встрече с ним на обском плесе, но сегодня, сейчас, он смотрел на пароход как на необходимую деталь его, прохоровского существования. Буксир «Е. Столетов» шел довольно ходко, споро боролся с сильным обским

стрезнем, и это тоже было естественным и необходимым.

Прохоров не вернулся в реальность и тогда, когда поймал себя на том, что с опущенной головой и руками, заложенными за спину, шагает по длинной деревянной улице — куда и зачем, неизвестно! Однако он заметил, что навстречу ему идут четверо очень знакомых людей...

Будто не замечая друг друга, двигались Андрей Лузгин, Борис Маслов, Геннадий Попов и Соня Лунина. Шли они в таком порядке: по центру улицы шагал с тросточкой в руках Борис Маслов, по левому деревянному тротуару вышагивал с лентой Геннадий Попов, по правому — Андрюшка Лузгин, далеко отстав от них, шла Соня Лунина. Четверо друзей Евгения Столетова вели себя так, словно не были знакомы, но при случае могли бы охотно познакомиться, а когда все четверо увидели Прохорова, то начали понемножечку сближаться.

Утративший ощущение пространства и времени, Прохоров между тем мыслил четко, ясно и широко. Сближаясь с друзьями Столетова, он неторопливо обдумывал фразу, произнесенную Андреем Лузгиным: «Мы после смерти Женьки в глаза друг друга смотреть не можем, мы боимся собраться вместе!»

Потом он, глядя на самого себя со стороны, обиделся за капитана Прохорова, от которого друзья Столетова скрывали факт «забастовки наоборот»...

Видимо, именно в эти секунды капитан Прохоров и поравнялся с четырьмя друзьями погибшего, так как ему, Прохорову, пришлось подняться на деревянный тротуар, чтобы обойти сблизившуюся четверку.

Он прежним шагом двигался вперед, когда из безвременья утраченного пространства услышал знакомое словосочетание:

— Александр Матвеевич, а Александр Матвеевич!

Скорее всего из любопытства, чем по необходимости, Прохоров замедлил шаги, а потом и совсем остановился. Отчужденно глядя в лица четверых и совершенно не связывая лица с именами и фамилиями, Прохоров скрипучим голосом — так он слышал себя сам — гневно произнес:

— Мальчишки! Сопляки! — Он ткнул себя пальцем в грудь, под сердце, болящее от недоверия и обиды. — Мальчишки! — с силой повторил он. — Вы думаете, что только вам принадлежит счастье борьбы с гасиловщиной... Ну а я? Я на это разве не способен? А Голубинь? А все мое поколение?

Он еще злее и громче прежнего выругался:

— Мальчишки! Сопляки!

Пошел медленный теплый дождь — вот чем разразилась страшная грозовая туча!

С низкого неба падали на землю продолговатые дождевики, похожие на пунктирные линии.

Прохоров задрал голову, подставив лицо под дождь, и, не закрывая глаз, скоро добился желаемого — дождевые струи начали казаться неподвижными, а Прохоров стал подниматься по кривой линии вверх: ощущение полета было так реально, что закружилась голова и сердце сжала сладкая боль...

Объ родимая! Плавают на заре тонкие туманы, кукует над тобой, накликающая грядущие тысячелетия, кукушка, глядят в тебя осокори с седыми головами мудрецов; ночами ты

вздыхаешься к небу, пронзенная звездами; чайки над тобой, как белые молнии, небо — сияющая чаша. Обь родимая! Парит над тобой острокрылый баклан, пасутся на твоих лугах тракторы, ходят по лугам женщины и кони... Будь благословенна, Обь родимая!

Примечания

1

Балбера — кора старого осокоря.